



РОССИЙСКИЙ
СОЮЗ ГЕРМАНИСТОВ

РУССКАЯ ГЕРМАНИСТИКА



ЕЖЕГОДНИК
РОССИЙСКОГО СОЮЗА
ГЕРМАНИСТОВ

ТОМ XIII

ГЕРМАНИСТИКА И КОМПАРАТИВИСТИКА В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОНТЕКСТАХ

ХІІІ СЪЕЗД РОССІЙСКОГО СОЮЗА ГЕРМАНИСТОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26—28 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Организаторы:

Национальный исследовательский университет

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)

в Нижнем Новгороде

*Нижегородский государственный лингвистический
университет имени Н. А. Добролюбова*



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2016

УДК 821.112.2.0

ББК 80

Р 88

Р е д к о л л е г и я :

Н. С. Бабенко (отв. редактор лингвистической части)

Н. А. Бакиш (отв. редактор литературоведческой части)

А. В. Белобратов, Г. И. Данилина, А. И. Жеребин, Д. Кемпер, Л. Ф. Нефедова,

Н. В. Пестова, Л. Н. Полубояринова, Н. Н. Трошина

Р е ц е н з е н т :

д.ф.н. *К. Г. Красухин* (Институт языкознания Российской академии наук)

д.ф.н. *Н. С. Павлова* (Российский государственный гуманитарный университет)

Р 88 Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. Т. 13. — М.: Языки славянской культуры, 2016. — с.

ISBN

В настоящий ежегодник включены тексты докладов тринадцатой конференции Российского союза германистов «Германистика и компаративистика в междисциплинарных контекстах», на которой были представлены литературоведческие и лингвистические доклады по проблемам, связанным с компаративными подходами к изучению разнообразных явлений в немецкоязычной литературе и в немецком языке. Ежегодник продолжает издание публикаций по материалам конференций, проводимых в рамках РСГ. Включенные в сборник статьи отражают современное состояние исследовательской деятельности отечественных германистов в разных областях германской филологии.

УДК 821.112.2.0

ББК 80

ISBN

© Авторы, 2016

© Издательский Дом ЯСК, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	9
-------------------	---

Литературоведение

<i>Н. Э. Гронская, В. Г. Зусман.</i> Метакомпаративная германистика: постановка проблемы	13
<i>Н. А. Бакиш.</i> Отчет о конференции. «Компаративистика вне языковых различий. Сравнительное литературоведение внутри одного языкового пространства. К концепции компаративистики лингвогетогенных литератур»	24
<i>Б. А. Дюбо.</i> Аксель Оксеншерн, нехаризматичный литературный персонаж и влиятельный член языкового общества	35
<i>А. Е. Лобков.</i> Шекспир в Швейцарии XVIII века	50
<i>Д. Д. Черепанов.</i> «Не из числа смертных»: один аспект полемики Й. фон Эйхендорфа с йенскими романтиками	57
<i>Л. Н. Полубаяринова.</i> О некоторых аспектах рецепции И. С. Тургенева в Австрии	64
<i>А. П. Склизкова.</i> Жанр <i>Legendenspiel</i> как межкультурный трансфер в драме Г. Гауптмана «Заложница Карла Великого»	72
<i>А. И. Жеребин.</i> О литературном комплексе психоанализа: Фрейд и эстетика модернизма	80
<i>Ю. Л. Цветков.</i> Музыкальное начало «Бетховенского фриза» Густава Климта и оперы Р. Штрауса — Г. фон Гофманстала «Кавалер розы»	91
<i>Н. В. Пестова.</i> Характер фантастического в раннем австрийском экспрессионизме	100
<i>Е. А. Сакулина.</i> <i>Dichtung und Gestalt im poetischen Werk von Else Lasker-Schüler (zur Rezeption des Gedichts "Ein alter Tibetterpich")</i>	110
<i>В. В. Котелевская.</i> Изобретение языка: деконструкция и реконструкция красноречия в поэтике Бернхарда и Беккета	114
<i>Г. Г. Ишимбаева.</i> Поэтика культуры в романе Г. Грасса «Жестяной барабан»	122
<i>М. С. Потёмкина.</i> Литература ГДР и ФРГ после объединения: опыт интеграции	130
<i>Е. В. Соколова.</i> Дискурс травмы в литературе Германии 2010-х годов: (П. Шнайдер и П. Лео).....	138

Лингвистика

<i>Р. С. Аликаев.</i> Формирование идей лингвофилософской концепции языка в раннем немецком Просвещении (сравнительный аспект)	147
<i>О. В. Байкова, Ю. В. Березина.</i> Речевое поведение российских немцев в условиях иноязычного окружения: социально-демографический аспект	162
<i>Е. В. Беспалова.</i> Концепт ЛЕС / WALD в русских и немецких фразеологизмах и паремиях	168

<i>О. И. Быхова.</i> Междисциплинарная направленность диамедиальной вариативности немецкоязычной лексики	177
<i>Т. В. Гречушникова.</i> Национальная специфика vs интернациональная коммуникация: компаративистский взгляд на экспериментальный поэтический текст	186
<i>С. И. Дубинин.</i> Эволюция вокабуляра «Солдата Восточного фронта» (на материале изданий “Deutsch-russisches Soldaten-Wörterbuch”).....	197
<i>О. А. Кострова.</i> Ономастическая система немецкого города в свете концепции устойчивого развития (к постановке проблемы).....	213
<i>И. В. Матвеева.</i> Сравнительный анализ немецких и русских пословиц поля «ДЕНЬГИ».....	222
<i>Ж. В. Никонова.</i> Иллокутивная структура сложных речевых актов в сопоставительном аспекте	230
<i>И. С. Парина.</i> Фразеологические и дефразеологические дериваты: проблемы поиска и описания	239
<i>И. Р. Перевышина.</i> Суффиксы субъективной оценки прилагательных в системе немецкого и русского языков (контрастивный, переводоведческий и лингвокультурологический аспекты).....	246
<i>Е. В. Плисов.</i> Конфессиолекты в современном немецком религиозном дискурсе	255
<i>А. С. Полевщикова.</i> Языковая игра в научно-популярном тексте: переводческий аспект	266
<i>Р. М. Скорякова.</i> Деривационный потенциал политических неологизмов (на примере сокращения <i>Pegida</i>).....	274
<i>Н. Н. Трошина.</i> Дискурсообразующая роль концептов (на примере концепта БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА в западно- и восточногерманских речевых практиках).....	281
<i>W. Jamschanova.</i> Toleranz und Duldsamkeit (deutsch-russische Parallele).....	292

Рецензии

<i>Р. С. Аликаев.</i> Рец. на: <i>Бондарко Н. А.</i> Немецкая духовная проза XIII—XV веков: язык, традиция, текст. СПб.: Наука, 2014. — 674 с.	301
<i>N. Babenko.</i> Рец. на: <i>Natalija Ganina, Klaus Klein, Catherine Squires, Jürgen Wolf (Hg.).</i> Deutsch-russische Arbeitsgespräche zu mittelalterlichen Handschriften und Drucken in russischen Bibliotheken. Beiträge zur Tagung des deutsch-russischen Arbeitskreises vom 14. bis 16. September 2011 an der Lomonossov-Universität Moskau aus Anlass des 300. Geburtstages des Universitätsgründers Michail Lomonossov. Erfurt, 2014. 280 s.....	304
<i>С. И. Дубинин.</i> Рец. на: <i>Сквайр Е. Р.</i> Ремесленная терминология в древнегерманских языках. М.: МГУ, МАКС-Пресс, 2015. — 145 с.	311
<i>Т. В. Топорова.</i> Рец. на: Мехтильда Магдебургская. Струющийся свет Божества. Перевод и исследования / Автор-сост. Н. А. Ганина; пер. со ср.-верх.-нем., коммент. Н. А. Ганиной; статьи Н. А. Ганиной, Найджела Ф. Палмера. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2014. — 424 с., ил. (Сер. «Славяно-германские исследования». Т. VII).	314
<i>В. В. Котелевская.</i> От риторической эпохи к закату постмодерна: разомкнутая история немецкой литературы. Рец. на: История немецкой литературы: Новое и Новейшее время / Под ред. Е. Е. Дмитриевой, А. В. Маркина, Н. С. Павловой. М.: РГГУ, 2014. — 808 с.	320

- Г. И. Данилина. Пространство немецкой эмиграции в структуре романного жанра. Рец. на: *Поршнева А. С.* Мир эмиграции в немецком эмигрантском романе 1930—1970-х годов (Э. М. Ремарк, Л. Фейхтвангер, К. Манн). Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2014. — 306 с. 326
- Г. И. Данилина. «Фауст» и морфология культуры. Рец. на: *Васильева Г. М.* «Фауст» Гёте и семантический комплекс европейской культуры. Монография. Ч. 1. Новосибирский гос. ун-т экономики и управления. Новосибирск: НГУЭУ, 2012. — 604 с.; *Васильева Г. М.* Семантический комплекс культуры и «Фауст» Гёте. Идеи и образы. Ч. 2. Saarbrücken: LAP Lambert, 2016. — 346 с. 328
- А. Е. Лобков. Книжная культура Северной Германии XV—XVI вв. Рец. на: *Багровников Н. А.* Диалог традиций и новаторства в ксилографиях Любекской Библии: монография. Н. Новгород: НГУ, 1999. — 247 с.; *Багровников Н. А.* Памятники книжной культуры Нижней Германии эпохи Возрождения и Реформации: монография. Н. Новгород: НГЛУ, 2013. — 116 с.; *Багровников Н. А.* Ганс Лувфт и его время: монография. Н. Новгород: Гладкова О. А., 2015. — 209 с. 331
- А. В. Белобратов. И это все о нем: опыт коллективной монографии. Рец. на: *Андреюшкина Т. Н., Елисеева А. В., Ишимбаева Г. Г., Куцумова Г. В., Майснер Ф., Москалюк А. В., Тихонова О. В., Цветков Ю. А.* Проза Кристиана Крахта: коды постмодернизма. Монография. Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. — 243 с. 336
- Н. Бакиш, А. Жеребин. Рец. на: *Jürgen Lehmann.* Russische Literatur in Deutschland- Ihre Rezeption durch deutschsprachige Schriftsteller und Kritiker vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart [Русская литература в Германии. Ее рецепция в творчестве немецкоязычных писателей и критиков XVIII—XX веков]. Stuttgart: Verlag J. B. Metzler, 2015 341

ОТ РЕДАКЦИИ

13-й съезд Российского союза германистов, посвященный теме «Германистика и компаративистика в междисциплинарных контекстах», состоялся 26—28 ноября 2015 г. в Нижнем Новгороде. В работе съезда приняли участие около 90 докладчиков из разных городов России, а также коллеги из Германии, Австрии и Латвии. Пленарные и секционные заседания проходили в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в Нижнем Новгороде и в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н. А. Добролюбова. Президиум РСГ благодарен сотрудникам университетов, взявшим на себя труд по организации и проведению съезда.

Большая часть докладов, прозвучавших на съезде, публикуется в предлагаемом Вашему вниманию тринадцатом томе «Ежегодника РСГ». На сайте РСГ будут представлены данные обо всех опубликованных работах.

Статьи, представленные в *литературоведческом разделе*, охватывают широкий спектр вопросов, связанных с компаративистикой и междисциплинарностью, как в теоретическом, так и в практическом аспекте. Открывают литературоведческий раздел две теоретические статьи. Статья Э. Гронской и В. Г. Зусмана посвящена метакомпаративной германистике, пограничной науке, «объединяющей принципы сопоставительной работы германистов-историков, политологов, экономистов, философов, лингвистов, литературоведов». Н. А. Бакши в своем отчете задается вопросом о возможности компаративистики вне языковых различий, то есть внутри одного языкового пространства. К этому вопросу в практическом его приложении обращается также М. С. Потемина, рассматривая проблематичный опыт объединения ГДР и ФРГ и рожденную в результате этого «брака» литературу.

Рецепции отдельных писателей в иноязычном культурном пространстве посвящены доклады А. Е. Лобкова и Л. Н. Полубояриновой. О типологическом сближении на примере Т. Беккета и Т. Бернхарда пишет В. В. Котелевская. Инокультурное влияние на немецкоязычную литературу исследуют в своих статьях Н. В. Пестова и Б. А. Дюбо.

В рамках междисциплинарной тематики находятся статьи А. И. Жеребина, рассматривающего «литературный комплекс» психоанализа; Ю. Л. Цветкова, пишущего о музыкальном начале «Бетховенского фриза» Густава Климта и оперы Р. Штрауса — Г. фон Гофманшталя «Кавалер розы», а также Д. Д. Чеперанова, определяющего черты поэтики И. фон Эйхендорфа с позиций русской религиозной философии.

К диалогу различных культур внутри одного произведения обращаются Г. Г. Ишимбаева на примере «Жестяного барабана» Г. Грасса; А. П. Склизкова на примере «Заложницы Карла Великого» Г. Гауптмана; Е. А. Сакулина на примере одного стихотворения австрийской поэтессы Эльзы Ласкер-Шюлер.

Е. В. Соколова исследует литературу Германии 2010-х гг. с позиций междисциплинарной области знания «trauma studies», существующей «на стыке философии, истории, социологии и психоанализа».

В лингвистическом разделе Ежегодника представлены статьи по широкому кругу проблем, связанных с изучением немецкого языка отечественными германистами.

Многие статьи выполнены в компаративном ключе с привлечением материала русского языка. Е. В. Беспалова и И. В. Матвеева обращаются к фразеологизмам и пословицам, И. Р. Перевышина анализирует фрагмент системы суффиксальных средств, Т. В. Гречушникова рассматривает сквозь призму компаративистского подхода особенности экспериментальной поэзии, В. А. Ямшанова сравнивает развитие понятийной пары *Toleranz/толерантность* — *Duldsamkeit/терпимость* в двух языках. Проблематика, связанная с формированием дискурсов, отражена в статьях Е. М. Плисова («Конфессиолекты в современном немецком религиозном дискурсе») и Н.Н.Трошиной о дискурсообразующей роли концепта БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА. Явления дериватологии рассматриваются в статьях И. С. Париной на материале фразеологии и Р. М. Скорняковой на материале политического неологизма PEGIDA. Особенности формирования лингвокультурной концепции в раннем немецком Просвещении посвящена статья Р. С. Аликаева.

Иллокутивная сила сложных речевых актов рассматривается в статье Ж. В. Никоновой. Вариативность лексики немецкого языка рассматривается в статье О. И. Быковой в аспекте изменчивости языковой дифференциации.

Новые для отечественной германистики темы представлены в статьях С. И. Дубинина («Эволюция вокабуляра “солдата Восточного фронта”»), О. А. Костровой об ономастической системе немецкого города Штутгарта, а также А. С. Полевщиковой, анализирующей явления языковой игры в научно-популярных текстах.

Проблемы внутренней германистики отражены в совместной статье О. В. Байковой и Ю. В. Березиной о речевом поведении российских немцев в условиях иноязычного окружения.

В сборнике представлены 10 рецензий на работы последних лет в области литературоведения и лингвистики. При этом акцент сделан на трудах коллег из регионов, чьи важные исследования не всегда оказываются доступны широкому кругу заинтересованных читателей, а также на фундаментальных работах, отражающих новейшие достижения отечественной германистики и ее приоритетные направления.

Президиум РСГ благодарит за поддержку Немецкую службу академических обменов (DAAD, Бонн) и Австрийский культурный форум при Посольстве Австрии (Москва).

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Н. Э. ГРОНСКАЯ, В. Г. ЗУСМАН

(Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»)

МЕТАКОМПАРАТИВНАЯ ГЕРМАНИСТИКА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Хорошо известно, что новое знание рождается на границах различных дисциплин. Такова и современная германистика, мультидисциплинарная научная парадигма, обладающая метакомпаративным потенциалом.

Категория «границы» — одна из центральных и вместе с тем спорных категорий метакомпаративистики. Несомненно, «пограничное» знание — явление творческое, однако чреватое дилетантизмом. Метакомпаративной германистике угрожают приблизительность и необязательность, зачастую свойственные исследователю пограничного знания.

Мы с трудом вмещаем зоны пересечения разных наук. Исследования на границе ведут нередко к размыванию частного конкретного знания, порождая метазнание, реальное и иллюзорное одновременно. По природе своей метазнание, знание на границах, может быть как псевдопродуктивным, так и весьма продуктивным.

Метакомпаративная германистика — компаративистика компаративистик, объединяющая принципы сопоставительной работы германистов-историков, политологов, экономистов, философов, лингвистов, литературоведов. Метакомпаративная германистика — метанаука о «переводах» и переходах знания из одного смыслового поля в другое.

Метакомпаративная германистика — частный случай метакомпаративистики. Метакомпаративная германистика выходит за границы привычно очерченных предметных полей. Междисциплинарное знание отнюдь не всегда является знанием беспредметным.

Переход знания через границу сигнализирует о смене дискурса. Переходя границу исходного дискурса, явление может превращаться во что-то иное, возвышаясь над предыдущей данностью, предыдущей конкретикой.

Сегодня оказываются востребованными такие аспекты частных областей знания, которые устремлены к общему смыслу. Отдельное,

частное знание интересно сегодня не в своей отделенности и отдельности, а в конфигурациях и взаимосвязях смыслового целого. Так, характеризуя принцип музыки, А. Ф. Лосев писал о «всеобщей и нераздельной слитости и взаимопроникнутости» часто противоположных и «самопротиворечивых» частей» [Тахо-Годи 1993: 18]. В метакомпаративной германистике слиты как раз такие «самопротиворечивые части». С точки зрения метакомпаративной германистики история, юриспруденция, экономика, политология, философия, музыковедение, переводоведение, лингвистика и литературоведение предстают в их взаимопроникнутости, если эти дисциплины с разных сторон освещают одну и ту же проблему. Так, например, А. А. Блок соотносил Революцию и музыку Р. Вагнера: «Вагнер все так же жив и все так же нов; когда начинает звучать в воздухе Революция, звучит ответно и Искусство Вагнера; его творения все равно рано или поздно услышат и поймут; творения эти пойдут не на развлечение, а на пользу людям; ибо искусство, столь “отдаленное от жизни” (и потому — любезное сердцу иных) в наши дни, ведет непосредственно к практике, к делу; только задания его шире и глубже заданий “реальной политики” и потому труднее воплощаются в жизни» [Блок 1936: 62]. «Ответ» Искусства Революции — один из мотивов метакомпаративистики. Подобные резонансы, отклики, ответы составляют основу полидискурсивного события.

«Метакомпаративистика» исследует компаративистики отдельных наук в аспекте их «взаимопроникновения». Эту дисциплину интересует диалог и конфликт часто «самопротиворечивых частей» знания. Метакомпаративистика как таковая сфокусирована на изучении механизмов сопоставления разнородных дискурсов с общей фактологической основой. А потому ее можно назвать «компаративистикой компаративистик», изучающей сопоставление однонаправленных разноприродных дискурсов [Наурт 2013: 234].

«Слитость» и «взаимопроникновение» различных дискурсов — результат их встречи, диалога или конфликта, с последующей переменной состояния. Перемена состояния объясняется переходом дискурсов через границу и последующей трансформацией во что-то иное.

Метакомпаративистика открывает, по-видимому, новые возможности для понимания термина «дискурс». Дискурс открывается как динамическая, конкретная и вместе с тем обобщенная открытая коммуникативная ситуация. Дискурс — это пространство конфликта и диалога «самопротиворечивых» смысловых элементов. В результате разрозненные фрагменты знания начинают вступать во взаимодействие друг с другом.

В гуманитарной области дискурс — это текст в движущемся контексте. Термин «дискурс» имеет длительную и сложную историю. Дискурс как целое рассматривается А. Ж. Греймасом и Ж. Курте в их работе «Семиотика. Объяснительный словарь». Здесь даются частные и наиболее общие концепции этого социокультурного фе-

номена. Производство того или иного дискурса авторы понимают как «... последовательно осуществляемый выбор возможностей, прокладываемый себе путь сквозь сетку ограничений (*contraintes*)» [Греймас, Курте 1983: 493]. В этом контексте метакомпаративистика — дисциплина о сопоставлении «возможностей» и «ограничений» разных дискурсов, связанных общей фактологической основой. Так, например, исторический, политический, географический, архитектурный или литературно-художественный дискурсы нью-йоркской статуи Свободы открывают различные точки зрения на этот памятник, являющийся одним из важнейших символов Америки.

Так, при сопоставлении статуи Свободы (*Statue of Liberty*) в географическом, политическом, социокультурном дискурсах открываются дополнительные смысловые грани этого символа. Примечательно уже само полное название статуи — «Свобода, озаряющая мир» (*Liberty Enlightening the World*). На этом фоне особое значение приобретает перспектива, с которой ее разглядывает Карл Росман, герой неоконченного романа Ф. Кафки «Исчезнувший» («Америка», 1911—1914). Как известно, он видит статую Свободы с мечом в руке. Этот образ свидетельствует о противоречивости символа, входящего в разные дискурсы.

Ограничения и возможности других дискурсов содержит образ статуи Свободы из другого источника — книги известного австрийского писателя Ф. Зальтена (*Salten Felix*, 1869—1945) под названием «Пять минут Америки». Вплывая в бухту Нью-Йорка и бросив первый взгляд на “*Freiheitsstatue*”, повествователь замечает, что она выражает «пафос прошлого» (...*redet das Pathos der Vergangenheit*) [Salten 1931: 19—21]. Здесь художественный дискурс соотносится с историческим, а германистика на их границе обретает мультидисциплинарный метакомпаративный потенциал. Если «пафос прошлого» Ф. Зальтена запускает исторический дискурс, а «статуя Свободы» отсылает к американским ценностям и традициям, то Ф. Кафка акцентирует угрозу, исходящую от Америки. В руке статуя Свободы держит не факел, а меч.

Споры могут возникнуть и вокруг, казалось бы, вещей самоочевидных. Каковы размеры статуи? Большая она или маленькая? Очевидно, что все зависит от наблюдателя и его точки зрения.

В публицистической книге «Одноэтажная Америка» (1935—1936) Илья Ильф и Евгений Петров упоминают о леди Либерти два раза. В главе I, которая называется «Нормандия», сказано: «Слева по борту обозначилась небольшая зеленая статуя Свободы. Потом она почему-то оказалась справа» [Ильф, Петров 2010: 16]. В 14-й главе — «Америку нельзя застать врасплох» — образ «маленькой» «зеленой» статуи повторяется. Повествователи рассуждают о рекламе в Америке. Они вспоминают: «Мы еще находились на борту “Нормандии”, и буксиры только втягивали пароход в нью-йоркскую гавань, как два предмета обратили на себя наше внимание. Один был

маленький, зеленоватый — статуя Свободы. А другой — громадный и нахальный — рекламный щит, пропагандирующий “Чуингам Ригли” — жевательную резинку» [Ильф, Петров 2010: 133].

Другая перспектива на леди Либерти представлена в книге В. Познера, И. Урганта и Б. Кана. Первое упоминание о статуе Свободы связано с рассказом авторов об «острове Эллис», Эллис-Айленд. Владимир Познер и Иван Ургант реконструируют впечатления иммигрантов, прибывавших в Нью-Йорк в восьмидесятых годах XX века. Тогда на острове Эллис располагался иммиграционный фильтровочный пункт: «На самой южной оконечности Манхэттена можно сесть на паром, который привезет вас сначала на Остров Свободы (Либерти-Айленд), где высится Леди Либерти, она же статуя Свободы, а оттуда — на Эллис» [Познер, Кан, Ургант 2011: 26].

Далее Владимир Познер и Иван Ургант начинают раскрывать символическое смысловое измерение статуи Свободы: «Очередь тех, кто желал попасть внутрь Мисс Либерти, растянулась на несколько сот метров. Мы все заметили, что американцы смотрят на эту леди влюбленными глазами, но еще не понимали, что мы являемся свидетелями лишь одного из проявлений американского патриотизма...» [Там же: 27]. В качестве разъяснения Владимир Познер и Иван Ургант приводят мнение одной известной американской киноактрисы, высказанное после 11 сентября 2011 года: «... если бы террористы взорвали статую Свободы, это было бы для нас хуже, чем то, что случилось с башнями-близнецами. Мы бы сошли с ума от горя и гнева» [Там же].

Авторы книги и фильма XXI века совершают четкое герменевтическое действие: ссылаются на собственную точку зрения американцев. В аналогичном случае Илья Ильф и Евгений Петров ограничились лишь своей собственной точкой зрения. Смешанная, гибридная перспектива, превращающая «чужое» в «свое», значительно усложняет картину, открывая дополнительные аспекты метакомпаративистики.

Отметив масштабы статуи и отдав дань ее символическому наполнению (идея американского патриотизма), походив вокруг «дамы» с факелом и отсняв «натуру», Владимир Познер и Иван Ургант «не проявили интереса к исследованию» ее внутренностей [Там же: 27—28].

Столкновение различных «ограничений» и «возможностей» видения и повествования о статуе Свободы усложняет и обогащает структуру дискурса. Дискурс предстает как процесс.

Понимание дискурса как процессуального феномена, как текста в контексте актуализирует определение известного голландского лингвиста Теуна ван Дейка: «Дискурс — это сложное коммуникативное явление, включающее кроме текста еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресанта), необходимые для понимания текста. <...> Речевой поток, язык в его

постоянном движении, вбирающий в себя все многообразие исторической эпохи, индивидуальных и социальных особенностей как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, в которой происходит общение» [Дейк 1989: 8—9]. Таким образом, статуя Свободы никогда не равна самой себе. В различных коммуникативных ситуациях леди Либерти меняется в зависимости от ситуации наблюдения, времени и местонахождения наблюдателя, момента и места наблюдения, его взглядов.

Итак, дискурс — лингвистическое и экстралингвистическое явление одновременно. Можно утверждать, что «дискурс» содержит элементы слитности самопротиворечивых частей. Представляется, что всякий дискурс наделен метакомпаративным потенциалом, если он сопоставляется с другими дискурсами, связанными при этом общим происхождением.

Диалог и конфликт разноприродных дискурсов с общей фактологической основой образует «неосинкретизм» современной культуры. Если в синкретическом единстве видов и жанров различных искусств, описанном А. Н. Веселовским, спецификация предвещала развитие различных видов искусств и их устойчивых структур, то в дискурсивном неосинкретизме в нерасчлененном виде присутствуют коммуниканты и коммуникативные ситуации.

У дискурсов всех типов совпадает структура: отправители и получатели информации, контекст, канал передачи информации, контакт, коды и шум [Якобсон 2015]. Дискурс — это перекрещивающаяся система отправляемых и получаемых сообщений, потенциально способных менять отправителей и получателей. Дискурс — это определенным образом организованный процесс коммуникации. Сопоставление процессов коммуникации в разных рядах — задача современной метакомпаративистики, исследующей культуру неосинкретизма.

Развивая и конкретизируя эти положения, можно заметить, что дискурс — это система взаимосвязанных текстов, ситуаций, событий и действующих лиц, входящих в коммуникативный ансамбль.

Все дискурсы содержат постоянные величины. Постоянные величины дискурсов — хронотоп (что-то всегда происходит где-то и когда-то), сообщение, передаваемое кем-то кому-то, действующие лица (что-то происходит всегда с кем-то), ряд кодов (кем-то где-то когда-то особым образом сообщается что-то о том, что случилось), контакт (где-то когда-то в определенный момент кто-то вступает в общение с кем-то), канал (где-то когда-то кто-то вступает в общение с кем-то каким-то определенным образом) и шум (где-то когда-то кто-то вступает в общение с кем-то каким-то определенным образом, но всегда возможны помехи при передаче информации).

Вместе с тем в названных дискурсах есть и переменные величины — конкретные действующие лица с их определенными именами, место и время (хронотоп), часто различающиеся в разных трактов-

ках. Конкретизация дискурсов, переход от анализа метаструктуры к интерпретации конкретных коммуникативных ансамблей переклюкает исследовательское внимание с постоянных величин на переменные.

Рассмотрим общеизвестный факт «Катынь», известный как феномен советской, польской, немецкой, общеевропейской и общемировой истории, политики, культуры, международного права...

В качестве объективного ядра исследуемых дискурсов можно выбрать трагические обстоятельства, связанные с расстрелом более двадцати тысяч польских офицеров весной 1940 г. в Катыни. Этот факт вошел в историю как «Катынский расстрел». Для анализа необходимо структурировать этот факт, выделив в нем:

топос — место, где произошло событие;

хронос — время, когда произошло событие;

агенс — субъекты ситуации, в случае с Катынским расстрелом — палачи;

пациенс — объекты ситуации, в случае с Катынской трагедией — жертвы.

Эти элементы можно оценить по нескольким критериям. Первый критерий связан с постоянным или переменным характером элементов. В нашем случае топос и пациенс являются постоянными, поскольку в исследуемых дискурсах топос (место трагических событий) и пациенс (жертвы расстрела — польские офицеры) отражены объективно и трудно искажаемы. С другой стороны, два оставшихся компонента могут быть определены как переменные, поскольку в зависимости от функциональной направленности (коммуникативной функции) дискурса они могут быть интерпретированы по-разному.

Известно, что расстрел польских офицеров в Катыни произошел в определенное время и определенном месте, и топоним «Катынь» — точно фиксирует место в пространстве. Если о месте расстрела споры практически не ведутся, то вопрос о времени и исполнителях остается открытым. Жертвы и место — величины постоянные. Время и организаторы расстрелов — в разных дискурсах переменные величины. Это подтверждает мысль о том, что разные дискурсы могут содержать различные интерпретации единого сюжета. Так, в различных трактовках расходятся время и исполнители «Катынского расстрела».

Рассмотрим «Катынский сюжет» в рамках метакомпаративистики. Этот сюжет представлен в историческом, политическом, юридическом, художественном дискурсах. Каждый из дискурсов обладает определенным набором признаков, описывающих «взаимоотношения» этого дискурса с реальностью.

Исторический дискурс показывает реальность с максимальной степенью достоверности (сознательно выносим за скобки случаи манипулирования исторической истиной). Достоверность исторического изложения определяется опорой на исторический факт через

описание (референцию) архивных документов, вещественных доказательств, использование свидетельств очевидцев, отсылки к мемуарам. Неслучайно важным компонентом исторического описания (анализа, изложения) является источниковая база (документы).

Взаимоотношения политического дискурса с реальностью более опосредованные и предполагают изложение версии исторического факта. Политический дискурс конструирует реальность, порождая политическую интерпретацию, порой весьма отдаленно связанную с реальным ходом событий.

Художественный дискурс «работает» с объективной реальностью «по-своему», пересоздавая исторический факт. В данном случае мы имеем дело с художественной интерпретацией.

Во всех упомянутых дискурсах не приходится говорить о зеркальном отражении реальности, да это, по сути, и невозможно. Однако для последних двух дискурсов — политического и художественного — действует принцип деформации явлений действительности, что абсолютизирует незеркальное отражение реальности как единственно возможное.

Специально отметим, что в каждом из дискурсов есть свои «зоны переходности». В художественном дискурсе есть зоны политического, в политическом дискурсе есть зоны художественного и т. д. Зоны переходности выявляются с особой ясностью при метакомпаративном подходе. Они содержат метакомпаративный потенциал, когда граница не только ограничивает, но и открывает возможности для интерпретации дискурсов.

В разных дискурсах возникают различные интерпретации. Если художник — условно свободен, а в художественном дискурсе — конструирование реализует сцепление историй, сюжетов и фигур, которые в реальности разрознены, то политик ограничен политической целесообразностью / идеологической рамкой / политической установкой / сверхзадачей. Политический дискурс конструируется с использованием правил и технологий, активно изучаемых политической наукой.

Мы наблюдаем конструирование и в политическом, и в художественном дискурсах, но конструирование дискурсов осуществляется по разным правилам, хотя генезис у них общий. Сопоставление смыслов сходных вещей в дискурсах разной природы — фундаментальный вопрос метакомпаративистики.

Конспективно проиллюстрируем высказанные положения. В результате раздела Польши (сентябрь 1939 г.) на оккупированной советскими войсками территории оказалось значительное количество польских военных, арестованных и заключенных в военные лагеря. Весной 1940 года произошли массовые убийства в основном пленных офицеров польской армии, по всей видимости осуществленные сотрудниками НКВД СССР.

Исторический дискурс, описывая реальность, обращается к архивным документам, вещественным находкам, данным различных независимых научных экспертиз (постановление Политбюро от 5 марта 1940 г., материалы экспертиз проведенной эксгумации, экспертизы извлеченных пуль и прочее). К примеру, обнаружение на месте трагедии исключительно патронов немецкого производства долгое время толковалось как аргумент в пользу версии расстрела поляков немецкими оккупантами. Однако в настоящее время исторический дискурс опирается на свидетельства и доказательства того, что такие патроны использовались в пистолетах фирм «Вальтер» и «Маузер», применявшихся сотрудниками НКВД.

Говоря о политическом дискурсе, необходимо помнить, что предназначение политического дискурса — не просто «описать (то есть не референция), а убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к действию» [Маслова 2008: 43—48]. Сложность политического дискурса состоит в его «множественности» — порожденных интерпретаций может быть несколько, причем их количество может со временем увеличиваться, а содержание меняться. Упомянем лишь вкратце существовавшие политические дискурсы, конструирующие сюжеты Катинской трагедии.

Одним из первых появился германский (военный) дискурс, который возник после проведения экспертизы 1943 г. и интерпретировал произошедшие в Катини события как расстрелы, произведенные НКВД весной 1940 г. Политизация дискурса позволяла выстраивать обвинительную линию поведения и использовать технологии дискредитации противника. В свою очередь, Советский Союз полностью отрицал свою причастность к происшедшему.

Конструирование советского политического дискурса относится к военному времени (начиная с декабря 1941 г.) и продолжается весь советский период. Комиссия Николая Бурденко (1944 г.), проведя экспертизу, заключила, что польские военные были расстреляны в Катини в 1941 г. у немецкими оккупационными войсками. Это заключение легло в основу официальной точки зрения в СССР и странах Варшавского договора вплоть до 1990 г. Так, мы наблюдаем конструирование дискурса в части хроноса при полном совпадении топосов, а также конструирование агенса (виновников трагедии).

Конструирование польского политического дискурса осложнялось отсылками к «новой» Польше и «старой» Польше. «Новая» Польша воссоздавала советский политический дискурс, в то время как «старая» Польша транслировала иную (оппозиционную) точку зрения.

В 1990 г. появляется собственно российский политический дискурс о Катинской трагедии, появляются официальные тексты о вине НКВД, хронотоп отодвигается с 1941 г. в 1940-й. 26 ноября 2010 г. Госдума России приняла заявление «О Катинской трагедии и ее

жертвах». Российский политический дискурс сблизился с историческим дискурсом.

Примером художественного дискурса является фильм Анджея Вайды «Катынь». Литературная основа фильма — повесть Анджея Мулярчика «Post Mortem — Катынская повесть» (лат. *Post Mortem* 'после смерти').

Художественный дискурс потенциален, динамичен, неустойчив (диссипативен). Он совершает акт «обратного перевода», рассматривая факты в аспекте возможности. Следовательно, интерпретация ряда событий подразумевает их возвращение в сферу динамики и процессуальности. Снятие материальной завершенности и окончательности есть не что иное, как диалогизация процесса. Превращение исторического ряда в художественный дискурс отменяет всевластие общеизвестных фактов, открывая потенциальность истории. В основе художественного дискурса, как правило, лежит сдвиг, смещение, деформация чего-то данного и общеизвестного. Художественная информация возникает как результат смещения, сдвига.

Доминантная коммуникативная функция художественного дискурса может быть определена как экспрессивно-прогностическая. Любой элемент художественного дискурса может подвергнуться символизации, выступить частью, замещающей целое. Такова, например, разбитая могильная плита в фильме А. Вайды «Катынь» (2006—2007), которую героиня по имени Агнешка привозит на кладбище и устанавливает в память о брате Петре, польском пилоте. «За кадром» остаются споры историков о датировке Катынского расстрела: апрель 1940-го или июнь 1941-го? Принципиальное расхождение польского, немецкого и советского исторических и политических дискурсов выступает как зона построения художественного дискурса в фильме А. Вайды «Катынь».

Польская точка зрения на Катынский дискурс в плане хронотопа (времени-пространства) совпадает с немецкой. Генезис этого дискурса польский режиссер А. Вайда истолковывает иначе, нежели история и медицина Третьего рейха. Однако место, время и действующие лица в этих трактовках совпадают. Польская историография рассматривает в одном ряду фашизм и сталинизм. Гитлер и Сталин — агрессоры, с разных сторон напавшие на Польшу. Генезис Катынского дискурса выступает как его интерпретация.

Система сопоставимых дискурсов, возникающих на основе общего сюжета, по самой своей природе метакомпаративна. Метакомпаративистика при этом предстает как методология, направленная на сопоставление дискурсов разного типа. Объектом сопоставления являются доминантные коммуникативные функции различных дискурсов. Зоны несовпадений разнонаправленных исторического и политического дискурсов могут порождать зазоры, расхождения, ограничения. Художественный дискурс о Катыни или статуе Свободы возникает в зонах смысловой неопределенности, нелинейности,

турбулентности исторического, политического, художественного, медицинско-го, юридического и иных дискурсов. Взаимоналожение дискурсов с последующим конфликтом — порождающее условие художественности. Смысловое «возмущение» на границах создает потенциал неопределенности и неоднозначности. Рациональность как основа информации релятивируется. Из информации рождается знание и художественное познание. Художественная основа научного знания также возникает на границах смысловых областей, порождая научные метафоры как знаки нелинейного постижения общего смысла.

Метакомпаративная германистика является зоной, потенциально способной вместить в себя любое множество разнонаправленных дискурсов, объединенных при этом единой фактологической основой.

Основной задачей метакомпаративного исследования является выявление системы сходств и различий дискурсов. В метакомпаративной германистике, как и в метакомпаративистике как таковой, сходства и различия — многоуровневый феномен, требующий системного междисциплинарного анализа.

Иногда «быстрейшие ассоциации» «упоминательной клавиатуры» (О. Э. Мандельштам) — свидетельства банальной образованности массовой культуры — отходят на второй план, позволяя прислушаться к «ответам», переключкам и резонансам целостного бытия.

Метакомпаративная германистика — это компаративистика дискурсов, связанная с их коммуникативными ограничениями и возможностями. Разноприродные дискурсы метакомпаративной германистики, возникающие вокруг общего фактологического ядра, порождают пограничные зоны культуры с высокой смысловой турбулентностью. Такова культура современного неосинкретизма, основанная на стирании границ.

Литература

- Блок 1936 — *Блок А.* Искусство и революция (По поводу творения Рихарда Вагнера) // *Блок А.* Собр. соч.: В 12 т. Т. 8. М.; Л., 1936. С. 62. (Цит. по: *Лосев А. Ф.* Исторический смысл эстетического мировоззрения Рихарда Вагнера // *Вагнер Р.* Избранные работы. М.: Искусство, 1978).
- Греймас, Курте 1983 — *Греймас А. Ж., Курте Ж.* Семиотика. Объяснительный словарь / Сост., вступит. статья и общ. ред. Ю. С. Степанова. М., 1983. С. 493.
- Дейк 1989 — *Дейк Т. А. ван.* Язык, познание, коммуникация. М., 1989. С. 8—9.
- Ильф, Петров 2010 — *Ильф И., Петров Е.* Одноэтажная Америка. 1935—1936. М.; Владимир, 2010. С. 16.

- Маслова 2008 — *Маслова В. А.* Политический дискурс: языковые игры или игры в слова? // Политическая лингвистика. Вып. 1 (24). Екатеринбург, 2008. С. 43—48.
- Познер, Кан, Ургант 2011 — *Познер В., Кан Б., Ургант И.* Одноэтажная Америка. М., 2011. С. 26.
- Тахо-Годи 1993 — *Тахо-Годи А. А.* Алексей Федорович Лосев // *Лосев А. Ф.* Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 18.
- Якобсон 2015 — *Якобсон Р.* Лингвистика и поэтика [Электронный ресурс] // <http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-lp.htm> (Дата обращения: 31.05.2015).
- Haupt 2013 — *Haupt S.* Interdisziplinäre Meta-Komparatistik // *Handbuch Komparatistik. Theorien, Arbeitsfelder, Wissenspraxis* / Hg. v. R. Zymner, A. Hölter. Stuttgart; Weimar, 2013. S. 234.
- Salten 1931 — *Salten F.* Fünf Minuten Amerika. Berlin; Wien; Leipzig, 1931. S. 19—21.

ZUSAMMENFASSUNG

Metakomparative Germanistik: Problemstellung

Der Aufsatz behandelt die Genese der germanistischen Metakomparatistik. Als solche wird die Komparatistik auf der Metaebene verstanden. Diese Komparatistik befasst sich mit dem Vergleich von Komparatistiken verschiedener Teilgebiete.

Н. БАКШИ

(Российский государственный гуманитарный университет)

ОТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИИ

«Компаративистика вне языковых различий. Сравнительное литературоведение внутри одного языкового пространства.

К концепции компаративистики лингвогетогенных литератур»

В октябре 2015 г. в РГГУ состоялась Международная конференция по теме «Komparatistik ohne Sprachdifferenz / Компаративистика вне языковых различий. К концепции компаративистики лингвогетогенных литератур», организованная кафедрой германской филологии им. Томаса Манна.

Коллеги были приглашены к размышлениям о предмете исследования компаративистики, который традиционно определяется через языковое различие исследуемых текстов. Однако подобное ограничение исключает возможность компаративистики англоязычного, немецкоязычного, франкоязычного и испаноязычного пространства. Эта позиция, представленная прежде всего французской компаративистикой, претерпела в последние годы некоторые модификации. Так, например, постколониальные исследования расширили область компаративистики, обращаясь к различиям культурных формаций стран-колонизаторов и бывших колоний при наличии единого языка. Однако главный вопрос, волновавший участников конференции, заключался в том, является ли язык ключевым фактором в случае стран, не связанных колониальными и постколониальными отношениями, стран, которые связаны одним языком, но являются различными политическими и культурными пространствами, при этом близки друг другу территориально. Достаточно ли для компаративных исследований самоописания различных культурных формаций в рамках одной языковой области, насколько возможна и плодотворна компаративистика немецкоязычного пространства (Германия, Австрия, немецкоязычная Швейцария, Люксембург). В диахронном аспекте главный вопрос заключался в том, с какого момента самоосмысление и описание культурных особен-

ностей страны становится достаточным для выделения отдельной литературной системы. Куда в этой связи относится литература европейского фашизма или литература ГДР. Как соотносятся литературная и культурная компаративистика.

Для обсуждения подобных проблем компаративистики и германистики неслучайно была выбрана именно Россия, поскольку в России сложилась модель германистики, характерная для зарубежной германистики в целом. В то время как немецкая германистика отказывается австрийской, швейцарской и люксембургской литературе в статусе отдельной национальной литературы, Швейцарии и Австрии удается создать за рубежом истории собственных национальных литератур, не в последнюю очередь благодаря культурной политике за рубежом и таким культурным организациям, как «Про Гельвеция» и «Австрийский культурный форум».

Кроме того, именно в России была создана традиция исследований национальной литературы, рассматриваемой сквозь призму компаративистики.

В конференции приняли участие филологи-компаративисты из Германии, Австрии, Швейцарии, Греции и России. В своем вступительном докладе я обозначила основные проблемные поля и возможности компаративистики внутри одного языкового пространства, а также особенности развития компаративистики внутри немецкоязычного пространства. Прежде всего, необходимо было определить взаимоотношения между сравнительным литературоведением и культурной компаративистикой. В 1993 г. Сюзан Баснет провокационно заявила, что сравнительное литературоведение мертво, а возродить его может только связь с культурологией, переводоведением и гендерными исследованиями. Параллельно с Баснет свой доклад сделал Чарльз Бернхаймер (на основании которого в 1995 г. вышла книга "Comparative Literature in the Age of Multiculturalism"), где он задается вопросом о возможности обновления сравнительного литературоведения с помощью культурологии и дискурсивного анализа. Интердисциплинарность, контекстуализация и мультикультурализм должны войти в обиход компаративистики, а статус литературного текста как привилегированного объекта исследования должен быть пересмотрен, считает Бернхаймер. Этот момент можно считать точкой отчета в сложных взаимоотношениях сравнительного литературоведения и культурологии, текста и культуры, причем зачастую в этих взаимоотношениях происходит маргинализация литературы.

Проблема взаимодействия компаративистики и культурологии (возникшая в конце 1940-х гг.), одна из наиболее актуальных в настоящий момент, усугубилась в 1990-х гг. прошлого века в связи с осмыслением феномена мультикультурализма. Мультикультурализм, как известно, повлек за собой проблематизацию идеи национальной филологии, когда в одной стране стали развиваться гибридные

в языковом и культурном плане литературные формы. Проблема эта продолжает оставаться открытой и неразрешимой по сей день.

С одной стороны, делаются попытки найти баланс между культурологией и литературной компаративистикой. Так, немецкий литературовед Моника Шмиц-Эманс примирительно пишет о том, что литературное произведение, будучи несомненно выражением своего времени и культуры, не должно этим исчерпываться [Schmitz-Emans 2001: 251]. Литературоведение не должно забывать о предмете своего исследования, разнящемся с предметом исследования культурологии. Хотя литературные тексты бесспорно являются частью культурологических и исторических исследований, они тем не менее не являются только объектами этих исследований и несут иную эстетическую ценность сами по себе, чем, собственно, и занимается литературоведение. Джеффри Хартманн (Георг Штайнер и проч. представители автономной эстетики) идет дальше, считая, что культурология и литературоведение преследуют прямо противоположные цели. Если культурология осмысляет любую культуру как некий порядок и именно в этом смысле размышляет о культурных кодах, то литература как раз взрывает этот порядок, борется с ним, чем, собственно, в первую очередь и интересна, то есть литература является местом размышления о культуре и тем самым ставит монолитный и самодовольный культурализм под сомнение.

Другая важная, хоть и менее очевидная проблема — это ответственность литературной компаративистики за текстовую репрезентацию мультикультурных и межкультурных реальностей независимо от языков. Еще в 1949 г. американский компаративист Рене Уэллек издает совместно с Остином Уорреном «Теорию литературы», где задается вопросом, являются ли литературы, написанные на одном языке, объектом исследования литературной компаративистики:

Судить о национальном своеобразии особенно сложно в тех случаях, когда необходимо определить, являются ли национально различными литературы, создающиеся на одном и том же языке, как, например, несомненно ими являются по сравнению с английской американская и современная ирландская литературы.

Не так просто ответить на вопрос, почему Голдсмит, Стерн и Шеридан не принадлежат, в отличие от Иейтса и Джойса, ирландской литературе. Или: являются ли самостоятельными литературами бельгийская, швейцарская, австрийская? Да и вопрос о том, когда литература, создававшаяся в Америке, перестала быть колониальной английской и стала национально самостоятельной, таит в себе значительные сложности. Явилось ли отделение от английской литературы простым следствием обретенной политической самостоятельности? Или оно произошло по мере укрепления национального чувства у самих писателей? Или все дело в становлении национальной тематики и местного колорита? Или же речь нужно вести о фор-

мировании литературного стиля, отмеченного ярко выраженными национальными чертами?

Лишь дав ответ на все эти вопросы, мы сможем создать истории национальных литератур, где основой будут служить не одни лишь соображения географического и лингвистического характера [Уэллек, Уоррен 1978: 73].

Эта проблема, важная для англоязычного пространства, не находила и до сих пор не находит отклика во французской компаративистике, которая в лице Ангелики Корбино-Гофман (во «Введении в компаративистику» в 2004 г.) определяет компаративистику как сравнительную науку о литературе в ее чуждых контекстах, но при этом исключает литературы, написанные в разных странах, но на одном языке, что, по ее мнению, является компаративистикой внутри моноязычного пространства и не имеет никакого смысла. Интересно, что для исследовательницы не стоит вопрос о том, является ли это компаративистикой или нет. Она не отрицает очевидного факта, что это компаративистика, но отказывает ей в каком-либо смысле, то есть смыслообразующим началом компаративистики, по ее мнению, является исключительно язык.

Своеобразная ситуация складывается в немецкоязычном пространстве.

Хотя общеизвестным является тот факт, что именно Вторая мировая война послужила основным толчком для выделения в самостоятельные национальные литературы Австрии и Швейцарии¹, тем не менее немецкое литературоведение при изучении послевоенной литературы исходит из общего немецкоязычного пространства, в то время как австрийское литературоведение рассматривает только свою национальную литературу этого периода, а швейцарское литературоведение утверждает, что литературы как таковой в Швейцарии на этот период не было. В различных культурных пространствах по-разному складывалась и филологическая наука: в то время как в Австрии наблюдалось возвращение к национальным текстам и соответствующему национальному канону, создавалась и утверждалась австрийская, а не немецкоязычная история литературы, а в Швейцарии не существовало ничего другого, кроме национальной истории литературы, немецкая германистика оказалась перед сложным вопросом, нужно ли ей продолжать традицию немецкоязычно-

¹ Учебники по австрийской и швейцарской литературе после войны, прим.: *Nadler J.* Literaturgeschichte Österreichs. 1948; *Matejka V.* Was ist österreichische Kultur? Vortrag, gehalten in Wien am 25. Juli 1945. Selbstverl.; *Fischer E.* Die Entstehung des österreichischen Volkscharakters // Neues Österreich, Zeitungs- u. Verl.-gesellschaft; *Bonjour E.* Geschichte der schweizerischen Neutralität, drei Jahrhunderte eidgenössischer Aussenpolitik. Basel, 1946; *Ernst F.* Helvetia mediatrix, 1945; с 1945 г. начинают издаваться Schweizer Heimatbücher, Schweizer Lexikon (1945—1948).

го литературоведения. В русле осмысления последствий Второй мировой войны стоило признать за Австрией и Швейцарией право на национальные истории литературы, однако в этом случае необходимо было бы придерживаться сложно обоснованной немецкой традиции по остаточному принципу, что могло бы быть снова истолковано как шовинизм. Эта политически тупиковая ситуация была «разрешена» вытеснением данной проблематики и продолжением немецкоязычной традиции. Тем самым, однако, была создана ситуация, при которой в Германии едва ли могла возникнуть и развиваться компаративистика немецкоязычного пространства. Об этом свидетельствуют различные истории литературы, написанные после 1945 г.

Исключение представляет собой двухтомная «История немецкоязычной литературы с 1870 по 1918» Петера Шпренгеля (1998 г.), в которой по каждому роду литературы даны подглавы по Швейцарии, Австрии и Германии. Однако в предисловии этому дано крайне неудовлетворительное обоснование: «Подборка швейцарских, австрийских и немецких авторов в зависимости от их происхождения — в определенном смысле рудиментарная и компромиссная попытка учесть различия государственных общностей и национальной идентичности» [Sprengel 1998: XVI]. Шпренгель считает, что процесс выработки идентичности в исследуемый им период только начался, поэтому выделять отдельно три разные истории литературы не имеет смысла. Интересно, что Рене Уэллек в 1949 г. в своем отрицании только лишь географического критерия отбора идет намного дальше, чем немецкий германист в 1998 г.

Литературовед Бернд Тум (Bernd Thum, 1993) в статье для сборника, посвященного известному польскому германисту Норберту Хонсе (Honsza), кратко определяет поле деятельности национальной германистики: «Национальная германистика, как и “интернациональная германистика”, занимается культурным, языковым, литературным и историческим многообразием в немецкоязычном пространстве. Тем самым она заостряет свое внимание на внутрикультурных различиях и соответствиях» [Thum 1993: 336]. Здесь, как мы видим, отсутствует даже намек на возможность компаративного подхода, поскольку межкультурные явления заведомо определяются как внутрикультурные.

Характерную для немецкой германистики точку зрения представляет профессор Кельнского университета Норберт Мекленбург (1985), сводя литературу Австрии и Швейцарии к региональному измерению немецкой литературы и упрекая германистов в «благоговении перед незначительным», что грозит превратить германистику в «науку о неважном и незаслуживающем внимания» [Mecklenburg 1985: 202]. Тем самым Мекленбург отрицает продуктивность компаративного подхода внутри германистики, сводя своеобразие национальных литератур Австрии и Швейцарии к регионализму.

Так же плачевно обстоят дела и в среде немецких компаративистов. В немецком литературоведении фактически отсутствуют работы по германистской компаративистике, то есть компаративистике внутри немецкоязычного пространства. В 1993 г. был собран крупный симпозиум немецкого исследовательского фонда DFG по проблемам германистики и компаративистики, материалы которого были опубликованы в 1995 г. [Germanistik und Komparativistik 1995]. В рамках симпозиума обсуждались следующие пункты: установление германистики и компаративистики в момент перехода от коммуникации ученых к дисциплинарной коммуникации; «национальная(ые) литература(ы)» и «мировая литература» как исходные точки германистики и компаративистики; спор о «национальной или сравнительной истории литературы» в контексте смены парадигмы классически-гуманистического на национальное образование; конкретные методологические проблемы в поле взаимодействия германистики и компаративистики. Однако ни один из авторов не тематизирует проблемы компаративистики внутри немецкоязычного пространства.

В 2013 г. в издательстве Мецлера выходит «Лексикон компаративистики» под редакцией ведущих современных компаративистов Рюдигера Цимнера и Ахима Хельтера, в котором этой проблематике уделено в рамках темы «компаративистика и мультикультурализм» одно предложение, и то в имплицитной форме, в связи с упоминанием Рейнгольда Герлинга. Герлинг считает, что компаративистика признает существование на границе как признак культурного начала и место артикуляции различий в каждой культуре. Предполагается, хотя и не упоминается напрямую, что язык в данном случае не так важен. Кроме того, эта тема поднимается в традиционном для нее разделе о регионалистике и компаративистике, где констатируется, что отсутствие интереса к компаративистике в рамках одного языка связано с происхождением авторов исследования и что восточноевропейские филологи уделяют этой проблематике больше внимания, чем все остальные.

И действительно, совершенно иначе к компаративному аспекту внутри германистики относятся зарубежные германисты. Словацкий германист Дионис Дюришин (Dionuz Ďurišin) и вслед за ним восточнонемецкий германист Клаус Пецольд указывают на комплекс немецкоязычных литератур современности как особую специфическую форму «межлитературных общностей» (interliterarischen Gemeinschaften). При восприятии литературы внутри немецкоязычного пространства не стоит языковая проблема благодаря общности языка, однако стоит проблема восприятия литературного произведения в ином культурном пространстве, с иной эстетической и общеидеологической установкой, и ориентации на иное немецкоязычное культурное пространство, что особенно характерно для Швейцарии, считает Дюришин.

Особое место в зарубежной германистике занимает российское литературоведение в лице В. Жирмунского, А. Михайлова, Н. С. Павловой, а также В. Д. Седельника, К. Азадовского, А. И. Жеребина. Михайлов, как и сербский германист Константинович, ставит национальные литературы в контекст мировой литературы, отмечая их контрапунктивно-сложные взаимоотношения. Объясняя в 1990 г. в Марбахе немцам особенности русской германистики и компаративистики, Михайлов подчеркивал, что науку в России понимают как единое целое и потому особенно ценят интердисциплинарность. В России нет «только-германистов» (Nur-Germanisten), а есть «также-германисты» (Auch-noch-Germanisten), которые занимаются собственно исследованиями мировой литературы. Русская филологическая наука была изначально ориентирована на компаративистику, что нашло отражение в исторической поэтике Веселовского. «Только-германисты», по мнению Михайлова, в России выжить не смогут, будущее есть только у «также-германистов». Разделение немецкоязычного пространства на австрийскую, швейцарскую и немецкую литературы было для Михайлова естественным, поскольку русская германистика вслед за Веселовским опиралась не на объединяющий все три страны язык, а на их культурные различия. Не случайно его программная книга, вышедшая после его смерти, называется «Языки культуры», то есть то, что он описывает, по сути было культурной компаративистикой.

На этом фоне становится понятно, почему культурная политика «Австрийского культурного форума» и «Про Гельвеции» нашла для себя в России плодотворную почву. Между 2002 и 2005 гг. при поддержке «Про Гельвеции» выходит 3-томная «История швейцарской литературы». В предисловии к ней Павлова пишет, что, в отличие от немецкой германистики, эта история построена по особому, сравнительному принципу, в ней не просто по очереди описываются четыре различных региональных литературы. Они соплагаются в каждом разделе, посвященном определенной культурной эпохе.

В 2009—2010 гг. при поддержке «Австрийского культурного форума» выходит 2-томная «История австрийской литературы XX века», где издатели Ю. Архипов и В. Седельник в предисловии пишут, что существование отдельной австрийской литературы с позиции внешнего наблюдателя находится вне всякого сомнения. Австрийская литература понимается ими как особый феномен в «немецкой межлитературной общности» [История австрийской литературы XX века 2009: 12].

Именно взгляд со стороны очень важен для самоутверждения австрийской литературы в немецкоязычном пространстве, что сознательно поддерживают культурные фонды. В 2012 г. при поддержке «Австрийского культурного форума» Варшавы в Познани выходит «Краткая история австрийской литературы» Стефана Кашинского (Stefan Kaszyński), которая при поддержке ÖAD и снабженная предиди-

словием руководителя ÖAD Арнульфа Кнафля в том же году выходит на немецком языке. Кнафль подчеркивает важность взгляда со стороны и рекомендуют книгу как пособие для преподавания истории литературы в университете. В качестве методологической основы Кашински берет постколониальный дискурс, рассматривая образование австрийской литературы как «процесс колонизации и деколонизации». Таким образом, австрийский культурный код возникает в результате попеременной смены ассимиляции и транскulturации.

Подытоживая свое выступление, я предложила решить проблему различных культурных пространств Германии, Австрии и Швейцарии не субстанциально, как это делалось в рамках этнографии, этнопсихологии или отчасти в истории, социологии и, наконец, культурологии, а с помощью дискурсного анализа. То есть предлагается не исследовать вопрос о том, являлись ли Австрия и Швейцария по отношению к Федеративной Республике Германии инокультурным пространством, а рассматривать, насколько их можно дискурсно определять как инокультурные. Тем самым устраняются противоречия между культурной и литературной компаративистикой, поскольку областью исследования в дискурсном анализе являются тексты, и не в последнюю очередь литературные тексты. Именно дискурсный анализ кажется мне наиболее плодотворным для выявления культурной специфики текста.

Профессор университета в Фессалониках Эльке Штурм-Тригонакис предложила новую теоретическую базу для различных типов компаративистики, разделив ее на интралингвальную и интерлингвальную. Интерлингвальная компаративистика изучает тексты, созданные в одном государстве с двумя или большим количеством языков (Испания, Нигерия, Индия), интралингвальная (транснациональная) компаративистика занимается текстами на одном языке, созданными в различных государствах (английскими, испанскими, португальскими, немецкими). Соответственно, каждая из них связана со своими методами и теоретическими положениями.

О немецкой литературе в контексте мировой литературы, а также различиях в понимании мировой литературы в Европе и Америке говорил в своем докладе профессор Университета Бохума Петер Госсенс. По мысли докладчика, процесс взаимодействия национальных литератур и мировой литературы складывается сложным образом. Включение определенного произведения национальной литературы в мировую литературу — это процесс культурного взаимодействия и канонизации. Однако и национальные традиции и контексты формируют определенные референциальные рамки, которые позволяют раскрыться артефакту мировой литературы. Госсенс задается вопросом, какую роль играет определенная национальная культурная традиция в современном транснациональном литературном дискурсе в США, как влияет ярко выраженный транснациональный дискурс американской компаративистики на German

studies, считают ли они себя хранителями определенной маргинальной традиции национальной литературы или же видят свою задачу в филологическом прорыве редуccionистской транснациональной модели.

Профессор Венского университета Ахим Хельтер, сравнивая различные истории литератур, задается вопросом, с какого момента можно научно обоснованно говорить о различных языках и какие различия возможны внутри одного языкового пространства. Хельтер приходит к выводу, что национальная история литературы ориентируется не на государственные границы, а прежде всего на национальный язык. Так, в основном издаются «Истории немецкой литературы», но не «Истории литературы Германии», что, пусть имплицитно, подразумевает не государственность, а язык. Не существует мультилингвальных историй литератур и почти нет мультикультурных историй литератур, то есть национальная точка зрения, несмотря на все глобалистические тенденции, остается доминантной. Исходя из анализа опытов литературной историографии, Хельтер приходит к выводу, что сравнительное описание различных культурных областей монолингвального пространства является большим исключением, то есть это отдельная возможная область компаративистики, которую можно было бы назвать «внутренняя компаративистика» (Binnenkomparatistik).

О политической функции первых кафедр сравнительного литературоведения в Германии, Швейцарии и Австрии после Второй мировой войны, о культурно-политических интересах, связанных с этими кафедрами, сообщил профессор РГГУ Дирк Кемпер. Так, в Майнце это была французская идея единой Европы, которую необходимо было проводить в рамках программы «перевоспитания». В Цюрихе рассчитывали на модернизацию «духовного гельветизма» (или духовной защиты родины) и ее расширения до европейских масштабов. В Инсбруке доминировали интересы культурной политики в вопросе Южного Тироля.

Профессор Венского университета Винфрид Кригледер и профессор Университета Берна Петер Рустерхольц описали проблемы германистики внутри немецкоязычного пространства с позиций австрийской и швейцарской германистики. По мнению австрийского исследователя Винфрида Кригледера, немецкие историки литературы начиная с XIX в. создали определенную парадигму сменяющих друг друга литературных эпох, с помощью которых наиболее четко прослеживается расцвет немецкой литературы от Просвещения, через «Бурю и натиск», к немецкой классике. Литературному расцвету соответствует политический расцвет, вершина которого приходится на 1870—1871 гг. Однако австрийскую литературу невозможно описать в парадигме, разработанной для немецкой литературы. Поскольку данная схема является доминирующей, австрийскую литературу описывают в апофатических категориях: отсутствие бури

и натиска, отсутствие классики, отсутствие романтизма и т. д. В противовес этому Кригледер предлагает иную парадигму эпох, при которой австрийская литература оказывается соотнесена на равных как с немецкой, так и с прочими европейскими литературами.

О взаимоотношениях английской и американской литератур общила профессор кафедры СИЛ РГУ О. И. Половинкина. Заведующая кафедрой русской литературы профессор Д. М. Магомедова описала взгляд изнутри и извне на литературу Серебряного века, вписав тем самым русскую литературу в проблемное поле компаративистики внутри одного языкового пространства. Завершили конференцию два доклада, профессора Бохумского университета Моника Шмиц-Эманс и профессора РГПУ им. А. И. Герцена А. И. Жеребина, о сложных взаимоотношениях поэтики единичного автора с понятием национальной литературы. На примере «Франкфуртских лекций» Моника Шмиц-Эманс подробно рассмотрела позиционирование отдельных авторов в немецкоязычном пространстве, показав, насколько важна для них национальная принадлежность, насколько они ощущают себя наследниками и актерами немецкой, австрийской или швейцарской литературы, а также насколько до 1989 г. важна для творческой позиции автора его принадлежность к западно- или восточногерманской литературе. А. И. Жеребин обратился к творчеству Гуго фон Гофмансталя и его пародийному разделению австрийской и прусской идентичностей.

В заключительной дискуссии все участники сошлись на необходимости выработки новой методологии, позволяющей включить компаративистику лингвогетерогенных литератур в качестве важной составной части в общую компаративистику.

Литература

- История австрийской литературы XX века 2009 — История австрийской литературы XX века. М.: Языки славянской культуры, 2009.
- Уэллек, Уоррен 1978 — *Уэллек Р., Уоррен А.* Теория литературы. М.: Прогресс, 1978.
- Germanistik und Komparatistik. DFG-Symposion 1993 — Germanistik und Komparatistik. DFG-Symposion 1993 / Hg. v. H. Birus. Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1995.
- Mecklenburg 1985 — *Mecklenburg N.* Literaturräume. Thesen zur regionalen Dimension deutscher Literaturgeschichte // Das Fremde und das Eigene. Prolegomena zu einer interkulturellen Germanistik / Hg. v. A. Wierlacher, München: iudicium verlag, 1985. S. 197—211.
- Schmitz-Emans 2001 — *Schmitz-Emans M.* Lektüren und Kulturen. Aspekte des Dialogs zwischen Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft // Theory Studies? Konturen komparatistischer Theoriebil-

dung zu Beginn des 21. Jahrhunderts / Hg. v. B. Burtscher-Bechter u. M. Sexl. [Comparanda. Literaturwissenschaftliche Studien zu Antike und Moderne, Bd. 4]. Innsbruck u.a. (STUDIEN-Verlag) 2001. S. 245—261.

Thum 1993 — *Thum B.* Entwicklungen der interkulturellen Komponente in der Muttersprachengermanistik. Fachliche Bedingungen, Perspektiven, Möglichkeiten // Im Dialog mit der interkulturellen Germanistik. / Hg. v. H.-C. V. Nayhauss, K. Kuczyński, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993. S. 317—344.

ZUSAMMENFASSUNG

Konferenzbericht: “Vergleichende Literaturwissenschaft innerhalb eines Sprachraums — Zur Konzeption einer Komparatistik sprachlich homogener Literaturen”

Die komparatistische Konferenz zum angegebenen Thema fand im Oktober 2015 an der RGGU Moskau statt. Sie ging der Frage nach, ob ein komparatistischer Vergleich von Literaturen, die in einer gemeinsamen Sprache, aber in unterschiedlichen Länder bzw. Kulturräumen entstanden sind, methodologisch möglich und hermeneutisch sinnvoll ist. Dabei ging es vor allem um Länder mit gemeinsamer Sprache, die nicht kolonialgeschichtlich mit einander verbunden waren und sich entsprechend in keinem postkolonialen Verhältnis befinden (im Kern: Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg). Die zentrale Fragestellung des Tagungskonzepts lautete: Kann die Differenz der Selbstbeschreibungen unterschiedlicher kultureller Formationen ein und desselben Sprachgebiets die Funktion der Sprachdifferenz so übernehmen und ersetzen, dass beispielsweise eine Komparatistik des deutschsprachigen Raums erkenntnisfördernd erscheint? Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Griechenland und Russland haben dazu unterschiedliche theoretische Ansätze vorgeschlagen.

Б. А. ДЮБО

(Санкт-Петербургский академический университет РАН)

**АКСЕЛЬ ОКСЕНШЕРНА, НЕХАРИЗМАТИЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРСОНАЖ И ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ
ЧЛЕН ЯЗЫКОВОГО ОБЩЕСТВА**

В период Тридцатилетней войны (1618—1648) немецкий язык был искажен, извращен, обезображен [ср. Krause 1855: 95]. Патриотически настроенные немцы, прежде всего члены языковых обществ, считали необходимым очищение языка от заимствований и диалектизмов. Самое первое и самое значительное немецкое лингвистическое общество эпохи барокко «Плодотворное общество» (далее «ПО»), основанное в 1617 г., было полно устремлений к установлению мира на немецкой земле, много внимания оно уделяло научному изучению языка, работе по его унификации, созданию грамматик и словарей. Одним из членов «ПО» был шведский канцлер Аксель Оксеншерна, главнокомандующий в немецких землях. Статья посвящена этой исторической личности.

Видимо, следует избегать преувеличений и искажений, вызванных стереотипами о культурном упадке во время Тридцатилетней войны. Уникальность ситуации в истории немецкого языка состояла в том, что именно в эти годы появилось много литературы о языке. Как раз в 1618 г., в год начала войны, вышла первая немецкая грамматика на немецком языке Иоганна Кромайера (Johannes Kromayer, 1576—1643). Затем немецкие грамматики и орфографические справочники хлынули потоком, несмотря на боевые действия, эпидемии, голод и нужду, вызванные войной: J. Brückner (1620), J. Werner (1629), T. Olearius (1630), H. Buscher (1634), Ch. Gueintz (1641, 1645), J. G. Schottelius (1641) и многие другие. Выражение «когда говорят пушки, музы молчат», которое восходит к Цицероновскому «*Inter arma silent leges*» («во время войны законы молчат»), не срабатывает. «Тем более вызывает удивление, — отмечает Томас Коссерт, — что до сих пор классические исследования истории образования и истории университетов, по-видимому, в значительной степени избегают эту эпоху» [Kossert 2011: 9].

Работа над созданием литературы о языке была лишь частью общей школьной реформы в Германии, актуальность которой проявилась именно в годы войны. Хотя Германия и именовалась Свя-

щенной Римской империей германской нации, но представляла конгломерат из 300 светских и духовных суверенных княжеств, в которых реформы проходили по-разному. Так, в герцогстве Саксен-Гота-Альтенбург герцог Эрнст Благочестивый (Herzog Ernst der Fromme, 1601—1675) считал возможным восстановление разрушенной Тридцатилетней войной страны путем проведения внутренних реформ, в частности благодаря реформированию школьной системы. Следует иметь в виду также, что в ряде случаев школьная реформа и не могла сдерживаться войной, т. к. война не везде в Германской империи протекала одинаково и одновременно, многие местности война в значительной степени пощадила.

«ПО» выстояло в войну и даже с особой силой развернуло свою деятельность. Не в последнюю очередь это объясняется тем, что глава общества принц Людвиг Ангальт-Кётенский (1579—1650), который сам никогда не прибегал к помощи оружия в решении военных проблем, не принимал участия в спорах между политическими партиями и стремился избавить «ПО» от преследования «ярости богословов» (*rabies theologorum*) в войне, носившей первоначально характер религиозной войны между католиками и протестантами. На стороне протестантов участвовала шведская армия, а затем, когда война переросла в борьбу против доминирования Габсбургов в Европе, лагерь протестантов поддержали католики французы при активном участии кардинала Ришелье.

Членство в обществе ряда великих мира сего было политически оправданным и свидетельствует о дипломатической гибкости руководителя общества князя Людвиг в условиях войны. «ПО» принимало в свои ряды верующих различных конфессий и представителей противоборствующих в войне сторон. Цель языковой политики общества требовала следования языковой традиции и регулирования норм письменной речи, а поэтому и обязательного вовлечения немецкоговорящей верхушки всех враждующих сторон, в том числе и влиятельных иностранцев, таких как шведский канцлер Оксеншерн, английский посланник Анструтер (Robert Anstruther, ? — 1645) или воевавший на стороне императора генерал Октавий Пикколomini (1559—1656) [Conermann 2003: 13—14].

Образ Оксеншерны в художественной литературе и историографии

Среди знаменитых участников Тридцатилетней войны имя Акселя Оксеншерны, одного из военачальников, принятых в «ПО», для русского читателя мало известно. Более известны кардинал Ришелье (1585—1642) как отрицательный персонаж романа «Три мушкетера» Александра Дюма-старшего. Известно имя полководца Альбрехта Валленштейна, в частности по пьесе — драматической трилогии Ф. Шиллера «Валленштейн» (1800), по исторической новелле А. Дё-

блина «Валленштейн» (1920), в русской литературе — по историческому очерку о смерти Валленштейна Марка А. Алданова в его заключительном романе трилогии «Ключ» — «Бегство» — «Пещера».

В произведениях драматических, эпических и лирических жанров XVII века, написанных с националистических позиций, традиционно превозносятся героические командиры и неутомимые войска каждой армии. Героями Тридцатилетней войны, которые нашли свой путь в мировую литературу, являются загадочный Валленштейн, генералы Карл Густав Врангель (1613—1676), Йохан Банер (1596—1641), смелый Густав Адольф — король Швеции, который лично шел в контратаку против кайзеровских войск, и многие другие, чья жизнь увлекательно и подробнейшим образом погружает читателя в минувшие годы.

Судьба трагического героя Тридцатилетней войны, наиболее достойного противника Оксеншерны, Альбрехта Валленштейна (1583—1634), жизнь которого была полна блеска и славы, неуверенности и противоречивости и который был убит по приказу императора в 1634 г., вдохновила английского поэта и драматурга Генри Глепторна (Henry Glapthorne) (1610 — после 1643). Он представил уже в 1639 г. посетителям лондонского театра «Глобус» трагедию «Альбрехт фон Валленштейн» [Glapthorne 1639] [ср. Steinberg 1967: 146—147], в которой Валленштейн изображается как надменное и жестокое чудовище, испытывающее постоянные угрызения совести. Подобно шекспировским героям, ему являются образы его сына Альберта и возлюбленной сына Изабеллы, которых он убил. Перед Валленштейном всегда стоят призраки убиенных, ему кажется, что они постоянно преследуют его [Weber 1897: 14]. Оксеншерна упоминается в трагедии Глепторна только один раз, когда Валленштейн рассказывает о переговорах с ним [Glapthorn 1640: 31]. Для автора драмы Оксеншерна не мог быть главным героем из-за личных особенностей последнего, такой герой не способствовал бы созданию разнообразного и захватывающего действия.

У писателя эпохи немецкого барокко Ганса Якоба Кристоффеля фон Гриммельсгаузена (ок. 1622—1676) в романе «Похождения Симплиссимуса» главный герой видит себя в качестве летописца исторических событий. Гриммельсгаузен попытался показать в своем романе рядовых солдат и их судьбу. Ни одно значительное историческое лицо в романе не выведено. Оксеншерна в романе не упоминается.

В конце Тридцатилетней войны немецкие поэты опубликовали стихи по поводу заключения долгожданного мира и празднования этого события. Это Зигмунд фон Биркен (Sigmund von Birken, 1626—1681, поэт, член «Общества пегницких пастухов», или «Цветочного ордена»); Иоганн Клай (Johann Klaj, 1616—1656), Иоганн Нидлинг (Johann Niedling, 1602—1668) и Иоганн Фогель (Johann Vogel, 1589—1663) [Mayer-Gürg 2007: 51]. Немецкие поэты Георг Фи-

липп Гарсдерфер (Georg Philipp Harsdörffer, 1607—1658), Зигмунд фон Биркен (Sigmund von Birken, 1626—1681), Иоганн Клай (младший) (Johann Klaj, auch: Clajus der Jüngere, 1616—1656) и француз Пьер Лемуан (Pierre Le Moine, 1602—1672,) превозносили в стихах шведскую королеву Кристину и ее отца Густава Адольфа по случаю Вестфальского мира в 1648 г. [Kronegger 1994: 4]. То, что шведскому королю Густаву Адольфу поклонялись как протестантскому спасителю, связано не только с его успехами и деяниями, но в равной степени с умелой пропагандистской работой и процессом мифологизации с использованием изобразительных и письменных источников, что не имеет аналогов в новейшей истории Германии. В многочисленных песнях, панегириках, проповедях и, конечно, в листовках насаждалась утешительная иллюзия о героической христианской душе бескорыстного помощника [Kühlmann 1998: 331]. Таким образом были воспеты не только соотечественники немецких поэтов, преимущества перед иноземцами они не имели. Бросается в глаза, что имени Акселя Оксеншерны в стихах военных лет нет.

Об Акселе Оксеншерне иногда напоминают только посвящения в начале книг эпохи барокко, например посвящение самым высокопоставленным членам «ПО» в сатирических рассказах Иоганна Михаэля Мошероса (Johann Michael Moscherosch, 1601—1669) «Диковинные и истинные видения Филандера из Зиттевальда», где Аксель Оксеншерна упоминается как «Желаемый» (Der Gewünschte), псевдоним, который он получил как член «ПО» [Moscherosch 1650: 9; ср.: Schramm 2011: 200]. Известно также небольшое стихотворение Георга Родольфа Векерлина (Georg Rodolf Weckherlin) (1584—1653) об Акселе Оксеншерне “Von Herren Axeln Oxenstiern, schwedischen Reichscanzlern” [Weckherlin 1641: 167] 1633 г.

В вышедшей в конце XVIII века (1799) исторической драматической трилогии «Валленштейн» Фридриха Шиллера, в которой действие связано с реальными историческими событиями, Оксеншерна только лишь упоминается. Так, в драме «Лагерь Валленштейна» капуцину, одному из персонажей драмы, принадлежит касающееся Оксеншерны юмористическое выражение, характеризующее состояние армии в лагере Валленштейна, при этом используется игра слов: Oxenstiern означает по-немецки «бычий лоб» (по-шведски произносится «Оксеншерна»)

Подавай вам быка, да бабьи бока.
Где уж словить Оксенштирна-быка?
Разорен, обнищал христианский люд, —
А у войска жратва на уме да блуд [Шиллер 1955: 301].

В драме Шиллера «Смерть Валленштейна» в переговорах между Валленштейном и шведским полковником Врангелем много раз ссылаются на канцлера, имея в виду Оксеншерну. Слова, которые Шил-

лер [Шиллер 1936: 199, 200, 201, 207] вложил в уста Врангеля, были на самом деле произнесены Оксеншерной позже, в 1635 г., по случаю Пражского мира [Schiller 2007]. Так Шиллер использует исторические факты в качестве исходного материала, с которым он свободно обращается для достижения художественного вымысла.

В отличие от Шиллера, обращавшегося в своем творчестве к изображению великих государственных деятелей и военачальников, Бертольт Брехт в пьесе «Мамаша Кураж и ее дети» отказывается от такой монументальности. Вошедшие в анналы истории великие мира сего, такие как Оксеншерна, остаются в тени или о них только упоминается. Я. Кнопф обращает внимание, что это не хроника Тридцатилетней войны, а, как следует из самого названия пьесы, хроника из времен Тридцатилетней войны [Knopf 1998: 394]. «У Брехта об исторических военных деятелях речь не идет. Валленштейна нет, Тилли и Густав Адольф упоминаются лишь вскользь. Брехта интересуют не столько ход истории и историческая ситуация, а скорее движущие силы и поведение людей, которые привели к созданию данной ситуации, изменили или не изменили ее» [Unselde 1964: 138]. Идея Брехта показать вызванное войной растущее одичание и обнищание людей приводит к известной односторонности образа, поэтому выбираются в основном те элементы, которые представляют интерес с точки зрения поставленной задачи.

Текст драмы, а также ее сценическое воплощение обнаруживают в образе Оксеншерны значительные различия между исторической личностью и тем, как она представлена в произведении. Так, в одной из сцен пьесы «Мамаша Кураж и ее дети» Эйлифа, старшего сына маркитантки, военачальник приглашает пообедать в свою палатку, награждает его за то, что он «совершил геройский подвиг во имя господне, в войне за веру». Что же совершил Эйлиф? Он конфисковал у мужиков двадцать голов скота, а самих мужиков «порубил», «всех четверых» [Эткинд 1971: 126]. Характер военачальника Оксеншерны проявляется уже в языке персонажа: «Командующий (*похлопывая Эйлифа по плечу. Пьют.*) <...> Священнику не дадим ни хрена, он у нас святоша» [Брехт 2008: 225]. «Командующий (*садится за стол с Эйлифом и полковым священником*) орет: — Тащи обед, Ламб, не то убью тебя, чертов повар!» [Там же: 226].

В венском Бургтеатре в 2013 г. режиссер Дэвид Бёш (David Bösch) поставил пьесу «Мамаша Кураж и ее дети» Бертольта Брехта. Режиссер и труппа с большим уважением к Брехту пытаются осовременить пьесу и используют его же приемы. Важная составляющая художественного образа Оксеншерны — это свобода от копирования действительности, стремление сделать реальные факты и образы «своими», наполнить их своими чувствами, своим воображением. И вот Оксеншерна предстает перед нами как опустившийся капитан, неистовый пьяница, которого с большим юмором играет актер Герман Шейдleder (Hermann Scheidleder).

Такой персонаж с трудом можно идентифицировать с известным из истории строгим аристократом Акселем Оксеншерной. Граф Оксеншерна вряд ли мог себе позволить вести себя подобно командующему в пьесе Брехта, как грубиян, издевающийся надо всеми без разбора. Это не соответствовало аристократическим привычкам Оксеншерны. Сравним вышеприведенную, данную Брехтом характеристику Аксея Оксеншерны с тем, что говорит о нем британский историк Сесилия Веджвуд: «Ближайшим другом Густава Адольфа был сумрачный, неразговорчивый и академичный канцлер Аксель Оксеншерна <...>. Оксеншерна не производил такого же впечатления властной личности, как его король, только потому, что был менее агрессивен. Он был прирожденным дипломатом: учтив, но и скрытен, хитроумен, но, в общем, и честен» [Веджвуд 2012: 298, 299].

Как мы видим, брехтовского Оксеншерну можно рассматривать как вымышленный персонаж: хотя персонаж военачальника основан на реальной исторической личности, но содержит мало достоверного фактического материала.

Несмотря на большое количество исторических работ о Тридцатилетней войне и об Оксеншерне, следует обратить внимание на удивительный факт, что, как пишет Майкл Робертс, ни на одном языке нет достаточно полного описания в историческом и биографическом аспекте жизни Оксеншерны по сравнению с князем Церкви и государственным деятелем кардиналом Ришелье или с самым харизматичным героем войны Валленштейном, в частности нет полного жизнеописания Оксеншерны после гибели шведского короля Густава Адольфа в 1632 г. [Roberts 1991: 6—7]. Участие в работе «ПО» и влияние, которое оказывал Оксеншерна на языковую политику в германских землях, недостаточно изучено.

При создании образа Аксея Оксеншерны в ходе рассмотрения текстов всех жанров особо важны свидетельства современников об Оксеншерне, поскольку они имели возможность непосредственного восприятия и знания деталей, ощущали нюансы, которые не могли быть учтены теми, кто не был участником или свидетелем событий. Современники называли Оксеншерну великим человеком. Королева Швеции Кристина (1626—1689) писала в своих воспоминаниях, что он был очень образованным человеком, который никогда не переставал учиться. Несмотря на то что он не всегда содействовал осуществлению планов королевы, она любила Аксея Оксеншерну, «этого великого человека», как «второго отца» [Findeisen 2007: 442].

Современные историки называют Оксеншерну «великим государственным деятелем, большим патриотом и человеком более либеральным, чем кто-либо на земле» [Там же: 443], «архитектором современной Европы» [Там же], «человеком редчайшего государственного таланта» [Там же: 270].

В исторических романах XIX и начала XX века, которые стремились объективно представить исторические факты, мы сталкиваемся с похожими характеристиками Оксеншерны. Хотя жанр исторического романа предусматривает связь исторических фактов с художественным вымыслом, авторы этого жанра дают в своих основных чертах аутентичное, задокументированное в исторических справках и фактах описание личности Оксеншерны. В романе польского писателя Генрика Сенкевича 1886 г. «Потоп» описывается шведско-польская война 1655—1657 гг. Приводятся воспоминания о предыдущем пребывании шведов и их генералов в Варшаве, в том числе о канцлере Оксеншерне, «известном в целом свете политике, за свою честность уважаемого даже врагами» [Сенкевич 1970: 414].

В романе 1914 г. «Немецкий герцог»: роман времен Тридцатилетней войны» Пауля Шреккенбаха мы читаем об «умном канцлере Оксеншерне», приводится и один из его афоризмов: «Разве ты не знаешь, как мало надо ума, чтобы управлять миром?» [Schreckenbach 1915: 120]. Афоризмы Оксеншерны и сегодня актуальны и популярны. В том, как подается образ Оксеншерны, чувствуется ориентация на реальную биографию. Шреккенбах следует не только датам биографии Оксеншерны, но и привносит много деталей в описание военачальника, например его внешности и то, как медленно он выговаривал слова: «с большой головой, с седой бородкой клином, с высоким лысым лбом и острыми серыми глазами; слова медленно и монотонно сходили с его уст» [Schreckenbach 1915: 73—74].

В исторической драме Августа Стриндберга «Королева Кристина» Оксеншерна уже не в Германии, а в Швеции и тщетно пытается выдать замуж шведскую королеву Кристину за ее двоюродного брата Карла и тем самым обеспечить дальнейшее существование династии. Как действующее лицо, как верноподданный короля, он сам говорит о себе: «Я <...>, желая быть верноподданным, лгал» [Стриндберг 1910: 173]. Здесь проявляется одно из самых существенных различий в отношении немцев и шведов к Оксеншерне: для Германии Оксеншерна — военачальник в Тридцатилетней войне, для Швеции он (и так представляет его Стриндберг) в первую очередь твердо сознающий свой долг мудрый канцлер. Все значительные персонажи в драме Стриндберга похожи на соответствующие исторические личности. В общем все построено по принципу: чем важнее персонаж, тем более достоверен его образ. Аксель Оксеншерна у Стриндберга близок историческому Оксеншерне. Королева Кристина и другие персонажи пьесы называют его «великим Оксеншерной» [Там же: 210], «старым мудрецом» [Там же: 202], отмечают, что он «умнее всех и лучше всех!» [Там же: 168].

В недавно вышедшем, написанном на большом исследовательском материале историческом романе Нины Блазон «Зеркало королевы» [Blazon 2006] не только Кристина I, королева Швеции оживает

вновь, но и Аксель Оксеншерна и Рене Декарт играют среди исторических персонажей немаловажную роль в романе.

Аксель Оксеншерна — главнокомандующий

Аксель Оксеншерна родился 15 июня 1583 г., получил хорошее образование, с интересом изучал теологию, политологию и право в Ростоке, Йене и Виттенберге, много путешествовал, написал несколько богословских трактатов. В возрасте всего лишь 29 лет он был назначен шведским королем Густавом II Адольфом канцлером Швеции. В 1631 г. король Густав II Адольф отправил канцлера Оксеншерну в Германию, чтобы он взял на себя управление завоеванными территориями. После битвы при Брейтенфельде 7 сентября 1631 г. Оксеншерна был назначен уполномоченным Швеции на Рейне, с 12 марта 1632 г. осуществлял руководство как гражданскими, так и военными делами в регионе Рейна-Майна. Он проявил себя на немецкой земле как блестящий военный организатор [Findeisen 2007: 220, 222]. Но и в экономической жизни этого региона он добился успеха. Ему пришлось в голову, например, организовать почту, устранить недостатки в сборах мыта на реках, чтобы регулировать торговлю и организацию ярмарок [Roberts 1991: 9]. Оксеншерна распорядился обеспечить защиту прибывающих торговцев. Известен его поступок, когда он вступился за пострадавшего еврейского ростовщика, которого лейтенант шведских войск пытался насильно лишить некоторой суммы денег [Findeisen 2007: 222].

16 ноября 1632 г. король Густав Адольф пал в битве при Лютцене. «Два великих политика, Аксель Оксеншерна в Германии и Ришелье во Франции, принимают кормило войны, выпавшее из рук усопшего героя» [Шиллер 1937: 420]. После смерти короля Оксеншерна проводил не только внешнюю политику своей страны и осуществлял управление расходами в войне, но и выполнял функции главнокомандующего [Roberts 1991: 8].

Только в 1636 г. Оксеншерна покинул Германию и вернулся в Швецию, где было необходимо его присутствие. Оксеншерна сохранил свое положение при дворе и после того, как королева Кристина I наследовала престол от своего отца Густава Адольфа.

Содействие в осуществлении реформы образования

Оксеншерна много читал, располагал большой библиотекой, постоянно совершенствовал свои знания в вопросах исторических, юридических и политических, необходимых для мудрого помощника и советника в государственных делах. Он много способствовал просвещению и образованию, основал пять гимназий частично за счет собственных средств [Meier, Kämtz 1836: 144]. Под его призором росла юная шведская королева, умная и политически самостоятельная, пригласившая в 1649 г. Рене Декарта к шведскому

двору, ставшему благодаря ей одним из интеллектуальных центров Европы

В 1633 г. Оксеншерна был провозглашен главой протестантского союза германских князей. Воздействие Реформации на науку и образование является весьма значительным: «Католицизму нельзя приписать “враждебную позицию к науке”, но нельзя не отметить в то же время присущую протестантизму, в особенности реформатам, благосклонность к науке» [Weber 2014: 29]. В XVII в. протестанты использовали новые программы в гимназиях, протестантские университеты реорганизовывались и поступали в подчинение светским властям [Там же: 27]. Будучи фактическим и формальным главой общей германской протестантской партии, Оксеншерна предусмотрел предоставление стипендий для достойных студентов-теологов [Roberts 1991: 9].

Оксеншерна стал членом «ПО» в 1634 г., его девизом стало «в тревоге» (“in Ängsten”), на фоне войны вполне понятное сочетание. Он считал, что членство в «ПО» поможет ему войти в духовный мир страны и будет поддержкой в продолжение обширной программы реформ, которые способствовали реорганизации ряда важных сфер шведского общества.

Во время своего пребывания в Германии Оксеншерна устанавливает контакты с рядом членов «ПО», проводивших в рамках реформы образования большую работу над немецким языком. Кроме основателя «ПО» князя Людвига, пользовавшегося псевдонимом Кормящий (der Nährende), это были поэт, ученый и дипломат Мартин Опиц (Martin Opitz) (1597—1639), псевдоним Увенчанный (der Gekrönte); сатирик и просветитель Иоганн Михаэль Мошерош, псевдоним Мечтающий (Der Träumende) (1601—1669) [ср.: Schramm 2011: 182]; управляющий администрацией в Готе Франц фон Трота (Franz von Trotha, ? — 1638), псевдоним Дающий (der Gebende); дипломат барон Генрих фон Фризен (Freiherr Heinrich d. J. von Friesen, 1610—1680), Награждающий (der Belohnende), а также многие другие члены «ПО».

Членство Оксеншерны в «ПО» благоприятно сказывалось на проведении в 1633—1635 гг. реорганизации церкви и школьного дела, проводимой главой «ПО» князем Людвигом во время его пребывания в должности штатгальтера в Магдебурге и епископстве Хальберштадт [Conermann 2003: 433].

Оксеншерна состоял в переписке и лично встречался со многими интеллектуалами, среди них голландский философ, юрист, драматург и поэт Гуго Гроций (лат. Hugo Grotius) (1583—1645), служивший с 1634 г. послом Швеции во Франции. В 1642 г. философ, теолог и педагог Ян Коменский (1592—1670) посетил Оксеншерну в шведском городе Норрчёпинге (Norrköping), чтобы обсудить с ним школьную реформу. Шведский канцлер поручил Коменскому создание учебников и педагогических сочинений, направленных

на реформирование латинской школы. Коменский с семьей переехал в занятый шведами прусский город Эльбинг, где он с 1642 по 1648 г. занимался реформами в преподавании латыни. Там же он закончил сочинение «Новейший метод языков» (“*Methodus linguarum novissima*”) [Wojack, Wojack 2008: 10].

Вопросы школьной реформы оставались всегда в центре внимания Оксеншерны. В своей автобиографии, представляющей собой часть «Продолжения братского увещания об умерении рвения любовью» (“*Continuatio admonitionis fraternalis de temperando charitate zelo*”), Коменский приводит воспоминания Оксеншерны о школьной реформе и о Вольфганге Ратке: «Я наблюдал уже с первых лет своей жизни, что метод, принятый в школах, есть что-то насильственное, неестественное, однако в чем причина и каким способом ее можно устранить, я не понимал. <...> мой король <...> послал меня в Германию, и в каких только академиях мне ни случалось побывать, везде я обсуждал с учеными этот вопрос, но никто не мог рассеять мои сомнения. В конце концов я получаю наставление, что есть такой человек, который именно об этом много размышлял и написал, — Вольфганг Ратке, у него можно спросить. Я стал его разыскивать, и моя мысль не имела покоя, пока я не нашел и не услышал этого человека. Но он (так как не умел говорить без подготовки) предложил мне прочесть большой немецкий том своих “Наблюдений”; я не позволил себя отпугнуть и проглотил эту пилюлю — прочитал все» [Коменский 1982: 38—39.]

Речь идет о немецком реформаторе образования Вольфганге Ратке (1571—1635), который, кстати, ввел впервые в научный оборот термин *дидактика*¹ и который написал к франкфуртскому рейхстагу 7 мая 1612 г. «Мемориал», представляющий собой программный документ, где Ратке высказал идеи о широкой реформе образования в масштабах всей империи, в которой должно было быть одно правительство, одна религия и должна вестись борьба за чистоту родного немецкого языка [Ratke 1959: 101].

«ПО» как представительное объединение всех ведущих слоев общества стояло над всеми религиями и военными партиями того времени, стремилось устранить конфессиональный и политический раскол страны и шло как раз по пути, предложенному Ратке в его «Мемориале» 1612 г., разделяя его идеи о значимости родного языка [Conermann 2014: 29]. Все школьное дело в Кетене, резиденции кня-

¹ Именно в написанном сотрудниками Ратке, теологом Хр. Хельвигом и философом И. Юнгом, сочинении «Краткий отчет из дидактики, или искусство обучения Ратихия» впервые был введен в научный оборот термин «дидактика», который восходит к греческому *didaktikos* — ‘поучающий’ (Helwig, Jungius 1613). Гораздо обоснованнее сформировал важнейшие общедидактические принципы великий чешский педагог Ян Амос Коменский в своем сочинении «*Didactica magna*», над которым он работал с 1627 по 1638 г. и изданном в 1657 г.

зя Людвига, было организовано по-новому, привлечены сотрудники, чтобы построить учебные предметы согласно концепции Ратке, по ратихиевому методу были написаны новые учебники и изданы в специальной типографии.

В начале 1630-х гг. из-за войны разработка немецкой школьной реформы и создание грамматик немецкого языка затормозилось. Вольфганг Ратке пытался в 1632 г. привлечь интерес канцлера Оксеншерны, своего сокурсника по учебе в Ростокском университете, к своей школьной программе, зная, что последний в силу своей компетентности [Conegmann 2003: 433] не откажет в поддержке.

Оксеншерна познакомился подробно с трудами Ратке и поручил членам городского совета в Эрфурте докторам Иерониму Брюкнеру (Hieronymus Brückner) и Стефану Штиглеру (Stephan Ziegler), а также профессору Мейфарту (Meufart) тщательно изучить педагогические наработки Ратке и дать обстоятельный отзыв. Комиссия беседовала с Ратке несколько дней и составила 15 марта 1634 г. доклад «Верноподданническое донесение о методе преподавания господина Вольфганга Ратке» (“Unterthänige Relation. Von der Lehrart Herrn Wolfgang Raticii” [Vogt 1881: 53—54; Kordes 1999: 101—102]. Благодаря графу Оксеншерне Ратке был близок к выполнению своих планов, однако в 1633 г. Ратке хватил апоплексический удар, и он скончался два года спустя в Эрфурте.

Таким образом, несмотря на тяготы Тридцатилетней войны, в германских землях проявился большой интерес к работе над очищением и кодификацией родного языка. Большой вклад в эту работу внесло «ПО», которое способствовало реализации культурного единства немецкой нации, проводя школьную реформу и проявляя особую заботу о чистоте немецкого языка и о создании его грамматики. «ПО» привлекло на свою сторону среди прочих высокообразованного и талантливого государственного деятеля, главу протестантского союза и военачальника Акселя Оксеншерну, взявшего на себя общее управление делами в Германии во время Тридцатилетней войны. Он показал себя на этом посту не только как военачальник, но и как мудрый управитель завоеванных территорий Германии. Он переписывался и был знаком со многими интеллектуалами своего времени, Аксель Оксеншерна, безусловно, лично проявлял интерес к работе общества, чтобы продолжить в Германии начатую в Швеции комплексную программу реформ.

Образ Акселя Оксеншерны, представленный в исторических романах, описание его типичной для того времени судьбы вносят значительный вклад в формирование исторического сознания. Имя Оксеншерны связано в исторических романах и в других литературных жанрах с целым рядом событий Тридцатилетней войны. Но его нет среди главных персонажей немецких литературных произведений. Все, что связано с фигурой Оксеншерны в политике, военных действиях, хозяйственных делах, культурной жизни, не по-

лучило полного и последовательного отражения в художественной литературе, исключение составляют немногие романы с ярко выраженным историографическим подходом, в которых пусть и не подробно, но объективно представлена фигура военачальника Аксея Оксеншерны.

В произведениях художественной литературы о Тридцатилетней войне субъективная интерпретация изображаемой личности в значительной степени подчинена внутренней логике и решению художественной задачи. Авторы художественных произведений о Тридцатилетней войне отводят Оксеншерне мало места, уделяя преимущественное внимание харизматическим персонажам, таким как Валленштейн или шведский король Густав Адольф. В случае с Оксеншерной подтвержденные историческими источниками факты его биографии и его личностные характеристики, которые отличают его от героев барокко, являются одной из причин, почему Оксеншерны нет среди исторических персонажей, которые благодаря своему военному и политическому мастерству выиграли войну и сделали больше всех для своей страны.

Литература

- Брехт 2008 — *Брехт Б.* Мамаша Кураж и ее дети. Хроника из времен Тридцатилетней войны / Пер. С. Апта. М.: Текст, 2008. С. 209—298.
- Веджвуд 2012 — *Веджвуд С. В.* Тридцатилетняя война / Пер. с англ. И. В. Лобанова. М.: АСТ, 2012.
- Коменский 1982 — *Коменский Я. А.* Автобиография // *Коменский Я. А.* Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / Под ред. А. И. Пискунова. М.: Педагогика, 1982. Т. 1. С. 25—73.
- Сенкевич 1970 — *Сенкевич Г.* Потоп / Пер. с польск. И. Матецкой. М.: Художественная литература, 1970. Т. 2.
- Стриндберг 1910 — *Стриндберг А.* Королева Кристина / Пер. Е. Барсовой // *Стриндберг А.* Повести. Рассказы. Драммы. М.: В. М. Саблин, 1910. С. 149—230.
- Шиллер 1936 — *Шиллер Ф.* Смерть Валленштейна // *Шиллер Ф.* Собрание сочинений: В 8 т. / Пер. Каролины Павловой; под общ. ред. Ф. П. Шиллера. М.; Л.: Academia, 1936. Т. IV. С. 185—382.
- Шиллер 1937 — *Шиллер Ф.* История Тридцатилетней войны // *Шиллер Ф.* Собрание сочинений: В 8 т. / Пер. А. Горнфельда; под общ. ред. Ф. П. Шиллера. М.; Л.: Academia, 1937. Т. VII. С. 257—591.
- Шиллер 1955 — *Шиллер Ф.* Лагерь Валленштейна // *Шиллер Ф.* Собрание сочинений: В 7 т. / Пер. с нем. Л. Гинзбурга; под общ. ред. Н. Н. Вильмонта и Р. М. Самарина. М.: Гослитиздат, 1955. Т. 2. С. 279—325.
- Эткинд 1971 — *Эткинд Е. Г.* Бертольт Брехт. Л.: Просвещение, 1971.

- Blazon 2006 — *Blazon. N.* Der Spiegel der Königin. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag, 2006.
- Bojack, Bojack 2008 — *Bojack R., Bojack, B.* Comenius, ein moderner Pädagoge // Wismarer Diskussionspapiere. Wismar Discussion Papers. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Wismar Business School, 2008. Heft 03.
- Conermann 2003 — *Conermann K. (Hg.)*. Briefe der Fruchtbringenden Gesellschaft und Beilagen: die Zeit Fürst Ludwigs von Anhalt-Köthen 1617—1650, Bd. 3: 1630—1636. Tübingen: Niemeyer, 2003.
- Conermann 2014 — *Conermann K.* Die Fruchtbringende Gesellschaft zwischen Literatur- und Nationalsprache. Vom Minnesänger Heinrich von Anhalt bis zu Hoffmann von Fallersleben // “Unsere Sprache” — Beiträge zur Geschichte und Gegenwart der deutschen Sprache. Schriftenreihe der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft zu Köthen/Anhalt. Köthen: Neue Fruchtbringende Ges., 2014. Bd. 5: Dem Schmachhaften. S. 5—46.
- Findeisen 2007 — *Findeisen J.-P. A.* Oxenstierna: Architekt der schwedischen Großmacht-Ära und — Sieger des Dreißigjährigen Krieges. Gernsbach: Katz, 2007.
- Glaphthorne 1639 — *Glaphthorne H.* The tragedy of Albertus Wallenstein: late Duke of Fridland, and generall to the Emperor Ferdinand the second. London: By Tho. Paine, for George Hutton dwelling at the Turn-stile in Holborne, 1639.
- Glaphthorne 1640 — *Glaphthorne H.* The tragedy of Albertus Wallenstein: late Duke of Fridland, and Generall to the Emperor Ferdinand the second. Imprinted at London: By Tho. Paine, for George Hutton, and are to be sold at his shop within Turn-stile in Holborne, 1640.
- Helwig, Jungius 1613 — *Helwig Ch., Jungius J.* Kurtzer Bericht Von der Didactica, oder LehrKunst Wolfgangi Ratichii. Franckfurt am Meyn, 1613.
- Knopf 1998 — *Knopf J.* “Der Friede — das Loch, wenn der Käs gefressen ist”. Der Dreißigjährige Krieg im Werk Bertolt Brechts // 1648: Krieg und Frieden in Europa / Hg. v. K. Bußmann u. H. Schilling. Münster. 1998. Bd. 2. S. 393—398.
- Kordes 1999 — *Kordes U.* Wolfgang Ratke (Ratichius, 1571—1635): Gesellschaft, Religiosität und Gelehrsamkeit im frühen 17. Jahrhundert. Heidelberg: Winter, 1999.
- Kossert 2011 — *Kossert Th.* Inter arma silent litterae? Universitäten im Dreißigjährigen Krieg // Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit 15 (2011) / Hg. v. Th. Kossert in Zusammenarb. mit M. Asche u. M. Füssel. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2012. Heft 1. S. 9—17.
- Krause 1855 — *Krause G.* Fruchtbringenden Gesellschaft ältester Ertzschrein. Leipzig: Dyk. 1855.

- Kronegger 1994 — *Kronegger M.* Allegory and Maxim: Power and Faith, Passions and Virtues // *Allegory Old and New // Literature, the Fine Arts, Music and Theatre, and Its Continuity in Culture* / Ed. by M. Kronegger, A.-T. Tymieniecka. Dordrecht: Springer, 1994. P. 3—28.
- Kühlmann 1998 — *Kühlmann W.* Krieg und Frieden in der Literatur des 17. Jahrhunderts // 1648: Krieg und Frieden in Europa / Hg. v. K. Bußmann u. H. Schilling. Münster, 1998. Bd. 2. S. 329—337.
- Mayer-Gürr 2007 — *Mayer-Gürr St.* “Die Hoffnung zum Frieden wird täglich besser”. Der Westfälische Friedenskongress in den Medien seiner Zeit. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät. Der Rheinischen Friedrich Wilhelms Universität zu Bonn. Bonn, 2007.
- Meier, Kämtz 1836 — *Meier M. H. E., Kämtz L. F. (Hg).* Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste: in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern / Bearb. und hg. v. J. S. Ersch und J. G. Gruber. Dritte Sektion. Achter Theil. Leipzig: Brockhaus, 1836.
- Moscherosch 1650 — *Moscherosch J. M.* Wunderliche und warhafftige Gesichte Philanders von Sittewald, das ist Straff-Schrifften. Theil 1. Widmung; Straßburg: Mülsen, Städeln, 1650.
- Ratke 1959 — *Ratke W.* Memorial. Welches Franckfurth Auff dem Wahltag Aõ 1612. den 7 Maj dem teutschen Reich vbergeben // *Ising E.* Wolfgang Ratkes Schriften zur deutschen Grammatik (1612—1630). Berlin: Akademie-Verl, 1959. Teil I: Abhandlung. S. 101—104.
- Roberts 1991 — *Roberts M.* From Oxenstierna to Charles XII: four studies, Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press, 1991.
- Schiller 2007 — *Schiller F.* Lexikon // <http://www.wissen-im-netz.info/literatur/schiller/lex/W/KarlGustavWrangel.htm> (11.12.2015).
- Schramm 2011 — *Schramm G.* Widmung, Leser und Drama Untersuchungen zu Form- und Funktionswandel der Buchwidmung im 17. und 18. Jahrhundert. Göttingen: Dokumenten- und Publikationsserver der Georg-August-Universität, 2011.
- Schreckenbach 1915 — *Schreckenbach P.* “Der deutsche Herzog”: Roman aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Leipzig: Staackmann, 1915.
- Steinberg 1967 — *Steinberg S. H.* Der Dreißigjährige Krieg und der Kampf um die Vorherrschaft in Europa 1600—1660 / Übers. aus dem Engl. von G. Raabe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1967.
- Unselde 1964.— *Unselde S.* Die Brechtsche Chronik des Krieges // Materialien zu Brechts “Mutter Courage und ihre Kinder”, zusammengest. von W. Hecht, Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1964. S. 138—142.
- Vogt 1881 — *Vogt G.* Das Leben und die pädagogischen Bestrebungen des Wolfgang Raticius. IV. Abtheilung. Programm vom Schuljahre 1880/81. Königliches Gymnasium zu Cassel. Cassel, 1881.

- Weber 1897 — *Weber R.* Theodor Vetter. Wallenstein in der dramatischen Dichtung des Jahrzehnts seines Todes. Frauenfeld: J. Huber, 1894 / Hg. v. M. F. Mann. Anglia. Beiblatt: Mitteilungen aus dem gesamten Gebiete der englischen Sprache und Literatur. Monatsschrift für den englischen Unterricht. 7. Jahrgang, Mai 1896 — April 1897. Halle a. S.: Max Niemeyer, 1897. S. 12—15.
- Weber 2014 — *Weber W. E. J.* Protestantismus, Universität und Wissenschaft. Kritische Bemerkungen zu einer historischen Aneignung // Spurenlese: Wirkungen der Reformation auf Wissenschaft und Bildung, Universität und Schule / Hg. v. der Reformationsgeschichtlichen Sozietät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014. S. 19—38.
- Weckherlin 1641 — *Weckherlin G. R.* Gaistliche und Weltliche Gedichte. Amsterdam: Jansson, 1641.

ZUSAMMENFASSUNG

Axel Oxenstierna, Feldhauptmann im Dreißigjährigen Krieg. Eine uncharismatische Figur und ein einflussreiches Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft

Der Artikel geht der Frage nach, welchen Einfluss die Tätigkeit von Axel Oxenstierna (1583—1654) als schwedischer bevollmächtigter Gesandter in Deutschland auf das kulturelle Leben, insbesondere auf die Schulreform in Deutschland hatte. Die Verfasser fiktionaler Literatur über den Dreißigjährigen Krieg haben Oxenstierna im Vergleich zu charismatischen Figuren wie Wallenstein oder dem Schwedischen König Gustav Adolf nur wenig Beachtung geschenkt. Axel Oxenstierna bewährte sich jedoch nicht nur als Feldhauptmann, sondern auch als weiser Verwalter der eroberten Gebiete Deutschlands. Er wurde Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft, die die Förderung kultureller Einheit der deutschen Nation durch eine Schulreform, insbesondere die Pflege der deutschen Sprache und ihrer Grammatik, förderte.

А. Е. ЛОБКОВ

(Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н. А. Добролюбова)

ШЕКСПИР В ШВЕЙЦАРИИ XVIII ВЕКА

Where are my Switzers? Let them guard the door.
“Hamlet”, Act 5, Scene 4

Одна из самых крупных работ о Шекспире в немецкоязычных странах — монография Фридриха Гундольфа «Шекспир и немецкий дух» (1911). «Немецкий дух» не должен отпугивать от себя современного читателя. Вслед за Гердером и В. фон Гумбольдтом, Гундольф видит в языке внешнее проявление духа народа: «Язык — это одновременно материя и форма духа, его средство и его стихия, его судьба и его характер» [Гундольф 2015: 576].

В начале своего сочинения Гундольф четко определяет задачу исследования: «обозначить как те силы, которые обусловили постепенное вхождение Шекспира и мира его образов в немецкую литературу вплоть до эпохи романтизма, так и те, которые пробудились в ней к плодотворной жизни под его влиянием» [Там же: 35]. Такая задача отличает книгу Гундольфа от традиционных исследований рецепции, описывающих отдельные факты — аллюзии, цитаты, сюжетные переключки, критические суждения, переводы и т. д. Гундольф переходит от единичных фактов на уровень широких обобщений, раскрывая целостный процесс развития немецкого духа и этапы освоения им художественного мира Шекспира: как новые темы (Stoff), как новые формы (Form) или как новое содержание (Gehalt).

Воспринимающей культурой в творчестве Шекспира в первую очередь усваивалось то, к чему эпоха оказалась подготовленной. Духовный мир Шекспира раскрывался для немцев постепенно, по мере развития немецкой литературы. Таким образом, при анализе рецепции Шекспира в тот или иной период проявляется специфика самой немецкой художественной культуры. Так, в XVII — первой половине XVIII века Шекспир воспринимался «как материал». Такое пренебрежение художественной формой и содержанием произведений Шекспира связано с невыразительностью, а точнее — неподготовленностью, немецкого языка (языка Лютера) для передачи понятий

и переживаний шекспировских героев и, следовательно, богатого смыслового потенциала его пьес: «То, что составляло самую суть светского, человечески раскрепощенного мироощущения, переживание ренессансной свободы, невозможно было передать на немецком языке, потому что для его выражения здесь еще не сложились соответствующие элементы душевной жизни. Они оставались непонятыми и даже не расслышанными» [Гундольф 2015: 56]. Поэтому на первом этапе рецепции Шекспир важен только как сюжетный материал. Его усвоение Гундольф раскрывает через деятельность «английских комедиантов», творчество герцога Генриха Юлиуса Браншвейгского и Якоба Айрера, Андреаса Гриффиуса и Христиана Вейзе, Готшеда, Бодмера и Брейтингера.

Можно констатировать, что в начале XVIII века имя и творчество Шекспира для широкой публики оставались неизвестны. Примером знаний о Шекспире может служить краткая биографическая справка, вобравшая в себя ряд случайных сведений, опубликованная во «Всеобщем историческом лексиконе» (1709; под ред. И. Ф. Буддеуса): «Шекспир (Вильям) родился в Страттоне-на-Эйвоне (в английской провинции Варвикшир). Был известным поэтом, хотя и не обладал особой ученостью, что при чтении его приводит в изумление. Он имел веселый нрав, однако мог быть и весьма серьезным, писал превосходные трагедии и комедии. Он много остроумно и тонко спорил с Беном Джонсоном, причем ни один из них не мог победить другого» [Buddeus 1709, IV: 426]¹. Схожий характер имеет и статья в «Кратком словаре ученых» (1715; под ред. И. Б. Менке): «Шекспир (Вильг.) — англ. драматург, род. в Стратфорде в 1564 г., был плохо воспитан и не понимал по-латыни, но в поэзии употреблял ее часто. Он имел веселый нрав, но мог быть и весьма серьезным, отличился трагедиями. Он много остроумно и тонко спорил с Беном Джонсоном, причем ни один из них не мог победить другого. Он ум. в Стратфорде в 1616 г., апр. 23-го, на 53-м году жизни. Его драмы и трагедии, которых он написал очень много, были в 6 частях вместе напечатаны в 1709 г. в Лондоне и очень высоко ценятся» [Mencke 1715: 2098—2099].

Конечно, единичные знакомства немецкоязычных, в том числе и швейцарских, читателей с творчеством Шекспира можно обнаружить и в XVII веке. Достаточно вспомнить записки о театральной жизни Лондона базельца Томаса Платтера, издания Шекспира из библиотеки цюрихца Иоганна Рудольфа Хесса и упоминание имени английского драматурга в английских письмах бернца Беата Людвиг фон Мюра.

¹ Источником данных указан Томас Фуллер (Thomas Fuller, 1608—1661), автор книги «История достопримечательностей Англии» (1662), содержащей первую биографию Шекспира.

Начало освоения художественных принципов Шекспира было положено Иоганном Якобом Бодмером (1698—1783), швейцарским литературным критиком, писателем, филологом, переводчиком, одним из зачинателей «швейцарской школы» (вместе с И. Я. Брейтингером).

Интерес к английской литературе возник у Бодмера при чтении журнала «Зритель» (“The Spectator”), издаваемого Дж. Аддисоном и Р. Стилем в 1711—1712 гг. Буквально сразу же журнал был переведен на французский язык и, выдержав несколько переизданий, стал достоянием европейской читающей публики². Бодмер читал «Зрителя» сначала во французском сокращенном переводе, а в 1720 г. он стал изучать английский язык и обратился к оригинальным английским книгам.

Вместе с Брейтингером Бодмер издавал еженедельник «Беседы живописцев» (“Die Discourse der Mahlern”, 1721—1723), созданный по образцу «Зрителя». Он ясно осознавал стоящую перед ним цель — сделать немецкий язык поэтичным и поднять художественный уровень немецкоязычной литературы. Эстетические взгляды «швейцарцев» противостояли более рационалистическим положениям лейпцигской школы с Иоганном Кристофом Готшедом во главе. В эту полемику эстетических взглядов в 40-х гг. XVIII в. включилась вся литературная Германия. Н. А. Сигал (Жирмунская) справедливо отмечает, что появлению сколь-нибудь значительных художественных произведений предшествовал спор о путях развития немецкого литературного языка во второй трети XVIII в.: «основные расхождения между швейцарцами и Готшедом касались не грамматической правильности языка, а его экспрессивной стороны, его функционирования в качестве поэтического средства» [Сигал 2001: 240].

Готшед ориентировался на французскую классицистическую эстетику и теорию драматического искусства. Рационалистические требования ясности и отчетливости, предъявляемые Готшедом к языку, вели к доминированию прозаического языка. Оставаясь в целом на рационалистических позициях, Бодмер и Брейтингер развивают мысль об эмоциональном воздействии поэтического произведения на чувственное восприятие. За образцами швейцарцы обращаются к английской литературе и средневековой немецкой поэзии, наполненных духом «чудесного» и «возвышенного». А. И. Жеребин видит в эстетике «швейцарцев» широкое использование приема «острашения»: чтобы трогать сердца, «поэтические образы должны обладать новизной, а высшая степень нового — это чудесное и на первый взгляд абсурдное, то, что способно наилучшим способом вывести вещи из автоматизма восприятия» [Жеребин 2012: 184].

² Гораздо позже, в 1739—1743 гг., «Зритель» был издан в Германии в немецком переводе Луизы Готшед, знаменитый муж которой, И. К. Готшед, вел ожесточенную литературную полемику как с Бодмером, так и с Лессингом.

Заинтересовал Бодмера в первую очередь не Шекспир, а его младший современник — Джон Мильтон, создатель религиозно-философского эпоса «Потерянный рай». «Потерянный рай» Бодмер получил в 1723 г. в подарок от своего друга-англомана, врача Лауренца Целльвегера. Потрясенный космической поэзией Мильтона, Бодмер сразу взялся за перевод, над которым трудился с 1723 по 1725 г.

Первая публикация перевода произойдет только в 1732 г. — «Потерянный Рай Джона Мильтона. Героическая поэма. Прозаический перевод». В предисловии Бодмер отмечает стихотворный размер оригинала: «Метр — нерифмованный десятисложник; первоначально Шекспир, английский Софокл (Shakespear, der Engelländische Sophocles), ввел такой размер в Англии, позаимствовав его у итальянского поэта Триссино» [Bodmer 1732].

Кроме Мильтона Бодмер внимательно читает других английских авторов, которых ему присылает Целльвегер. Так, в письме от 28 января 1724 г. он сообщает своему другу о готовности чернового варианта перевода Мильтона и благодарит за присланные книги Конгрива, Сиббера, Аддисона, Шекспира и Драйдена [Vetter 1900].

Чтение Шекспира вдохновило его на сочинение драмы «Любовь Марка Антония и Клеопатры» (“Marc Anton und Kleopatraen Verliebung”, 1728?). К сожалению, рукопись этой драмы утрачена. Однако сохранился фрагмент первого акта, приложенный к письму Иоганну Михаэлю фон Лёэну (от 12 января 1729 г.) [Loen 1856]. В своей драме Бодмер воспроизводит пятистопный безрифменный ямб Шекспира.

В своем центральном эстетическом трактате «Критическое суждение о чудесном в поэзии и о связи чудесного с правдоподобным. В защиту поэмы “Потерянный рай” Мильтона. С приложением трактата Джозефа Аддисона о прекрасном в данной поэме» (1740) Бодмер ставит целью своего перевода Мильтона развитие восприимчивости к «чудесному» у немецкого читателя: «они сталкиваются в произведении Мильтона с таким избытком красот высокого рода, кажущихся ему чуждыми и непривычными, что приводит их в замешательство; подобно тому, как человека, заключенного на многие годы в темную пещеру, впервые выпускают на яркий дневной свет, и красоты, бросающиеся ему в глаза, скорее ослепляют его, чем просветляют, и необходим долгий срок для того, чтобы научиться распознавать их одну за другой». «Вкус» (Geschmack) англичан, восприимчивость к «высоким и тонким наслаждениям» (höhern und feinem Ergetzen), сформировался, по словам Бодмера, и благодаря Шекспиру (Saspar) [Bodmer 1740]. В приложении Бодмер приводит в собственном переводе разбор поэмы Мильтона Аддисоном, также ссылающимся на образ Калибана Шекспира (Sasper) для оправдания «фантастических» персонажей в поэме [Bodmer 1740: 246—247].

Дважды имя Шекспира (Sasper) упоминается в контексте его трагедий «Сон в летнюю ночь» и «Гамлет» и в другом основном труде

Бодмера — «Критические соображения о поэтических картинах стихотворцев»: «Среди англичан Саспер славится тем, что он выказал особенный дар в деле изображения таких духов и фантастических существ, которые являются порождением суеверия и легковёрности; как там говорят, никому, кроме него, не дано вступить в очерченный им волшебный круг» [Bodmer 1741: 593].

Такое странное написание имени Шекспира у Бодмера — Saspar и Sasper, как установил Дж. Г. Робертсон, восходит к предисловию к трагедии «Цезарь» («Il Cesare», 1726) итальянского просветителя и англомана аббата Антонио Конти: «Шекспир — английский Корнель, хотя он и пренебрегает правилами Корнеля, но у него не меньше великих мыслей и благородных чувств» (“Sasper è il Cornelio degli Inglesi, ma solo più irregolare del Cornelio, sebbene al pari di lui pregno di grandi idee e di nobili sentimenti”) [Robertson 1906: 319]. Сравнение Корнеля и Шекспира помогло Бодмеру, стоящему, как и чтимый им Аддисон, на классицистических позициях по многим вопросам эстетики, понять, что «нарушение правил» не помеха для выражения «великих идей» и «благородных чувств»³.

Рассматривая понимание шекспировского творчества Бодмером и Брейтингером, Гундольф выделяет три причины, благодаря которым рационализм (нормативная поэтика) в Германии был поставлен под сомнение, в чем и заключалась основная заслуга швейцарцев: «1) принцип чудесного расширил возможности сюжетного выбора; 2) правила утратили абсолютную значимость; 3) литературное признание получил образец, не подчиняющийся правилам» [Гундольф 2015: 188]. Новая эстетика создала основу для нового творчества, творчества, признававшего возможность существования свободно авторского слова, свободу фантазии и неограниченность художественного новаторства.

А. В. Михайлов, посвятивший швейцарской литературе XVIII в. обстоятельное исследование, увидел в творчестве Бодмера и его литературного окружения новые художественные импульсы, пробивающиеся сквозь «многовековую морально-риторическую культуру» [Михайлов 2007].

Бодмер стоит у истоков переоценки эпохи «готового слова» в немецкой культуре, начало которой положил спор готшведианцев и швейцарцев во второй трети XVIII в. Напомним, что термин «готового поэтического слова» использовал А. Н. Веселовский в своих лекциях по истории эпоса, говоря о соотношении «личного почи-

³ Примечательно, что Конти повлиял не только на Бодмера, но и на Вольтера в его оценке Шекспира в известном 18-м философском письме: «Шекспир, сльвуций английским Корнелем...» (“Shakespear, qui passoit pour le Corneille des Anglais”). В поздних изданиях «Философских писем» Вольтер заменил Корнеля на Софокла, словно оознав несовместимость эстетических систем Корнеля (и свою) с Шекспиром: “Shakespear, que les Anglais prennent pour un Sophocle...”.

на» и «традиции». Углубление понятия «готовое слово» произошло в работах А. В. Михайлова и С. С. Аверинцева. Они заговорили об эпохе «готового слова» как определенном этапе литературного развития, которому предшествовала мифологическая эпоха и который сменила эпоха авторско-индивидуального творчества [Гринцер 1994].

Именно со швейцарцев начинается поворот вкусов в Германии от образцовых французских классицистических произведений к «неправильным» английским авторам, от римских поэтов золотого века к «природному» Гомеру, немецкому фольклору и средневековой поэзии. Швейцарцы начинают ценить «оригинальное», «стихийно-первозданное», «чудесное», «фантазию» и «игру воображения». Бодмер и Брейтингер, по меткому замечанию Гундольфа, обратили внимание на самую «личность автора» и сделали большой шаг «навстречу живой действительности», и, сами того не желая, пробили брешь в системе старых правил.

Литература

- Гринцер 1994 — *Гринцер П. А. (ред.)*. Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994.
- Гундольф 2015 — *Гундольф Ф.* Шекспир и немецкий дух / Пер. с нем. И. П. Стебловой. СПб.: Владимир Даль, 2015.
- Жеребин 2012 — *Жеребин А. И.* Эстетическая теория «швейцарцев»: Опыт модернизации // *Жеребин А. И.* От Виланда до Кафки: Очерки по истории немецкой литературы. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2012.
- Михайлов 2007 — *Михайлов А. В.* Йоанн Якоб Бодмер и его школа // *Михайлов А. В.* Избранное. Завершение риторической эпохи. СПб.: СПбГУ, 2007. С. 191—308.
- Сигал 2001 — *Сигал Н. А.* Спор о путях развития немецкого литературного языка // *Жирмунская Н. А.* От барокко к романтизму: статьи о французской и немецкой литературах. СПб.: СПбГУ, 2001. С. 239—254.
- Bodmer 1732 — *Bodmer J. J. (Übers.)* Johann Miltons Verlust des Paradieses. Ein Helden-Gedicht. In ungebundener Rede übersetzt. Zürich: Marcus Rordorf, 1732.
- Bodmer 1740 — *Bodmer J. J.* Critische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie und dessen Verbindung mit dem Wahrscheinlichen. In einer Vertheidigung des Gedichtes Joh. Miltons von dem verlohrenen Paradiese. Der beygefügt ist Joseph Addisons Abhandlung von den Schönheiten in demselben Gedichte. Zürich: Orell und Comp., 1740.

- Bodmer 1741 — *Bodmer J. J.* Critische Betrachtungen über die poetischen Gemähldte der Dichter. Mit einer Vorrede von J. J. Breitinger. Zürich: Orell und Comp., 1741.
- Buddeus 1709 — *Buddeus J. F. (Verf.)* Allgemeines historisches Lexicon. Dritter und Vierdter Theil. Leipzig, 1709.
- Loen 1856 — *Loen K. von.* Eine Reliquie von Johann Jakob Bodmer // Blätter für literarische Unterhaltung 1856. S. 32—35.
- Mencke 1715 — *Mencke J. B. (Verf.)* Compendiöses Gelehrten-Lexicon. Leipzig, 1715.
- Robertson 1906 — *Robertson J. G.* The knowledge of Shakespeare on the continent at the beginning of the 18th century // *Modern Language Review* 1. Cambridge, 1906. P. 312—321.
- Vetter 1900 — *Vetter Th. J. J.* Bodmer und die englische Literatur // *Johann Jakob Bodmer. Denkschrift zum CC. Geburtstag* (19. Juli 1898). Zürich: A. Müller, 1900. S. 313—386.

ZUSAMMENFASSUNG

Shakespeare in der Schweiz des 18. Jahrhunderts

Die Shakespeare-Rezeption im deutschen Sprachraum des 18. Jahrhunderts hatte ihren Ursprung in der Bodmers und Breitingers Ästhetik. Die Entdeckung Shakespeares durch die Schweizer erfolgte aus ihrer intensiven Beschäftigung mit Milton. Was die Schweizer zu Shakespeare hinzog, war das Prinzip des Wunderbaren und als die Folge die Erweiterung der Stoffmöglichkeiten. Die normativen Regeln verloren ihre unbedingte Gültigkeit. Die Ästhetik der Schweizer ließ der Phantasie Spielraum, gab neue Wege für die literarische Produktion frei und setzte ein Ende der rhetorischen Kultur.

Д. Д. ЧЕРЕПАНОВ

(Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова)

**«НЕ ИЗ ЧИСЛА СМЕРТНЫХ»: ОДИН АСПЕКТ
ПОЛЕМИКИ Й. ФОН ЭЙХЕНДОРФА
С ЙЕНСКИМИ РОМАНТИКАМИ**

Когда Йозеф фон Эйхендорф (1788—1857), младший из гейдельбергских романтиков, в 1807 г. впервые выступил как поэт, он находился под глубоким впечатлением от творчества романтиков йенских. Дневниковые записи этого времени свидетельствуют, например, о том, с каким восторгом он еще студентом университета в Галле (в 1805 г.) во время ежедневных прогулок к замку Гибихенштейн читал роман Л. Тика «Странствия Франца Штернбальда», находя в нем отражение своего биографического опыта: необычайный внутренний подъем, переживание красоты природы, открытие собственного внутреннего мира, юношескую влюбленность, соприкосновение с искусством [Frühwald 1977: 32]. Первые «серьезные» стихи Эйхендорфа возникают, когда он находится под влиянием Отто фон Лёбена, почитателя и подражателя Новалиса, — последнего Эйхендорф необычайно высоко ценил до конца своей жизни, вслед за Шлейермахером называя его «божественным юношей, для которого всё стало искусством» [Eichendorff 1976: 769].

Эстетический идеал йенцев, нашедший отражение и в творчестве Эйхендорфа, можно проиллюстрировать следующим фрагментом Ф. Шлегеля: «Прекрасно то, что напоминает нам о природе и таким образом пробуждает в нас чувство бесконечной полноты жизни» [Schlegel 1967: 264]. Такое ощущение полноты жизни, «живое, положительное чувство присутствия бесконечного божеского во всем конечном», В. М. Жирмунский обозначает как «мистическое чувство» [Жирмунский 1996: 3]. Источниками этого чувства являются, прежде всего, постижение красоты в природе («вся природа одушевлена, все части ее — члены одного громадного тела; <...> одна душа оживотворяет это тело <...> и во всей природе мы видим единого вечного Бога») [Там же: 46], в любви (одновременно чувственной и сверхчувственной) и в собственной душе художника. Романтическое «томление», поиски такой полноты, характерные для произведений йенских романтиков, свойственны и героям Эйхендорфа.

Неудивительно, что первое прозаическое произведение Эйхендорфа (новелла «Осеннее волшебство», 1808/1809 г.) очень напоминает новеллы Тика «Верный Эккарт и Тангейзер» (1799) и «Руненберг» (1804) и продолжает центральную тему йенских романтиков — тему искусства (в широком смысле)¹. Сюжет новеллы Эйхендорфа практически повторяет историю тиковского Тангейзера: некая иррациональная сила побуждает героя порвать связи с людьми и безвозвратно погрузиться в иной мир (грот Венеры или подгорный мир у Тика; заколдованный дворец волшебницы у Эйхендорфа). Центральной фигурой в этих новеллах является прекрасная владычица волшебного мира: у Тика — Венера, или горная красавица «не из числа смертных» (“*Sie schien nicht den Sterblichen anzugehören*”) [Tieck 1964: 67], у Эйхендорфа — Госпожа (“*das Fräulein*”) [Eichendorff 1970: 519], Прекрасная Дама. Полюбив красавицу «не из числа смертных», герой-художник постепенно отдаляется от всех окружающих его людей, погружается в некую особую реальность, отличающуюся от мира, который видят другие. Так, Тангейзер у Тика уверен, что убил своего соперника и стал косвенной причиной смерти своих родителей и возлюбленной, Эммы, в то время как повествователь сообщает, что отец Тангейзера умер уже *после* исчезновения сына, а Эмма жива и лишь через некоторое время вышла замуж. У Эйхендорфа Раймунд, герой «Осеннего волшебства», под воздействием видений и необычайных переживаний также пребывает в уверенности, будто убил своего лучшего друга, стоявшего между ним и возлюбленной, и в итоге попадает в замок прекрасной волшебницы (ее он принимает за свою возлюбленную). В замке, напоминающем о царстве Венеры, где царит «неистовое, невыразимое желание» [Eichendorff 1970: 520], он, сам того не замечая, проводит годы, пока, подобно Тангейзеру, не обретает ненадолго свободу, чтобы узнать, что друг жив и женился на возлюбленной героя (как выясняется, ее зовут Берта, как и героиню «Белокурого Экберта» Тика).

Передавая мироощущение своего героя, Эйхендорф пользуется образами, унаследованными от йенцев. В частности, вслед за Тиком он описывает внутренний мир художника как пещеру, в которой над подземными потоками и скалами звучит печальная музыка.² Заключительные слова («вниз, вниз!») напоминают не только

¹ В качестве иллюстрации такого широкого понимания искусства уместно привести, например, 42-й фрагмент из «Идей» Ф. Шлегеля (“*Athenäum*”: 178, 3; Vd. 1), в котором он говорит о «художниках» (*Künstler*) в отношении не только поэтов, но и философов и богословов [Schlegel 1967: 260].

² “*Es ist ein wunderbares, dunkles Reich von Gedanken in des Menschen Brust, da blitzen Kristall und Rubin und alle die versteinerten Blumen der Tiefe mit schauerlichem Liebesblick herauf, zauberische Klänge wehen dazwischen, du weißt nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen, die Schönheit des irdischen Lebens schimmert von draußen dämmernd herein, die unsichtbaren Quellen rauschen wehmütig lockend in einem fort und es zieht dich ewig hinunter — hinunter!*” [Eichendorff 1970: 523]. Ср. в «Руненберге»: “*ein Abgrund*

тиковского Тангейзера, но и гимн «Тоска по смерти» (“Sehnsucht nach dem Tode”) Новалиса, где движение вниз («прочь от света») связывается с обретением абсолюта, с любовью (в том числе с ее чувственной стороной) и смертью³. Беспредметная вначале любовь Раймунда находит свое выражение, как у Тика, в звучащем посреди «лесного уединения» (Waldeinsamkeit) пении волшебной птицы и музыке лесного рога.

«Томление» является главным мотивом и более поздней новеллы Эйхендорфа «Мраморная статуя» (1818). Герою-художнику и в этом случае открывается особая реальность: для него мраморная статуя Венеры оживает, и там, где другие видят руины языческого храма, он находит замок Прекрасной Дамы, в котором рискует навсегда остаться узником. Однако в трактовке этих образов намечается *принципиальное* расхождение гейдельбергского романтика с предшественниками. У Тика путь героя, который можно истолковать и как заблуждение, и как прозрение, обусловлен *внутренней необходимостью*. По словам тиковского Тангейзера, «некоторых из нас с рождения сопровождает злой дух, который <...> не дает человеку покоя, пока тот не достигнет цели» [Tieck 1964: 50]. В конечном счете Тангейзер принимает свою судьбу и делает выбор в пользу царства Венеры, убивая Эмму, чтобы она «не стояла ему на пути» [Ibid.: 58]. В «Руненберге» Тика реальность, в которой живет «несчастный» художник, существует для него одного: Кристиан не может забыть горную красавицу и в конечном счете навсегда оставляет свой дом ради «владычицы, украшенной золотой вуалью» [Ibid.: 81], но красавицей она появляется только перед ним, другие же видят лишь «ужасную лесную женщину». Более того, камни, которые герой принимает за драгоценные, на самом деле обычная галька, так видят их жена и дочь Кристиана [Ibid.: 81—82]. Тем не менее, как и Тангейзер, Кристиан не может и не должен отклоняться от своего пути: в новеллах Тика прорыв к *духовному* миру искусства, несмотря на его опасность, составляет *цель жизни героя*. Можно вслед за Д. Л. Чавчанидзе утверждать, что для Тика, йенского романтика, искусство, и только оно одно, «являет собой настоящий, изначально данный человеку мир» [Чавчанидзе 1997: 67]. Эйхендорф же усиливает намеченный йенцами мотив исходящего от искусства соблазна. Так в «Осеннем волшебстве», в отличие от новелл Тика, путь героя оценивается *одно-*

von Gestalten und Wohllaut, von Sehnsucht und Wollust <...>, Scharen von beflügelten Tönen und wehmütigen und freudigen Melodien zogen durch sein Gemüt, <...> er sah eine Welt von Schmerz und Hoffnung in sich aufgehen, mächtige Wunderfelsen von Vertrauen und trotztender Zuversicht, große Wasserströme, wie voll Wehmut fließend” [Tieck 1964: 68].

³“Hinunter in der Erde Schooß, / Weg aus des Lichtes Reichen, / Der Schmerzen Wuth und wilder Stoß / Ist froher Abfahrt Zeichen. <...> Hinunter zu der süßen Braut, / Zu Jesus, dem Geliebten — / Getrost, die Abenddämmerung graut / Den Liebenden, Betrübten” [Novalis 1977: 152—156].

значно отрицательно: «Потеряно, все потеряно!.. и любовь моя, и вся моя жизнь — одно непрестанное заблуждение!» — так *сам герой* оценивает свое пребывание в сказочном замке волшебницы [Eichendorff 1970: 524]. Характерно, что Кристиан в финале «Руенберга» приносит почти те же самые слова: «Как же я растратил мою жизнь в пустом сне!» [Tieck 1964: 77], — но они, напротив, относятся к существованию в деревне, далекой от волшебного мира. Причина такой оценки в «Осеннем волшебстве» выражена в молитве героя (автор дает ее в стихах): «Боже! Ревностно пытаюсь я молиться, / Но *земные* образы все время / Встают между тобой и мной (Gott! Inbrünstig möcht ich beten, / Doch der Erde Bilder treten / Immer zwischen dich und mich...)» (курсив мой. — Д. Ч.) [Eichendorff 1970: 512]. Погружившись в особую реальность искусства, он, в отличие от героев Тика, нашел в нем не подлинную, абсолютную реальность, а нечто «земное», хотя необыкновенное. Таким образом, если у йенцев противопоставлены повседневность и иной мир, доступ к которому имеет лишь художник, то здесь, говоря словами П. Штёкляйна, «пропасть пролегает не между <...> телом и духом, а между добром и злом в духовном мире» [Stöcklein 1963: 102].

Подобное употребление прилагательного «земной» заставляет вспомнить, что В. М. Жирмунский, противопоставляя мироощущение йенцев, «для которых земное и божественное слиты» [Жирмунский 1919: 9], и «дуалистический взгляд на жизнь», жестко отделяющий конечное от бесконечного, земное от божественного, использовал понятие «религиозного отречения» гейдельбергских романтиков, обозначив таким образом «аскетическое отрицание злого земного существования» [Там же: 51]. Однако красота земного мира привлекает не только колеблющегося героя Эйхендорфа; сам повествователь «Осеннего волшебства», очевидно, вполне согласен с Раймундом, восклицая: «Ах, как же прекрасен мир!» [Eichendorff 1970: 513]. Ландшафт, о котором идет речь, создан в характерной для Эйхендорфа технике пейзажей «из чистого пространства» [Alewyn 1960: 42]: «Вскоре они достигли вершины последней горы, и тут внезапно у их ног в блеске раскинулась низина (die Tiefe) с ее потоками, городами и замками, залита прекраснейшим сиянием утра» [Ibid.]. Подобным пейзажем, подтверждающим связь героя со всем миром (и миром прекрасным, притом что герой романа нашел свое место в монастыре), завершается и роман Эйхендорфа «Предчувствие и действительность» (закончен в 1812-м, опубликован в 1815 г.), и новелла «Мраморная статуя» (1818), и поздний роман «Поэты и их подмастерья» (1833), и даже новелла «Плавание» (“Eine Meerfahrt”, 1836, опубл. 1864): «земное существование», не смешиваясь с божественным, и не отрицается как «злое».

Поэтому кажется уместным в данном случае говорить не о «религиозном отречении», а о сформулированном С. Н. Булгаковым различии между относительно трансцендентным и трансцендентным в

собственном смысле слова; хотя «имманентное: “мир” или “я” <...> внутри себя тоже имеет ступени относительной трансцендентности, заданности, но еще не данности, — тем не менее оно противоположно трансцендентному, как таковому» [Булгаков 1994: 24]. Герой Эйхендорфа, выходя за пределы повседневности, получает в искусстве опыт *относительной* трансцендентности и должен распознать ее как таковую. Молитва Раймунда может быть в таком случае истолкована как полемика с представлением об искусстве как пути к *познанию* Абсолюта: «при постоянном и бесконечном углублении в область божественного, в мире нельзя, однако, встретить Бога, в этом познании есть бесконечность — в религиозном смысле дурная, т. е. уводящая от Бога, ибо к Нему не приближающая» [Там же: 23].

Вопрос о соотношении добра и зла, земного и небесного в искусстве подробнее раскрывается в «Мраморной статуе». Принципиальное новшество этой новеллы в том, что в ней присутствуют две любовные линии: Бьянка оказывается равноправной соперницей Прекрасной Дамы (Венеры). Герой, полюбивший Бьянку, а затем встретившийся с Дамой, вначале считает их одним и тем же лицом и убежден, что Прекрасная Дама — его подлинная и единственная любовь. Находясь во дворце Прекрасной Дамы (он же — пещера под древним храмом Венеры), Флорио как будто вспоминает, что часто видел в детстве изображение Дамы, ее дворца, сада и всей своей жизни: так повторяется знакомый по «Странствиям Франца Штернбалда» и «Генриху фон Офтердингену» мотив предузнавания. Одновременно раздваивается само «романтическое томление»: с одной стороны, в душе героя, как и каждого подлинного художника, всегда звучит одна из тех «первоначальных песен», в которых сохраняется память об «ином, родном мире» [Eichendorff 1970: 562]. С другой стороны, его привлекает мир Венеры, и это «мечтательное горение» отдает человека во власть иных сил, символом которых и является прекрасная мраморная статуя [Ibid.: 539]. Герой новеллы смешивает эти два стремления, что особенно ярко проявляется, когда он, находясь во дворце-пещере, слышит за окном пение поэта Фортунато: это «одна благочестивая песня, которую Флорио часто слышал в детстве» и почти забыл [Ibid.: 555]. Герою кажется, что ее звуки напоминают ему о виденном в детстве смутном образе Прекрасной Дамы, и он лишь постепенно понимает, что пробуждающиеся «стародавние юношеские мечты» связаны не с Венерой: он осознает, что «заблудился и потерял самого себя» (“hier so fremd, und wie aus sich selber verirrt”) [Ibid.: 556].

Так Флорио оказывается вынужден выбирать между двумя дорогами для него стремлениями, к трансцендентному абсолюту и к красоте, и в этой ситуации произносит молитву: «Господи Боже, не дай мне потеряться в этом мире» (“Herr Gott, laß mich nicht verlorengelien in der Welt!”) [Ibid.: 556]. Выражение «в этом мире» подчеркивает сходство с героем «Осеннего волшебства», безуспешно пытавшегося

ся прорваться к трансцендентному. Флорио, в отличие от Раймунда, получает ответ: поднимается буря, будто разрушающая чары; дворец снова превращается в подземелье, а Дама — в статую, и прозревший герой в ужасе бежит прочь. Освободившись от чар Венеры, он начинает видеть красоту «дневного» мира: заключительное стихотворение Флорио, где речь идет об освобождении (“Nun bin ich frei!”) и возвращении к Отцу [Eichendorff 1970: 562], вдохновлено восходом солнца, «искрящиеся лучи которого рассыпались по земле» [Там же]. Тогда же он по-настоящему открывает для себя Бьянку: «До тех пор его глаза, будто волшебный туман, застилала странная слепота. Теперь он необычайно удивился: так она была прекрасна!» [Ibid.: 563]. Воссоединение с настоящей возлюбленной происходит на фоне еще одного цветущего ландшафта, залитого солнечным светом: подчеркивается, что герой не разорвал связь с миром, а наоборот — обрел мир в новом качестве.

Итак, Эйхендорф стремится сохранить свойственное «мистическому чувству» йенских романтиков радостное отношение к миру с его красотой, но при этом сознает, что для художника существует риск подмены, увлечения конечным вместо бесконечного. Именно поэтому для обозначения позиции писателя точнее было бы использовать не термин «религиозное отречение», который подразумевает отрицание материального мира, а пару понятий «трансцендентное» — «имманентное» (в том понимании, которое вкладывает в них С. Н. Булгаков): притом, что «опознанное в религиозном опыте Трансцендентное, сущее выше мира, открывает глаза на трансцендентное в мире, другими словами, <...> дает видеть божественное в мире, <...> научает в имманентном познавать трансцендентное» [Булгаков 1994: 25], «ложь <...> состоит в молчаливом и коварном умысле через усмотрение софийности мира и его божественности отгородиться от Бога и религиозного, молитвенного пути к Нему» [Там же: 196. Примеч. 2]. С этим связана новая трактовка традиционно-романтического образа красавицы «не из числа смертных», которая в произведениях Эйхендорфа становится символом *обожествленной* художником природы, подменяющей собой Бога.

Литература

- Булгаков 1994 — Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994.
- Жирмунский 1919 — Жирмунский В. М. Религиозное отречение в истории романтизма: Материалы для характеристики Клеменса Брентано и Гейдельбергских романтиков. М., 1919.
- Жирмунский 1996 — Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. М., 1996.

- Чавчанидзе 1997 — *Чавчанидзе Д. Л.* Феномен искусства в немецкой романтической прозе: средневековая модель и ее разрушение. М., 1997.
- Alewyn 1960 — *Alewyn R.* Eine Landschaft Eichendorffs // Eichendorff heute / Hg. v. P. Stöcklein. München, 1960. S. 19—43.
- Eichendorff 1970 — *Eichendorff J. v.* Werke. In 5 Bdn. Bd. 2. München, 1970.
- Eichendorff 1976 — *Eichendorff J. v.* Werke. In 5 Bdn. Bd. 3. München, 1976.
- Frühwald 1977 — *Frühwald W.* Eichendorff-Chronik. München, 1977.
- Novalis 1977 — *Novalis.* Schriften. Bd. 1. Stuttgart, 1977.
- Schlegel 1967 — *Schlegel F.* Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. 1. Abteilung. Bd. 2. München; Paderborn; Wien; Zürich, 1967.
- Stöcklein 1963 — *Stöcklein P.* Joseph von Eichendorff. Reinbek bei Hamburg, 1963.
- Tieck 1964 — *Tieck L.* Werke. Bd. 2. München, 1964.

ZUSAMMENFASSUNG

“Sie schien nicht den Sterblichen anzugehören”: Ein Moment in Joseph von Eichendorffs Auseinandersetzung mit den Jenaer Romantikern

Im Beitrag werden Joseph von Eichendorffs Novellen “Die Zauberei im Herbst” und “Das Marmorbild” untersucht, die eine starke Ähnlichkeit zu Tiecks Novellen “Der Getreue Eckart und Der Tannenhäuser” sowie “Runenberg” aufweisen. Gleichzeitig erfahren traditionell-romantische Motive und Gestalten, vor allem die Liebe zur märchenhaften Schönen, bei Eichendorff eine grundsätzliche Umdeutung. Während diese Liebe bei Tieck als Symbol der Kunst den Zugang zur absoluten Realität ermöglicht, wird sie bei Eichendorff zu einem Irrtum, da sie den Helden zwar aus dem Alltag reißt, gleichzeitig aber auch vom Absoluten entfernt. Dieser Gedankengang wurde von Viktor Žirmunskij (vor allem in Bezug auf Clemens Brentano) als “religiöse (Welt-)Verneinung” bezeichnet. Im Artikel wird versucht, ein differenzierteres Verständnis von Eichendorffs Position herauszuarbeiten, da Eichendorff sich trotz großer Unterschiede weiterhin der Weltbejahung der Jenaer Romantiker verbunden fühlt.

Л. Н. ПОЛУБОЯРИНОВА

(Санкт-Петербургский государственный университет)

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РЕЦЕПЦИИ И. С. ТУРГЕНЕВА В АВСТРИИ

О влиянии И. С. Тургенева (1818—1883) на австрийских писателей-реалистов заговорили еще при жизни русского классика. В качестве его «последователей» или «подражателей» воспринимали тогда в первую очередь Леопольда фон Захер-Мазоха (Leopold von Sacher-Masoch, 1836—1895) и Карла Эмиля Францоza (Karl Emil Franzos, 1848—1904) [Glagau 1872; Goldbaum 1879]. В 1920—1930-е гг. данный ряд пополнился также именами Марии фон Эбнер-Эшенбах (Marie von Ebner-Eschenbach, 1830—1916) и Фердинанда фон Заара (Ferdinand von Saar, 1833—1906) [Tabak 1926; Latzke 1935]. Все четыре автора¹ высказывались о Тургеневе в дневниках и письмах (по большей части исключительно почтительно). Эбнер-Эшенбах и Захер-Мазох даже обменивались с «великим русским мастером» письмами.

Несмотря на достаточное количество исследований, посвященных тургеневским «следам» в творчестве каждого отдельного из упомянутых авторов [Wytrzens 1982; Hellberger 2000; Polubojarinova 2006], сам феномен «особого» внимания австрийских «поздних реалистов» (Ф. Мартини) к Тургеневу, проявившегося как активное усвоение элементов содержания и поэтики его прозы, остается малоизученным. В частности, вне поля внимания исследователей остается то обстоятельство, что все четыре автора опирались на Тургенева в том числе и в организации повествования. Например, замечено, что К. Э. Францоз (например, в «Ярмарке в Барнове» (“Markttag in Bagnow”, 1775), «акцентируя в описании природных ландшафтов Галиции и Буковины физическое присутствие рассказчика в пространстве повествования», «телесно удостоверяет аутентичность повествоваемого» [Strohmaier 2007: 29]. При этом, однако, упускается из виду тот момент, что данный элемент повествования у Францоza возникает в явной опоре на повествовательную манеру «Записок охотни-

¹ В ряде обзорных работ в числе австрийских тургеневцев упоминаются также такие забытые ныне авторы, как Якоб Юлиус Давид (Jacob Julius David, 1859—1906), Мориц Гартман (Moriz Hartmann, 1821—1872) и Нина Гофман (Nina Hoffmann, 1844—1914) [Latzke 1932; Wytrzens 1982].

ка». Очевидна эта опора также в многосоставном повествовательном проекте Захер-Мазоха «Наследие Каина» (“Das Vermächtnis Kains”, 1870—1877), в типе «новеллы воспоминания» (Erinnerungsnovelle), профилируемом Зааром, и в преимущественной ориентации Эбнер-Эшенбах на тип «повести» в противоположность традиционной немецкой «новелле» [Полубояринова 2011].

В качестве особенно релевантных в свете нашей постановки проблемы выступают те ориентированные на Тургенева элементы прозы австрийских авторов, которые выходят за пределы творчества отдельного писателя, указывая — на дискурсивном или поэтологическом уровне — на более общие структуры «австрийского тургеневианства». К числу подобных элементов относится, например, «постфеодальная» бинарная оппозиция «деревня — поместье», синдром нигилизма и сама фигура нигилиста, парадигматизированные Тургеневым фигуры «славянской женщины» («тургеневская девушка») и «лишнего человека», образ рассказчика-охотника и его нарративный потенциал, жанры «повести» и «стихотворения в прозе».

Новый взгляд на тургеневский компонент австрийской повествовательной прозы представляется необходимым также и ввиду изменившейся исследовательской ситуации. В отличие от традиционной литературной истории, ориентировавшейся на концепцию «поэтического реализма», в работах последнего времени делается акцент на проблематике идентичности и повествовательных стратегиях, которые в текстах Эбнер-Эшенбах, Заара, Францоа и Захер-Мазоха оказываются близкими поискам венского модерна [Seeling 2008; Wagner 2005; Kobelt-Groch 2010; Giersch 2014; Polt-Heinzl 2014]. В частности, многократно отмечаемая в работах последнего времени открытость вышеозначенных авторов по отношению к проблематике Другого (в культурном, национальном, языковом и гендерном отношениях) в немалой степени коррелирует в их творчестве с влиянием Тургенева и в ряде случаев, как возможно предположить, выступает эффектом данного влияния.

Феномен «тургеневского бума» в Западной Европе и США давно стал общим местом тургеневедения [Генералова 2003; Lehmann 2015: 56—58; Gerigk 2015]. С общими местами и клише граничат также и общеизвестные историко-литературные характеристики Тургенева как «первого подлинного русского европейца», уникальной фигуры «культурного трансфера» и «посредника» между культурами (“*médiateur*” — [Espagne 2012: 80]) или же «провозвестника» «триумфального» успеха «великой русской литературы» на Западе.

Рассуждая о природе этого успеха, Д. И. Мережковский замечает: «Гений меры — гений Западной Европы. Европе и открылся Тургенев — первый из русских писателей. Несмотря на европейскую славу Л. Толстого и Достоевского, последняя русская глубина их остается Европе чуждою. Они удивляют и поражают ее; Тургенев пленяет. Он ей родной. Она почувствовала в нем впервые, что Рос-

сия тоже Европа» [Мережковский 2007: 475]. И добавляет в конце: «Пушкин дал русскую меру всему европейскому; Тургенев дает всему русскому европейскую меру» [Там же: 478].

Тургенев, в соответствии с данной логикой, — некий особый «русский», русский, изначально ориентированный на западную публику, репрезентативный носитель адаптированной «для Европы» русской субстанции, и тем самым по своей сути — скорее европеец: француз или немец, — нежели русский. Таков лейтмотив и многочисленных западноевропейских рецензий на тургеневские издания, например, — если ограничиться немецкоязычным регионом, — обзорных статей и эссе Пауля Гейзе, Юлиана Шмидта, Фердинанда Кюрнбергера, И. Лорма, Отто Глагау и др.

С одной стороны, все перечисленные рецензенты не могли не отметить «чуждость» материала тургеневских повестей и романов западной публике. Ср., например: «В его новеллах представлена своеобразная галерея подлинно русских характеров, нам исключительно чуждая...» [Schmidt 1870: 441]; «...та простосердечная славянская набожность, о которой расудочный Запад давно не имеет никакого понятия» [Kürnberger 1877: 108]. В качестве чужих и даже «чуждых» (“befremdend”) воспринимались, кроме того, такие «чисто славянские» феномены тургеневской прозы, как «общинный дух» (“Gemeinsinn”), «фатализм», «пессимизм» или «славянская меланхолия» [Lorm 1864]. После выхода в свет в 1865 г. немецкого перевода романа «Отцы и дети» (1862), в центре которого стояла фигура нигилиста Евгения Базарова, популярность обрела также формула «славянский нигилизм» [Eichholz 1931/32].

С другой стороны, рецензенты неизменно отдавали должное «пленяющим» (Мережковский) качествам формы и стиля тургеневских текстов, благодаря которым содержательно «чужие» (относящиеся к категории «Другого») феномены славянского Востока представлялись западному читателю близкими и знакомыми. Данный эффект был в немалой степени обусловлен литературными и философскими импликациями в прозе получившего «западное» образование и жившего по большей части в Западной Европе — в Германии, а после 1870 г. — во Франции — автора, широта и интенсивность западных контактов которого была феноменальной.

Так на рецептивном уровне «экзотические» русские крестьяне Хорь и Калиныч — «титulyные» персонажи первого очерка «Записок охотника» — вписывались в матрицу «наивного» и «сентиментального» мировосприятий, уже присутствовавшую в сознании образованной немецкой публики благодаря известному эссе Ф. Шиллера. Осознанный вначале как «типично славянское» мироощущение «пессимизм» тургеневских героев вызывал прямые ассоциации с учением А. Шопенгауэра [Kürnberger 1877: 107—108]. Даже, казалось бы, «аутентично русский» нигилизм Базарова оказалось возможным увязать с нигилистическими основами мышления персонажей Жан

Поля Рихтера, недаром данный мыслительный комплекс впоследствии бесконфликтно перетекает в несколько трансформированное понятие нигилизма у Фридриха Ницше [Thiergen 1993].

Приведенные примеры восприятия Тургенева немецкоязычной литературной критикой подкрепляют мнение Мережковского и позволяют сделать следующие два вывода. Во-первых, возможно предположить изначальную рецептивную ориентированность тургеневских текстов на западный дискурс «изобретения Восточной Европы» (термин американского историка Ларри Вульфа — “Inventing Eastern Europe”). Во-вторых, важен момент отмеченного многими западными коллегами по перу знаменитого «художественного мастерства» Тургенева как инструмента или медиума «переведения» (в данном случае подходящим оказывается термин «культурный трансфер») восточноевропейского «Другого» в «Свое» западноевропейского культурного сознания. Оба момента представляются в достаточной степени амбивалентными и имеют отношение к рецепции Тургенева в Австрии.

Первый момент включает имплицитно присущее тургеневским творениям артикулирование Восточной Европы как «Другого». Однако не в том варианте аутентичного специфического русского голоса, который бы хотелось подчас в нем усмотреть тургенедам: «Благодаря Тургеневу Россия впервые рассказала о самой себе» [Генералова 2003: 209] — это как раз остается скорее иллюзией. Но — как конструирование для Запада на его собственном языке — восточноевропейского Другого через Тургенева. Именно так возможно истолковать слова Мережковского: «Тургенев дает всему русскому европейскую меру». Данная конструкция выполняет не столько для России, сколько для самого Запада важную (само)идентификационную функцию.

В Австрийской империи (с 1867 г. — «двойная» Австро-Венгерская монархия) потребность в «изобретении» или же оживлении культурных схем освоения восточноевропейского пространства была актуальна как никогда. В первую очередь, в отношении окраинных земель Австрии (“Kronländer”) с доминирующим славянским населением — таких, как Богемия, Буковина, Галиция и Вольшь (Lodomergien), маркграфство Моравия и (до 1867 г.) Хорватия и Славония — в условиях острой полемики между наступательным германоориентированным либерализмом австрийских немцев, с одной стороны, защитниками многонациональной структуры Австро-Венгерской монархии под эгидой Габсбургов — с другой, и соответствующими националистическими движениями народов славянских окраин — с третьей. «Дискурсивирование» находившихся под властью Габсбургов восточных регионов, в том числе и в медиуме художественной прозы, представлялось австрийским авторам первоочередной задачей, во многом оттого, что было важно, выражаясь словами Л. Вульфа, «посредством открытия Другого обрести соб-

ственное самосознание» [Wolff 2004: 24]. Произведения Тургенева, приблизившие к западному читателю и тем самым помогавшие «осваивать» обширные славянские земли Восточной Европы, наделялись в данной ситуации важную ролью одновременно фермента и легитимирующей матрицы.

В биографическом аспекте и по материалу своих произведений все четыре ведущих тургеневиянца Австрии были связаны со славянскими (с достаточно высоким процентом также и еврейского населения) окраинными габсбургскими землями. Так, действие центрального сборника повестей баронессы Марии фон Эбнер-Эшенбах, урожденной графини Дубской, «Деревенские и поместные истории» (“Dorf- und Schlossgeschichten”, 1883, 1886) происходит в Моравии, в тех местах, где она и сама появилась на свет в 1830 г. (в родовом замке Здиславиц). (Писательница бегло говорила по-чешски.) Этнографический интерес, связанный с репрезентацией национально-антропологических типов, нравов и обычаев Галиции и Буковины, находится в центре большинства произведений урожденных галичан К. Э. Францоza (в особенности его шеститомного собрания “Aus Halb-Asien: Land und Leute des östlichen Europas”, 1876—1890) и Л. фон Захер-Мазоха (прежде всего в его повествовательном цикле «Наследие Каина»). Будучи урожденным венцем, Заар, тем не менее, также активно обращается в своих «Новеллах из Австрии» (“Novellen aus Österreich”, 1877) к славянским габсбургским окраинам, в частности к Моравии и Богемии, известных ему по личному «гарнизонному» опыту офицера Австро-Венгерской монархии.

Осознание восточноевропейского «бескультурья» (“Unkultur”), сопровождаемое его критической, с элементами натурализма, художественной репрезентацией, неизменно сочетается у всех четырех авторов с иллюзионистскими идеями «реформирования» славянского Востока. Правда, пути подобной реформы писатели представляли себе различным образом. В то время как Француз считает единственно верным вариантом развития ориентацию на германоцентричную культуру вильгельминского Рейха, Эбнер и Заар верят в перспективу многонациональной конфедерации под эгидой Габсбургов, Захер-Мазоху же наиболее перспективной представляется активизация протокоммунистических импульсов, заложенных в славянской крестьянской общине (ср. его утопический проект в повести «Рай на Днестре» — “Paradies am Dnjestr”, 1877)². Общим остается одно: дискурсивно релевантными данные ориентированные на габсбургскую часть Восточной Европы проекты становятся во многом благодаря тургеневским художественным моделям.

² Ср. рассуждения Л. Вульфа об утопических импликациях галицийской прозы Францоza и Захер-Мазоха, связанных с установкой на «преобразование галицийского варварства» и «преодоление галицийской отсталости» [Wolff 2010: 111—116, 243—246].

В данной связи проясняется важность и второго аспекта тургеневской прозы в ее восприятии Западом, а именно — намеренное приглушение слишком явственной экзотики «восточноевропейских» сюжетов и мотивов. Иными словами, Тургенев поставляет (западным) европейцам специально отобранные «русские» сюжеты и мотивы в «европейски» культивированной форме. Данным обстоятельством в том числе объясняется давно отмеченная первостепенность для русского автора проблематики организации сюжета, выстраивания системы персонажей, всех аспектов поэтики и повествовательной техники. Немаловажен тот момент, что при всем интересе к тургеневской «изобретенной» Восточной Европе и при всем уважении к блестящей наррации автора «Первой любви» французские, английские, да и немецкие коллеги Тургенева по писательскому цеху не были настроены на непосредственное подражание русскому прозаику. Тургенев был для них в большей мере конгениальным коллегой по писательскому цеху, как для Г. Флобера, Э. Золя, Г. Джеймса, Т. Шторма, или равновеликим сильным соперником на европейском литературном рынке (как для Т. Фонтане).

В немецкоязычном пространстве отношение к Тургеневу выстраивается еще в зависимости от официальной культурной политики. Государственно легитимированная концепция «поэтического реализма» как «новой немецкой классики» предполагала в 1870—1880-е гг. в Германии ориентацию в первую очередь на отечественные литературные образцы — Гёте и Шиллера, — или из современных авторов — на Пауля Гейзе и Густава Фрейтага. Иной была ситуация в Австрии, где повествовательную прозу современного эпохе уровня только предстояло создавать. (Прозаические опыты Адальберта Штифтера и Франца Грильпарцера в реалистическую эпоху были основательно забыты; возрождение интереса к ним приходится уже на XX век.) В поисках собственного аутентичного пути, отличного от немецкого, австрийская повествовательная проза находит важный формальный и содержательный ориентир в произведениях русского автора.

Параметры, мера и специфика сочетания (не всегда бесконфликтного) данных тургеневских образцов с собственными прогабсбургскими (Заар, Эбнер), имперско-немецкими (Француз) и социально-утопическими (Захер-Мазох) интенциями австрийских авторов могли бы выступить предметом рассмотрения в ходе дальнейшего исследования данной темы.

Литература

Генералова 2003 — *Генералова Н. П.* И. С. Тургенев: Россия и Европа. Из истории русско-европейских литературных и общественных связей. СПб., 2003.

- Мережковский 2007 — *Мережковский Д. С.* Вечные спутники. СПб., 2007.
- Полубояринова 2011 — *Полубояринова Л. Н.* К проблеме дифференциации жанров «новелла» (Novelle) и «повесть» (Erzählung) в немецкоязычной прозе XIX в. // Новый филологический вестник. 2011. № 1 (16). С. 96—104.
- Eichholz 1931/32 — *Eichholz J.* Turgenew in der deutschen Kritik bis zum Jahre 1883 // *Germanoslavica* 1 (1931/1932). S. 43—54, 557—559.
- Espagne 2012 — *Espagne M.* Ambre et fossile: Transferts germano-russes dans les sciences humaines XIX—XX-e siècle. Paris, 2012.
- Gerigk 2015 — *Gerigk H.-J.* Turgenjew. Eine Einführung für den Leser von heute. Heidelberg, 2015.
- Giersch 2014 — *Giersch P.* Für die Juden, gegen den Osten?: Umcodierungen im Werk Karl Emil Franzos (1848—1904). Berlin, 2014.
- Glagau 1872 — *Glagau O.* Turgeniev's Nachahmer. Karl Detlef. — Sacher-Masoch // *Glagau O.* Die russische Literatur und Iwan Turgeniev. Berlin, 1872. S. 162—174.
- Goldbaum 1879 — *Goldbaum W.* Turgenjew's deutsche Jünger. Eine kritische Randglosse // *Mehr Licht. Eine deutsche Wochenschrift für Literatur und Kunst* 27 (1879). S. 424—425.
- Hellberger 2000 — *Hellberger M.* Die Rezeption von Ivan Turgenews Tierdarstellungen im Werk Marie von Ebner-Eschenbachs und Ferdinand von Saars // *Russland — Österreich. Literarische und kulturelle Wechselwirkungen* / Hg. v. J. Holzner. Bern; Berlin, 2000. S. 97—126.
- Kobelt-Groch 2010 — *Kobelt-Groch Marion* (Hg.). Leopold von Sacher-Masoch — ein Wegebereiter der Moderne. Hildesheim, 2010.
- Kürnberger 1877 — *Kürnberger F.* Turgénjew und die slawische Welt // *Kürnberger F.* Literarische Herzensachen: Reflexionen und Kritiken. Wien, 1877. S. 106—121.
- Latzke 1935 — *Latzke R.* Marie von Ebner-Eschenbach und Ivan Turgenew // *Pädagogischer Führer* 85 (1935). S. 402—412.
- Lehmann 2015 — *Lehmann J.* Russische Literatur in Deutschland: Ihre Rezeption durch deutschsprachige Schriftsteller und Kritiker vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Stuttgart, 2015.
- Lorm 1864 — *Lorm H.* Iwan Turgenjews Erzählungen // *Österreichische Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und öffentliches Leben.* Bd. IV (1864). S. 1643—1647.
- Polt-Heinzl 2014 — *Polt-Heinzl E.* Was aber ist modern? Arthur Schnitzler und Peter Altenberg vs. Ferdinand Saar, Elise Richter oder Rosa Mayreder // *Visionen der Zukunft um 1900: Deutschland, Österreich, Rußland* / Hg. v. S. Taşkenov u. a. München, 2014. S. 135—158.
- Polubojarinova 2006 — *Polubojarinova L.* Stoffe und Motive Iwan Turgenjews im Werk Ferdinand von Saars (unter besonderer Berück-

- sichtigung von "Ginevra") // Ferdinand von Saar: Richtungen der Forschung: Gedenkschrift zum 100. Todestag / Hg. v. M. Boeringer. Wien, 2006. S. 51—67.
- Schmidt 1870 — *Schmidt J.* Iwan Turgenjew // *Schmidt J.* Bilder aus dem geistigen Leben unserer Zeit. Leipzig, 1870. S. 428—471.
- Seeling 2008 — *Seeling C.* Zur Interdependenz von Gender- und Nationaldiskurs bei Marie von Ebner-Eschenbach. St. Ingbert, 2008.
- Strohmaier 2007 — *Strohmaier A.* "Barnow in Halb-Asien": Zur Konstruktion des Raumes in den Texten von Karl Emil Franzos // Karl Emil Franzos: Schriftsteller zwischen den Kulturen / Hg. v. P. Ernst. Wien, 2007. S. 11—36.
- Tabak 1926 — *Tabak G.* Iwan Sergeewitsch Turgenjews Einfluß auf die deutsche Literatur. Diss. Wien, 1926.
- Thiergen 1993 — *Thiergen P.* Zum Problem des Nihilismus im I.S.Turgenevs Roman "Väter und Söhne" // Die Welt der Slaven. Halbjahresschrift für Slavistik. 1993. Jahrgang XXXVIII, 2. N. F. XVII. München, 1993. S. 344—359.
- Wagner 2005 — *Wagner G.* Harmonisierung und Verstörung: Voyeurismus, Weiblichkeit und Stadt bei Ferdinand von Saar. Tübingen, 2005.
- Wolff 2003 — *Wolff L.* Die Erfindung Osteuropas. Von Voltaire bis Voldemort // Europa und die Grenzen im Kopf / Hg. v. K. Kaser u.a. Klagenfurt, 2003. S. 21—34.
- Wolff 2010 — *Wolff L.* The Idea of Galicia: History and Fantasy in Habsburg Political Culture. Stanford, 2010.
- Wytrzens 1982 — *Wytrzens G.* Zur österreichischen Turgenew-Rezeption bis 1918 // Wiener slawistisches Jahrbuch. 1982. S. 107—126.

ZUSAMMENFASSUNG

Zu einigen Aspekten der Ivan Turgenew-Rezeption in Österreich

Im Aufsatz wird der Versuch unternommen, der Turgenew-Rezeption in der österreichischen Erzählprosa der 2. Hälfte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts nachzugehen. Vertreten durch Marie von Ebner-Eschenbach, Leopold von Sacher-Masoch, Karl Emil Franzos und Ferdinand von Saar zeitigt diese Prosa in inhaltlicher Hinsicht wie auf poetologischem Niveau zahlreiche Spuren des Einflusses des russischen Autors. Im Zentrum der Betrachtung stehen Versuche der österreichischen Autoren, Turgenews Prosa für die eigene Auseinandersetzung mit den habsburgischen slawischen Kronländern zu operationalisieren.

А. П. СКЛИЗКОВА

(Владимирский государственный университет
им. А. Н. и Г. Н. Столетовых)

**ЖАНР LEGENDENSPIEL КАК МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ
ТРАНСФЕР В ДРАМЕ Г. ГАУПТМАНА
«ЗАЛОЖНИЦА КАРЛА ВЕЛИКОГО»**

В драме Гауптмана 1908 года «Заложница Карла Великого» (“Kaiser Karl Geisel”) речь идет о короле Карле, который любит свою пленницу — саксонку Герзуинд, но боится себе признаться в этом. Карл забирает ее из монастыря, в котором она жила раньше, заботится о ней, окружает роскошью. Но девушка (Герзуинд, 16 лет) пугает короля своей веселостью и чрезмерной, как кажется Карлу, живостью. Ее внутренняя установка на свободу, желание поступать так, как велит сердце, раскованность и чувственность не принимается Карлом. Узнав, что Герзуинд танцевала нагая при свете луны, он приходит в ярость и изгоняет девушку. Позже Карл раскаивается, признаёт её невиновность, но успевает лишь на погребальный обряд — Герзуинд умирает от яда, данного Эркамбальдом, религиозным фанатиком, одним из приближённых короля.

Следует особое внимание обратить на жанровое определение «Заложницы Карла Великого» — Legendenspiel. В русском переводе — драматическая легенда — не принимается в расчёт слово «игра», входящее, как можно заметить, в состав сложного существительного. Между тем именно оно позволяет возвести жанр в высокий статус межкультурного трансфера. Определение богословского писателя Римско-католической церкви Исидора Сивильского (560—636), назвавшего в своём энциклопедическом труде «Этимология» переводчика транслятором (translator) [Исидор Сивильский 2006: 28], оживает в современных трактовках модерна. Немецкие литературоведы выдвигают древний, но вечно новый термин “Transfer” и говорят о процессе посредничества (“Vermittlungsprozess”) [Kemper 2004: 60], они применяют термин в качестве некоего креативного акта самого процесса понимания, что способствует обновлению, трансформации [Vietta 2001: 27]. Термин “Transfer”, таким образом, в известной степени возвращается к своей почти первоначальной критической функции, в частности ко времени I в. Папий Иерапольский в сохра-

нившихся фрагментах «Истолкования изречений господних» называет себя интерпретатором истины, которую он толкует не для тех, «кто повторяет заповеди других людей... а кто желает слушать живой, остающийся в душе голос» [Папий Иеропольский 2003: 220]. В самом принципе толкования Папия уже заложен исток будущей модернистской трансляции. Акцент раннехристианского писателя на «живой голос» не только закладывает основы новозаветной канонической традиции, но и предусматривает момент недоверия к ней: не повтор непреложного, изначально заданного, а личное раскрытие самоочевидных истин.

Можно заметить, что понимание межкультурного трансфера тесно связано с принципом игрового движения «туда-сюда». Впервые о таком движении упомянул голландский психолог Ф. Бойтенданк — «hin und her bewegung» [Buytendijk 1933: 54], подчеркнув тем самым один из ведущих признаков и принципов игры. Игра может быть представлена в качестве главного правила модерна, который есть активное движение вперёд (игровое «сюда») и не менее активное движение назад (игровое «туда»). Акцент в игре на движение, обновление в бесконечном повторении позволяет говорить о её внутренней причастности, её идентичности специфике модернистской трансляции в отношении культурной традиции: отталкивание от неё и одновременное притяжение к ней, принятие традиционных канонов и их забвение, глубокое погружение в традицию и её современное обновление. Благодаря игре, её самотрансляции, традиция непрерывно обновляется, не становится мёртвой. Игра-трансляция преодолевает временные расстояния, дистанции между «минувшей культурной эпохой, которой принадлежит текст, и самим интерпретатором» [Ricoeur 2003: 60]. Свободному ходу модернистской мысли присуще игровое начало, посредством которого писатель-модернист постигает литературные явления в единстве и непрерывности. Игра, тем самым ориентируется на процессуальность понимания далёкого и близкого прошлого, настоящего и будущего, создаёт своим собственным существованием вечный игровой пласт модерна «туда-сюда». Игра поэтому всегда вбирает в себя культурный опыт, опыт истории, опыт познания традиции посредством непрерывной модернистской интерпретации.

Подобный процесс (уточню ещё раз — возведение игры в высокий статус межкультурного трансфера) наиболее отчётливо прослеживается при интерпретации эпитафии к драме «Заложница Карла Великого». Он игровым образом транслируется, становясь тем самым культурным посредником между эпохами. Гауптман даёт выдержку по-итальянски из произведения «Шесть дней» (“*Le sei giornate*”) венецианского ученого, археолога, сенатора, писателя Себастьяно Эриццо (Sebastian Erizzo) (1525—1585). Эриццо, композиционно почти повторяя «Декамерона» Боккаччо, рассказывает о группе студентов из университета Падуи. Они встречаются по средам в июне

и июле в великолепном саду за городом и передают друг другу истории, кажущиеся им интересными и увлекательными. Эриццо называет их событиями — *Avvenimenti*. Гауптмана интересует второе *Avvenimenti*, именно в нём речь идёт о короле Карле, о его любви к прекрасной деве. Чувство короля было столь сильно, пишет Эриццо, что Карл стал порочен, душа его так была пленена нежными ласками, что он забыл о славе и чести, пренебрѣг думами об управлении государством (“*Fu guestro re di si fervente amore acceso di costei, cosi perduto, ed ebbe l’animo cosi corrotto dalle sue tenete carezze e lascivie, che non curando il danno, che per tal cagione nella fama e nell’onore ricevca, ed abbandonati i pensieri del governo del regno...*”) [Hauptmann 1908: 7].

Текст учёного венецианца предстаёт перед Гауптманом как знаковый игровой феномен, как та легенда прошлого, которая требует глубокого постижения и неперемennого модернистского переосмысления. Гауптман тематически сохраняет верность той части *Avvenimenti* итальянского автора, где речь идёт о сильнейшем чувстве Карла к молодой девушке. Однако немецкий драматург, перетолковывая предание, производит духовную ревизию незыблемых для Эриццо понятий. Гауптман не приемлет морализаторский тон, который зачастую доминирует в *Avvenimenti* Эриццо, его основную назидательную линию, чрезмерное акцентирование нравственных проблем [Krappe 1906: 273]¹. Напротив, Гауптман ощущает, что Эриццо выходит за рамки собственной концепции нравственности², наделяя свои *Avvenimenti* той культурной силой, которая постепенно раскрывается через последующее игровое восприятие древних легенд. Поэтому Г. Гауптман, обращаясь к жанру легенды, ориентируется не на «актуальные связи» — внешние героические деяния короля Карла: обилие успешных войн, продолжительная борьба

¹ В произведении «Шесть дней», созданном во второй половине века Чинквеченто, ошутима бесспорно ренессансная традиция, не случайно Эриццо использует различные источники, в первую очередь античные. Так, произведения Валерия Максима (*Valerius Maximus*), римского историка I в., чрезвычайно интересны Эриццо, в частности книга В. Максима «Слова и деяния, достойные памяти» (“*Factorum et dictorum memorabilium libri*”). Это сборник рассказов, одни из них повествуют о добродетели, другие о пороках. Кроме того, Эриццо обращается к произведениям Цицерона, Салюстия, Диодора, венецианского сенатора XVI в. интересуют деяния великих людей, пример которых может быть предложен потомкам в качестве назидания.

² Действительно, не принимая чрезмерного, как ему кажется, жизнелюбия Ренессанса, Эриццо во многом смыкается со взглядами его творцов. Так, во второй *Avvenimenti* Эриццо ссылается на письмо Петрарки к кардиналу Коллоне от 21.06.1333 г., в котором мастер сонетов пишет о любви уже немолодого Карла Великого. Будучи петраркистом, преклоняясь перед творениями своего соотечественника, Эриццо невольно принимает его взгляды, касающиеся силы страсти, пыла чувств, обновления души благодаря любовному душевному волнению и переживанию.

ба с саксами, сохранение классического наследия, введение особой системы образования. Всё это, бесспорно, важно и интересно, но в глазах Гауптмана значительность короля проявляется в том, что он полюбил прекрасную девушку Герзуинд, доверился себе, обрёл ту внутреннюю детскость, которой ему так не хватало раньше. Именно подобное обновление души, к чему Карл, как показывает Гауптман, столь сильно стремился, и сделало его Великим, сохранило для потомков значение и его деятельности, и цельности его внутреннего облика. Сам принцип легенды, её смысловая наполненность игровым образом перетолковывается немецким драматургом. Как пишет современный исследователь Н. Луман (1927—1998), «смысл являет себя во времени, возникает единый вневременной текст» [Luhmann 1997: 98]. Такой текст имеет тенденцию к игровой самореконструкции, внутри его глубинной структуры вершится процесс самоиграния, самопереосмысления.

Для доказательства данной мысли стоит обратить пристальное внимание на образ кольца, игровая роль которого весьма значительна. По тексту Гауптмана Карл даёт кольцо Алкуину как забаву, оно должно распасться на семь колечек, из которых потом опять составится одно (“...dies ist ein Ring, ein Spielzeug, / ...in sieben Ringlein fällt es auseinander: / mach aus den sieben — einen wiederum, / und dann bedenke eins...”) [Hauptmann 1908: 97]. Кольцо называется игрушкой, с ним развлекаются, оно может скрасить досуг. Но, как видно, главное его назначение довольно серьёзное — части должны сложиться в целое, а целое вновь разделиться на части. Бесспорно, в данном случае Гауптман фокусирует внимание на древней философской истине, на понимании жизни как структурной взаимосвязи целого и частей, на их самореализации и переходе одно в другое. Но, поэтически философствуя о человеке и мире, Гауптман акцентирует весьма значительный игровой пласт данной философии: целое как бы распадается само по себе, собрать воедино его практически невозможно. Жизнь как гармоничное целое должна быть самопостигаема, самореализована. В этом и состоит принцип игры: она бесконечна, никогда не заканчивается, играет сама с собой. Недаром Алкуин в дальнейшем говорит Карлу, что не смог справиться с кольцом. Карл, находясь в ярости от поведения Герзуинд, отбрасывает от себя кольцо, его подхватывает Герзуинд, утверждая, что теперь ни за что с ним не расстанется. Король озабочен судьбой кольца, спрашивает потом девушку, зачем она его взяла, ответа на свои вопросы не получает.

Такова история кольца, которая вершится (играется) в рамках драматического текста «Заложница Карла Великого». Важно учитывать, что игровой образ-предмет (*Spielzeug*) гармонично входит и сочетается с игровым жанром (*Legendenspiel*). Гауптмана в данном случае можно назвать ироником, суть которого Р. Рорти видит в том, что он всегда ощущает необходимость перемен, главное для ирони-

ка, считает Рорти, непрерывный процесс пересоздания, поскольку он «признаёт, что аргумент, выраженный в его сегодняшнем словаре, не может быть полностью подтверждён» [Rorty 1987: 220]. Для такого подтверждения, создания «нового словаря» по Рорти, Гауптман связывает текст Эриццо с размышлениями Г. Лессинга. Под пером немецкого драматурга на рубеже веков вершится процесс модернистской сублимации — более древний текст осмысливается через относительно современный, как бы переходит в него, мысли итальянского писателя смыкаются со взглядами немецкого художника слова эпохи Просвещения. Можно говорить о том, что Гауптман получает ответ на сложности и загадки произведения Эриццо через собственное восприятие и глубокое личное переживание «Натана Мудрого» Лессинга, на одну воспринимаемую традицию накладывается другая, что приводит в итоге к переориентации смыслового содержания обеих, созданию личного, индивидуального взгляда на поставленную проблему.

Так, в тексте С. Эриццо, во втором *Avvenimento*, речь идёт о кольце Фастреды. Это магический перстень, исполняющий желания, он достался Фастредой от предков. Именно с его помощью девушка смогла стать женой Карла, который столь сильно в неё влюбился, что забросил государственные дела. Когда же Фастрада умерла, долгое время не желал расставаться с её телом и возвращаться к прежней жизни. Эриццо оценивает кольцо как могущественный любовный талисман, полный колдовской, враждебной силы. Она затуманивает сознание того человека, на которого направлена вся его враждебная мощь.

Гауптман, играя с текстовым смыслом своего собрата по перу, не может полностью принять подобную трактовку волшебного перстня. Драматург, пересматривая основные положения *Avvenimenti* Эриццо, выходя за пределы его текста, внутренне соотносит его с духовной позицией Лессинга. Он, как известно, в драматической поэме «Натан Мудрый» (“*Nathan der Weise*”) в уста своего героя вкладывает притчу о кольце: по образцу одного созданы три других, истинным является каждое кольцо, но лишь в том случае, если носитель и обладатель считает его заветным (“*So glaube jeder sicher seinen Ring / Den echten*”) [Lessing 1978: 85]. Саладин, которому Натан рассказывает эту историю, воспринимает её религиозный аспект: каждая религия значительна и истинна, разделённая на ветви, три кольца в притче Натана, она имеет единую незыблемую основу.

Однако в поэтическом творении Лессинга речь идёт не только о религиозном равенстве. Глобальная мысль о взаимной согласованности частей, о разделённом целом, которое в любом случае должно соединиться в себе самом, распространяется Лессингом на все принципы мироздания, на основы человеческой экзистенции. Именно так понимает Гауптман притчу Натана. Поэтому кольцо в «Заложнице Карла Великого» становится глобальным символом жизни, сим-

волом свободы, символом детскости. Отбросив от себя кольцо, Карл тем самым отрекается от самого себя, от всего того доброго, светлого, чистого, юного, что было им открыто в себе благодаря общению с Герзуинд.

Драма Гауптмана, логически выстраиваемая по принципу игровой переворачиваемости текста Эриццо, сопоставляется с «Натаном Мудрым». Из осмысления глубинного содержания произведения Лессинга Гауптман старается получить ответы на вопросы, не вписывающиеся в жизненное пространство *Avvenimenti* Эриццо. Характерно, что в поэтическом творении драматурга XVIII в. кольцо представлено как дар любимой женщины (“...aus lieber Hand besaß”) [Lessing 1978: 81], опаловое кольцо обладает таинственной силой. Не являясь любовным талисманом, как в истории Эриццо, оно, тем не менее, вызывает расположение и других людей, и бога к тому, кто его носит (“Und hatte die geheime Kraft, vor Gott / Und Menschen angenehm zu machen”) [Ibid.]. Тем самым делается возможным перенос образа кольца с любовного талисмана, как он представлен в тексте Эриццо, на его всеобщую жизненную энтелехийную сущность. Именно так Лессинг подаёт загадку кольца, оно не действует вовне, не привлекает сердца само по себе, только душа владельца, раскрытая во всей своей бездонной глубине, наделяет перстень магической властью, придаёт ему несокрушимую силу. Она может быть приумножена, что произойдёт в том случае, если владелец (в тексте Лессинга — владельцы, три брата), наделённый детской ребячливостью, привнесёт в мир любовь, бескорыстие, кротость, тогда сила камня никогда не иссякнет (“...komme dieser Kraft mit Sanftmut, / Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, / Mit innigster Egebenheit in Gott...Bei Kindes — Kindeskindern äußern, / So lag ich über tausend tausend Jahre / Sie wiederum vor diesen Stuhl...”) [Ibid.: 85].

Это тот момент, который в очень сильной степени связывает «Натана Мудрого» Лессинга с «Заложницей Карла Великого». Понятие детско-детской ребячливости (*Kindes — Kindeskindern*) является ключевым в этой драме. Король Карл приобрёл его, но вскоре утратил и, говоря словами Лессинга, не пожелал приумножить силу кольца любовью и кротостью. Напротив, король, приходя в страшный гнев и отталкивая от себя Герзуинд, доказывает собственное бессилие, своё неумение и нежелание справиться с жизнью, со свободой, со светом внутреннего раскрепощения.

Кольцо остаётся у Герзуинд, она не возвращает его Карлу. Кажется, что данная драматическая установка интенционно связывает «Заложницу Карла Великого» со смысловой ситуацией второго *Avvenimente* Эриццо — Фастрада спрятала магический перстень, поэтому даже после смерти жены король не может освободиться от неё. Однако Гауптман, лично переживая и переосмысливая текст как Эриццо, так и Лессинга, переносит внимание в несколько иную сферу. Карл рассказывает Алкуину, что кольцо стало его трево-

жить, он часто видит во сне Герзуинд, спрашивает её о кольце, она отвечает, что король может прийти и посмотреть (“...denn der Ring in jedem Traum mich wartert, ...sie gab zur Antwort: komm und sieh”) [Hauptmann 1908: 14]. Король, как показывает Гауптман, должен ощутить силу кольца в себе самом, прозреть его в себе.

В душе Карла совершается внутренний переворот, который Гауптман передаёт через особую языковую поэтическую образность: мысль короля скулит (“...wo seine Sinne bettelten”) [Ibid.: 183]. Оксюморонное соединение несоединимого, слияние противоположных свойств — животного визга в самом процессе человеческого мышления — языковое свидетельство важного события, совершаемого в душе Карла. Король стремится к гармонии, зримо воплощённой через кольцо, имеющего форму круга. Круг в качестве солярного символа — жизненной энергии, даруемой солнцем, как символ перерождения и обновления, становится в тексте Гауптмана внутренней эмблемой короля Карла. Он убедился, что дитя, отныне только так определяет он Герзуинд, невинно и целомудренно, желает вновь увидеть её, но прибывает лишь на похороны Герзуинд.

В финальных сценах Карл ведёт молчаливый внутренний разговор с умершей. Драматически такой разговор передаётся через особые жесты, мимику, наконец, молчание. Карл никого не слушает, не отрывает взгляда от умершей, наклоняется к ней, она притягивает его. Он забывает обо всём, лишь когда вокруг него воцаряется молчание, Карл относительно приходит в себя. В его речах возникает образ разорванного мира, разрыв этот проходит через его сердце. Чтобы он затянулся хотя бы отчасти, надо, говорит король, следовать за мёртвыми, учиться понимать их молчание (“...und diese Tote soll uns führen! / und Gersuind und wir schreiten hinter dir / und sei es mitten unter meine Sippe! / und ...wo dein toter Finger hinweis, /... ich liebte sie! /..daß ich noch von Kindern lerne!”) [Ibid.: 152, 155, 157]. Карл обращается и к Герзуинд, и к себе самому. В основе всей его речи заложено соединение несоединимого, в первую очередь смерти и жизни. Именно мёртвые ведут за собой живых, молчание почивших приводит к разговору с собой, к постижению тех тайн души, которые прежде казались недоступными. Карл нашёл теперь загадку кольца, обрёл его в душе, соединил прежде разъединённые звенья. Доказательством является особый символический жест Карла в финале — он поднимает меч, вызывая этим восторженные крики толпы. Они считают, что Карл отныне вновь принадлежит им, одержит победу над датчанами, вражеские полчища которых уже подступают к Аахену. Однако данный жест короля Карла не означает его стремления расквитаться с внешними врагами, как думают все. Карл стал действительно Великим — поднимает меч как знак победы над собой, отныне он будет бороться за свободу, за красоту, за любовь, бороться ради Герзуинд, ради детства.

Литература

- Исидор Сивильский 2006 — *Исидор Сивильский*. Этимология. СПб., 2006.
- Папий Иеропольский 2003 — *Папий Иеропольский*. Фрагменты и свидетельства // Писания мужей апостольских. М., 2003. С. 201—312.
- Buytendijk 1933 — *Buytendijk F.* Wesen und Sinn des Spiels. Berlin, 1933.
- Hauptmann 1966 — *Hauptmann G.* Kaiser Karl Geisel // *Hauptmann G.* Ausgewählte Dramen in vier Bänden. Berlin, 1966. Bd. III. S. 150—302.
- Krappe 1906 — *Krappe A.* The sources of Erizzo's Sei Giornate. Berlin, 1906.
- Kemper 2004 — *Kemper D.* Ideengeschichte vs. Transferforschung // Русская германистика. Ежегодник Российского союза германистов. М., 2004. С. 51—60.
- Lessing 1978 — *Lessing G.* Natan der Weise // *Lessings Werke* in fünf Bänden. Berlin und Weimar, 1978. Bd. II. S. 5—157.
- Luhmann 1987 — *Luhmann N.* Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt a. M., 1987.
- Ricoeur 2003 — *Ricoeur P.* Die Metapher und das Hauptproblem der Hermeneutik // *Texte zur Literaturgeschichte der Gegenwart*. Stuttgart, 2003. S. 56—70.
- Rorty 1992 — *Rorty R.* Kontingenz, Ironie und Solidarität. Frankfurt a. M., 1992.
- Vieta 2001 — *Vieta S.* Ästhetik der Moderne. München, 2001.

ZUSAMMENFASSUNG

“Legendenspiel — Gattung als interkultureller Transfer in Gerhart Hauptmanns “Kaiser Karls Geisel”

In Hauptmanns Drama “Kaiser Karls Geisel” bekam die Gattung Legendenspiel den Stellenwert eines interkulturellen Transfers. Das dem Drama vorangehende Epigraph konzentriert die Aufmerksamkeit auf der Tradition der “Avvenimenti” von Sebastiano Erizzo (1525—1585), die Hauptmann auf spielerische Weise modernistisch wiedergibt. Der deutsche Dramatiker interpretiert auch das Drama “Natan der Weise” von Lessing um. Er unternimmt eine geistige Revision seiner Hauptbegriffe und schafft seine eigene historische Sage als Spiel der Schöpferkräfte. Hauptmanns Interesse richtet sich nicht auf die “aktuellen” politischen Taten des Kaisers, sondern auf die innere Notdurft seiner Seele, einerseits auf die Liebe zu Gersuind und andererseits auf die Erlangung jener Kindlichkeit, die ihm früher so fehlte. Gerade das zeichnet Karl so aus, begründet für die Nachwelt die Bedeutung seiner Tätigkeit auch die Ganzheit der inneren Gestalt.

А. И. ЖЕРЕБИН

(Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена)

О ЛИТЕРАТУРНОМ КОМПЛЕКСЕ ПСИХОАНАЛИЗА: ФРЕЙД И ЭСТЕТИКА МОДЕРНИЗМА

На рубеже XX в. в австрийской культуре складывается единый медицинско-литературный дискурс, свидетельствующий о том, что идеи психоанализа «носились в воздухе» эпохи. «Профессор Фрейд» не был «консультантом» венских литераторов, как это казалось критикам из Германии [Wunberg 1971]. Как правило, литература вступает в диалог с Фрейдом лишь после 1900 года на основе уже ранее сложившейся в ней концепции личности и ее изображения, и рецепция Фрейда, нередко полемическая, служит уточнению и развитию этой концепции.

Так, например, эссе Германа Бара «Новый психологизм» (1891), требующее внимания к бессознательным процессам человеческой психики, призывающее к более решительному введению в практику повествования точки зрения персонажа в формах несобственно-прямой речи и внутреннего монолога, появилось в печати за несколько лет до «Исследований истерии», с которыми Бар познакомился только в 1903 г. Не исключено, однако, что новелла Артура Шницлера «Лейтенант Густль» (1900) — наиболее последовательное воплощение «нового психологизма» — обязана своим появлением не только литературным влияниям (Достоевский, Эдуард Дюжарден), на которые указывал сам автор, но и знакомству его с психоаналитическим методом свободных ассоциаций: персонаж выступает у Шницлера в ситуации пациента на кушетке психоаналитика.

Вместе с тем Шницлер, врач по образованию, является автором целого ряда произведений, относительно которых уже даты их написания свидетельствуют о том, что тема пограничных или патологических состояний сознания, мотивы сновидения, инцеста или «эдипова комплекса» разрабатываются в них абсолютно независимо от Фрейда, прежде, чем эти мотивы получают место и имя в психоаналитической теории («Вопросы к судьбе», 1889; «Сын. Из записок врача», 1889; «Парацельс», 1894; «Чувствительный человек», 1895; «Шаль Беатрисы», 1899). Интересно, что сама метафора «коперниканского переворота», с помощью которой Фрейд характеризовал

значение своих открытий [Фрейд 1991: 181], возникает вначале в драматическом фрагменте Шницлера «Вопросы к судьбе». Центральный персонаж этой пьесы, Анатолий, погружает свою возлюбленную в состояние гипноза и манипулирует ее сознанием; другу, испытывающему от этого ощущение «жуткого», он отвечает: «Это не более жутко, чем многое, с чем люди свыкались в течение столетий. Ты думаешь, как было на душе у наших предков, когда они вдруг услышали, что земля вращается? Должно быть, у них у всех закружилась голова!» [Schnitzler 1977: 30].

Как показывают дневники Шницлера [Anz / Pfohlmann 2006: 131], подлинный интерес к психоанализу возникает у него не ранее 1912 г., в то время, когда его творчество начинает изучать ученик Фрейда Теодор Рейк. С этого времени, т. е. начиная с новеллы «Фрау Беата и ее сын» (1913), Шницлер сознательно строит свои произведения по принципу интертекста, в режиме диалога с Фрейдом, признавшим в 1922 г. в письме Шницлеру: «Я избегал Вас словно от какого-то страха перед своим двойником» [Ibid.: 166].

Так же обстоит дело и в случае с Гофмансталем. Его «античные драмы» «Электра» (1903) и «Эдип и Сфинкс» (1905) свидетельствуют об интенсивной рецепции теории Фрейда, переключающей метафизику античного фатума в область индивидуальной психопатологии. Так, мучительные переживания Электры обнаруживают известное сходство с истерическими реакциями, описанными Фрейдом и Брейером в знаменитой истории болезни Анны О.; сон Эдипа в точности соответствует фрейдовскому определению сна как исполнения вытесненных желаний [Worbs 1988: 280—320]. Но когда, например, Жак Ле Ридер предлагает остроумную психоаналитическую интерпретацию «Сказки 672 ночи» (1895), то речь здесь должна идти, так же как и применительно к ранним вещам Шницлера, в лучшем случае о фрейдистских «префигурациях», т. е. о предвосхищении тех мотивов поведения, которые получают затем у Фрейда наименование «эдипова комплекса» или «комплекса кастрации» [Ле Ридер 2009: 165]. «То, что знают они, мы знали или знаем уже давно», — говорил Гофмансталь Рудольфу Каснеру [Flechtner 1963: 245].

Едва ли не наиболее ярким примером медицинско-литературного дискурса являются тексты самого Фрейда. Воспитанник классической гимназии, он, по собственному признанию, обратился к медицине под влиянием естественно-научных сочинений Гёте, а врачом сделался неохотно, не столько по призванию, сколько в силу обстоятельств [Фрейд 2006: 8—9]. Медицина означала для него своего рода «окольный путь длиной в жизнь» к общекультурной проблематике, включавшей в себя и художественное творчество, не только как предмет изучения, но и как способ познания [Freud 1999: 98]. Но, распространив принципы психоанализа на традиционную область художественного познания, Фрейд чувствовал, и нередко с острой завистью, что он только тень, только двой-

ник поэта, который хотя и не всегда знает, что говорит, но говорит, тем не менее, всегда первым [Freud 1955: 96—97]. Язык психоанализа формировался в пространстве между «отсталым дискурсом» [Барт 2002: 169] психологической науки его времени и недостижимо опережающим науку языком художественной литературы. Союз с поэзией был призван служить усовершенствованию традиционного научного инструментария, слишком грубого для избранной Фрейдом материи, но усовершенствование его граничило с подменной, и это навлекало на Фрейда многочисленные упреки в беллетризации и мифологизации науки [Gay 1989: 111], от которых ему приходилось отбиваться, защищая свое право работать на пограничной территории.

Жан Старобинский справедливо писал в связи с этим о «литературном комплексе» психоанализа [Старобински 2002: 61]. Действительно, не только понятие «эдипова комплекса» или «катарсиса», но и такие концепты, как «нарциссизм», «садизм» или «мазохизм», были подсказаны Фрейдю литературой, а на тему сновидений его натолкнули труды филологов-классиков — доклад Теодора Гомперца «Толкование сновидений и магия» и книга Якоба Буркхардта «История греческой культуры» [Worbs 1988: 338].

«Странное знамение времени! В то время как поэзия старается придать себе ученый вид, наука невольно все больше сближается со своей стороны с поэзией», — писал уже в 1896 году венский профессор Бергер в своей рецензии на «Исследования истерии» [Berger 1896: 1]. По существу, он только повторил наблюдение, сделанное уже самим Фрейдом в тексте «Исследований», где он говорит, что написанные им истории болезни «можно читать как новеллы», и объясняет это характером изучаемого объекта [Freud 1940, I: 227].

Тема «Фрейд — писатель» не раз привлекала внимание исследователей [Muschg 1958; Schonau 1968; Nymen 1974; Politzer 1974; Mahony 1989; Langer 1992]. Анализ его этюдов, вошедших в «Исследования истерии», показывает, что они довольно точно воспроизводят традиционную композиционную структуру детективной новеллы, построенной по образцу рассказов Эдгара По или Конан Дойла, причем именно эта структура и определяет ход исследования и характер выводов. Травма формируется в сознании пациента самим психоаналитиком, подобно тому как художник творит смысл своего произведения. Так же и в «Толковании сновидений», где толкование не только восстанавливает, но и в значительной степени конструирует затемненные работой сновидения логические связи между скрытыми мыслями сновидца.

Значительную роль играют при этом метафоры и культурные ассоциации автора, которые выступают не в роли украшающих иллюстраций, а как единственно возможный язык описания анализируемых психических явлений. «Метафорично по сути не только словесное оформление, но весь психоаналитический дискурс в це-

лом, сама его структура, — отмечает Старобинский. — Сколь бы искренним ни было намерение Фрейда восстановить буквальный, скрытый под образами и символами смысл желания, он не может не прибегнуть в этом исследовании к языку, насыщенному образами. <...>. Психоаналитический язык не может быть ничем заменен — это повлечет за собой исчезновение того объекта, с которым этот язык соотнесен, всей топики личности, всей экономики психической энергии. То есть явления, описываемые психоанализом с помощью образного языка как средства исследования, исчезли бы при переходе на другой язык» [Старобински 2002: 62].

Метафорический характер психоаналитического дискурса со всей отчетливостью обнаруживает себя в «Толковании сновидений», где научное исследование разворачивается в форме фиктивной прогулки по воображаемому ландшафту: «Сначала темный лес авторов, беспросветный, соблазняющий множеством ошибочных, уводящих в чащу тропинок; затем потаенная просека, по которой я веду своих читателей — образцы моих собственных сновидений с их особенностями, деталями, непристойными подробностями, безвкусными остротами, — и тут внезапно возвышенность, широкий горизонт и вопрос, обращенный к читателю: вот вам, пожалуйста, куда изволите направиться теперь?» [Freud 1986: 400].

Метафора «исследование — прогулка», фрейдова «Spaziergangsphantasie» [Freud 1986: 400], маркирующая решающие повороты мысли в зачинах второй, пятой и седьмой глав, оформляет второй, неявный сюжет книги — историю самопознания и становления личности исследователя. Поскольку ландшафт получает у Фрейда значение топографической метафоры женского тела [Freud 1940, XI: 158, 161], а путь путешественника-исследователя уводит все глубже в подземное царство бессознательных желаний, то весь текст «Толкования» может рассматриваться как многослойная развернутая метафора трудного возвращения на утраченную родину, в материнское лоно (см. [Нуман 1974: 332]). Маршрут исследовательской прогулки проходит по «царскому пути» познания: через стадию вынужденного отказа от инцестуозных влечений он ведет к преступному преодолению мучительного разрыва с матерью. Право на обладание ею автор завоевывает себе, расшифровывая образы сновидения, свои и чужие, т. е. текст исследования метафорически замещает текст сновидения, в котором закодировано и в процессе расшифровки осуществляется запретное желание автора-сновидца.

Но метафора у Фрейда обратима. Реализация сексуального желания способна символизировать интеллектуальное познание человеческой судьбы и природы, а образ матери-возлюбленной — вождельную истину, подобно тому как символизируют ее образы солнца или растительного бога, вокруг которых организован циклический сюжет древнейших солярных и вегетативных мифов: утрата — поиски — обретение.

На фундаментальное значение этой архетипической сюжетной схемы для «Толкования сновидений» указывает заключительная фраза книги, говорящая о том, что сновидческие грезы, поскольку мы верим в их способность предсказывать будущее, возвращают нам под именем будущего наше неизжитое, вытесненное прошлое — утраченный рай, от которого мы отказались, подчинившись «принципу реальности». Аналитическая работа и работа сновидения, грезы сновидца и религиозно-философская концепция всемирной истории выстраиваются в ряд аналогичных символических конструкций, способных к взаимозамещению и обнаруживающих проблематическое сходство с фантазмами невротической психики. Их общая основа — мифологический сюжет, предполагающий возврат к обладанию потерянной ценностью. Аналитик и сновидец движутся в противоположном направлении, но их цель — исполнение запретного желания — совпадает, как совпадает начало и конец циклического развития. Именно мифологическая идея цикла определяет общий принцип построения анализа и его предмета, сходство обеих динамических структур и возможность их взаимной метафоризации по этому сходству.

Парадигматическая ситуация, в которой все снова и снова выступает автор-психоаналитик, — это ситуация фиванского царя Эдипа, разгадывающего загадку сфинкса как тайну бессознательно [Politzer 1974]. Трагедия Софокла воспринималась Фрейдом не только как драма инцеста и отцеубийства, но и как драма познания и самопознания, причем смыслы эти не параллельны, а взаимообусловлены: для того, чтобы вырвать у природы ее тайну, надо вступить с нею в борьбу, нарушить ее священные законы. Уже Ницше указывал на связь мифа об Эдипе с научным сознанием, а науки — с магической властью [Nietzsche 1999: 141]. Так и для Фрейда Эдип — это первый великий исследователь в мировой литературе; он стоит перед неразрешимой загадкой своего прошлого, которая есть вместе с тем и загадка человека вообще, и в ходе развития действия продвигается к ее разрешению шаг за шагом, задавая все новые, все более бесстрашные вопросы. Именно такая техника вопрошания характеризует уже аналитическую форму медицинско-литературных «новелл», составивших «Исследования истерии».

Насколько далеко заходила самоидентификация Фрейда с Эдипом, свидетельствует подарок, сделанный ему учениками к его 50-летию в 1906 году: медаль, где на одной стороне был выгравирован профиль Фрейда, на другой — изображение Эдипа перед сфинксом и надпись: «Тому, кто разгадал знаменитую загадку и стал властелином» [Jones 1960: 27].

Условием власти для Фрейда было самопознание, не боящееся разрушать иллюзии. «Толкование сновидений» представляет собой автобиографический документ кризиса личности, отразившего культурно-историческую ситуацию рубежа веков, и преодоления

этого кризиса с помощью бесстрашного самоанализа в процессе автонаррации. Принимаясь за книгу, Фрейд писал своему другу Флису: «Порой я вообще не понимаю, где я; я уже надоел самому себе. Я должен заставить себя писать книгу о сновидениях, чтобы выйти из этого состояния» [Freud 1986: 300]. Эти слова явственно отсылают к архаическому представлению о рассказе как о выкупе или жертве, которые автор приносит богам в обмен на жизнь.

Подобно тому как под покровом культуры шевелится, по Фрейду, побежденный ею хаос темных влечений, так и форсированный рационализм его аполлонической прозы сублимирует опыт отчаянной интроспекции, обнаруживая тайное и тщательно замаскированное родство с лирической разнузданностью декадентских исповедей. Терапевтическим эффектом работы над книгой должно было стать обретение тождества с самим собой в новой «внеисторической» истине психоанализа. «Нынче, — писал за восемь лет до “Толкования сновидений” Гуго фон Гофмансталь, — современными считаются две вещи: анализ жизни и бегство от нее. Рефлексия или фантазия, отражение в зеркале или образы сновидений» [Гофмансталь 1995: 490]. Хотя Фрейд никогда не согласился бы с тем, что его толкование сновидений — это бегство от жизни, очевидно, что идейная структура его книги в точности соответствовала диагнозу Гофмансталя, с той, правда, существенной поправкой, что отношение и/или заменяется у него логикой становления — от рефлексии к фантазии. Исходя из анализа жизни, отраженной в сновидениях, Фрейд придает фантазиям сновидения статус истинной реальности бессознательно, противопоставленной тем обманчивым иллюзиям, которыми сознание подменяет жизнь. Фаворизация сна как сферы исполнения желаний становится ответом на разочарование в эмпирической реальности, на ее неспособность удовлетворять желания.

Фрейдистский дискурс легитимировал одну из главных тем в поэзии раннего модернизма, где образы сновидения и бреда, кошмары и чары сна, грезы и мечты выступают одновременно как символы резины и надежды: если жизнь есть сон, то сон есть жизнь, если внешний мир дезавуируется как мираж, то «миры, рожденные в мечтах» (К. Бальмонт), наделяются предикатом истинности и получают оправдание в качестве главного предмета поэзии. «Я говорю сну: останься, будь правдой, / И говорю действительности: Будь сном, исчезни!» — эти стихи Гофмансталя [Hofmannsthal 1979: 91] далеко не единственный пример поэтической аналогии с фрейдистской концепцией сновидения в его лирике 1890-х годов. Так, в «Терцинах» мотив иллюзорности внешнего мира, представленный шекспировской строкой «Мы созданы из вещества того же, что наши сны», не сводится к барочному «vanitas», как мы видим это в «Буре» Шекспира, а вводит тему магического преобразования действительности в высшую, истинную реальность, где царит спасительное тождество: «Три суть одно: человек, вещь, греза» [Ibid.]. Неоромантическая ме-

тафора «жизнь-сон», «мир-греза» маркирует у Гофмансталя особое состояние мистического опыта, приобщающего к сущностному миропорядку. Аналогичное решение темы сна как другой, истинной реальности, способной внести смысл в утратившую его действительность сознательной жизни, содержит, наряду с текстами Гофмансталя, роман Беер-Гофмана «Смерть Георга» (1895), а позднее новелла Шницлера «Сновидение» (1924).

На значение темы сна в литературе «конца века» указывал в 1894 г. Герман Бар. Натурализм, писал он, стремился решить вопрос об отношении искусства к действительности, «требуя от искусства быть действительностью и ничем иным, кроме самой действительности», декаденты же решают этот вопрос, «требуя от искусства действительностью не быть, а быть сновидением и ничем, кроме сновидений» [Bahg 1968: 171]. Статья Германа Бара называлась «Декаданс». При всей субъективной чуждости Фрейда эстетике декаданса книга о сновидениях, написанная им в 1899 году, включается в общий с нею контекст «преодоления натурализма». Как труд по психологии она подводила под литературу сновидений научный фундамент, как литературный текст она сама принадлежала к числу ее наиболее выразительных образцов.

Психология получает у Фрейда функцию, аналогичную той, какую Ницше отводил искусству. «Истина уродлива, а искусство дано нам для того, чтобы она нас не уничтожила», — гласит один из фрагментов рукописного наследия Ницше [Nietzsche 1977: 832]. В этих словах принцип эстетизма сформулирован еще отчетливее, чем в «Рождении трагедии», где сказано, что «и существование, и мир находят себе оправдание только в качестве эстетического феномена» [Ницше 2001: 210]. Когда Ницше говорит, что истина отвратительна, он формулирует в эстетических категориях духовный опыт эпохи — разочарование в реальной действительности. Требование нейтрализовать истину красотой означает, что место реальной действительности должно занять искусство, фиктивный мир вымысла. Искусство выступает как субститут невыносимой реальности, определяется функцией замещения, утверждает себя как существующее «вместо» другого.

Однако распространенное мнение о том, что смысл эстетизма — в бегстве от жизни в «башню из слоновой кости», ошибочно. У Ницше эстетическое получает достоинство истины высшего порядка, более глубокой и универсальной, чем этическая или логическая истина вытесненной им действительности, которая есть не более чем «мнимая действительность современной культуры» [Там же: 103], отмеченной вырождением или, как парадоксально формулировал в 1889 году О. Уайльд, «упадком лжи» [Уайльд 1993]. Ложь искусства становится средством преодоления лжи жизни. Выбор в пользу эстетической иллюзии означает для Ницше и его последователей мужественный акт радикального, так сказать, авангардистского разрыва

с этическими и социальными иллюзиями, которые выдают себя за реальную действительность, но на деле подменяют ее невыносимо пошлыми декорациями.

Для «эстета» ницшеанского толка истинная реальность еще вообще не существует; она должна быть сотворена при помощи искусства, в результате творческого усилия, требующего от художника отрешенности и самоуглубления — во имя мистического контакта с первоосновами жизни. Художник, в котором «подлинно-сущий субъект празднует свое искупление кажимостью» [Ницше 2001: 90], становится в эстетизме творцом истинной реальности трагического мифа.

«Обрести зрелость, — пишет другу двадцатилетний Гофмансталь, — значит, может быть, только одно: научиться вслушиваться в самого себя так, чтобы за этим занятием забыть весь этот мир, перестать слышать его шум. Полюбить самого себя так, что от этого любовного самосозерцания ты готов броситься в воду и утонуть, подобно Нарциссу, — вот это и есть самое лучшее, то, что знакомо детям, когда им снится, будто бы, нырнув в рукав отцовского пальто, они вынырнут в сказочном королевстве. Влюбиться в самого себя — это и значит, я думаю, быть влюбленным в жизнь или, если угодно, в Бога» [Hofmannsthal 1996: 78].

Письмо адресовано Эдгару фон Бебенбургу и служит ответом на его обращенный и к самому себе и ко всему своему поколению упрек в отсутствии интереса к общественной жизни: «история завершилась для нас где-то году в сорок восьмом или еще раньше» [Ibid.: 77]. Возможно, что другой, неназванный адресат Гофмансталя, с которым он ведет в своем письме полемический диалог, — это Макс Нордау, автор нашумевшей книги «Вырождение» (1893). Врач, исповедующий принципы естественно-научного материализма, и журналист, близкий к натуралистической школе, Нордау заимствует у своего итальянского коллеги Чезаре Ломброзо термин «дегенерация», чтобы, применив его к новейшим явлениям в литературе и искусстве, объяснить произведение импрессионистов и символистов как психограммы невротиков, страдающих нарциссической «эгоманией». Эта болезнь современной культуры — фиксация сознания на своем Я («Ich-Sucht») — связана, согласно Нордау, с презрительной отрешенностью декадента от внешней действительности и ведет к искажению научной картины мира.

Разделяя критическое отношение «младовенцев» к гипотезе вырождения, Гофмансталь противопоставляет ей апологию нарциссизма как пути к возрождению человеческой личности. Мир политики и истории, вообще весь внешний материальный мир, сконструированный рационалистически, на основе социально-исторического или естественно-научного подхода характеризуется Гофмансталем как нагромождение обманчивых «видимостей», как «своего рода алгебра» пустых знаков, где «ничто не есть, а все только означает».

«Я хотел бы сильно ощутить бытие всех вещей и, утонув в бытии, понять их глубокое, истинное значение», — пишет Гофмансталь в том же письме. Таковую возможность дает, по его мнению, искусство, в котором «жизнь высказывает себя сама» [Hofmannsthal 1996: 80]. Для того чтобы услышать голос самой жизни, следует отречься от внешнего мира, т. е. от всех тех исторических, социальных, научных закономерностей, из которых складывается его образ в сознании современного человека. Вот почему эгоцентрическая самоизоляция субъекта — влюбленность Нарцисса в самого себя — перестает быть для Гофмансталя лишь признаком вырождения и путем к гибели. Она служит предпосылкой иррационального прорыва в подлинную жизнь, которую художник, подобно наивному ребенку, открывает в своем внутреннем мире как высшую эстетическую реальность «сказочного королевства».

Очевидно, что союзником «сказочного королевства» эстетизма должен был стать психоаналитический миф; их содружество представляло собой военный союз против лжереального мира политики, истории и естественно-научного знания о человеке. «Изобретение психоанализа, блистательное, одинокое и горькое, означало великую победу над политикой, — писал Карл Эмиль Шорске. — Благодаря редукции своего собственного политического прошлого и настоящего (ситуация гонимого еврея. — А. Ж.) к эпифеномену фундаментального древнего конфликта между отцом и сыном, он даровал своим либеральным современникам внеисторическую концепцию человека и общества, которая позволяла легче претерпевать обезумевший мир политики. Убийство отца замещает казнь короля; психоанализ преодолевает историю. Политика нейтрализуется антиполитической психологией» [Schorske 1982: 184].

Фрейд развивал свою теорию в процессе эмансипации от физиологического дискурса традиционной психиатрии, подобно тому как новейшая австрийская литература его времени формировалась, полемически противопоставляя себя немецкому натурализму. Обе линии — психоанализа и младовенской литературы — совпадают во многих точках, обнаруживая общую специфику австрийского модернизма как одного из наиболее радикальных вариантов модернизма общеевропейского.

Литература

- Барт 2002 — Ролан Барт о Ролане Барте / Сост., пер. и послесл. С. Зенкина. М., 2002.
- Гофмансталь 1995 — *Гофмансталь Г. Избранное* / Сост. и автор предисл. Ю. И. Архипов. М., 1995.
- Ле Ридер 2009 — *Ле Ридер Ж. Венский модерн и кризис идентичности* / Пер. с франц. Т. Баскаковой, послесл. А. Жеребина. СПб., 2009.

- Ницше 2001 — *Ницше Ф.* Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм / Сост., ред., коммент., вступит. статья А. А. Россиуса; пер. с нем. А. В. Михайлова. М., 2001.
- Ницше 2007 — *Ницше Ф.* Черновики и наброски 1869—1973 гг. / Пер. с нем. А. И. Жеребина; науч. ред. В. А. Подорога // *Ницше Ф.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 2007.
- Старобински 2002 — *Старобински Ж.* Поэзия и знание. Т. 1—2 / Сост., отв. ред., автор предисл. С. Зенкин. М., 2002. Т. 1.
- Уайльд 1993 — *Уайльд О.* Упадок лжи. Перевод А. Зверева // *Уайльд О.* Избранные произведения: В 2 т. / Сост. и вступит. статья Н. Пальцева. Т. 2. М., 1993. С. 218—244.
- Фрейд 1991 — *Фрейд З.* Введение в психоанализ. Лекции / Изд. подгот. М. Г. Ярошевский. М., 1991.
- Фрейд 2006 — *Фрейд З.* Автопортрет / Пер. с нем. А. Жеребина, С. Панкова // *Фрейд З.* Собр. соч.: В 26 т. / Под ред. М. Решетникова, В. Мазина, А. Белобратова и др. СПб., 2006. Т. 2.
- Anz / Pfohlmann 2006 — *Anz Th, Pfohlmann O. (Hg.).* Psychoanalyse in der literarischen Moderne. Eine Dokumentation. Einleitung und Wiener Moderne. Hermann Bahr. Hugo von Hofmannsthal. Arthur Schnitzler. Karl Kraus. Marburg, 2006.
- Bahr 1968 — *Bahr H.* Zur Überwindung des Naturalismus. Theoretische Schriften 1887—1904 / Ausgew., eigel., u. erl. von G. Wunberg. Stuttgart; Berlin; Köln; Mainz, 1968.
- Berger 1896 — *Berger A.* Chirurgie der Seele // Morgen-Presse. Wien, 1896. Jg. 49. No 32.
- Flechtner 1963 — *Flechtner H. (Hg.).* Hugo von Hofmannsthal. Der Dichter im Spiegel der Freunde. Bern; München, 1963.
- Freud 1940 — *Freud S.* Gesammelte Werke. 18 Bände. / Hg. v. A. Freud et al. London, 1940—1952. Bd. I, XI.
- Freud 1955 — *Freud S.* Briefe an Arthur Schnitzler / Hg. v. H. Schnitzler // Neue Rundschau. Frankfurt a. M., 1955. No 1. S. 95—106.
- Freud 1986 — *Freud S.* Briefe an Wilhelm Fließ 1887—1905 / Hg. v. P. Masson. Frankfurt a. M., 1986.
- Freud 1999 — *Freud S.* Selbstdarstellung. Schriften zur Geschichte der Psychoanalyse / Hg. v. I. Grubrich-Semitis. Frankfurt a. M., 1999.
- Gay 1989 — *Gay P.* Freud. Eine Biographie für unsere Zeit. Frankfurt a. M., 1989.
- Hofmannsthal 1979 — *Hofmannsthal H. v.* Gesammelte Werke in 10 Einzelbänden / Hg. v. B. Schoeller u. R. Hirsch. Frankfurt a. M., 1979. Bd. I.
- Hofmannsthal 1966 — *Hugo von Hofmannsthal, Karg von Bebenburg:* Briefwechsel / Hg. v. M. E. Gilbert. Frankfurt a. M., 1966.
- Hyman 1974 — *Hyman S.* The Tangles Bank: Darwin, Fraser and Freud as Imaginative Writers. New York, 1974.

- Jones 1960 — *Jones E.* Das Leben und Werk von Sigmund Freud. Bd. 1—2. Bern; Stuttgart, 1960. Bd. 2.
- Langer 1992 — *Langer D.* Freud und der Dichter. Frankfurt a. M., 1992.
- Mahony 1989 — *Mahony P. J.* Der Schriftsteller Sigmund Freud / Aus dem Engl. v. H. Junker. Frankfurt a. M., 1989.
- Muschg 1958 — *Muschg W.* Freud als Schriftsteller // *Muschg W.* Die Zerstörung der deutschen Literatur. Bern, 1958. S. 174—190.
- Nietzsche 1977 — *Nietzsche F.* Werke in drei Bänden / Hg. v. K. Schlechta. München, 1977. Bd. III.
- Politzer 1974 — *Politzer H.* Hatte Ödipus einen Ödipus-Komplex? // Ders.: Versuche zum Thema Psychoanalyse und Literatur. München, 1974. S. 53—80.
- Schnitzler 1977 — *Schnitzler A.* Gesammelte Werke in Einzelausgaben. 15 Bde. Frankfurt a. M., 1977. Die Dramatischen Werke I.
- Schönau 1968 — *Schönau W.* Sigmund Freuds Prosa. Literarische Elemente seines Stils. Stuttgart, 1968.
- Schorske 1982 — *Schorske K. E.* Wien. Geist und Gesellschaft im Fin de siècle / Deutsch von H. Gunther. Frankfurt a. M., 1982.
- Worbs 1988 — *Worbs M.* Nervenkunst. Literatur und Psychoanalyse im Wien der Jahrhundertwende. Frankfurt a. M., 1988.
- Wunberg 1971 — *Wunberg G.* (Hg.). Hofmannsthal im Urteil seiner Kritiker. Dokumente zur Wirkungsgeschichte Hugo von Hofmannsthal in Deutschland. Frankfurt a. M., 1971.

ZUSAMMENFASSUNG

Über den literarischen Komplex der Psychoanalyse: Freud und die Ästhetik der Décadence

Die Psychoanalyse und die zeitgenössische Literatur der Wiener Moderne hatten ein gemeinsames Trauma zu bewältigen, nämlich den Verlust politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Sicherheit, den Zusammenbruch des liberalen Weltbildes, die Verzweiflung an der Geschichte und die Bewusstseinskrise des Subjekts. Gemeinsam war ihnen auch die Art der Reaktion, jenes Verhaltensmuster, mit dem die Literatur und die Psychoanalyse auf die Kulturkrise reagierten. Der scheinhaften, vermeintlichen Wirklichkeit der Geschichte wurde die eigentliche Realität des ahistorischen, transhistorischen Mythos entgegengestellt, und es war dieses Bekenntnis zum Mythos, das Freuds «literarischer Komplex» zum Inhalt hatte.

Ю. Л. ЦВЕТКОВ

(Ивановский государственный университет)

**МУЗЫКАЛЬНОЕ НАЧАЛО «БЕТХОВЕНСКОГО ФРИЗА»
ГУСТАВА КЛИМТА И ОПЕРЫ Р. ШТРАУСА —
Г. ФОН ГОФМАНСТАЛЯ «КАВАЛЕР РОЗЫ»**

Культура венского модерна (1890—1910) определяется важнейшей тенденцией — активной интегративностью разных видов искусства, что во многом предвещает постмодернистское состояние культуры. Синтетические по своей природе произведения, объединяющие в себе несколько начал, фокусируют в себе множество смыслов. Например, символистский принцип взаимодействия искусств в немецком музыкальном театре, разработанный Рихардом Вагнером (1813—1883), можно назвать интермедийным, понимая под ним особый тип взаимосвязей, основанных на взаимодействии языков разных видов искусств: литературы (либретто), музыки, пластики (танцы, жесты) и живописи (убранство сцены, свет, костюмы). Если интертекст выстраивается внутри одной родовой разновидности (например, литературной), то для интермедийности необходим «перевод» одного художественного кода в другой при взаимодействии смыслов. При таком процессе «транспонирования» язык одного вида искусства включается в систему языка другого вида искусства [Тишунина 2001: 149].

Талантливейшим художником венского модерна является Густав Климт (1862—1918), президент «Венского Сецессиона», избранный на этот пост в 1897 году своими единомышленниками Й. М. Ольбрихом, А. Роллером, Й. Хоффманом, К. Мозером и др. Полотна и мозаичные панно Климта сочетают в себе композиционную простоту и необычную доминанту орнамента. Фон его картин составляют яркие цветовые декоративные композиции, на которых изображены застывшие человеческие фигуры, находящиеся в состоянии полусна или подчиненные разнообразным движениям танца или хоровода, что характерно для символистской живописи и югендстиля [Weissenberger 1971]. Орнамент у Климта выходит за рамки предмета изображения и используется как «принцип построения живописного произведения» [Сарабянов 2001: 261]. Вершиной интермедийного синтеза искусств в творчестве Климта по праву считается «Бетховенский фриз» (1902), одно из самых известных достижений

«Венского Сецессиона», названное Огюстом Роденом (1840—1917) «таким трагическим и таким божественным» [Нере 2000: 45].

«Бетховенскому фризу» Климта, впервые представленному на Четырнадцатой выставке «Сецессиона» в «Доме сецессиона», был отведен целый зал, который впоследствии получил название зала Климта. Выставка 1902 года имела мемориальный характер и была посвящена великому немецкому композитору Людвигу ван Бетховену (1770—1827), большую часть жизни творившему в Вене и ставшему ярким представителем венской классической музыкальной школы. Устроители выставки задумали создать «мегасинтез» архитектуры, живописи, пластики и музыки. Выставка открывалась в «Доме сецессиона» (1898), созданном архитектором Йозефом Мари-ей Ольбрихом (1867—1908) как храм синтеза искусств с надписью на стене «Живопись. Архитектура. Пластика». Внешний вид этого здания с куполом-шаром из золотых ветвей задавал трехчастную композицию «Бетховенскому фризу», а в центре зала находилась скульптура Макса Клингера (1857—1920) «Бетховен» (1902). На открытии выставки «Сецессиона» исполнялся финал Девятой симфонии Бетховена (1824) в редакции дирижера Придворной оперы в Вене Густава Малера (1860—1911).

Прообразом к фризу Климта послужил комментарий Р. Вагнера к Девятой симфонии Бетховена: «...битва души, сражающейся за счастье против гнета тех враждебных сил, которые вторгаются между нами и земным блаженством» [Харрис 1995: 34]. Авторская интенция предполагала двоemiрие, продуктивное в барочном, романтическом искусстве и на театре Вены. Вагнеровская трактовка Девятой симфонии стала определяющей для сюжетно-композиционной поэтики фриза. Художник не иллюстрировал музыкальное развитие всей четырехчастной симфонии Бетховена, но раскрыл основную коллизию симфонии посредством противопоставления аллегорических образов.

Следуя каталогу открытия выставки, на которой впервые демонстрировался «Бетховенский фриз», первая длинная стена фриза изображала следующее: «“Тоска по счастью” — страдающее, немощное человечество; оно обращается к хорошо вооруженному, сильному представителю сообщества, дабы тот, движимый состраданием и честолюбием, сразился за счастье людей» [Нере 2000: 39—40]. Вооруженный рыцарь, имеющий портретное сходство с Г. Малером, исполнен решимости защитить женские фигуры, располагающиеся позади него.

Торцовая стена фриза изображала «“Враждебные силы” — гигант Тифон, против которого тщетно сражались даже боги; его дочери, три горгоны, символизирующие Похоть, Излишество и Невоздержанность. Жаждающие добраться до людей, они летают над их головами» [Ibid.: 40]. Гигант Тифон представлен в виде уродливой обезьяны с хвостом змеи и крыльями в окружении трех горгон и других

аллегорических персонажей. Следует отметить, что борьба с враждебными силами на фризе не изображается. Мужчина — защитник и воин, исполненный добродетелей, противопоставлен отталкивающим и витальным женским образам, которые и составляют «враждебную силу», прежде всего, исходя из авторского замысла, — мужскому началу.

На третьей длинной стене фриза воспроизведен результат этой борьбы: «Тоска по счастью, излитая в поэзии». Искусства ведут нас в идеальное царство, где все мы сможем обрести чистую радость, чистое счастье и чистую любовь. Хор ангелов в раю. «Счастье, прекрасный отблеск небесного огня, объемлет весь мир» [Нере 2000: 49]. Заключительный эпизод «Поцелуй всему миру» соотносится со словами хора оды «К радости» (1785) Фридриха Шиллера (1759—1805) из Девятой симфонии Бетховена. Мотив освобождения и спасения человечества в искусстве художника-гения (тезис «Венского Сецессиона») становится в интерпретации Климта представлением о борьбе женского и мужского начал. Поцелуй мужчины и женщины, лица которых закрывает орнамент, символизирует спасение женщиной мужчины. Их стопы обвязаны тонкими нитями, похожими на оковы. Кроме того, они помещены во внутреннее пространство колокола или фаллоса, из которого им не выбраться. Климт смело сопрягает антистетические смыслы, объединяя в единое целое Эрос и Танатос.

На фризе есть два фрагмента, которые прямо указывают на звучание музыки. Во-первых, это аллегорическая фигура Поэзии и Музыки. Она играет на лире. Во-вторых — танцующие гении, движущиеся в музыкальном ритме. Музыкальное начало фриза мастерски передается Климтом живописными средствами и дает свободу для визуальных и даже акустических зрительских ассоциаций. Аллегорические фигуры и отдельные детали «Бетховенского фриза» находятся на различном пространственном расстоянии друг от друга, образуя каждый раз смысловые отсылки к центральной скульптуре Бетховена, которая также символизировала идею спасения человечества посредством искусства. Ассоциации с заключительным хором «К радости» из Девятой симфонии звали к утопическому видению всеобщего братства освобожденного человечества.

Следует отметить, что первоначально (до размещения в зале фриза Климта) скульптура Бетховена находилась в другом контексте. Позади скульптуры было создано декоративное панно Альфреда Роллера (1864—1935). До фриза Климта уже существовало синтетическое произведение искусства, объединявшее слово, живопись, пластику и музыку. Центром этой композиции была скульптура Бетховена. Клингер изобразил композитора в виде олимпийского бога, сходного со знаменитым «Зевсом» Фидия. Бетховен сидит с обнаженным торсом и прикрытыми плащом коленями. В соответствии с античной традицией ноги композитора обуты в сандалии. Бетховен восседает на богато декорированном троне, а у его ног находится орел — сим-

вол Юпитера. Кулаки композитора крепко сжаты, а выражение лица предельно энергичное. Композитор предстает воплощением творческого порыва, способного преобразиться в божественное состояние через мучительное преодоление. Известный шопенгауэровский мотив из «Мира как воли и представления» (1819) поясняет роль музыки и гения, который, как правило, находится в разладе и борьбе со своей эпохой. Спасительным началом Шопенгауэр считал музыку, поскольку она «в отличие от других искусств отнюдь не отражение идей, а *отражение самой воли...*» [Шопенгауэр 1993: 366]. В искусстве Шопенгауэр увидел наиболее адекватную форму познания мирового порядка, а в эстетическом созерцании, по его мнению, повторялся процесс самоосуществления воли. На мраморном цоколе памятника Бетховену были высечены слова И. В. Гёте из второй части «Фауста»: “Die Einsamkeit tiefste schauend unter meinem Fuß”. Позднее, в 1902 г., надпись была удалена [Fliedl 1991: 106].

Подчеркнутая экспрессивность внешнего облика Бетховена отражает музыкальный характер его произведений: героические темы, мотивы борьбы, победы и смерти. Упомянем, что Девятая симфония — «Хоральная», ре минор, была написана, когда композитор был совершенно глухим. Как известно, мотив преодоления внутреннего одиночества, борьба света и тьмы, добра и зла, а также тема всеобщего ликования звучат во многих симфониях Бетховена, но с наибольшей силой — в финале Девятой. Подчеркнем также, что Бетховенский зал органично объединил музыкальные, живописные, пластические и вербальные смыслы в единое синтетическое произведение (по Р. Вагнеру). Затем в Бетховенском зале был создан фриз Климта, а на открытии выставки Сецессиона исполнялся финал Девятой симфонии Бетховена в редакции Г. Малера, создавая искомый устроителями «мегасинтез»¹.

¹ Несколько слов об оценке созданного «мегасинтеза». Во-первых, о совмещении пластического (скульптура Бетховена) и живописного (фриз Климта) контекстов: мотивы борьбы и преодоления объединяют их. Но стоическое противостояние смерти в скульптуре Клингера контрастирует с фатальной обреченностью человека в любви-смерти у Климта. Но, так или иначе, смерть неминуема. Во-вторых, при исполнении финала Девятой симфонии подавляется музыкальное начало как пластики, так и живописи. Исполнение только крещендо финала симфонии значительно упрощает драматическое развитие борьбы, преодоления и смерти на фризе. Слова Ф. Шиллера нивелируют многообразие смыслов как пластического, так и живописного контекста. Особенно заметно расхождение в интерпретации «Оды к радости» Шиллера и финальной сцены фриза Климта. Заключительные слова «Оды к радости» Шиллера: «Люди, братья меж собой... Обнимитесь, миллионы!» — не предполагают лишь любовные объятия. Общественный посыл «Оды к радости» — гимна теперешнего Евросоюза — переводится во фризе Климта в сферу интимную. Многие конкретные детали «Поцелуя всему миру» Климта явно не вписываются в контекст шиллеровской оды. Происходит своеобразная «пермутация» — смещение смыслов разных видов искусства (пластического, живописного и словесного). Поэтому речи об

По-иному обстоит дело с традиционным синтезом искусств, предложенным Р. Вагнером в операх «Лоэнгрин» (1848), «Тристан и Изольда» (1859), тетралогии «Кольцо нибелунга» (1854—1874) и «Парсифаль» (1882). Заветы Вагнера живо восприняли его последователи — немецкий композитор Рихард Штраус (1864—1949) и австрийский поэт, драматург и либреттист Гуго фон Гофмансталь (1874—1929). Их сотрудничество подарило миру шедевры синтетического взаимодействия нескольких видов искусства: оперы «Электра» (1909, первая постановка — Дрезден), «Кавалер розы» (1911, Дрезден), «Ариадна на Наксосе» (1912, Штутгарт), балет «Легенда об Иосифе» (1914, Париж), комедию с танцами «Мещанин во дворянстве» (1918, Берлин), оперу «Женщина без тени» (1919, Вена), представление с танцами и хором «Афинские развалины» (1924, Вена), оперу «Египетская Елена» (1928, Дрезден) и лирическую комедию «Арабелла» (1933, Дрезден).

Богато оркестрованная музыка Штрауса отличается способностью придавать театральное выражение даже мельчайшим подробностям. Не случайно его называли композитором вещей и фактов. Штраус «переводил» на язык звуков явления природы, интонацию разговорной речи и другие ее особенности. Гофмансталь со своей стороны умело создавал словесный эквивалент звучащей мелодии: «Он часто уподоблялся лиане, обвивающей могучее дерево и питающейся его соками. Он адаптировал труды других писателей: Софокла, Кальдерона (которого особенно высоко ценил), Отвея (“Сохраненная Венеция”), Мольера (старую мистерию “Всякий человек”). В этом смысле он был своего рода соавтором еще до того, как началось его сотрудничество со Штраусом» [Марек 2002: 199—200].

Духом времени Гофмансталь считал «музыкальную аналогию» [Hofmannsthal 1986: 620]. В письме 1892 года он подчеркивал, что «музыка — это слово, которое во всех написанных мной вещах встречается чаще всего, я постоянно жажду музыки, я без нее не могу выдумать ничего прекрасного» [Hofmannsthal 1967: 29—30]. Музыка постоянно звучит в произведениях Гофмансталя: мелодия скрипки, песня из раскрытого окна или ария в оперной ложе. Писатель воспринимал музыку акустически, как мелодию, созданную и исполняемую другими. Звучащая музыка была условием его работы над произведениями. Со временем он развил в себе тонкое понимание,

органическом «мегасинтезе» идти не может. Наслоение смыслов разных видов искусства привело к усложнению интеллектуального восприятия, в котором нет места ясности, гармонии или взаимодополнения разных видов искусства, к которым стремились организаторы выставки Сецессиона. Другое замечание касается выбора «точки зрения» зрителя и слушателя в зале Климта. Поскольку интермедиаальный синтез существует в свободном пространстве смысловых ассоциаций, то в зале важно местонахождение зрителя или слушателя. Однако в «мегасинтезе» оно осталось неопределенным, тем более что часть зала занимал оркестр.

«переживание» музыкального произведения и создавал словесными средствами мелодию, имитируя ее интонацией, ритмом и рифмой. Это замечательное свойство Гофманстала позволило ему впоследствии стать «идеальным либреттистом» Р. Штрауса.

Продолжая традиции немецких романтиков, суггестивной лирики Эдгара По и мифологической оперы Вагнера, Гофмансталь часто сравнивал поэта с музыкантом. Слова его стихотворения «Душа» (1892) являются своеобразной инструментовкой звучащей мелодии: поэт настраивается на определенный ритм и в такт ему пишет стихотворение. В его первой части предлог «mit» десятикратно повторяется в начале строк, имеющих четкую ритмическую организацию. По утверждению литературоведа А. Шмида, это ритм вальса, а в других стихотворениях «слышны» ритмы мазурок Ф. Шопена [Schmid 1968: 36]. Вопрос музыкального совершенства литературного произведения занимал с самого начала в исканиях Гофманстала одно из центральных мест. Поэтому его интерес к совместной работе с композитором был естественным и закономерным.

Основой замысла оперы Штрауса «Кавалер розы» была вполне конкретная музыка. Он хотел написать оперу «в стиле Моцарта». Штраус и Гофмансталь были едины в том, что комедийная опера должна быть полна недоразумений и любовных историй наподобие сюжета пьесы Бомарше (1732—1799) «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1784). Для такой комедии Штраус намеревался написать мелодичную и «несложную музыку», оперу-буффа. Позднее, правда, Штраус посчитал, что музыка оказалась чересчур сложной, что было связано и с разрастанием либретто по мере создания оперы [Марек 2002: 227].

Идеальным сюжетом стала история, имеющая мощный интертекстуальный пласт: пьесы Мольера, французский роман XVIII в., венские комедии Карла Хафнера, «Дон Паскуале» и любой другой фарс, а также интермузыкальный: в образе Октавиана много общего с Керубино, а в Маршальше ощущается родственная связь с графиней из «Женитьбы Фигаро» Моцарта [Там же: 228]. В опере есть и элементы пародии на вагнеровскую музыкальную драму: в начальной сцене Октавиана и Маршальши угадывается любовная экзотическая сцена Тристана и Изольды из второго действия [Гозенпуд 1965: 182]. В результате совместных усилий либреттиста и композитора возник незамысловатый сюжет о старике, который тщетно мечтает жениться на молоденькой девушке.

Центральными в системе персонажей либретто являются Маршальша — «молодая красивая дама не более 32 лет», которая при плохом настроении может показаться однажды семнадцатилетнему Октавиану «стареющей женщиной» [Rosenkavalier 1996: 6], ее юный любовник — Октавиан, кузен Маршальши — барон Окс — «крестьянско-диониссийское недоразумение старой Вены и нижнеавстрийский двоюродный брат Фальстафа» [Ibid.: 7], а также юная

невеста Окса — Софи. Сложившиеся между ними отношения легко прогнозируемы: барон Окс просит свою кузину Маршальшу порекомендовать достойного юношу, который выступил бы на его свадьбе с юной Софи кавалером розы и преподнес бы, согласно обычаю, серебряный цветок невесте. Этим юношей является Октавиан, который вначале явился перед Оксом в костюме служанки Мариандль. На начавшейся свадьбе Октавиан влюбляется в юную Софи и защищает ее, обнажив шпагу и легко ранив барона. Когда же Окс захотел еще раз увидеть приглянувшуюся Мариандль, чтобы приударить за ней, Маршальша объясняет подстроенный розыгрыш, прогоняет Окса и благословляет Октавиана и Софи на счастливый брак.

Гофмансталь заимствовал сценическое решение оперы в одной из шести картин английского живописца, графика и теоретика искусства Уильяма Хогарта (1697—1764) под общим названием «Модный брак» (1745). Известное полотно «Будуар графини» из этой серии отличается занимательностью сюжета и назидательной литературностью: графиня за утренним туалетом принимает гостей и любезничает со своим любовником. Адвокат показывает приглашение на бал-маскарад. Подруга увлечена оперным певцом и т. д. «Модный брак» имел большой резонанс в обществе благодаря гравюрам, широко известным в Европе. Возможно, что эту сцену подсказал Гофмансталью Макс Рейнхардт (1873—1943), гениальный постановщик всех шести опер Штрауса на либретто Гофмансталя [Марек 2002: 235].

С полотна Хогарта «Будуар графини» пришли в либретто оперы многочисленные второстепенные персонажи: повар, который вместе со своим помощником обсуждает с Маршальшей меню на день; француженка-модистка; продавец животных; ученый с портфелем; нотариус; парикмахер с помощником; итальянский певец и флейтист, которых прислал друг семьи, чтобы спеть серенаду хозяйке дома; обычные просители — старуха мать и ее «три бедные сиротки-аристократки» [Там же]. Особый интерес представляет язык, на котором говорят персонажи «Кавалера розы». Речь персонажей является оригинальным изобретением Гофмансталя, поскольку каждый из них говорит на диалекте немецкого языка, соответствующем его общественному положению. Маршальша изъясняется на немецком языке с примесью венского диалекта, принято при дворе Марии Терезии, перемежает свою речь французскими фразами и употребляет выражения, которые можно услышать на улицах Вены. У барона Окса речь пересыпана французскими фразами с грамматическими ошибками и пестрит просторечьем. Октавиан выражается еще более элегантно, чем Маршальша, но, когда он изображает Мариандль, он воспроизводит жаргон венских служанок. София унаследовала от отца повадки нуворишей. Но в лирические моменты она объясняется просто и мило. Два итальянца говорят на жуткой смеси итальянского и немецкого языков. Гофмансталь населил оперу чрез-

вычайно колоритными персонажами, которые можно сравнить с комическими фигурами Фигаро, Фальстафа, Ганса Сакса и Розины, а музыка Штрауса мастерски оживила их [Марек 2002: 237].

Таким образом, в опере Штрауса—Гофмансталя возникает органичный синтез музыки, слова, пластики и живописи в динамичном развитии сюжета комической оперы. В основе этого синтеза — музыкальное начало, отличающееся, по словам Василия Синайского — руководителя и дирижера постановки «Кавалера розы» на сцене Большого театра в Москве в 2012 году, — полистилистикой. Музыкальная многослойность, по его мнению, имеет два кода: первый для западного слушателя — Вагнер, Малер, Массне, «Фальстаф». Для российского — Моцарт, славянские темы Дворжака и венский вальс [Синайский 2012]. Музыка, слово, пластика и живописный ряд в их взаимодействии создают у зрителя свободу ассоциаций, четко определяя местоположение слушателя в зрительном зале перед сценой, что обеспечило опере триумфальное шествие по театрам мира.

Если сравнить музыкальное начало «Бетховенского фриза» Климта и оперу Штрауса—Гофмансталя «Кавалер розы», то в первом случае музыкальные ассоциации с Девятой симфонией Бетховена и ее трактовка Вагнером определили драматическое развитие и композицию живописного фриза Климта. В нем музыкальное звучание возникает не только во фрагментах, в которых изображаются аллегорическая фигура с арфой в руках или танцующие гении. Музыкальные ассоциации сопровождают зрителя во всем образном строе противопоставления темных и светлых сил. Для оперы Штрауса—Гофмансталя полистилистический характер текста и музыки вобрал в себя все многообразие внешней и внутренней комичности персонажей. Музыка стала источником и ассоциативным полем «ожившей картины» Хогарта в конкретных образах и деталях.

Литература

- Гозенпуд 1965 — *Гозенпуд А.* Оперный словарь. М., 1965.
 Марек 2002 — *Марек Д.* Рихард Штраус. Последний романтик. М., 2002.
 Нере 2000 — *Нере Ж.* Густав Климт. М., 2000.
 Сарабьянов 2001 — *Сарабьянов Д. В.* Модерн: история стиля. М., 2001.
 Синайский 2012 — *Синайский В.* В этой партитуре есть что-то магическое [Электронный ресурс] // <http://www.operanews.ru / 2040809.html> (дата обращения 15.04.2013).
 Тишунина 2001 — *Тишунина Н. В.* Методология интермедийного анализа в свете междисциплинарных исследований // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. Сер. Symposium. Вып. 12. СПб., 2001.
 Харрис 1995 — *Харрис Н.* Климт. Жизнь и творчество. Любляна; М., 1995.

- Шопенгауэр 1993 — *Шопенгауэр А.* Мир как воля и представление. М., 1993.
- Fliedl 1991 — *Fliedl G.* Gustav Klimt. Die Welt in weiblicher Gestalt. Köln, 1991.
- Hofmannsthal 1967 — *Hofmannsthal H. von.* Briefe an Marie Herzfeld. Heidelberg, 1967.
- Hofmannsthal 1986 — *Hofmannsthal H. von.* Reden und Aufsätze III. Aufzeichnungen. Frankfurt a. M., 1986.
- Rosenkavalier 1996 — *Rosenkavalier.* Stuttgart, 1996.
- Schmid 1968 — *Schmid M.* Symbol und Funktion der Musik im Werke Hugo von Hofmannsthals. Heidelberg, 1968.
- Weissenberger 1971 — *Weissenberger R.* Die Wiener Secession. Wien; München, 1971.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Musikalische in Gustav Klimts “Beethovenfries” und der Oper von Richard Strauss/Hugo von Hofmannsthal “Der Rosenkavalier”

Die musikalischen Assoziationen der neunten Symphonie von Ludwig van Beethoven in der Interpretation Richard Wagners bestimmten die dramatische Entwicklung und die Komposition des malerischen Fries' von Klimt. Der musikalische Klang entsteht nicht nur in den Fragmenten, die eine allegorische Figur mit der Harfe oder tanzende Genies darstellen, sondern die musikalischen Assoziationen begleiten den Betrachter im ganzen bildlichen Gefüge der Gegenüberstellung von dunklen und hellen Kräften. Für die Oper von Strauss/Hofmannsthal “Rosenkavalier” ist die Polystilistik von Text und Musik charakteristisch. Sie kennzeichnet die ganze Vielfalt der internen und externen Komik der dargestellten Figuren. Die Musik in der Oper wurde zu einer Quelle und zu einem Assoziationsfeld des “belebten Bildes” von Hogarth mit konkreten Gestalten und Details.

Н. В. ПЕСТОВА

(Уральский государственный педагогический университет)

ХАРАКТЕР ФАНТАСТИЧЕСКОГО В РАННЕМ АВСТРИЙСКОМ ЭКСПРЕССИОНИЗМЕ

Если в Германии начало раннего литературного экспрессионизма принято датировать 1910 г. и связывать его с деятельностью берлинского журнала «Штурм», то в Австрии это начало приходится на 1908 г., который историки культуры и литературы считают рубежным годом австрийской духовной истории. Такого же мнения придерживаются и историки искусства, называя 1908-й «ключевым годом для австрийского экспрессионизма» [Fleck 1994: 114]. Г. Брох, анализируя в одной из статей 1912 г. развитие эстетических взглядов до этого рубежного момента, приходит к выводу, что искусство, как никогда, устремилось к расширению своих границ, освоению новых форм и средств выражения и поставило цель добраться до некоего предела, «который и станет его полным исполнением и даст ему все эти средства: и их принесет ему экспрессионизм. Создается впечатление, что экспрессионизм — необходимая стадия искусства и времени» [Broch 1975: 30]. Г. Брох считает его «последним следствием эстетического», которое принесло освобождение цвету, звуку из-под власти «малых законов» [Ibid.]. Мнение Г. Броха разделяет и знаток венской культуры этого времени К. Э. Шорске, который завершает исследование художественно-эстетической атмосферы Вены, сложившейся к данному моменту, многократными выводами о том, что Австрия была полностью готова к прорыву экспрессионизма и передавала эстетическую эстафету новому поколению [Шорске 2001: 355, 414].

Произведения, которые мы сегодня считаем «пилотными» для становления австрийского литературного экспрессионизма, написаны и опубликованы в период с 1908 по 1910/11 г. Это стихотворение в прозе «Грезящие юноши» (“Die träumenden Knaben”, 1908) юного О. Кокошки, его же одноактная драма 1909 г. «Убийца, надежда женщин» (“Mörder, Hoffnung der Frauen”), единственный роман А. Кубина «Другая сторона» (“Die andere Seite”, 1909), первый роман А. П. Гютерсло «Танцующая дура» (“Die tanzende Törlin”), датированный 1910 годом, но изданный впервые в начале 1911 г. Именно эти произведения знаменуют собой самую раннюю стадию австрийско-

го литературного экспрессионизма в его оригинальной национальной версии, именно они взрывают эстетику венского модерна провокационной эпатажностью, воинственной эротикой и тревожными предчувствиями грядущих катастроф. В них наиболее отчетливо проявилась потребность молодых австрийских авторов авангардистской направленности в обращении к иррациональным, мифологическим, сказочным, фантастическим мирам. Мощная фантастическая канва названных произведений очертила некое поле ирреальности, в котором, как оказалось, только и возможно проговаривание тайного, но все возрастающего волнения бессознательного, а также разрешение внутренних противоречий Я. Наличие такой фантастической составляющей заметно отличает ранний австрийский экспрессионизм от немецкого — бунтарского, взрывного, нацеленного на разрыв с миром отцов и традиций.

С самых первых шагов австрийский экспрессионизм выражает себя в синкретичных формах, соединяющих слово, цвет, линию, жест, звук. Авторами первых литературных образцов экспрессионистской направленности становятся художники и графики Кокошка, Кубин, Гютерсло или поэты, для которых цветовая символика и музыкальное основание во многом определяют характер поэтического строя, — таким поэтом был Г. Тракль. Как выразился биограф австрийского экспрессионизма О. М. Фонтана, «экспрессионизм преодолел изолированность жанров искусства, весь человек горел, сгорал в святом пламени нового становления» [Fontana 1961: 207]. Он справедливо полагал, что поворот в искусстве Вены произошел именно в этот момент, «и шел он не от слова, а от цвета. От Оскара Кокошки. Но он был — и это важно для понимания появления экспрессионизма в Вене — не только художник, но и поэт» [Ibid.]. Названные произведения становятся блестящим воплощением характерной особенности австрийского экспрессионистского искусства — его синкретичности.

Особый синкретичный характер литературных произведений 1908—1910-х гг., написанных авторами из разряда двойных и тройных дарований, каковыми были Кокошка, Кубин и Гютерсло, позволяет говорить о двух ярко выраженных периодах явления в Австрии: о раннем экспрессионизме, который, в силу его мощи и интенсивности именно в эти годы, рассматривается некоторыми историками литературы как «высшая стадия его развития» (“Hochexpressionismus”) [Werkner 1986: 11], и позднем, активистском периоде, который, несмотря на общую политизацию литературного процесса в военных и послевоенных условиях распада монархии, все еще ратует за обновление искусства и не утрачивает эстетической составляющей, как это происходит в Германии.

Важно отметить, что в 1908—1910 гг. все названные произведения существуют еще вне какого-либо официального экспрессионистского контекста и обсуждаются вне его либо как фантастические и

утопические, либо как мифопоэтические, сказочные истории с мощным внетекстовым контекстом. Такая традиция в атрибутировании этих произведений сохраняется и в современном литературоведении, которое склонно рассматривать основную экспрессионистскую проблематику как «подсвечивающие мотивы» для фантастического или утопического содержания [Fischer 1978: 111]. Так, роман «Другая сторона» литературоведение считает «ключевым текстом литературы эпохи Fin-de-Siècle», из духа которой и вышла немецкоязычная фантастика [Neffe 2009: 11; Fischer 1978: 94].

Сами авторы способствовали тому, чтобы эти произведения с самого начала фигурировали в контексте фантастического. Так, А. Кубин не раз писал о том, что искусство для него — «жизненно необходимый выход в *недействительное*», что искусство — «это деятельность по преобразованию и приданию смысла через фантазийное начало скрытым или завуалированным аспектам действительности», которую он метафорически воспринимал как «пропасть» (“Abgrund”) [Цит. по: Brunn 2010: 12]. В автобиографической книге «Из моей жизни» он называет свое единственное литературное произведение, частью которого являются и 52 графические работы-иллюстрации, «фантастическим романом» [Kubin 1974: 40—41]. Точно так же и А. П. Гютерсло снабдил первое издание своего романа «Танцующая дура» подзаголовком «Роман-сказка» (“Roman des Märchens”) [Gütersloh 1973], хотя его герои олицетворяли самые насущные социальные противоречия и наиболее актуальные философские, психологические идеи начала XX века, а основные коллизии романа выстраивались вокруг важнейших проблем, которые поднимались в экспрессионистской литературе, — протеста молодого поколения против авторитарности власти семьи, государственного аппарата, религии, морали, социальной несправедливости, аморфности и праздности общества.

Но квалификация австрийской версии раннего экспрессионизма как «фантастического экспрессионизма» пока просматривается только в теории и критике австрийского кино. Историки кино полагают, что начало развития *фантастической линии* в немецком киноэкспрессионизме положено именно выдающимися австрийскими кинорежиссерами, кинохудожниками, операторами и блестящими киносценаристами в лице К. Майера, Ф. Ланга, К. Фройнда, А. фон Герлаха, чеха Г. Галеена — автора сценариев к знаменитым фильмам «Носферату» (1922), «Кабинет восковых фигур» (1924), «Голем» (1914), «Пражский студент» (1913) [Fischer 1978; Айснер 2010]. Именно «Пражский студент», по мнению киноведов, в 1913 году открыл новую эру в истории немецкого кино и задал эту линию, исходящую из богатого источника фантастического, ужасного, жуткого, потустороннего (“unheimlich”), имя которому — Э. А. По и Э. Т. А. Гофман [Fischer 1978]. В живописи фантастическая линия раннего экспрессионизма Австрии так же очевидна и ярко выраже-

на. Так, одним из самых одаренных ее представителей был участник «Группы нового искусства» (“Neukunstgruppe”) Р. Кальвах (1883—1932), творчество которого, в отличие от А. Кубина, О. Кокошки, Э. Шиле или Р. Герстля, только сегодня систематизируется и осмысливается как «оригинальный, абсолютно фантастический путь художественного становления» [Natter 2012: 30].

Размышления о характере фантастического в раннем австрийском экспрессионизме опираются на такое понимание фантастического, при котором речь идет не о литературе, делающей акцент на описании невозможного и нереального, а о литературе с таким специфическим способом взаимодействия автора, произведения и читателя, при котором не-действительность, или над-действительность, вступает в сферу повседневного опыта и полностью преобразует его [Brunn 2010: 20]. Такой взгляд на фантастическое пришел из Франции, которая еще со времен Калиостро слыла благодатной почвой для процветания всех разновидностей алхимизма, мистических традиций и оккультизма. Открытия французской литературы впитывались на рубеже веков на всем европейском пространстве, создавая предпосылки возникновения национальных версий фантастической литературы. Так, через Францию на немецкую и австрийскую почву вновь вернулся и современно зазвучал Э. Т. А. Гофман, будто бы вновь «открытый» французами около 1830 года и провозглашенный ими «прародителем французской фантастики» [Fischer 1978: 96]. Германия не оставалась в стороне от модных французских веяний: в 1884 г. в Эльберфельде была организована немецкая секция теософского общества, созданного в 1875 г. Е. Блаватской. Ее учение, замешанное на оккультизме и спиритизме, каббалистических, буддистских и таоистских представлениях, нашло огромное число сторонников в Европе и Америке. Влияние этих эрзац-религиозных течений и настроений было особенно сильно в Германии, но и в Австрии тоже было весьма заметно.

Значительным в начале XX в. оказалось и воздействие творчества Э. А. По, его страстным почитателем и иллюстратором в Австрии стал А. Кубин, которому удалось заглянуть по ту сторону действительности дальше и глубже других. Неуверенность личности в новых условиях на рубеже веков породила потребность в мистицизме, в «искусстве нервов», в рассматривании души под микроскопом — именно поэтому фантастическая немецкоязычная проза переживает бурное возрождение на рубеже XIX—XX вв. и черпает свои силы из декадентских настроений порубежной эпохи, которые метко охарактеризованы исследователем как «шабаш из крови и спермы» [Ibid.: 98].

На австрийской почве «французский характер» фантастического приобретает специфическую национальную конфигурацию: все ключевые произведения раннего австрийского экспрессионизма, о которых идет речь, эстетически реализованы в концептуальном поле

“Traum” («сон / мечта / греза»), под знаком которого стоят литература и искусство Вены с 1900 года. Именно концептосфера “Traum” широко открывает двери для вхождения не-действительного, воображаемого, желаемого, сокровенного в сферу повседневного опыта, позволяет по-новому упорядочить свои взгляды на мир, инициирует игру с читателем и позволяет сформулировать то, о чем принято молчать. *Фантастическое* становится одной из форм индивидуальной интерпретации мира и в полной мере соответствует экспрессионистским идеям «перспективной оптики жизни» (“*Perspektiven-Optik des Lebens*”) [Nietzsche 1966: 576], которые были позаимствованы этим поколением художников из воззрений Ф. Ницше на соотношение жизни и искусства как последней действительно метафизической деятельности.

Концептосфера “Traum” в немецкой языковой картине мира представлена двумя омонимичными самостоятельными концептами, которые различаются наличием или отсутствием семы «сознание», «воля». “Traum₁” в значениях «сон, сновидение» этих сем не имеет и представляет собой *нереальность бессознательного*, а “Traum₂” в значениях «несбыточное, заветное желание, мечта, идеал, представление, мысль, оторванность от реальной действительности», обладая этими семами, представляет собой *нереальность сознания*. Совмещение и наложение этих концептов соединяют в едином поэтическом пространстве сон, сновидения и грезы наяву, реальные мечты, несбыточные желания, тоску, страсть и процесс их переработки во сне, при этом контекст не позволяет четко развести значения “Traum₁” и “Traum₂”. Именно их контекстуальная неразличимость и питает фантастическую линию произведений раннего австрийского экспрессионизма и формирует индивидуальные профили фантастического самых ярких его представителей: О. Кокошки, А. Кубина, А. П. Гютерсло, Г. Тракля. Так, например, в поэзии Г. Тракля Я поэта глубоко запрятано в причудливых лабиринтах поэтического пространства, лишённого примет реальной протяженности и отмеченного печатью вневременности, но все же и для этой, исключительно личной, «история зла» — вины, греха, покаяния, страха и печали — поэтика грез, сна и мечты оказалась наиболее адекватным способом высказывания [Пестова 2015: 142—211].

В центре произведения О. Кокошки «Грезящие юноши» — психологическое состояние юноши в тисках правил и предписаний общества и, как полагает К. Э. Шорске, «собственный мучительный опыт полового созревания» [Шорске 2001: 425]. Этот опыт юный автор облекает в форму чудесного сна или грезы наяву, следуя открытию психоанализа, установившего, что «сновидение — осуществление желания» [Фрейд 2003: 131]. Ключевым словом концептосферы “Traum” становится глагол “träumen”, который используется автором в семи различных лексико-семантических вариантах, демонстрирующих богатство его семантической и синтаксической валентности. Снови-

дения предстают в стихотворении как арена для тех влечений, которые не могут быть реализованы в состоянии бодрствования: во сне красиво сбываются мечты о любви и близости (“*ich träumte die liebe*”, “*ich träumte die kranke nacht*”) [Kokoschka 1996: 13], о разговоре с любимой, о ее теле, ее запахе, во сне исчезает робость и стыд, а любовь становится всеобъемлющей (“*ein allesliebender*”) [Ibid.: 37]. Путь сновидений своеволен, сон заглядывает в «каждый кармашек», которых так много у судьбы (“*viele taschen hat das schicksal*”) [Ibid.: 9], пытается «осмыслить» каждый из них, не будучи скованным условностями и предрассудками реальной жизни. В сновидении совмещается и соединяется несоединимое в реальности, а незначительное для сознания, мимолетное или вовсе не замеченное наяву отчетливо проступает во сне, обретает глубокие смыслы, обрастает значимыми деталями.

Мастерски выстроенная в двух сопряженных жанрах искусства структура «Грезящих юношей» воплотилась в единстве, в терминологии З. Фрейда, «мыслей сна» и «содержания сна» [Фрейд 2003: 303]. Автор стихотворения словно повторяет предостережение З. Фрейда о возможности «впадения в заблуждение» [Там же] при попытке прямой трактовки картинок сновидения — всякий образ рассыпается, перестает быть таковым, стоит сознанию к нему прикоснуться:

eine geschichte so
die aufhört zu sein
wenn man an sie rührt [Kokoschka 1996: 32].

Так, в двадцать один год О. Кокошка создает произведение, с которого австрийская литература начинает отсчет собственно австрийского «экспрессионистского десятилетия». Но, как известно, сам себя он никогда экспрессионистом не считал, однако, несмотря на нежелание идентифицировать себя с экспрессионизмом, в зрелом возрасте О. Кокошка дал ему потрясающую своей глубиной и пронизательностью оценку, полагая, что он, возможно, был «шансом духовного перерождения Европы, который не понят еще и сегодня» [Kokoschka 2008: 114]. Кокошка считал экспрессионизм «трансформацией духовной жизни», которая проявлялась в «моральном и культурном распахивании внутреннего мира человека» [Ibid.].

С романом А. Кубина ситуация складывалась несколько иначе: хотя любой разговор о прозе экспрессионизма не обходится без обращения к нему и, как правило, с него начинается, традиции рассматривать произведение в системе экспрессионистских мировоззренческих и поэтических координат скорее не существует. Литературоведы и искусствоведы единодушны во мнении, что этот роман — один из ведущих в ряду тех произведений, которые разрабатывали основы мировой фантастической литературы [Assman o. J.: 8].

Концептуальное поле “Traum” в романе является, как и в «Грезящих юношах», структурообразующим и смыслообразующим элементом, ключевыми и наиболее частотными словами романа, так же как и у О. Кокошки, являются слова “träumen”, “Traum” и многочисленные производные от него: *Traumreich*, *Traumland*, *Traumstaat*, *Traumensch*, *Traumleute*, *Träumer*, *Traumschicksal*, *Traumreligion*, *Traumgeruch*, *Traumsee*, *Traumspiegel* и т. п. Таким образом, все явления, лица, предметы, процессы, локальные и временные указатели, абстрактные понятия, чувства и эмоции, теория и практика в государстве Грез — Traumstaat — должны подвергаться сомнению, так как всегда видятся в двойной перспективе как «нереальность сознания» и «реальность бессознательного». Сон и сновидения — не только один из центральных мотивов романа в рамках этой концептосферы, но и тот нарративный элемент, который позволяет прочитывать произведение одновременно в двух запрограммированных плоскостях: как историю еще одной утопии и краха и как плод больного воображения рассказчика. Вся фантазмагория событий и многочисленные перипетии, которые совершаются в столице государства Перле за 6 лет пребывания там протагониста, в эпилоге романа завершаются для него в психиатрической лечебнице, где в своих воспоминаниях о государстве Грез и его властителе Патере он тщетно пытается отделить сны от реальности [Kubin 2009: 285]. Благодаря роману и иллюстрациям к нему А. Кубин в течение короткого времени становится не только одной из центральных фигур мюнхенской культурной жизни, но и своеобразным персональным учреждением фантастического и черной романтики европейского масштаба: он на долгие годы задает тон развитию целого направления в литературе и изобразительном искусстве. В сумеречных антимирах романа, насыщенных фантастическими и апокалипсическими видениями, смертью и эротикой, откровенной жестокостью, сопровождаемой завуалированными иронией и юмором, своеобразно преломилась буржуазная реальность начала XX в. и ярко проявились основные тенденции развития литературы и искусства раннего модернизма.

Одним из наименее известных в ряду перечисленных произведений является роман «Танцующая дура». Он написан многогранным австрийским дарованием — художником, писателем, актером, издателем А. П. Гютерсло (1887—1973), учеником М. Дени и Г. Климта. В свое время он не нашел широкого отклика у читателей и на долгие годы был забыт литературоведением, а в современной германистике отсутствует традиция широкого обращения к нему, хотя он ярко воплощает практически все черты раннего фантастического экспрессионизма Австрии. Искусствоведы и литературоведы говорят о несоизмеримости ранга Гютерсло с такими австрийскими художниками, как Кокошка или Шиле, или такими романистами, как Музиль или Брех, но его первый роман считается сегодня не только важнейшим литературным документом раннего экспрессионизма, но и ярким

свидетельством своеобычия пути австрийского экспрессионизма, которому тесно внутри одного жанра искусства. Язык романа с первых строк выдает автора-художника и напоминает наполненное звуками, цветом, запахами пространство лучших стихотворений Г. Тракля.

Героиня романа Рут Херценштейн, приехавшая из Берлина в Вену будто бы обучаться искусству танца, воплощает все черты *femme fatale* начала века, от нее исходит основной эротичный посыл произведения. Она разыгрывает различные эротические сценарии и испытывает на мужчинах силу своих чар, но в этом эротичном угаре отношений со случайными гостями заведений в предместьях города она скользит в придуманном ею танце мимо жизни реальной (“*Ein maskiertes Vorbeigehen am Leben. Ein Ausweichen von den Lebensdingen*”) [Gütersloh 1973: 70] и в результате остается ни с чем. Она мечтает о том, чтобы «печальные окна» между *Я* и жизнью наконец открылись, но эти «окна» так и не открываются, она остается девственницей не только в прямом физиологическом смысле, но и как личность, не реализовавшая себя (“*Wo seid ihr, die traurigen Fenster, zwischen mir und dem Leben, an die ich mein Gesicht presste, wie ein Gedanke, der nie gedacht wurde?*”) [Ibid.: 127]. Концептосфера “*Traum*” реализуется двадцатидвухлетним автором романа несколько иным образом — главной темой произведения становится тема лжи, выдумки, актуализируется проблема «неосуществленных желаний», которые тем или иным образом представляют герои романа. Как имя героини — Херценштейн («камень сердца»), так и немецкое название романа “*Die tanzende Törlin*” (слова *der Tor, die Törlin* сохраняют в своей семантике созначения *безумный, отчужденный от реального мира*) указывают на непреодолимую двойственность личности, бытия и мира, в котором ничто не очевидно. В произведении разыгрывается множество вариаций на тему эротики и сексуальности, при этом А. П. Гютерсло нередко переносит размышления о запретном, о сокровенном в область фантазий, в «страну грез», превращая одного из героев, Элиаса, в мечтателя, лунатика (“*ein Traumwandelnder*”) [Ibid.: 367], находящегося под гипнозом юношу, а другого героя, влюбленного в него Ливланда, представляет визионером, грезящим о пьянящем обладании юным телом и изощренно искушающим его (“*...denn Verführung heißt Rausch, Betäubung, Schlag vor die Stirne...*”) [Ibid.: 369].

Не случайным представляется тот факт, что именно Гютерсло с конца 1940 г. стал «духовным отцом» нового направления в европейском изобразительном искусстве, так называемой Венской школы фантастического реализма — наиболее значительного движения в художественной жизни Австрии 1950—1960-х гг. Это целая плеяда выдающихся австрийских художников — учеников Гютерсло, среди которых Р. Хаузнер, Э. Фукс, его сын В. Хуттер и многие другие. Венская школа фантастического реализма — преемник идей и стилистики раннего фантастического экспрессионизма. Как и в раннем

экспрессионизме, в центре внимания художников фантастического реализма — вневременные, религиозно-мистические темы, они также занимаются исследованием потайных уголков человеческой души и освоением нереальных пространств, в которые устремляется Я. Апокалиптическое сознание, предчувствие катастроф, необратимость разрушения мира, печать страха и присутствие смерти сближают в понимании фантастического два направления искусства, которые разделены во времени четырьмя десятилетиями.

Литература

- Айснер 2010 — *Айснер Л.* Демонический экран / Пер. с нем. М., 2010.
- Пестова 2015 — *Пестова Н. В.* Австрийский литературный экспрессионизм. Екатеринбург, 2015.
- Фрейд 2003 — *Фрейд З.* Толкование сновидений / Пер. с нем. Минск, 2003.
- Шорске 2001 — *Шорске К. Э.* Вена на рубеже веков: политика и культура / Пер. с англ.; под ред. М. Рейзина. СПб., 2001.
- Assman o. J. — *Assman P.* Alfred Kubin — Bilder des Phantastischen // Alfred Kubin — Bilder des Phantastischen. Weitra, o. J.
- Broch 1975 — *Broch H.* Notizen zu einer systematischen Ästhetik // *Broch H.* Kommentierte Werkausgabe / Hg. v. P. M. Lützeler. Frankfurt a. M., 1975. Bd. IX, 2.
- Brunn 2010 — *Brunn C.* Der Ausweg ins Unwirkliche: Fiktion und Weltmodell bei Paul Scheerbart und Alfred Kubin. 2. aktualisierte Auflage. Hamburg, 2010.
- Fischer 1978 — *Fischer J. M.* Deutschsprachige Phantastik zwischen Décadence und Faschismus // *Faicon 3: Almanach der phantastischen Literatur* / Hg. v. R. A. Zondergeld (Phantastische Bibliothek. Bd. 17). Frankfurt a. M., 1978.
- Fleck 1994 — *Fleck R.* Gibt es einen österreichischen Expressionismus in der bildenden Kunst? // *Expressionismus in Österreich: die Literatur und die Künste* / Hg. v. K. Amman, A. A. Wallas. Wien; Köln; Weimar, 1994.
- Fontana 1961 — *Fontana O. M.* Der Expressionismus in Wien: Erinnerungen // *Imprimatur: ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Gesellschaft der Bibliophilen* / Hg. v. H. Sarkowski. N. F. Bd. 3 (1961/62).
- Gütersloh 1973 — *Gütersloh A. P.* Die tanzende Törin. München; Wien, 1973.
- Kokoschka 1996 — *Kokoschka O.* Die träumenden Knaben. Geschrieben und gezeichnet von Oskar Kokoschka. Frankfurt a. M.; Leipzig, 1996.
- Kokoschka 2008 — *Kokoschka O.* Mein Leben. Wien, 2008.
- Kubin 1974 — *Kubin A.* Aus meinem Leben. Gesammelte Prosa mit 73 Abbildungen / Hg. v. U. Riemerschmidt. München, 1974.

- Kubin 2009 — *Kubin A.* Die andere Seite. Ein phantastischer Roman. Mit 51 Zeichnungen und einem Plan / Nachwort von J. Winkler. Frankfurt a. M., 2009.
- Natter 2012 — *Natter T. G.* Rudolf Kalvach: Ikarus zwischen Jugendstil und Expressionismus // Fantastisch! Rudolf Kalvach: Wien und Triest um 1900. Katalog der Ausstellung im Leopold Museum. Wien, 2012.
- Neffe 2009 — *Neffe J.* Einladung ins Traumreich. Alfred Kubins Jahrhundertroman ist ein virtuoses Schlüsselwerk für die Epochenwende, an der wir stehen // Die Zeit. 2009. No. 34 (13 August).
- Nietzsche 1966 — *Nietzsche F.* Werke: In 3 Bd. / Hg. v. K. Schlechta. Bd. 2. München, 1966.
- Werkner 1986 — *Werkner P.* Physis und Psyche: Der Österreichische Frühexpressionismus. Wien; München, 1986.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Phantastische im frühen österreichischen Expressionismus

Das Phantastische in den frühen literarischen Werken der wichtigsten Vertreter des österreichischen Expressionismus (O. Kokoschka, A. Kubin, G. Trakl, A. P. Gütersloh) wird zu einer bedeutenden individuellen Interpretationsform der Welt. Diese Interpretation lässt das Ich im Bereich des Irrealen und des Traums, an der Grenze des Unbewussten und Bewussten verschiedenartig zur Geltung kommen und entspricht den Ideen der "Perspektiven-Optik des Lebens" von Nietzsche. Das Phantastische nimmt verschiedene Erscheinungsformen an: Traum, Lüge, Rausch, irrealer Orte und Sachbezüge, unheimliche Szenerien und sinntäuschende Begebenheiten. Solche Gestaltungsweisen des Phantastischen helfen, die tiefsten Tiefen und "andere Seiten" einer modernen Persönlichkeit aufzudecken und zu verorten.

E. A. САКУЛИНА

(Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н. А. Добролюбова)

**DICHTUNG UND GESTALT IM POETISCHEN WERK
VON ELSE LASKER-SCHÜLER
(zur Rezeption des Gedichts “Ein alter Tibetteppich”)**

Else Lasker-Schüler (1869—1945) ist eine der bedeutenden Dichterrinnen der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Sie gilt als herausragende Vertreterin der avantgardistischen Moderne und des Frühexpressionismus. Karl Kraus nannte Else Lasker-Schüler “die stärkste und unwegsamste lyrische Begabung des modernen Deutschland” [Schmölzer 2015: 7], für Gottfried Benn war sie die größte deutsche Lyrikerin überhaupt [Sanders-Brahms 1997: 35—40]. Else Lasker-Schüler hat ein umfangreiches lyrisches Werk, drei Dramen sowie Briefe, Dokumente und zahlreiche Zeichnungen hinterlassen. Zu ihren Lebzeiten erschienen ihre Gedichte sowohl in verschiedenen Zeitschriften als auch in einer Reihe von ihr selbst zusammengestellten und zum Teil auch illustrierten Gedichtbänden. In der Wochenschrift *Der Sturm*, dem führenden Organ der Berliner Avantgarde (Jahrgang 1, Heft 41, S. 328) erschien 1910 ihr Gedicht “Ein alter Tibetteppich”. Dieses Liebesgedicht mit seinen ausdrucksstarken Bildern und Wortkombinationen nimmt eine herausragende Stellung im lyrischen Werk Else Lasker-Schülers ein, es wurde in zahlreiche Anthologien aufgenommen¹.

Ein alter Tibetteppich

Deine Seele, die die meine liebet,
Ist verwirkt mit ihr im Teppichtibet.
Strahl in Strahl, verliebte Farben,
Sterne, die sich himmellang umwarben.
Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit,
Maschentausendabertausendweit.
Süßer Lamasohn auf Moschuspflanzenthron,

¹ In Buchform wurde das Gedicht erstmals in dem Gedichtband der Autorin *Meine Wunder. Gedichte 1911* publiziert. Bereits 1912 folgte die erste Veröffentlichung in der Anthologie *Der Kondor*. 1920 wird das Gedicht in einem umfassenderen Lyrikband der Autorin, *Die gesammelten Gedichte*, wiederveröffentlicht.

Wie lange küßt dein Mund den meinen wohl
 Und Wang die Wange buntgeknüpfte Zeiten schon?
 [Lasker-Schüler 2004: 120]

Die Form des Gedichts lässt sich in wenigen Worten beschreiben. Betonte und unbetonte Silben alternieren, die Verse der einzelnen Strophen sind durch Reime miteinander verbunden. Der musikalische Zauber der Reimwörter entfaltet sich erst ganz beim lauten Vorsprechen:

liebet — Teppichtibet,
 Kostbarkeit — Maschentausendabertausendweit,
 Lamasohn — Moschuspflanzenthron — Zeiten schon.

Eine solche Vielzahl von Neologismen findet sich in keinem anderen Gedicht Lasker-Schülers. Es gibt kaum eine Interpretation, in der versucht wird, eine Bedeutung des Gedichts aufzudecken, die über das hinausgeht, was im Text unmittelbar gesagt wird. Der vielsagende Titel "Ein alter Tibetteppich" löst durch seinen Neologismus beim Lesen eine Reihe von Assoziationen aus. Der unbestimmte Artikel "ein" legt vielleicht nicht nur die Anzahl fest, sondern vermittelt auch die Einmaligkeit des Teppichs. Das Adjektiv "alt" beschreibt den Teppich als einen Gegenstand mit einer eigenen Geschichte, die in ihm eingewoben wurde. Sonja M. Allen schlägt eine "visuelle" Interpretation des Gedichts vor. Sie skizziert den Begriffsumfang von "Tibetteppich" erstens als Land, zweitens als Fell eines in Nordchina lebenden Schafes sowie drittens als Reißwolle von Lumpen aus Kammgarn [Allen 2012: 94].

Es ist bekannt, dass das tibetische Schaf besonders wertvolle Wolle produziert. Die Einwohner Tibets verspinnen es zuerst zu Garn und fertigen anschließend daraus handgeknüpfte Teppiche. Darüber hinaus sollte auch die Religiosität der Tibeter, die hauptsächlich Buddhisten sind, berücksichtigt werden. Lasker-Schüler, die sich als bekannte Figur der Berliner Bohème für die buddhistische Glaubenslehre interessierte, wusste gewiss, dass unterschiedlich große und in Tibet geknüpfte Teppiche Buddhisten als Unterlage während des Betens dienen. Bei dem "alten Tibetteppich" könnte es sich demnach auch um einen Gebetsteppich handeln [Allen 2004: 92].

Zusätzlich sei auf eine Farbzeichnung von Else Lasker-Schüler mit dem Titel "Jussuf weidet die Ziegen und Schafe" (ca. 1920) hingewiesen. Daran fällt die Tätigkeit eines Hirten auf, der mit vier Nadeln ein Textil strickt. Diese veranlasst zu Mutmaßungen, nach denen dieses Endprodukt im Anschluss zu Reißwolle beziehungsweise zu Blockstreifen verarbeitet wird und schließlich als Flicker in einem Teppich verwendet werden könnte. Lasker-Schüler strickte selbst nachweislich sehr häufig, besonders auf Reisen. Zudem verwendete sie "Prinz Jussuf", die arabische Form des hebräischen Namens Joseph, als Künstlernamen. Beruhend auf diesen Fakten lässt sich schlussfolgern, dass es sich bei der Zeichnung um eine Selbstdarstellung handelt, in der Lasker-Schüler sich selbst porträtiert. Als "Jussuf" stilisierte Else Lasker-Schüler sich ab 1909

sowohl in Briefen, Gedichten und Zeichnungen als auch im alltäglichen Leben. Dreieinhalb Jahrzehnte diente ihr die Josephs-Gestalt des Alten Testaments als alter ego. Das Schicksal Josephs stand traditionell sinnbildlich für das Leben der Juden im Exil, fern von Palästina.

Außerdem taucht die Struktur des Teppichs in dem Reimwort “Teppichtibet” auf, das als Umkehrung des Wortes “Tibetteppich” in der ersten Strophe eingeführt wird. Diese Wortumkehrung kann man visuell mit einer rechten und linken Masche eines gestrickten Teppichs vergleichen. Bemerkenswert ist auch, dass die Autorin in der dritten Strophe einen weiteren Neologismus verwendet, der aus einer Wortreihe ohne Zwischenräume und Pausen besteht: “Maschentausendabertausendweit”. Die Verszeile veranschaulicht die enge Verbundenheit der Worte im Textgewebe. Nebeneinanderstellungen im Text wie “Strahl in Strahl” in der zweiten und “Wang die Wange” in der vierten Strophe bestätigen ebenfalls den Befund, dass Lasker-Schülers Gedicht einen gewebten “Teppich” aus Sprache darstellt [Allen 2004: 90—100].

Eine solche “visuelle” Interpretation bleibt jedoch nicht die einzige mögliche Auslegung des Gedichts. Jakob Hessing interpretiert es beispielsweise aus einer jüdischen Perspektive [Hessing 1985: 113—120]. Jürgen Wallmann legt es im Gegensatz dazu noch stärker als autobiographisch aus [Wallmann 1966: 34—50]. Wallmann bezieht das lyrische Du, das in der letzten Strophe als “süßer Lamasohn” angesprochen wird, auf Lasker-Schülers Korrespondenz mit Karl Kraus, den sie oftmals als “Dalai-Lama” bezeichnete. In weiteren Studien wird “Ein alter Tibetteppich” als Liebesgedicht betrachtet. Karl Josef Höltgen meint, dass die Liebe ein zentrales Motiv für die Lyrik Lasker-Schülers darstellt. Er vergleicht das Gedicht mit anderen Werken der deutschen und europäischen Literatur. Als mögliche Vorbilder nennt Höltgen Eduard Mörikes “Auf eine Lampe” und Stefan Georges “Teppich des Lebens” [Höltgen 1958: 114]. Horst Domdey führt aus, dass es sich bei der Liebe des lyrischen Ichs zu seinem Gegenüber um eine gegenseitige, erwiderte Liebe handelt, was vor allem durch das Verb “verwirkt” im Bezug auf das Wort “Teppichtibet” verdeutlicht wird. Die Du-und-Ich-Beziehung ist im Teppich-Gewebe gleichsam metaphorisiert. Durch diese Übertragung wird im Folgenden zugleich vom Teppichmuster und vom Liebesmuster gesprochen: Die Strahlen sind “verliebte Farben”, die Sterne umwerben sich “himmelang” [Domdey 1964: 57—63]. Die Personifikation “verliebte Farben” betont die Übereinstimmung und die perfekte Kombination der Farbtöne des Teppichs.

Nicht weniger wichtig ist der Vers “Süßer Lamasohn auf Moschuspflanzenthron”, welche die Begriffsfelder “Tibet” und “Teppich” unterstützt. Moschus, erzeugt vom tibetanischen Rind, wird von buddhistischen Mönchen beim Meditieren benutzt und ist zugleich als sexuell stimulierender Duftstoff bekannt. Der Begriff “Moschus” weist im Gedicht möglicherweise auch auf eine starke körperliche Bindung zwischen dem lyrischen Ich und seinem Gegenüber hin. Der Ausdruck “süßer La-

masohn", mit dem das lyrische Ich seinen Geliebten bezeichnet, könnte man mit dem Dalai Lama in Tibet in Verbindung bringen. Ähnlich wie ein enthaltsam lebender buddhistischer Mönch ist "der süße Lamasohn" für die beidseitige Liebe unerreichbar. So erlebt — in autobiographischer Lesart — auch die Dichterin Konflikte zwischen Ideal und Realität.

Das Gedicht "Ein alter Tibetteppich" hat Lasker-Schüler als Dreißigjährige geschrieben. In dieser Zeit erlebte sie persönlich ein Wechselbad der Gefühle. Mit ihrem Gedicht zeigt die Autorin ihre Affinität zu fernöstlicher Exotik und Mythologie. Zugleich bezeugt der Text ihre Sehnsucht nach Geborgenheit in einer festen Bindung, als Ausweg aus der Einsamkeit, unter der sie lebenslang litt. Karl Kraus, der das Gedicht in *Die Fackel* abdruckte, sprach höchstes Lob aus: "Das Gedicht gehört für mich zu den entzückendsten und ergreifendsten, die ich je gelesen habe, und wenige von Goethe abwärts gibt es, in denen so wie in diesem Tibetteppich Sinn und Klang, Wort und Bild, Sprache und Seele verwoben sind" [Bauschinger 2009: 148].

Literatur

- Allen 2012 — *Allen S. M.* Eine Poetik der Mutterschaft: Maternitätsbilder bei Else Lasker-Schüler und Marie Luise Kaschnitz. Ontario, 2012.
- Bauschinger 2009 — *Bauschinger S.* Else Lasker-Schüler. Biographie. Göttingen, 2009.
- Domdey 1964 — *Domdey H.* Frühe und späte Lyrik Else Lasker-Schülers. Vergleichende Untersuchungen zu Gehalt und Rhythmus. Berlin, 1964.
- Hessing 1985 — *Hessing J.* Else Lasker-Schüler: Biographie einer deutsch-jüdischen Dichterin. Karlsruhe, 1985.
- Höltgen 1958 — *Höltgen K. J.* Untersuchungen zur Lyrik Else Lasker-Schülers. Bonn, 1958.
- Lasker-Schüler 1951 — *Lasker-Schüler E.* Dichtungen und Dokumente / Hg. v. E. Ginsberg. München, 1951.
- Lasker-Schüler 2004 — *Lasker-Schüler E.* Sämtliche Gedichte / Hg. v. K. J. Skrodzki. Frankfurt a. M., 2004.
- Sanders-Brahms 1997 — *Sanders-Brahms H.* Gottfried Benn und Else Lasker-Schüler. Berlin, 1997.
- Schmölzer 2015 — *Schmölzer H.* Frauen um Karl Kraus. Klagenfurt, 2015.
- Wallmann 1966 — *Wallmann J.* Else Lasker-Schüler. Mühlacker, 1966.

В. В. КОТЕЛЕВСКАЯ
(Южный федеральный университет)

**ИЗОБРЕТЕНИЕ ЯЗЫКА:
ДЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
КРАСНОРЕЧИЯ В ПОЭТИКЕ БЕРНХАРДА И БЕККЕТА**

Уже после первых театральных постановок Бернхарда в 1970-х критики заговорили об «альпийском», «австрийском» Беккете, обнаружив у молодого драматурга следы «абсурда», стиливого минимализма, а также беккетовские пространственные и телесные символы (замкнутое место действия, обездвиженный персонаж в инвалидном кресле и др.)¹. При этом, однако, речь может идти скорее о типологическом сближении, чем о генезисе. Слишком разными были две творческие истории — ирландца Беккета, обосновавшегося в Париже, связанного с французским и англоязычным модернизмом, в первую очередь с сюрреалистами и Джойсом, и Бернхарда, развивавшегося в литературно-театральной среде Австрии, достаточно быстро порвавшего с ней, а англо-американских мэтров-модернистов читавшего разве что в немецких переводах.

Любопытен тот факт, что инвалидное кресло (Rollstuhl), одна из важных беккетовско-бернхардовских деталей, отмеченных критиками после постановки «Праздника в честь Бориса» (Ein Fest für Boris, 1971), появляется у австрийского автора значительно раньше — в «Событиях» (Ereignisse, 1957), сборнике коротких историй, жанр которых балансирует на грани притчи и анекдота. Премьера беккетовской пьесы «Конец игры» (Endgame), где фигурирует инвалидное кресло, состоялась сначала в Лондоне, а затем в Париже в 1957 г. Вероятно, Бернхард был знаком с рецензиями (известно, что он регулярно читал “Le Monde”, “Times”), о знакомстве с текстом пьесы к этому моменту трудно говорить с полной уверенностью.

¹ Обзор театроведческих параллелей между Беккетом и Бернхардом см.: Schweiger H. “Failing better”: die Rezeption Samuel Becketts in Österreich. Bern, 2005. S. 240—249. Сравнительный анализ театральной эстетики дают также М. Эсслин (Esslin M. Beckett and Bernhard: A Comparison // Modern Austrian Literature. 1985 June. Vol. 18. Issue 2. P. 67—78); К. Хунтеманн (Huntemann W. “Treue zum Scheitern”: Bernhard, Beckett und die Postmoderne // Thomas Bernhard. Text + Kritik. 1991. Heft 43. S. 42—74) и др.

Восемнадцатилетний Бернхард помещает в «События» историю, которая в сжатом виде уже содержит коллизию будущего романа «Известковый завод» (“Das Kalkwerk”, 1970): многолетнее мучительное супружество ненавидящих друг друга людей, жена косноязычна и обездвижена, муж мечтает когда-нибудь избавиться от нее, перевернув инвалидное кресло в пропасть [Bernhard 1991: 13—14] (Конрад в «Известковом заводе» убьет жену-инвалида из винтовки выстрелом в затылок, а в «Празднике в честь Бориса» неподвижность будет гиперболизирована до пятнадцати «безногих» персонажей в инвалидных креслах). Данная автоинтертекстуальная параллель свидетельствует о глубокой аутентичности мотивов, вряд ли объясняющихся *только* беккетовским влиянием.

В «Немецких дневниках» Беккета и письмах конца 1930-х гг. присутствуют важные в рассматриваемом контексте персоналии: Фриц Маутнер, 3-томное сочинение которого («Статьи о критике языка», 1900—1901) он штудировал; Людвиг Витгенштейн, Достоевский, Кафка, Гёльдерлин, Кант, Ницше, Шопенгауэр. Все это — имена, образующие круг чтения или, как минимум, косвенного знания Томаса Бернхарда, и идеи этих авторов связывают его с модернистской традицией лингвистического скептицизма.

Таким образом, *глубинные (ментальные, мировоззренческие) и формально-эстетические* основания творчества позволяют наметить линии типологического сближения двух писателей. Заметим также, что, несмотря на декларированную литературными критиками связь поэтики Беккета и Бернхарда, литературоведческих исследований в этом направлении крайне мало, известные на сегодня работы — а это статьи, не монографии — посвящены отдельным приемам, мотивам, но чаще всего авторы ограничиваются констатацией художественного родства двух поэтических систем, при этом рассматривается исключительно драматургия. Пока нам удалось обнаружить лишь одну англоязычную статью, посвященную компаративному риторическому анализу прозы: ее автор, М. Байрон, сопоставляет риторические стратегии Беккета и Бернхарда на материале романа “Watt” (1940; публ. 1953), в котором окончательно обозначилось движение Беккета к «абстрактному и архетипическому нонреализму» (термин Э. Вебба [Webb 2014: 56]), и повести “Wittgensteins Neffe” («Племянник Витгенштейна», 1982) [Byron 2013: 239—256]. Между тем обнаруживается удивительное родство художественной прозы зрелого Беккета (“Watt”, “Molloy”, “Malone dies”, “The Unnamable”, “Mercier and Camier”, “Texts for Nothing”) и ряда повестей и романов Бернхарда (“Gehen”, “Das Kalkwerk”, “Der Untergeher”, “Holzfällen: Eine Erregung” и др.).

В статье на материале повествовательной прозы будут рассмотрены некоторые аспекты поэтики и поэтологии, позволяющие выявить общий для двух писателей интерес к переустройству языка, прежде всего через его деконструктивную (Беккет) и конструктив-

ную (Бернхард) *риторификацию*. Речь пойдет прежде всего о соотношении предметного мира и речи (элокуции), характеризующемся, соответственно, редукцией первого и гиперболизацией значимости второго, которая реализуется в вытеснении наррации элементами всевозможных ораторских жанров: сократического диалога, тирады, инвективы / панегирика, апологии / обвинения, прения сторон. При этом Беккет чаще использует арсенал минус-приемов, зримо обнажая отсутствие ожидаемых звеньев аргументации и деконструируя «красноречие» как норму связности и семантической убедительности текста. Актуализируя неориторический подход [Лахманн 2001], мы обращаем внимание на ключевое свойство риторической модели изменять мнение аудитории, преодолевая ее идеологическое, психологическое сопротивление. Это особенно важно для казуса *Беккет / Бернхард*, где поэтика формируется как сопротивление традиции «рассказывания историй».

В книге «Демонтаж красноречия»² Р. Лахманн рассматривает «красноречие» не только и не столько в прямом значении как искусство словесного убеждения, сколько как модель поэтики, в которой актуализируются, во-первых, «искусственность» (изобретенность, противостоящая безыскусности, естественности), а во-вторых, установка на воспроизведение готовых, хранящихся в культурной памяти жанровых и стилистических клише. Рассмотренная ею на материале русской литературы XVIII—XIX вв. оппозиция *риторического как искусственного и реалистического («натурального»)* как *естественного* — несомненно, всего лишь один из культурных конструктов, но он точно отображает также позднейшую стадию преодоления реализма модернистами. Как пишет о Беккете Е. Г. Доценко, «наиболее реальным становится как раз фиктивное» [Доценко 2005: 267]. Бернхард, в свою очередь, неоднократно декларирует «искусственность» создаваемых сюжетов и образов. Что знаменательно, и Беккет, и Бернхард в своей «искусственной» прозе прибегают к амбивалентной обвинительно-оправдательной речевой жестикуляции, реализуя в художественной прозе, все более отдаляющейся от собственно повествовательного дискурса в сторону дискурса-рассуждения, своего рода «процесс» против Другого, каковым выступает, в частности, условный автор-реалист, рассказчик жизнеподобных историй. Новаторство, одна из определяющих ценностей модернизма, воплощается у обоих писателей не в области изобретения новых сюжетов или характеров, а в утопии языка.

Ш. Веллер убедительно доказывает, что Беккет, читая в 1936—1937 гг. трактат Ф. Маутнера, разделяет ряд его лингвофилософских идей [Weller 2013: 123—138]. В частности, Беккету оказывается близким «чистый номинализм» Маутнера — убеждение в отсутствии

² В оригинале акцентируется семантика ‘разрушения’: “Die Zerstörung der schönen Rede”.

прямого доступа языка к миру. Отсюда, отметим, и усиливающаяся от романа к роману бессюжетность, распредмечивание персонажа и вещи, усиление семантического эффекта «пустого» высказывания (ср. речь рассказчика в трилогии, в романе «Уотт»). Ш. Веллер подчеркивает апофатическую окраску беккетовской философии языка в противовес «апофеозу слова» Джойса, солидарность с маутнеровской мыслью о необходимости самокритики языка — с целью ясного осознания его границ [Weller 2013: 125]. Действительно, в прозе Беккета 1940—1970-х гг. реализуется проект саморефлексии языка. При этом язык признается им — как и Маутнером — в качестве единственного средства познания. Ср. характерную реплику в «Безымянном»: «в молчании не знаешь» (“in the silence you don’t know”) [Beckett 2009: 407].

Финал «Безымянного» звучит как программа модернистского лингвоцентризма: субъект, осознавший границы слова, одновременно сталкивается с границей собственного бытия, которое есть не что иное, как конец текста истории. Власть языка выражена фигурой олицетворения — не субъект говорит слова и тем самым завершает свою историю, а слова говорят рассказывающему³ и доносят его до «порога». Так владение словом камуфлируется автором под риторическую беспомощность, косноязычие речепорождающего «я»:

«...возможно, все уже кончено, возможно, они уже сказали мне, возможно, они донесли меня до порога моей истории, поднесли к двери, которая откроется навстречу моей истории, меня бы это удивило, если она откроется, это буду я, наступит молчание, где я, не знаю, никогда не узнаю, в молчании не знаешь, необходимо продолжать, я буду продолжать» [Беккет 1994: 462].

Связь предметно-событийного мира, образующего каркас любого повествования, со словом ставится Беккетом под сомнение. Нарратор словно постоянно терпит неудачу в изображении конкретное-чувственного, в обозначении координат художественного мира. Символично звучит начало «Безымянного»:

«Где сейчас? Кто сейчас? Когда сейчас? Вопросов не задавать. Я, предположим, я. Ничего не предполагать. Вопросы, гипотезы, назовем их так. Только не останавливаться, двигаться дальше, назовем это движением, назовем это движением дальше. Может быть, однажды, однажды проходит, однажды я задержался, просто задержался, где-то задержался, вместо того чтобы уйти, как делал всегда, уйти и провести ночь, как можно дальше, далеко это не было. Вероятно, с этого и началось. Кажется, что просто отдыхаешь, чтобы лучше действовать потом или без всякой причины, и вдруг замечаешь, что силы тебя оставили и ты не в состоянии ничего сделать. Неважно, как все

³ Назвать романное «я» рассказчиком, нарратором можно лишь с большими оговорками, так как единственная история, которую он рассказывает, — это история распада повествования.

случилось. *Все*, предположим, все, не зная *что*» (курсив мой. — В. К.) [Беккет 1994: 320].

Декларативный разрыв с реалистическим принципом референции очевиден. Последовательно подвергаются деконструкции константы правдоподобной истории: место («где?»), субъект — персонаж, повествователь («кто?.. предположим, я»), время действия («когда?.. может быть, однажды»). Если какие-то сведения и предлагаются, они представлены в модальности неопределенности: закон развертывания фабулы реализуется в малообещающей формулировке «назовем это движением», сказанное постоянно смазывается наличием вездесущих «может быть», в итоге действие, едва заявленное, останавливается («ты не в состоянии ничего сделать»), кроме того, столь необходимое для сюжета целеполагание отменяется («действовать... без всякой причины»). Непрозрачен и сам предмет изображения («все, не зная что»). Разрушение означаемого зеркально отражается в структуре означающего: речь теряет связность, причинно-следственные связи сохраняются лишь формально-синтаксически. Нонреференциальность выражена и в структуре романа «Уотт», где пространственно-временные координаты, облик персонажей (Уотт, Нотт), их занятия постоянно метаморфируют, как и в «Безымянном», где «я» проходит стадии тела без членов, головы с каким-то бесформенным продолжением вместо человеческого туловища, червя, редуцируясь в итоге до голоса. «Истории и тексты ни для чего» (Stories and Texts for Nothing, 1955), «Безымянный» (“L’Innommable”, 1953 / “The Unnamable”, 1958) — названия и тексты Беккета проходят путь апофатического познания языка, высвобождения слова от конвенциональной телеологии и предметности.

В прозе Бернхарда эта стратегия ощутима не в меньшей степени, хотя формально обходится без приема «косноязычия». Так, в романе «Известковый завод» детективная фабула дискурсивно развернута вопреки законам жанра: об убийстве Конрадом его жены мы узнаем на первой же странице романа, объектом расследования, а вернее, исследования (Studie), становится философия слуха, языка и письма, которая, в свою очередь, в форме безостановочной косвенной речи, дана через посредничество трех искажающих инстанций: «свидетелей» Фро, Визера и метаинстанции — цитирующего их рассказчика; пресловутое ружье, которое должно выстрелить, появляется — причем во множественном числе — как целый арсенал с атрибуцией марок («Венцль, Фетгерли, Горосабель, Маннлихе и так далее») [Bernhard 1973: 7] в третьем абзаце романа. В романе «Пропащий» (“Der Untergeher”, 1983) о самоубийстве Вертхаймера читатель узнает во втором абзаце, фабула никуда не движется: больше трети романа рассказчик стоит на пороге гостиницы (и размышляет), еще треть текста он переступает порог гостиничного номера (и размышляет), оставшуюся треть он разглядывает стены и потолок гостиничной комнаты (и размышляет): дискурс тем временем движется ре-

троспективно, позволяя рассказчику *исследовать* экзистенциальные причины самоубийства Вертхаймера.

Следует подчеркнуть, что последовательная деконструкция реалистической поэтики осуществляется обоими авторами в условиях конструирования «риторической» ситуации: это, как правило, ситуация «суда» (апологии, обвинения / самообвинения) или торжественной речи (инвективы / панегирика). Общим свойством является также заметная театрализация прозы: сценографическое минималистское оформление пространства; герой-резонер; предельная схематизация системы персонажей, строящаяся на основе антитезы, зеркально-амбивалентного двойничества: Уотт / Нотт, Мерсье / Камье, Мэлон / Махуд у Беккета; Ройтхамер / рассказчик, Вертхаймер / Гленн Гульд, Пауль Витгенштейн / рассказчик.

Судебно-риторическим, обвинительным пафосом пронизан роман Бернхарда «Рубка леса», в котором рассказчик на протяжении всего «сюжета» сидит в кресле, наблюдает за перемещением гостей в холле дома, куда его пригласила семья друзей-врагов, и в ходе трехсотстраничного потока сознания демонстрирует аргументы обвинения. Исследователи уподобляют эту ситуацию театральной: с одной стороны, рассказчика сравнивают со зрителем в зале, с другой стороны, он — резонер на сцене, наблюдающий за залом. Ситуация нравственного «суда» в преддверии юридического суда, напоминающая сюжеты Достоевского, отражена в «Известковом заводе». Дискурс разворачивается как многоголосный протокол, в котором сменяющиеся друг друга реплики о «подсудимом» лишь отчасти приближают к «правде» о нем, демонстрируя время от времени слабость, неточность знания, неопределенность предмета разговора. Существенным для обоих писателей является вопрос идентичности героя. Кто есть Конрад? Кто такой «безымянный»? Кто такой Нотт? Размывание идентичности героя также работает на деконструкцию предметного мира. Экзистенциальный вопрос «кто я» ставится, но не снимается ходом дискурса-рассуждения.

Смещение интереса от фабулы к дискурсу, от повествовательного дискурса к рассуждению, далее — от логически связного рассуждения к бессвязному или предельно искусственному, что разрушает эффект успешной коммуникации с читателем (все эти фазы ре- и деконструкции красноречия соприсутствуют в прозе Беккета и Бернхарда), приводит к созданию схематизированных сюжетных ситуаций. Как и у Кафки, самозащита и самообвинение предстают в форме вымысла, где историческое, психологическое, пространственно-временное измерение редуцировано. Неслучайно в связи с героями Бернхарда появляются архетипические трактовки, отсылающие к «Сизифу» Камю [Voica 2008], в связи с Моллоем Беккета — в духе Персеваля [Ulliott 2011: 560—579]. Э. Вебб настаивает на «универсальной» природе персонажа и фабулы у Беккета, отмечая, в частности, что в романе «Уотт» «реалистические декорации» являют-

ся лишь «рамкой», внутри которой показан «архетипический квест, в котором персонаж отправляется исследовать неведомое, сталкивается с ним, а затем возвращается в обыденный мир» [Webb 2014: 56].

Ингеборг Бахман, размышляя во «Франкфуртских лекциях» над природой именованя в модернизме, заметила, что даже при наличии топографических координат мы никогда не отыщем в реальности тот же самый мост, который назван в книге, ведь ее «камни и вода сделаны из слов» [Bachmann 1992: 319]. Художественная проза Беккета и Бернхарда разоблачает и оправдывает языковую природу повествования, позволяя речи вслушиваться в себя.

Литература

- Беккет 1994 — *Беккет С.* Трилогия: Моллой. Мэлон умирает. Безымянный / Пер. В. Молота. СПб., 1994.
- Доценко 2005 — *Доценко Е. Г.* С. Беккет и проблема условности в современной английской драме. Екатеринбург, 2005.
- Лахманн 2001 — *Лахманн Р.* Демонтаж красноречия. Риторическая традиция и понятие поэтического / Пер. Е. Аккерман, Ф. Полякова. СПб., 2001.
- Beckett 2009 — *Beckett S.* Three Novels. Molloy, Malone dies, The Unnamable. New York, 2009 (Kindle Edition).
- Bernhard 1973 — *Bernhard Th.* Das Kalkwerk. Frankfurt a. M., 1973.
- Bernhard 1991 — *Bernhard Th.* Ereignisse. Frankfurt a. M., 1991.
- Bernhard, Unseld 2011 — *Bernhard Thomas, Unseld Siegfried.* Der Briefwechsel. Frankfurt a. M., 2011.
- Byron 2013 — *Byron M.* Scharfsinnige Sturzfluten bei Beckett und Bernhard // Samuel Beckett und die deutsche Literatur / Hg. v. J. Wilm, M. Nixon. Bielefeld, 2013. S. 139—156.
- Esslin 1985 — *Esslin M.* Beckett and Bernhard: A Comparison // Modern Austrian Literature. 1985 June. Vol. 18. Issue 2. P. 67—78.
- Huntemann 1991 — *Huntemann W.* “Treue zum Scheitern”: Bernhard, Beckett und die Postmoderne // Thomas Bernhard. Text + Kritik. 1991. Heft 43. S. 42—74.
- Schweiger 2005 — *Schweiger H.* “Failing better”: die Rezeption Samuel Becketts in Österreich. Bern, 2005.
- Ulliott 2011 — *Ulliott J.* Molloy or le Conte du Graal // Modern Philology. 2011. Vol. 108. No. 4. P. 560—579.
- Voica 2008 — *Voica A.* Selbstmordverschiebung. Zu Thomas Bernhards Schreibverhalten im Prosawerk. Diss. Berlin, 2008.
- Webb 2014 — *Webb E.* Samuel Beckett: A Study of His Novels. Washington, 2014.
- Weller 2013 — *Weller S.* Zu einer Literatur des Unworts. Kafka, Beckett, Sebald // Samuel Beckett und die deutsche Literatur / Hg. v. J. Wilm, M. Nixon. Bielefeld, 2013. S. 123—138.

ZUSAMMENFASSUNG

**Die Erfindung der Sprache: Zur De- und
Rekonstruktion der schönen Rede in Thomas Bernhards
und Samuel Becketts Poetik**

Im Beitrag werden die rhetorischen Aspekte der Erzählprosa von Bernhard und Beckett behandelt. Die Reduktion der mimetischen Eigenschaften der Fiktion einerseits und die Potenzierung der Selbstreflexion der Sprache andererseits werden als moderne Sprachkritik und Sprachutopie betrachtet. Es wird anhand von Becketts *The Unnamable* und Bernhards *Das Kalkwerk* sowie einiger anderer Werke die De- und Rekonstruktion der schönen Rede aufgezeigt.

Г. Г. ИШИМБАЕВА

(Башкирский государственный университет)

**ПОЭТИКА КУЛЬТУРЫ В РОМАНЕ
Г. ГРАССА «ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН»**

Для художественного мышления Г. Грасса показательна поэтика культуры, которая особенно наглядно проявляется в интертекстуальном романе «Жестяной барабан». Его эксплицитный автор, «истинный музыкант» Оскар Мацерат, ищущий смысла бытия в кризисный период трагической истории Германии XX в., погружен в диалог с различными культурами и с речевыми блоками культур, что обуславливает поэтику романа.

В жанровом отношении «Жестяной барабан» примыкает к типологии «романа культуры» и находится в одном ряду с «Доктором Фаустусом» Т. Манна и «Игрой в бисер» Г. Гессе.

Понятие «роман культуры» ввел в литературоведение В. Д. Днепров [Днепров 1980: 187], рассмотревший его как новый жанр XX века, в котором дан «синтез культурной эпохи» [Там же: 174] и представлена «суть целой национальной эпохи» [Там же: 430—431]. Такой тип романа, по мнению Днепровца, нацелен на изображение как самого процесса творчества, так и его восприятия со стороны героя. «Роман культуры» предполагает словесное моделирование сознания художника, разных видов искусства и — шире — осмысление проблем, так или иначе связанных с художественной культурой, что обуславливает использование особой поэтики, получающей выражение на уровне содержания и формы.

Содержание романа определяется биографией «истинного музыканта», который воспроизводит свою жизнь от «истоков» (с момента зачатия его матери на картофельном поле) до зрелости в контексте большой истории, искусства и культуры — так этапы политической истории Германии с начала XX в. до 1950-х гг. получают и культурно-исторические характеристики.

Искусство XX столетия развивалось в русле двух теологических в своей основе парадигм — авангардизма и тоталитаризма. И чувствительные тайны немецкого менталитета Гюнтер Грасс исследует в романе «Жестяной барабан» в процессе анализа авангардного и тоталитарного направлений в эстетике Германии первой половины прошлого века. Восприятие всех областей искусства в его различ-

ных формах на протяжении десятилетий писатель доверяет Оскару Мацерату, авангардному художнику, занятому изображением неизобразимого и выражающему коренные изменения в общественном и художественном сознании немцев.

Родившийся в сентябре 1924 г., Оскар Мацерат в 1952 г. начинает музыкальное исследование, выражающее время сублимации трагических противоречий истории Германии в ее эстетике, и заканчивает его в год своего тридцатилетия. При помощи барабана он строит свою художественную картину мира — но не в меру законов красоты, ибо порвал с идеалами и правилами «изящных искусств». Он изображает через мировидение мировоззрение, дает слуховые образы философской мысли, создает их метафоры, моделирует немецкие историко-культурные коды.

В три года прекративший расти из чувства протеста против меркантильного и лицемерного мира взрослых, Оскар Мацерат — дитя эпохи «югендстиля», его последыш. Он умеет превратить в музыкальное произведение любой самый прозаический предмет, любое самое прозаическое событие, он с детства — универсальный художник, его артистическая натура не приемлет никаких идеократических доктрин и программ.

Именно поэтому, вспоминая свое первое знакомство летом 1933 г. с оперой — это был «Летучий голландец» Рихарда Вагнера, — Оскар Мацерат так ироничен. Во-первых, он дает карикатурную схему представления в Сопоте: «выдвинулся скорее браконьерский, нежели пиратский корабль»; «матросы пели, адресуясь к деревьям», «матросы все еще пели — или уже опять пели» [Грасс 1997: 133]; «среди леса стояла женщина и громко кричала... потому, может быть, что осветитель <...> слепил и раздражал ее своим прожектором» [Там же: 134]. Во-вторых, он фиксирует реакцию слушателей: «матушка его... активно участвует в судьбе голландца», оба предполагаемых отца героя, Альфред Мацерат и Ян Бронски, «заслонившись ладонями, издавали звуки, похожие на звук пилы, распиливающей деревья разной толщины», сам же он тоже по временам засыпает, «то и дело выскальзывая у Вагнера из рук» [Там же: 133—134]. Наконец, вопли женщины, «которую матушка позже обозвала солисткой» [Там же: 134], заставили его взяться за радикальное решение проблемы: своим криком «убить прожектор» [Там же].

Разумеется, маленький слушатель и не мог оценить по достоинству Вагнера, композитора-новатора, драматурга, мыслителя, теоретика искусства, разработавшего теорию синтетического произведения, *Gesamtkunstwerk*'а. Однако задача, которую впоследствии будет решать музыкант-импровизатор Оскар Мацерат, сродни вагнеровской — создание притчи о трагической истории Германии и немца. Мифологизированное творчество автора тетралогии «Кольцо нибелунга», как выясняется в ходе рефлексий героя «Жестяного барабана», по духу родственно ему, мифологизирующему немецкую

историю и немца. Но во время спектакля театрал-неофит не слышит темы трагизма немецкой души — он видит только женщину с желтыми волосами, под музыку Вагнера вопиющую осветителю: «Нет!», «О горе мне!», «Кто причинил мне это зло?» [Грасс 1997: 34].

Адаптированный национал-социалистами Вагнер, боготворимый гитлеровцами за верность немецкой идее, арийский аристократизм и бестиальность, высмеивается малолетним музыкантом, умеющим разрезать стекло голосом, — эпизод «Лесная опера» в Сопоте получает благодаря этому стяжению символа «германской оперы», девятилетнего мальчика и хрупкого материала особое звучание. Устами ребенка действительно говорит Бог: искусство Рихарда Вагнера, приобретшее все качества культового политического действия в Третьем рейхе, неистинно. Это интуитивно понимает герой, который видит в спектакле лишь неестественность поведения солистов и хористов и который спасает их от слепящего света софитов, погружая сцену во тьму.

Если антивагнеровская фронда юного Оскара Мацерата носит бессознательный характер, то его выступление против музыки фашистских маршей вполне осознанно. Нежелание разделять коллективный экстаз движет им, когда Германию охватила мода на массовые представления и факельные шествия. В 1935 г. он впервые выразил свой протест против празднеств «коричневой революции» на Майском лугу, где ораторствовали фашистские идеологи, манифестировали члены партии, скандировали лозунги и распевали песни смешанные хоры, а территориальный взвод фанфаристов из юнгфолька и взвод барабанщиков и трубачей из гитлерюгенда давал музыкальное сопровождение этому «тингшпилю».

Герой вглядывается в мероприятие с «изнаночной» стороны и делает вывод: «Кто хоть раз посмотрел на них сзади, и посмотрел внимательно, тот будет с этого самого часа взыскан судьбой и недоступен ни для какого колдовства, в той или иной форме подносимого с трибун» [Там же: 141]. А отсюда недалеко до желания помочь и другим людям разрушить «колдовство». Так Оскар Мацерат решает уничтожить гармонию очередного фашистского марша на Майском лугу: он прячется под трибуной и, дождавшись демонстрации мундиров, взрывает четкий ритм сначала вальсом о Вене и голубом Дунае, затем — чарльстоном «Джимми-тигр». Результат закономерен: «Закон и дух порядка — все пошло к черту» [Там же: 144].

Герой «Жестяного барабана» расценивает эту историю вовсе не в категориях героической борьбы с фашистской идеологией «крови и почвы». Напротив, он убежден: «Ничто не может быть ошибочней, чем из-за шести либо семи сорванных манифестаций, трех либо четырех сбившихся с ноги на подходе и на проходе колонн провозгласить меня борцом Соппротивления. Толкуют о духе Соппротивления, об очагах Соппротивления. Соппротивление можно даже сделать

чисто внутренним, и тогда это называется: внутренняя эмиграция» [Грасс 1997: 146].

Слово найдено — «внутренняя эмиграция», и, добавлю, в случае с Оскаром Мацератом речь должна идти о внутренней эмиграции, которая вызывается, кроме всего прочего, и неприятием господствующей или навязываемой эстетики. С этой точки зрения вполне естественно, что, став артистом фронтового театра Бебры, он в Париже ведет себя как вандал-эстет перед полюбившими антиквариат оккупационными частями: во время представлений режет своим пением и обращает в осколки не примитивные немецкие бутылки с пивом, а изысканные вазы из французских замков.

Стремление к разрушению красоты сочетается в нем со стремлением к созиданию. Закономерным итогом его художественно-эстетических исканий становится открытие джаза. Джаз, понимавшийся в нацистской Германии как дегенеративное искусство, был объявлен вне закона в Третьем рейхе, где ему противопоставлялась «здоровая музыка», вдохновляемая немецкой народной песней, и стал музыкальной модой в послевоенной Западной Германии.

Джаз привлекает Оскара Мацерата в первую очередь как средство, при помощи которого он может рассказать обретенному другу и единомышленнику Клеппу о себе и воскресить себя и свой барабан. Созданная джазовая капелла «Троица с берегов Рейна», ее коммерческий успех и ее — вот уж поистине! — очистительная миссия в «Луковом погребке», однако, вскоре разочаровывают героя, который ощущает, что его банально используют те, кто может заказывать музыку. Хозяин странного ресторанчика, любитель стрелять по воробьям господин Шму, зарабатывающий на коллективном духовном стриптизе во время разделки луковицы, использует блюзы и регтаймы вполне утилитарно: чтобы удержать своих гостей от начинающихся бесчинств.

Естественно, при таком положении вещей неминуем кризис жанра, он и происходит однажды, когда Шму, уязвленный поведением жены, провоцирует оргию, а потом пытается прекратить ее с помощью музыки. Именно тогда из всей троицы один Оскар Мацерат в состоянии играть, но четко формулирует, что «забыл про стандартную для таких заведений музыку» [Там же: 581].

Еще дальше от джаза он уйдет позже, уже в психиатрической клинике, где будет выслушивать «музыкально-коммунистические манифесты» [Там же: 553] и лекции Клеппа «о взаимосвязях между джазом и марксизмом» [Там же: 545] и где Клепп назовет его «предателем джазовой идеи» [Там же: 601]. Джаз, толкуемый идеологическим или прикладным образом, Оскара Мацерата не интересует. Он тяготеет к другому искусству, чьим духовным отцом был Арнольд Шенберг, основоположник теории «свободной атональности» и метода двенадцатитоновой композиции. Идея подобия литературного персонажа знаменитому авангардисту, оказавшему принципиальное

влияние на музыку XX века, имеет в романе остроумное двойное решение — на уровне физиологии и философии творчества.

С одной стороны, Гюнтер Грасс дает ключ к тайне «шенбергских» корней эстетики своего героя в главе, посвященной его «грязевым успехам» [Грасс 1997: 336] в отношениях с фрау Линой Грефф в октябре 1941 г. Оскар Мацерат не только «объединяет в одной фразе успехи фронтовые и постельные» [Там же: 337], но и произносит слово-пароль, когда в музыкальных терминах уточняет уроки этой связи: «Тут я выучился трубить, брать аккорды, дудеть, играть пиццикато, водить смычком, все равно в басовом ключе или полифонически, все равно шла ли речь о *додекафонии*, о *новой тональности* (выделено мной. — Г. И.) или о вступлении при скерцо, или об избрании темпа для адажио...» [Там же: 337].

Физиологическая додекафония, в которой увяз герой Гюнтера Грасса, однако, не снимает важности для него философской составляющей теории Арнольда Шенберга. Оскар Мацерат с юности пытался осуществить синтез музыки и мирового пространства с его историей и современностью; он, как и венский композитор, бросил вызов традиции. И если один занят в конце Первой мировой войны созданием грандиозной оратории «Лестница Иакова», то второй в свое время выстраивает метафизическую конструкцию «Барaban Иисуса Христа».

Искусство раннего Оскара Мацерата, художника-аутсайдера, отказавшегося как от сакральности тоталитарного искусства, так и от его художественных идеалов, не было идеологическим и не соответствовало политическим лозунгам эпохи, следовало эмоциям, отличалось созерцательностью и особой любовью к формалистическим изыскам, уходило от действительности в область трагической лирики и не отвечало требованиям национал-социалистических вождей.

Национально-педагогические задачи, которые возлагались на искусство в Третьем рейхе, чужды тому, кто «выламывается» из канонов и норм гитлеровской эстетики и оказывается «посторонним» в мире лакейского реализма, обслуживающего нужды победившей партии, кто по своему мироощущению близок аполитичному нигилисту-нищанцу, проповедующему «смерть богов», стоящему «по ту сторону добра и зла», находящемуся между Аполлоном и Дионисом.

Отказываясь служить партийно-политическим целям в нацистском государстве, Оскар Мацерат пробует принять участие в решении культурно-политических задач, стоявших перед немецким послевоенным искусством. Он неслучайно в этой связи упоминает имена Густава Грюнгенса и Вольфганга Борхерта, причастных к послевоенному немецкому Возрождению, к гетевскому Ренессансу, к открытию новых театральных горизонтов и перспектив. Но трагедия героя Гюнтера Грасса в том, что ему не дано создать своей звучащей системы с внутренней логикой и высочайшим напряжением, чтобы взорвать идеологию и подчиненное ей устройство жизни

и смерти, мира и войны, «поэзии и правды», потому что он делает ставку на массовую культуру.

Попытка вписаться в шоу-бизнес ФРГ в качестве «Оскара-барабанщика» закончилась катастрофой: покинутый всеми музыкант, взывающий любви, понимания, осмысленности бытия, он изменил себе, когда последовал примеру тех, кто использовал искусство в коммерческих целях. Решив «с помощью жестяного барабана превратить впечатления трехлетнего барабанщика Оскара за довоенные и военные годы в чистое, звонкое золото послевоенной поры» [Грасс 1997: 600], преуспев в материальном плане, став модным исполнителем, культовой фигурой, основоположником «оскарнизма» [Там же: 607], он перестает быть свободным художником. В результате зло — не метафизическое в образе Распутина или Сатаны, но вполне бытовое, криминальное — поглощает его без остатка.

Жизненный и творческий крах Оскара Мацерата, на наш взгляд, запрограммирован эпохой установившегося экзистенциального похмелья в послевоенной Германии. Для последыша «югендстиля» и Шенберга после 1945 г. наступает «нулевой градус» творчества, которому предшествует ироикомиическая эпопея творца, ставшего волей судеб натурщиком в Дюссельдорфской академии художеств и внутри изучившего то, что он назовет впоследствии «тупиковым направлением в искусстве» [Там же: 530].

В сценах, рисующих будни и праздники академии, преобладает тон острой сатиры гротескового характера: юные служители искусства, как и мэтры, спекулируют экзистенциальными понятиями и создают жалкие поделки в духе времени. Двусмысленно все, что делается в стенах храма искусства. Недаром студенческий карнавал носит название «срам искусства» [Там же: 509]; недаром самые талантливые среди мастеров кисти Циге и Раскольников бесчинствуют с пропорциями Оскара и Уллы, создавая свои «шедевральные произведения»; недаром художник по бетону обер-ефрейтор Ланкес, автор концепции «мистически-варварски-скупчивого», открыл себя и покупателей «целые монашеские серии» [Там же: 600]. Все они, дериваты проигранной войны, так или иначе паразитируют на ней, выражая коллективное бессознательное поверженной Германии, готовой по-детски испугаться «Черной кухарки», на чей счет и отнести коллективную вину и коллективную ответственность немцев.

При всем желании Оскара Мацерата дистанцироваться от толпы, встать над ней, быть гуру, объявить себя «преемником Христа» [Там же: 379], он не в состоянии этого сделать. Поэтому по мере взросления он теряет свой дар разрезать пением стекло, перестает быть Орфеем, Крысоловом с дудочкой или Королем-рыбаком. Мистериальное и мифологизирующее реальность сознание Оскара Мацерата эпохи «сестры Доротеи» становится окончательно бидермайеровским. Поэтому так программно звучит рефрен стихотворения «На

Атлантическом валу», чей замысел пришел к Оскару Мацерату во времена его актерства в труппе Бебры, программно и то, что главное сослагательное наклонение сменяется в заключительных строчках строф на изыскательное: «Мы к бидермайеру пришли бы» — на «Мы ж в бидермайер держим путь» [Грасс 1997: 372]. С точки зрения эстетических пристрастий того, кто «пришел к бидермайеру», этот приобретенный новый способ жизне- и мирочувствования выражается в том, что отныне герой самозабвенно разыгрывает в воображении целые фильмы в духе массовой культуры тех лет. Некогда свободный художник, аутсайдер и нонконформист, он примиряется с примитивно-реалистическим, сентиментальным, проамериканским кино — с этой ориентирующей на СМИ индустрией культуры. Так происходит на страницах романа дешифровка новой символики времени, подменяющей реальную жизнь. И это, пожалуй, в большей степени подрывает репутацию Оскара-героя, чем его причастность к гибели двух предполагаемых отцов.

Гюнтер Грасс предельно откровенен в раскрытии всех движений сознания и подсознания Оскара Мацерата. Особая исповедальная интонация устанавливается за счет того, что писатель впускает читателя в творческую мастерскую героя, создающего в специализированной клинике летопись своей жизни в контексте истории страны и народа. Автор рукописи весьма искушен в проблемах романистики 1950-х гг. и рассуждает о том, например, что «рассказ можно начать с середины и, отважно двигаясь вперед или назад, сбивать всех с толку», что «можно работать под модерниста, отвергнуть все времена и расстояния» [Там же: 31]. Еще можно, продолжает он, «в первых же строках заявить, что в наши дни вообще нельзя написать роман, после чего ... сотворить лихой триллер», что «нет больше романских героев, потому что нет больше индивидуальности...» и т. д. [Там же: 31—32].

Но вскоре он отвергнет эту литературоведческую терминологию, замешанную на экзистенциальной философии, и задастся вопросом: «...есть ли роман, способный достичь эпической широты фотоальбома?» [Там же: 66]. «Жестяной барабан», написанный в традициях фотореализма, и есть такой роман, и принадлежит он к агиографии, являясь житием святого грешника, потомка по прямой линии героев немецкой *Narrenliteratur*. Он, родственник шильдбургеров, а в большей степени пассажиров знаменитого корабля глупцов Себастиана Бранта, говорит о себе: «Денежная реформа... сделала меня шутом» [Там же: 500]. Он называет себя «шутом Оскаром» [Там же: 516], «Гамлетом, шутом» [Там же: 500], сравнивает с «шутом Парсифалем» [Там же: 516], проводит постоянные параллели между собой и Йориком, приходит на карнавал в костюме шута в духе Веласкеса, размышляет над ролью придворных шутов в жизни средневекового общества или «в угодьях господ Геббельса и Геринга» [Там же: 339]. Он, наконец, шутовски перефразирует Принца Датского, когда

произносит: «Жениться или не жениться — вот в чем вопрос» [Грасс 1997: 499], передавая в этой реплике комические метания Панурга из «Гаргантюа и Пантагрюэля» Франсуа Рабле.

В мире безумия и безумцев сходит с ума и Zeitgeist. С последним, с обезумевшим языческим духом-покровителем Германии, в пространстве романа связан, на наш взгляд, образ Ниобеи, получающей танатосовскую символику. Фигура на носу галеона, уцелевшая среди обломков судна после кораблекрушения, априорно олицетворяет оптимистическую идею неразрывности бытия, какими трагически бы ни были ему сопутствующие обстоятельства. Однако Оскар Мацерат выстраивает иную парадигму, излагая историю Зеленой Марички в жанре мартиролога.

Мир, встающий со страниц рукописи пациента клиники для душевнобольных, являет собой тотальный дадаистский коллаж, автором которого владеет экзистенциально-сюрреалистическое настроение. Когда же трагикомедия «Жестяного барабана» подходит к концу, почтенная публика хохочет над одураченным простаком, который мечтал в алхимической трансмутации синтезировать Гёте и Распутина, Аполлона и Диониса, Зальцбург и Байройт, Христа и Сатану, а пришел в конце концов к тому, что молится на банку с консервированным пальцем — и льет слезы над загубленной душой художника.

Литература

- Грасс 1997 — Грасс Г. Жестяной барабан // Грасс Г. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. Харьков, 1997.
 Днепров 1980 — Днепров В. Д. Идеи времени и формы времени. Л., 1980.

ZUSAMMENFASSUNG

Poetik der Kultur in dem Roman von G. Grass “Die Blechtrommel”

Der Artikel ist der Poetik der Kultur im Roman “Die Blechtrommel” von Günter Grass gewidmet. Das künstlerische Denken von Günter Grass ist geprägt durch eine Kulturpoetik, die in seinem intertextuellen Roman “Die Blechtrommel” anschaulich dargestellt ist. Sein expliziter Autor, Oscar Matzerath, ist vertieft in einen Dialog mit verschiedenen Kulturen und deren Spracheinheiten. Das konstituiert die Poetik des Romans, der sich genremäßig dem Typ “Kulturreoman” anschließt und in einer Reihe mit “Doktor Faustus” von Thomas Mann und “Das Glasperlenspiel” von Hermann Hesse steht.

М. С. ПОТЁМИНА

(Балтийский федеральный университет им. И. Канта)

ЛИТЕРАТУРА ГДР И ФРГ ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ

Процесс взаимной интеграции в общее литературное пространство авторов Восточной и Западной Германии, а также их протагонистов после объединения проходил достаточно непросто. Запущенный два десятилетия назад механизм воссоединения Германии на первых порах был принят немецким населением в целом одинаково восторженно, независимо от места проживания. Тогда казалось, что ничто и никто больше не сможет разделить и разлучить ощутивший первые признаки единения народ. Но эйфория продолжалась недолго. В одном из своих эссе известный немецкий писатель Гюнтер де Бройн был вынужден согласиться с тем, что объединение все еще не сплотило людей по обе стороны Берлинской стены: «у нации плохое настроение, она объединена, но не счастлива» [Vguun 1999: 8].

После первоначальной эйфории в научном сообществе наблюдалась некая растерянность, сменившаяся внутренним напряжением. В статьях литературоведов и критиков все чаще встречаются такие заголовки, как «Стресс объединения» [Schmitz 1995], «Кризис объединения» [Koska 1995], «Культурный шок Германия» [Wagner 1996]. В 1997 г. Эберхард Ротерс во время выставки «Немецкие картины. Искусство из разделенной страны» и вовсе говорит о некоей болезни под названием «немецкое объединение», спрашивает: «Что же это? Шизофрения или раздвоение личности?» — и сам же ставит диагноз данному феномену, говоря о «нации с парализованной стороной тела» [Roters 1997: 18—19].

Подобные настроения сохраняются и в начале XXI в. В частности, в 2002 г. Александр Тумфарт в своей работе «Политическая интеграция Восточной Германии» отмечает, что в немецком процессе объединения, как и прежде, сохранились «серьезные проблемы и затянувшиеся конфликты» [Thumfart 2002: 82]. Судя по всему, сбываются пророческие слова Теренса Джеймса Рида, отметившего еще в 1993 г., что, «кажется, ничто не разъединяет людей так, как объединение» [Reed 1993: 234]. Ведь большинство исследователей (Э. Брюнс, К. Вельпель, Ю. Корманн и др.) замечают, что после 1989 г. в литературном поле Германии произошло самое настоящее

«столкновение» двух литератур и двух менталитетов, которое показало, «какого мнения придерживается каждая сторона о литературе другой части страны, а именно, невысокого» [Emmerich 2009: 523].

Впрочем, первые признаки некоторых противоречий, порой непреодолимых, можно было наблюдать в литературном сообществе и раньше. Тон задавали, прежде всего, писатели, а также общественные и политические деятели, которые незамедлительно отреагировали на все сопутствующие объединению события. Так, например, Гюнтер Грасс долгое время выступал за сохранение ГДР в качестве независимого государства и за постепенное «пошаговое» сближение «культурной нации». Грасс обосновывал свою позицию примерами из немецкой истории и высказывал свои опасения по поводу возможного возникновения новой «великой Германии». Кроме этого автор критиковал западных политиков, которые, по его мнению, слишком быстро приняли решение об ускорении создания единого государства, не учитывая желания народа, форсируя тем самым «распродажу» социалистических ценностей.

Оппонентом Гюнтера Грасса в этом вопросе выступил Мартин Вальзер, который считается приверженцем быстрого и бескомпромиссного объединения. Еще задолго до политических изменений в ГДР он высказывался против самого факта разделения немецкого народа, считая, что «самоосвобождение» граждан ГДР открывает возможность объединения немецкой нации.

После падения Берлинской стены все отчетливее становилось понятно, что именно немецкой литературе критиками отводится важная роль как в процессе разделения, так и в последующем сближении восточных и западных немцев. Ссылаясь на работу Пьера Бурдые «Правила искусства. Генезис и структура литературного поля» (1992), Фолькер Ведекинг писал о некоем едином культурном поле, которое начинает формироваться в обеих частях Германии после нашумевшего «дела Бирмана» (лишения в 1976 г. гражданства ГДР известного барда Вольфа Бирмана). С одной стороны, это сближение было связано как с эстетическими новациями того времени, так и с вновь возникшим в ГДР интересом к романтической традиции, классическому модерну, прежде всего к Ф. Кафке, к «новому роману» и американской новелле позднего модерна. С другой стороны, писателей из Восточной и Западной Германии стали волновать одни и те же политические, социальные и экологические проблемы, что нашло свое отражение в дебатах, развернувшихся вокруг ядерной гонки вооружений.

Напомним, что в середине 80-х гг. усиливается общественно-политическая ангажированность писателей. Такие известные авторы, как Криста Вольф, Гюнтер Грасс, Макс Фриш и Генрих Бёлль, участвуют в акциях нового движения в защиту мира, против размещения ракетных установок в Восточной и Западной Европе. Они выступают за то, чтобы оба военных блока были ликвидированы.

Для многих писателей атомная угроза была связана с разрушением жизненных основ современной цивилизацией. Проявившиеся таким образом общие гражданско-прогрессивные тенденции стали, по мнению Ф. Ведекина, еще одним компонентом нового единства некогда разделенного Берлинской стеной народа [Wehdeking 1995].

Против сформулированной Фолькером Ведекингем объединяющей цели литературы выступил Вольфганг Эммерих, который попытался дифференцированно подойти к этой проблеме в своей новой переработке литературной истории ГДР. Исследователь выступает против стремления к единой немецкой литературе после объединения и подчеркивает, что в современной ситуации в Германии невозможно установить какую-либо абсолютную культурную или литературную модель. «Дискультурность» и различный жизненный опыт на Западе и Востоке противоречат, по его мнению, этому представлению. «Лучше всего было бы отказаться от представления о компактных, ясно определенных, институционализированных направлениях и группах в современной немецкой литературе, не говоря уже о единой немецкой литературе» [Emmerich 2009: 525].

Ирис Радиш также отмечает, что следует учитывать различные условия формирования той или иной литературной традиции, ведь литература Востока развивалась другими путями, чем литература Запада. «Они совершенно далеки друг от друга... два направления литературы, которые не имеют ничего общего между собой... Восток — трагичный, Запад — веселый. Восток опирается на метафизические традиции немецкой духовной истории, Запад — на американскую прагматичность. На Востоке маршируют солдаты по театрам, а на Западе девицы в платье от “Версаче” по торговым центрам. На Востоке наблюдаются душераздирающие конфликты, печальные судьбы, глубокие чувства, на Западе — вечеринки, уход в себя» [Radisch 1997: 56]. Вольфганг Хильбиг, в свою очередь, в торжественной речи также хвалит Восток за независимое мышление и способность к противостоянию, чего не хватает Западу.

Впрочем, уже в 2000-м Фолькер Ведекинг и сам говорит о некой смене менталитетов, нашедшей свое отражение в литературе, фильмах и изобразительном искусстве Германии после 1990 г. Судя по наблюдениям авторов изданного Ф. Ведекингем сборника «Смена менталитетов в немецкой литературе Объединения (1990—2000)», в литературе все чаще прослеживается *скептическое* отношение к возможности скорого слияния Восточной и Западной Германии в единый конгломерат. Культурное и ментальное поле представляется Ф. Ведекингем в образе спирали «метахронности» между «старыми» и «новыми» федеральными землями [Wehdeking 2000: 8]. Автор подчеркивает, что, говоря о возможной смене менталитетов у писателей объединенной Германии и их протагонистов, всегда следует учитывать заключенную в понятии «метахронность» идею разновре-

менности прохождения определенных социально-культурных процессов в разных частях страны.

Данную идею поддержал и Хельмут Бёттигер. Он отметил, что после объединения столкнулись два мира, которые до этого не имели друг с другом практически ничего общего. По мнению критика, в то время как в ГДР «зарождался собственный вариант модерна, на Западе он уже давно был отброшен в сторону» [Böttiger 2004: 11]. Такие авторы, как Вольфганг Хильбиг и Райнхард Йиргль, являются представителями специфического «ост-модерна», в котором противостояние индивидуума и общества было в крайней степени эстетически обострено. В их романах вырабатывается «я», которое вынуждено существовать в ситуации фундаментальных противоречий окружающей его действительности.

Предположение, что политические изменения должны отразиться в новой эстетике или инновативных литературных проектах, приписывает литературе прямую зависимость от современной истории. Однако не только ГДР потеряла свою идентичность, но и в ФРГ идентичность после объединения стала определяться по-новому. Оба государства становятся теперь предметом «реконструкции по памяти». «На Западе ничего нового, на Востоке только старое» [Brüns 2006: 13] — вот лейтмотив большинства научных трудов этого периода. Так, например, по Вильфриду Барнеру, литература хотя и отреагировала на изменившиеся обстоятельства, но не произвела «никаких инновационных литературных прорывов» [Barner 1994: 936].

Общее настроение на литературном рынке описано в романе В. Хильбига «Временное пристанище» [Хильбиг 2004]. Главный герой книги — восточный писатель Ц., — получив стипендию, оказывается на Западе. Герой с ужасом осознаёт, что существует непреодолимая граница между вчера и сейчас, восприятием окружающего мира и непреложных законов жизни в ГДР и ФРГ. Он замечает, что «некоторые книги на Востоке берег как зеницу ока. На Западе он все эти книги купил заново, но там они легли мертвым грузом» [Там же: 174]. То, что в ГДР казалось важным и монументальным, в Западной Германии становится предметом купли-продажи, маркетинговой стратегии. В то время как в ГДР еще ощущаются и перерабатываются ужасы XX в. — холокост и ГУЛАГ, на Западе во главу угла ставятся “Shoppinig u Fun” [Там же: 124, 210]. Возможно, именно по этой причине внезапно обнаружившаяся на вокзале книжная лавка имени Генриха Гейне воспринимается героем «атомным реактором литературы, взорвись она — и силой человеческого духа глобус, как жетя, пробуравит до земного ядра» [Там же: 184].

Герой В. Хильбига вовсе не идеализирует ГДР. По его мнению, «ГДР — это нелепый отсталый анклав, где литература на самом-то деле мало что значит; ажиотаж вокруг литературы в странах Восточного блока — надуманное представление <...> но, как бы то ни

было, там он писал, волнами ажиотажа и его выносило к читателям» [Хильбиг 2004: 58].

На Западе же, считает герой, «литература катится под гору, это самоочевидно. Литература, которая отказывается служить развлечению, карается на рынке отсутствием внимания» [Там же: 58], недаром на этом рынке задействованы все рычаги для увеселения публики: чем успешнее развлечение — тем лучше оно продается. Почти каждую неделю Ц. узнавал из газет, читаемых для развлечения, что-нибудь о конце литературы. Герой понимает, что до сих пор он не относился к этому серьезно, «пребывая в центре ажиотажа, трудно почувствовать приближение конца. Пока не сообразил, что литературная жизнь потому так и суетится, что надобно затушевать конец. Не иначе я накрепко сжился с этим самым концом литературы, у меня вообще все разладилось» [Там же], — размышляет герой. «Конец литературы» ощущается и на Востоке. На последней Лейпцигской ярмарке, где герой побывал — последней ярмарке времен ГДР, в год воссоединения, — «его затрясло внутри от омерзения, и он убежал отсюда; писания журналистов, профессиональных диссидентов и жертв прославлялись и производили фурор, книги настоящих писателей не воровали больше со стендов, они одиноко и глупо глазели с полок на бывших своих читателей» [Там же: 251]. Герой понимает, что «нет ему места в литературном сообществе, где все сводится к одобрению <...> времена критицизма в литературе прошли, миновали модным поветрием — бурным красноречием до кончика бороды. И, видно, пришло ему время сидеть и стареть вместе с этими бородами» [Там же: 59]. Так же, как и общественная жизнь, скатывающаяся в бездну без каких бы то ни было границ и ограничений, так и литературное сообщество, по мнению героя В. Хильбига, находится на грани катастрофы. Отвращение у писателя Ц. вызывает ажиотаж вокруг литературы Восточного блока, особенно одобрение, каким «его награждают за нападки на систему и тамошний режим <...>» [Там же: 59].

На Западе «конец литературы» [Там же: 59] ознаменован и тем, что все в этой сфере направлено исключительно на увеселение публики. Эта вакханалия является предвестником конца, словно «на гульбище сзывают мертвецов». Неудивительно, что Ц. ощущает себя здесь словно в клетке. Впрочем, и ГДР представляется Ц. в образе замкнутого пространства. Ведь «если дверца клетки захлопнется, то обратно уже не выпустят» [Там же: 26]. Выбраться из этого ограниченного пространства, заполненного мертвецами, возможно лишь самому став таковым. «Я останусь один с моим прошлым, думал он, и с моим несказуемым страхом <...>. Из своего страха я сделаю что-то вроде шоу, прошлым буду обладать, затем, чтобы быть забавным» [Там же: 125]

С тех пор как он приехал на Запад, Ц. почти не интересовался новостями. Хитростью «соцблока» он считал то, что в ГДР считал

себя в курсе последних событий, до отвала насыщаясь газетными и телевизионными репортажами, читая даже между строк речи председателей, «теперь все опрокинулось кверху дном, он уже ничего не знал ни про политику, ни про спорт» [Хильбиг 2004: 59]. Здесь, на Западе, «иллюзии разбивались одна за другой, и он замечал, что заполнять возникшие дыры не так-то просто. Замены не появлялось» [Там же: 54]. Переломным моментом в отношении получения информации на Западе для героя стали события в Чернобыле. «Чернобыль привел к тому, что он снова стал покупать газеты» [Там же: 55]. В этом контексте новое значение для него получает и понятие «свободы прессы», которую защищали как на Востоке, так и на Западе. Сегодня он лицезрел последствия этой свободы [Там же: 56]. Отсутствие каких-либо ограничений приводит к тому, что свобода прессы «докатилась до свободы любую вещь, все равно, какого рода, обрабатывать до тех пор, пока вещь эта не приобретет товарный вид... Любые факты и не-факты (все, что можно хоть как-то продемонстрировать или облечь в слова) должны продаваться, а для этого все знаки и образы хороши. Если после такой обработки остается хоть какая-то доля ценности и правды, то не благодаря основам демократии, а лишь по случайности» [Там же]. Герой чувствует себя жестоко разочарованным. Теперь он читает не для информации, а для развлечения. И «все реже его охватывал ужас по поводу того, что он читает кошмарные репортажи с тем, чтобы отвлечься» [Там же].

«Наверное, это шаг на пути превращения в “бундеса”», — думал он. Книжки слишком сложны и не дают рассеяться. Вот мы и читаем газеты, в которых пестрым пестро» [Там же: 59]

Западная Германия действительно к этому времени превращается в страну, в которой телевидение постепенно вытесняет литературу. Целое поколение, выросшее за просмотром телепередач, переносит свой жизненный опыт и в сферу «книготорговли» и книготорговли. Восприятие и способ переработки информации также меняются. В литературе находят отражение клиповость сознания, синхронное, а не линейное восприятие действительности. Такой подход позволяет создать новые, необычные по своей форме, тексты, которые оперативно реагируют на все актуальные культурные тенденции. Тем не менее гражданское самосознание практически исчезает со страниц западных книг. Хельмут Бёттигер так говорит о манере письма современных авторов на Западе: «центр пуст, а по краям можно наблюдать какие-то хаотичные, жизнерадостные, энергичные движения» [Böttiger 2004: 12]. «Я» западного протагониста неожиданно обнаруживает себя в вакууме и пустоте. Даже в пронизанных ритмом музыкальных дискурсах (например, «поп-литература») берет верх анархическая субъективность.

По мнению Хельмута Бёттигера, этот период современной литературы можно назвать новой нулевой точкой отсчета. Несмотря на то что современная литература кажется многообразной, вскоре, по

мнению критика, не будет иметь значения, где в свое время родился или жил тот или иной писатель, в Восточной или Западной Германии, однако в отношениях «я» рассказчика и общества наверняка будут расставлены новые акценты.

Интеграция ГДР и ФРГ в новое общее пространство часто представляется писателями в образе метафорического «брака». При этом ГДР и ФРГ представляются в образах «культивированных западных мужчин» и восточных дикаров, союзом цивилизации и архаики. При этом спустя 25 лет со «свадьбы» Востока и Запада этот брак представляется сложным. «Тяжелый брак» — под этим названием в 2009 г. вышла монография Алисон Левис [Lewis 2009]. Однако, несмотря на доминирующий в литературе мотив расставания и развода, некоторые авторы (Барбара Зихтерман в «Вики Виктори», 1997; Карен Дуве в «Романе дождя», 1999; Александр Осанг в «Новостях», 2002) описывают и возможный happy end, новый виток в отношениях. «Брак» — метафорически очень точный диагноз происходящему. Время покажет, каким он оказался, этот немецко-немецкий союз Востока и Запада.

Литература

- Хильбиг 2004 — *Хильбиг В.* Временное пристанище. СПб.: Азбука-классика, 2004.
- Barner 1994 — *Barner W.* Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. München, 1994.
- Böttiger 2004 — *Böttiger H.* Nach den Utopien. Eine Geschichte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Wien, 2004.
- Brüns 2006 — *Brüns E.* Nach dem Mauerfall. Eine Literaturgeschichte der Entgrenzung. München, 2006.
- Bruyn 1999 — *Bruyn de G.* Deutsche Zustände. Über Erinnerungen und Tatsachen, Heimat und Literatur. Frankfurt a. M., 1999.
- Emmerich 2009 — *Emmerich W.* Kleine Literaturgeschichte der DDR. 4. Auflage. Berlin, 2009.
- Kocka 1995 — *Kocka J.* Vereinigungskrise. Zur Geschichte der Gegenwart. Göttingen, 1995.
- Lewis 2009 — *Lewis A.* Eine Schwierige Ehe. Liebe, Geschlecht und die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung im Spiegel der Literatur. Freiburg i. Br., Berlin; Wien, 2009.
- Radisch 1997 — *Radisch I.* Der Herbst des Quatschocento // Die Zeit. 17.10.1997. No. 43.
- Reed 1993 — *Reed T. J.* Another Piece of the Past // 1870/71—1989/90 German Unifications and the Change of Literary Discourse / Hg. v. W. Pape. Berlin; New York, 1993. S. 233—250.
- Roters 1997 — *Roters E.* “Die Spannweite der Konflikte” // Deutschlandbilder: Kunst aus einem geteilten Land. 1997.

- Schmitz 1995 — *Schmitz M.* Wendestress. Die psychosozialen Kosten der deutschen Einheit. Berlin, 1995.
- Thumfart 2002 — *Thumfart A.* Die politische Integration Deutschlands. Frankfurt a. M., 2002.
- Wagner 1996 — *Wagner W.* Kulturschock Deutschland. Hamburg, 1996.
- Wehdekin 1995 — *Wehdekin V.* Die deutsche Einheit und die Schriftsteller. Literarische Verarbeitung der Wende, seit 1989. Stuttgart, 1995.
- Wehdekin 2000 — *Wehdekin V. (Hg.).* Mentalitätswandel in der deutschen Literatur zur Einheit (1990—2000). Berlin, 2000.

ZUSAMMENFASSUNG

DDR und BRD-Literatur nach der Wiedervereinigung. Eine Integrationserfahrung

Im Beitrag wird der Verlauf des Integrationsprozesses von ost- und westdeutschen Autoren und ihrer Protagonisten in das gemeinsame literarische Feld nach der Wiedervereinigung untersucht. Im Rahmen der innendeutschen Annäherung wird der Literatur die Rolle eines Wegweisers zugeschrieben, der die vorhandenen Stereotypen und Vorurteile über DDR und BRD gegenseitig abbauen helfen soll. Am Beispiel des Romans "Provisorium" von Wolfgang Hilbig soll gezeigt werden, wie das soziokulturelle Phänomen "Wiedervereinigung" sich in der Literatur und im Literaturbetrieb widerspiegelt und auf welche Art und Weise ein Dialog zwischen der traditionellen "Nationalkultur" und dem neuen kulturellen Konglomerat entsteht.

Е. В. СОКОЛОВА

(Институт научной информации по общественным наукам)

**ДИСКУРС ТРАВМЫ
В ЛИТЕРАТУРЕ ГЕРМАНИИ 2010-Х ГОДОВ:
(П. ШНАЙДЕР И П. ЛЕО)**

Исследователи разных областей культуры в последнее время все чаще рассматривают историю человечества как широко разветвленную сеть травматических событий — индивидуальной и социальной истории (С. Caruth, Sh. Felman, J. и A. Assmann и др.). XX век, чрезвычайно богатый на «центральные нервные узлы» такой глобальной сети (где одно из плотных «скоплений» связано с преступлениями национал-социализма), способствовал всестороннему изучению воздействия травматического опыта не только на отдельного человека, но и на общества в целом. В столкновении с реалиями новейшей истории в 1990-е гг. оформилась междисциплинарная область знания — на стыке философии, истории, социологии и психоанализа, называемая “trauma studies” [Мороз, Суверина 2014], в фокусе которой — изучение воздействия коллективной травмы на социальный организм, а одним из источников «клинического материала» для нее служит содержание культуры «травмированного» социума.

С этих позиций естественным представляется ощущаемое в гуманитарных науках стремление применять к литературному материалу подходы, понимающие явления литературы и культуры как проявления «коллективного бессознательного» того или иного социума [Eschel 2013; Fletcher 2013], экстраполирующие выводы З. Фрейда об индивидуальной психической деятельности по компенсации травмы на феномены социокультурного порядка [Фрейд 2009; 2015].

Поскольку «травмой может оказаться любое событие, произошедшее на мгновение раньше, чем это необходимо для того, чтобы стать частью нашего полноценного опыта» [Карут 2009: 574], общей для всех подобных феноменов становится «символическая недостаточность»: «невозможность изложения истории того, что произошло, разрыв пережитого и его понимания», отсюда «молчание свидетеля, которое до сих пор ставит trauma studies под угрозу делегитимации» [Мороз, Суверина 2014]. Травматическое событие всегда окружено «сферой молчания» — говорить о нем невозможно.

Подобно тому как воздействие травмы на индивидуальную психику приводит к посттравматическому расстройству (проявляющемуся описанным клиницистами набором симптомов), коллективная травма оказывает «повреждающее» воздействие на общество в целом — и в таком случае уже общество выступает в качестве «больного», демонстрирует «клиническую картину» и нуждается в исцелении.

В начале 1990-х гг. возник термин «историческая травма» (С. Cauth, Sh. Felmann); был разработан ряд определений и характеристик, позволяющий говорить о травме как о событии культурной и исторической реальности. Чтобы ее преодолеть, необходимо заново взглянуть на особенности национальной истории и способы самоидентификации, считает Ш. Фелман [Felmann 1991]. Многочисленные и многообразные примеры подобного переосмысления предлагает немецкоязычная литература после 1945 г.

Три поколения послевоенных немецких писателей демонстрируют в целом принципиально различные стратегии художественной реконструкции прошлого [Agazzi 2005; Assmann 2006]. В самых общих чертах опыт авторов «поколения участников войны» можно назвать невыразимым: они «буквально задохнулись от молчания» [Herwig 2013: 218]. Подобные «шоковые реакции», по наблюдениям психологов, типичны и для первой фазы реагирования индивидуума на стресс — «фазы психологического шока». Второе поколение, «поколение детей» (оно же, в целом, поколение 1968 г.), и в литературном творчестве сосредоточилось преимущественно на жесткой и эмоциональной (отвергающей) критике образа действий предыдущего поколения. Выраженная эмоциональная реакция на травмирующее событие и его последствия в первом приближении соответствуют второй фазе реакции индивидуума на стресс — «фазе воздействия». У писателей третьего поколения, «внуков», с одной стороны, «аналитическая доминанта» вытесняет эмоциональную — о чем свидетельствуют, например, активизация работы с документами при избегании свидетельств очевидцев [Agazzi 2005] или близкие авторам этого поколения мысленные эксперименты и тексты альтернативной истории (Марсель Байер, Кристоф Рансмайр); с другой стороны — усиливается апатия, отчужденность от других людей, неспособность любить и испытывать эмоции, выражаемые представителями «Нового рассказывания» второй половины 1990-х годов (Юдит Герман, Зое Йенни, Инго Шульце и др.). Эти особенности могут интерпретироваться как реакции «избегания» при травматическом неврозе и одновременно как проявления усталости от нее, эмоционального истощения.

Художественные тексты самого последнего времени дают основания полагать, что работа с травматическим опытом истории Германии XX в. переходит на новый уровень. «Преодоление прошлого», подразумевающее борьбу с собственной историей как внутри «коллективного бессознательного» (вытеснение, подавление, отри-

цание), так и «снаружи», в реальности (сокрытие, умалчивание, искажение), привело к обнаружению под «коллективной виной» также и «коллективной травмы», которая нуждается в исцелении. Но поскольку исцеление отторгаемого / не признаваемого невозможно, назрела необходимость принятия — «освоения» — всего травматического содержания «коллективного бессознательного» с последующим преобразованием не признаваемого / отвергаемого («чужого») в признанное / познанное («свое»). Возвращаясь к метафоре из области психологии, можно говорить о переходе к третьей фазе реакции на травматический стресс, «фазе нормального реагирования», в норме рано или поздно приходящей на смену фазам «психологического шока» и «воздействия» [Пушкарев 2000].

Если для авторов второй половины 1990-х гг. в целом характерен еще отстраненный, отчуждающий подход к «проблеме прошлого» — в их творчестве распространены такие симптомы «избегания», как сдвиг перспективы в сторону наблюдения за «насекомыми», «пограничный персонаж», «странные обстоятельства»¹, — то примерно с середины 2000-х гг. исследователи отмечают превосходящий ожидания рост количества «бесхитростных» романов-воспоминаний [Assmann 2006: 204] и «семейных историй», написанных от лица представителей третьего поколения [Rutka 2013: 247]. В них реализуется более гибкое перемещение перспективы от автора к персонажам (его старшим родственникам, участникам и свидетелям травматических событий), способствующее «преодолению асимметрий немецкой памяти» [Assmann 2006: 189] за счет глубокой проработки содержаний памяти семейной. В повествование от лица третьего поколения интегрируется также отвергающая позиция второго поколения — преимущественно в виде освобожденного от эмоций «сухого» (фактографического, информационного) остатка.

Эта тенденция может быть проиллюстрирована на материале романов Петера Шнайдера (р. 1940) «Возлюбленные моей матери» [Schneider 2013] и Пера Лео (р. 1972) «Вода и почва» [Leo 2014].

«Возлюбленные моей матери» — о последних двух годах Второй мировой войны и первых послевоенных месяцах в Германии. В центре «Воды и почвы» — национал-социализм в Германии не просто как исторический период, но и как комплекс идей и представлений со своими историко-философскими предпосылками и следствиями. Но сближают между собой эти два текста даже не тематические и интонационные переключки, а, прежде всего, подход обоих авторов к материалу — их подчеркнуто «личные» отношения с ним.

По жанру оба текста — романы. «Вода и почва» имеет и соответствующий «жанровый» подзаголовок: «Roman einer Familie» («Роман

¹ Как, например, в романах Марселя Байера «Летучие собаки» (“Flughunde”, 1995), Кристофа Рансмайра «Болезнь Китахары» (“Morbus Kitahara”, 1995), Катаринины Хакер «Смотритель бассейна» (“Badermeister”, 2000).

одного семейства»). Романная коллизия «Возлюбленных моей матери» вполне традиционна — на фоне катаклизмов «большой» истории разворачивается «частная» трагическая история жизни и любви.

Оба текста обладают и признаками автобиографии. Имя автора на обложке совпадает с именем того из персонажей, от лица которого ведется повествование. Факты биографии автора и повествователя, насколько можно судить по открытой информации, в обоих случаях совпадают. П. Шнайдер называет героиню своей матерью. П. Лео также указывает степень родства своих персонажей с ним самим (повествователем), а сюжетный центр его текста образует история деда писателя, Фридриха Лео, бывшего штурмбанфюрера СС. Повествование и преподносится в обоих случаях как (авто)биографическое — основанное на воспоминаниях, семейных документах, свидетельствах, — хотя и выходит за рамки жизни повествователя.

Раздвижение пространственно-временных рамок, естественных для автобиографического романа и связанных с временем и пространством жизни рассказчика, в обоих случаях происходит с опорой на традицию *семейного романа*², которая открывает возможность наряду с событиями собственной жизни включать в нарратив восстановленные (по воспоминаниям, документам, свидетельствам) истории жизни предков. Через родных и близких события прошлого, отстоящие от повествователей на десятилетия и не входящие в сферу их собственных воспоминаний, попадают в зону их личной заинтересованности и ответственности. Типичное для текстов 1990-х годов «отчуждение» снимается: через близких авторам персонажей описываемое переживается как «свое».

На примерах судеб своих предков в нескольких поколениях П. Лео исследует, каким образом в массовом сознании немцев на протяжении второй половины XIX и первой половины XX в. вы-

² Следование жанровым конвенциям семейного романа в «Воды и почвы» намеренно подчеркивается через многоплановый параллелизм с «Будденброками» Т. Манна. Как и Т. Манн, Лео «накрывает» семейной историей критический период в истории страны на стыке эпох. В каком-то смысле он начинает свое повествование там, где заканчивает его Т. Манн: «картинка» жизни семьи Лео впервые отчетливо фокусируется как раз на закате бюргерской эпохи. Дом богатого бюргерского семейства судостроителей Ланге (семейный дом матери Фридриха Лео) чрезвычайно напоминает тот «старинный дом на Менгштрассе, приобретенный главой фирмы “Иоганн Будденброк”, куда совсем недавно переехало его семейство» [Манн 1987: 6]. Причем родители Фридриха (всего у них, как и у Будденброков, четверо детей) нанимают верхний этаж у вдовой бабушки Ланге, точно так же, как консул Будденброк с женой и детьми, в свое время «вносили положенную плату за третий этаж» [Там же: 14] престарелым Будденброкам, бабушке и дедушке Томаса и Антонии. Подробное сопоставление «Воды и почвы» с «Будденброками» заслуживает отдельного рассмотрения: складывается впечатление, что система параллелей / отсылок к Томасу Манну в романе Лео дает пример превращения художественно-исторического совпадения в литературный прием.

зревал идейный комплекс, приведший ко Второй мировой войне и холокосту. Опорным персонажем ему служит собственный дед, Фридрих Лео, служивший в расовом ведомстве СС, а питательной средой, взрастившей из бытового антисемитизма холокост, предстанет образованное бюргерство рубежа XIX—XX вв., к потомкам которого принадлежит сам писатель.

Если Лео меряет прошлое «библейскими» парами «отец — сын», накрывая его сетью таких пар в глубь почти на два века, то Шнайдер отдает предпочтение «перекрестным» парам: за ключевой для него парой «мать — сын» маячит другая: «отец — дочь» (мать автора и ее отец). При этом — так же, как, например, у И. Бахман, Э. Елинек, У. Видмера, — проводится параллель между инфантильностью дочери авторитарного сухого отца и инфантильностью общества, приведшего к власти национал-социалистов.

П. Шнайдер отказывается от позиции «всеведущего», даже просто «компетентного», рассказчика, способного объяснять мотивы переживаний и поступков персонажей. Ощущение невозможности слишком определенных суждений, когда речь идет о «травматической истории» любви собственной матери и собственной страны, заставляет его искать другую позицию. Остро чувствуя, что моральное право говорить о преступлении есть только у жертвы, он решает на признание рассказываемой истории «своей», превращая себя в одну из вовлеченных (и пострадавших) сторон, и тем самым возвращает себе право на высказывание. При этом он сам освобождается от гнета прошлого, пытается исцелить травму собственной души.

Разрешающий, освобождающий аспект «говорения о своем» присутствует и у П. Лео. Побудительным мотивом к написанию романа (как и диссертации об историко-философских корнях антисемитизма [Leo 2013]) стал для писателя шок, испытанный в девятнадцатилетнем возрасте от осознания того, что его родной дед был «настоящим» нацистом. Проклятие «внук нациста» необходимо было снять, чтобы вернуть самоощущение «полноценного человека» [Wittmann 2014]. Терапевтические беседы с социальными работниками (службы психологической поддержки студентов) не помогли, и тогда Лео погрузился в изучение истории своей семьи и своей страны, и в результате многолетней кропотливой работы увидел, что две истории, «семейная» и «общая», отражают друг друга как зеркала, поставленные друг против друга [Leo 2014].

По сравнению с традиционным автобиографическим романом роль повествователя в обоих романах также расширяется и соединяет в себе разные аспекты. Отдельные фрагменты перспективы стягиваются вместе и принимаются на себя автором-рассказчиком-персонажем, который преподносит более или менее целостную, хотя и подчеркнута субъективную картину описываемого.

К привычным ракурсам «носителя воспоминаний», «участника событий», «занимательного рассказчика» и «носителя смысла» добав-

ляются новые. Не просто персонаж, но сын, внук, племянник своих персонажей; не просто повествователь — но и носитель / создатель «метатекста», рефлексующий над «проживаемым» описываемым. На себя принимается также роль «сыщика», расследующего обстоятельства жизни родных³. При этом, в зависимости от характера и избираемых методов, повествователь становится «реконструктором прошлого», ставящим «следственный эксперимент» (П. Шнайдер), или же «кабинетным ученым», эдаким Ниро Вулфом, не покидающим своего кабинета (П. Лео), который работает преимущественно с документами и в этой работе прибегает к услугам «эксперта широкого профиля» (в роли которого сам же и выступает), когда требуется изучить рукопись как артефакт (в духе Шерлока Холмса) или подвергнуть текст графологической, психологической, литературоведческой или исторической экспертизам.

Автор-«метарассказчик» насыщает текст всевозможными отступлениями лирического, исторического, психологического и философского характера. Его голос звучит (голоса звучат) там, где в традиционном семейном романе читатель ожидал бы услышать «голос всеведущего автора». В отличие от последнего П. Лео, например, всегда «раскрывает карты»: источники, ход рассуждений, выводы — читатель может воспроизвести всю цепочку самостоятельно (или, по крайней мере, у него создается такое впечатление).

Парадоксальным образом фактическая сторона жизни многих людей, к которой оба писателя относятся чрезвычайно бережно, ничуть не мешает им реализовывать художественный замысел. Наоборот, материал будто идет им навстречу.

В романе П. Лео, охватывающем более длительный исторический промежуток, складывается даже впечатление, что фактический план «самоорганизуется», выстраиваясь вокруг повествователя «концентрическими кругами» (поколений), покрывающими историю страны на протяжении всего XX в. с «заходами» в XIX и XXI вв. Самый сложный для автора «круг» — первый: отец, дяди и тетки — дети оберштурмбанфюрера СС Фридриха Лео, которых он хорошо знает (или знал) лично, с которыми его связывают собственные отношения. Некоторые живы до сих пор, и отныне им придется жить «персонажами романа».

Однако метод «освоения прошлого», применяемый писателем — через уважительное заинтересованное наблюдение близкого с разных сторон, ведущий в обход ярлыков и стереотипных суждений, — создает ощущение, что ни один из «персонажей» не должен чувствовать себя задетым. В том же направлении работает и «регулируемая дистанция» к рассказываемому: «регулирование» осуществляется, например, через особую «стратегию именованья».

³ Об этой новой роли в автобиографических текстах подробно пишет Н. В. Киреева на материале англоязычной литературы [Киреева 2013].

Если «более дальние» — дед и его братья, а также их отец, деды и прадеды — названы в романе Лео по именам, то имен отца, родных и двоюродных дядей и тетей, родной сестры и кузенов повествователя мы так и не узнаем. Двоюродные дяди и кузены обозначены инициалами (как это и принято в автобиографических текстах), а вот для отца и его родных сестер-братьев вводятся необычные обозначения, соединяющие пол (W/M) и год рождения: девочки W36, W38 и еще одна, не названная никак, и мальчики M41, M42, M44. Дети Фридриха Лео, представители «второго поколения» и ближайшие родственники автора фигурируют только под этими обозначениями, что сразу же создает сильный эффект отчуждения.

Автор не объясняет, почему прибегает к подобным обозначениям, но текст подсказывает возможные объяснения. Тем самым неявно подчеркивается, что перед нами все-таки «объекты исследования» (намеренное увеличение дистанции), и только потом — близкие люди. Помимо этого косвенным образом утверждается аллюзия «человек = путь» (естественная для философского мировоззрения автора): неслучайно рассказчик начинает повествование с описания своей поездки по дороге A27 к семейному дому Ланге, где живут бабушка Лео и ее старший сын M41. И наконец, формируется ассоциация с каталогами расового ведомства СС: так могли помечаться фотографии представителей различных расовых типов, и Фридрих Лео, привыкший иметь дело с подобными обозначениями, вольно или невольно называл так (или обозначал про себя) собственных детей. Это косвенно подтверждают и семейные прозвища сыновей, которые мы узнаем значительно позднее: Einsli (M41), Zweili (M42) и Vierli (M44).

То, что отцом повествователя является M42, выясняется далеко не сразу. Долгое время он просто один из детей бывшего оберштурмбанфюрера СС Фридриха Лео. Иными словами, самый важный для автора персонаж вводится на максимально возможном удалении. И лишь постепенно, следуя логике повествования, Пер Лео решается приблизить его настолько, что становится очевидно: этот человек играл (и продолжает играть) в его жизни очень важную роль. Имя появится вновь лишь у малолетней дочери автора, Хелены. Она выведена в романе единственный раз, в самом конце, но именно она дарит автору изящную «разрешающую» концовку.

Удивительная «дружественность» фактов по отношению к повествователю в этом романе находит свое если не объяснение, то, по крайней мере, обоснование в том подходе к «изучению жизни» и истории, которому следует писатель. Пер Лео честно «переживает» материал, который жизнь предлагает ему, одновременно наблюдая, чувствуя и пытаясь понять его. Он следует за теми взаимосвязями и движениями фактов, которые открываются ему в процессе заинтересованного постижения, с готовностью направляя свое внимание туда, откуда тянется или куда ведет очередная выделенная

нить. Даже самое странное и страшное он познает как «свое», имеющее к нему непосредственное отношение. В тексте Пер Лео возводит такой подход к теории познания Гёте и приписывает своему «положительному» персонажу — брату Фридриха Лео, Мартину, ученому-химику и убежденному гётеанцу, далекому от национал-социалистического энтузиазма [Лео 2014: 109—111]. Главное — сохранять равновесие, ибо подлинное познание, если верить Перу и Мартину Лео, осуществимо лишь в соединении наблюдения и чувства, причем ни то, ни другое не должно доминировать.

Литература

- Карут 2009 — *Карут К.* Травма, время и история / Пер. с англ. Е. Трубиной // Травма: пункты / Под ред. С. Ушакина, Е. Трубиной. М., 2009. С. 561—581.
- Киреева 2013 — *Киреева Н. В.* Постмодернистская литература США: Особенности жанровой поэтики. Благовещенск, 2013.
- Манн 1987 — *Манн Т.* Будденброки / Пер. с нем. Н. Ман. Фрунзе, 1987.
- Мороз, Суверина 2014 — *Мороз О., Суверина Е.* Trauma studies: История, репрезентация, свидетель // НЛО. №1 (125). 2014. [Электронный адрес]: <http://www.nlobooks.ru/node/4502>.
- Пушкарев 2000 — *Пушкарев А. Л.* Посттравматическое стрессовое расстройство: диагностика, психофармакотерапия, психотерапия. М., 2000.
- Фрейд 2009 — *Фрейд З.* По ту сторону принципа удовольствия. Психология масс и анализ человеческого «Я» / Пер. с нем. Харьков, 2009.
- Фрейд 2015 — *Фрейд З.* Человек по имени Моисей / Пер. с нем. М., 2015.
- Agazzi 2005 — *Agazzi E.* Erinnernte und rekonstruierte Geschichte. Drei Generationen deutscher Schriftsteller und die Fragen der Vergangenheit. Göttingen, 2005.
- Assmann 2006 — *Assmann A.* Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München, 2006.
- Eshel 2013 — *Eshel A.* Futurity: Contemporary literature and the quest for the past. Chicago, 2013.
- Felman 1991 — *Felman Sh.* In an Era of Testimony: Claude Lanzmann's Shoah // Yale French Studies. No 79. (1991). P. 39—81. Mode of access: <http://www.jstor.org/stable/2930246>.
- Fletcher 2013 — *Fletcher J.* Freud and the scene of trauma. Oxford, 2013.
- Herwig 2013 — *Herwig M.* Die Flakhelfer. München, 2013.
- Leo 2013 — *Leo P.* Der Wille zum Wesen. Weltanschauungskultur, charakterologisches Denken und Judenfeindschaft in Deutschland 1890—1940. Berlin, 2013.

- Leo 2014 — *Leo P.* Flut und Boden. Stuttgart, 2014.
- Rutka 2014 — *Rutka A.* Literatur und Historiographie: “Saubere Wehrmacht” — literarische Konstruktion und Dekonstruktion des Mythos // Sprache. Literatur. Erkenntnis / Hg. v. W. Hackl, K. Kupczynska, W. Wiesmüller. Wien, 2014. S. 342—351.
- Schneider 2013 — *Schneider P.* Die Lieben meiner Mutter. Köln, 2013.
- Wittmann 2014 — *Wittmann H.* Nachgefragt: Per Leo, Flut und Boden. Aufgezeichnet von Heiner Wittmann für den Blog von Klett-Cotta blog.klett-cotta.de // www.youtube.com. 12.05.2014; Mode of access: <https://www.youtube.com/watch?v=04T-pVcmP3s>

ZUSAMMENFASSUNG

Der Trauma-Diskurs in der Literatur Deutschlands seit 2010 (Peter Schneider und Per Leo)

Im Lichte von Trauma-Studien wird hier die Tendenz der letzten Jahre behandelt, die Grundsätze der literarischen Verarbeitung der Vergangenheit zu verändern. Am Beispiel der Romane von Peter Schneider (“Die Lieben meiner Mutter”, 2013) und Per Leo (“Flut und Boden”, 2014) wird gezeigt, dass die “erweiterte autobiographische Form” neue Möglichkeiten der Aktualisierung des “kulturellen Gedächtnisses” durch literarische Umdeutung des “sozialen Gedächtnisses” einer Familie bietet.

ЛИНГВИСТИКА

Р. С. АЛИКАЕВ

(Кабардино-Балкарский государственный университет)

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕЙ ЛИНГВОФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЯЗЫКА В РАННЕМ НЕМЕЦКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ (сравнительный аспект)

Размышления о родном языке в Германии на протяжении всей второй половины XVII в. тесно связаны с проблемами развития немецкого общества, культуры и нации, сам же язык, по мнению немецкого лингвиста Й. Дюннингера, остается самой злободневной темой обсуждения в различных слоях общества (*das große Thema des XVII. Jahrhunderts aber heißt "Sprache"*) [Dünninger 1957: 104]. Актуальными проблемы языка остаются и на протяжении всего XVIII столетия.

Особый импульс размышлениям о языке в направлении описания его состояния и оценки его функциональных возможностей, путей его обогащения и унификации придают представители раннего немецкого Просвещения Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716), Христиан Томазиус (1655—1728) и Христиан фон Вольф (1679—1754). Именно с их именами связана попытка системного оформления лингвофилософской концепции языка в эпоху раннего Просвещения, отражающей его структурно-содержательные особенности, общественное назначение и функциональные возможности, а также пути внедрения родного языка во все сферы жизнедеятельности немецкого общества и стратегии унификации и нормирования языка.

Необходимо отметить, что лингвофилософская концепция языка в трудах названных представителей раннего немецкого Просвещения оформляется в виде критики языка как особой формы выражения языкового сознания, превращаясь в конечном итоге в своего рода теорию языка, хотя, как известно, она как университетская дисциплина еще не состоялась. Критика языка и наука о языке не противопоставлены друг другу, критическое осмысление фактов языка в этот период функционирует как метод описания, анализа и оценки языковых фактов. Следует подчеркнуть, что целью критической рецепции языка является обеспечение функциональности родного языка как инструмента внутринациональной коммуникации и по-

стоянная его детекция на правильность и уместность используемых структур и форм. Что же касается лингвофилософской концепции языка, то и она находится в исследуемую эпоху в процессе становления, особо акцентируя свое внимание на оценке языковых фактов на основе новой просветительской философии и теории познания, науки об обществе, логики и этики.

Теоретическую основу философской концепции языка в рассматриваемую эпоху создает Готфрид Вильгельм Лейбниц, признанный энциклопедист, которому удалось синтезировать основные философские идеи эпохи и указать перспективные направления дальнейшего развития, что нашло свое отражение в его трудах по логике, новой методологии познания и новой системе научных понятий. Являясь общепризнанной главой философии раннего Просвещения, Лейбниц в своих работах поднимает также огромный круг вопросов, основными из которых являются взаимоотношение языка и мышления, проблемы создания универсального искусственного философского языка, происхождение и родство языков и наций, сравнение языков и попытка их генетической классификации, составление словаря немецкого языка, изучение языков различных социальных групп, указание на источники обогащения функциональных возможностей немецкого языка и т. д.

Уже в ранней работе “De optima philosophi dictione” («О лучшей философской манере письма», написана в 1670 г.) Лейбниц довольно последовательно излагает свое видение научного языка философии на основе народного языка для передачи философских знаний. Он подчеркивает следующие преимущества образцового философского языка итальянского гуманиста Мариуса Ниццолиуса, которые противопоставляются высокопарности, вычурности и метафоричности языка тогдашней поэзии и риторики: естественная манера выражения (“natürliche Methode des Sprechens”), избегание «перекручивания и прикрас» (“von aller Verdrehung und Schminke frei”), народность и понятность, взят из обычной жизни и соответствующий самим вещам, своим светом поддерживает память (“leicht verständlich und volkstümlich, aus dem gemeinen Leben genommen und den Gegenständen angemessen, die durch ihr Licht das Gedächtnis unterstützt”) [Leibniz 1903: 3].

Лейбниц утверждает, что Ниццолиусу удалось реализовать многократно обсуждавшийся и сформулированный до него идеал философского языка, основными свойствами которого являются ясность (“Klarheit” — “claritas”), истинность (“Wahrheit” — “veritas”) и элегантность формы выражения (“die schöne Form” — “elegantia”), которым у него соответствуют понятия “Reichtum” (богатство), “Reinigkeit” (чистота) и “Glanz” (блеск): “drei Dinge scheinen mir im allgemeinen an der Sprache lobenswert zu sein: Klarheit[claritas], Wahrheit [veritas] und die schöne Form [elegantia]” [Leibniz 1903,3]. Язык же он определяет как сумму слов (“Summe von Worten”), его лексический запас (“Wort-

Schatz”) [Takada 2001: 115], подчеркивая тем самым значимость лексического уровня языка и лексической семантики.

Идеал философского метаязыка определяется знанием значений слов, которые лежат в основе ясности и доступности языка, синтаксические конструкции и звучание носят для него в этом ряду второстепенный характер.

Ясность языка есть доступность и прозрачность значений слова, мерилom которой является разум, а основу хорошего философского языка составляет принцип достоверности (“Prinzip der Gewissheit” [Leibniz 1903: 3]. Истинное содержание предложения познается также при знании значения слова, плодотворный коммуникативный процесс также протекает на основе ясности и прозрачности семантики слов. Лейбниц подчеркивает взаимосвязанности языка и мышления, выступает против диффузности научных терминов, которой можно избежать путем формулирования конкретных научных дефиниций [Leibniz 1890: 185].

С ясностью значения слова связана и специфика словоупотребления, определяемого им как “die Bedeutung des Wortes, die denen, die dieselbe Sprache sprechen, gemeinsam bekannt ist” и основными принципами которого он признает ясность дефиниции значения используемых слов, создание новых слов, или словотворчество, обязательное раскрытие значения новых слов в виде дефиниции [Leibniz 1903: 5, 8].

Определяя функцию родного языка как инструмента трансляции знаний, он признает язык основным средством познания, которое доступно всем, хотя познавательные возможности простого человека и философа отличаются подходами и глубиной проникновения в суть явлений [Ibid.: 11—12].

По мнению Лейбница, для передачи научного содержания и представлений о вещах необходима функционально ориентированная система с когнитивными и коммуникативными свойствами: “...die Aufmersamkeit der Menschen hat man aber auf einen bestimmten Gegenstand nicht besser lenken können als durch die Zuteilung einer besondern Bezeichnung, die dem eigenen Gedächtnis bekannt und anderen gegenüber ein Zeichen für die eigene Erkenntnis ist” [Leibniz 1660/1903: 11—13]. Однако он констатирует, что отсутствие достаточного количества философских работ на родном языке (“nicht einmal heutzutage in genügendem Maße damit begonnen, <...> in deutscher Sprache zu philosophieren”) является следствием неприятия в среде немецких ученых своего родного языка в качестве инструмента научной коммуникации.

Уже во вводной статье к работе Ниццолиуса Лейбниц формулирует в целом определенную систему, ориентированную, с одной стороны, на констатацию ситуации с родным языком, с другой — на стратегии реализации немецкого языка и в области науки, что схематически можно изложить следующим образом: облигаторны-

ми свойствами научного языка должны быть ясность, истинность и красивые формы выражения, которые обеспечивают ему доступность; значения слов должны закрепляться дефинициями; нужно установить правила словоупотребления; слова из обиходного языка могут и должны употребляться в качестве терминологических номинаций; язык простого человека и философа одинаков, но освещает реальность с различных позиций; необходима целенаправленная работа для того, чтобы немецкий язык стал инструментом научного изложения.

Дальнейшую эволюцию концепции языка у Лейбница мы наблюдаем в его работах “Ermahnung an die Teutschen, Ihren Verstand und ihre Sprache besser zu üben, samt beygefügtten Vorschlag einer teutschgesinnten Gesellschaft” («Поучения немцам, как лучше применять свой разум и свой язык...», написана в 1682/1683, по другим данным, в 1697) (далее «Поучения») и “Unvorgreifliche Gedanken betreffend die Ausübung und Verbesserung der Teutschen Sprache” («Размышления об употреблении и улучшении немецкого языка», написана в 1696/1699) (далее «Размышления»), в которых системно изложены важнейшие культурно-политические инициативы, направленные на расширение и развитие сферы употребления нового немецкого языка эпохи.

О системном подходе к изложению представлений о языке и его функциях свидетельствует последовательность методических шагов при изложении собственного видения родного языка в исследуемую эпоху: описание актуального состояния родного языка (§9—28), формулирование практических рекомендаций по улучшению состояния языка (§29—55), установление языковых идеалов (§56—113) и размышления по поводу основания немецкого языкового ордена и его целей (§114—118).

В «Размышлениях» впервые мы находим известную в исследуемую эпоху зеркальную метафору: “1. Es ist bekandt, daß die Sprachen ein Spiegel des Verstandes, und dass die Völker, wenn sie den Verstand hochschwingen, auch zugleich die Sprachen wohl ausüben, welches der Griechen, Römer und Araber Beyspiele zeigen” [Leibniz 1717: 255]. В данном высказывании подчеркивается взаимодействие языка и разума, протекание мыслительных процессов на вербальной основе, тесная связь языка и мышления. Лейбниц связывает когнитивные возможности и функции языка с его общественными и коммуникативными функциями. Он утверждает, что разум (=мышление) продвигается только на основе языка, выступающего в качестве связующего звена между учителем и учеником (“Lehr- und Lernenden”), между обиходной жизнью и мировым обществом (dem “gemeinen Leben” und der “Welt Gesellschaft”). Немецкий язык в этом контексте, как он уже отмечал и в «Поучениях», превращается в существенный связующий элемент между нацией и обществом, соединяя «человеческие души» (“menschliche Gemüther”) [Ibid.: 256]. Важным для на-

ции является не только разум, но и язык как его оборотная сторона, определяемый Лейбницем как историко-культурный феномен, играющий важную роль для единения нации: “Das Band der Sprache, der Sitten, auch sogar des gemeinen Namens vereinigt die Menschen auf so eine kräftige, wiewohl unsichtbare Weise und macht gleichsam eine Verwandtschaft” [Leibniz 1983: 47]. В языке особый интерес представляет семиотический аспект его функционирования, составляющий его внутреннюю сторону. Обращаясь к функциональной стороне языка, он пишет: “5. Es ist aber bey dem Gebrauch der Sprache, auch dieses sonderlich zu betrachten, daß die Worte nicht nur der Gedancken, sondern auch der Dinge Zeichen seyn, und daß wir Zeichen nöthig haben, nicht nur unsere Meinung andern anzudeuten, sondern auch unsern Gedancken selbst zu helffen. <...> also thut auch der Verstand mit den Bildnissen der Dinge, zumahl wenn er viel zu denken hat, dass er nehlich Zeichen dafür brauchet, damit er nöthig habe, die Sache jedesmal so oft sie vorkommt, von neuen zu bedencken. Daher wenn er sie einmal wohl gefasset, begnügt er sich hernach oft, nicht nur in äusserlichen Reden, sondern auch in Gedancken und innerlichen Selbst-Gespräch das Wort an die Stelle der Dinge setzen” [Leibniz 1717: 257]. В приведенном отрывке Лейбниц подчеркивает знаковый характер языка, указывает на функцию слова как языкового знака при формировании мысли и номинации вещей, определяет суть знака как инструмента для вербализации и трансляции мысли другим. Закрепление за языковым знаком конкретного значения обеспечивает не только внешнюю речь, под которой Лейбниц понимает коммуникативный процесс в обществе, но и внутреннюю речь, которая соотносится с вербальным мыслительным процессом. Для Лейбница существуют различного рода знаки, к ним он относит не только слова, но и буквы, химические, астрономические, арифметические, алгебраические обозначения, элементы тайнописи, нотные знаки, китайские иероглифические фигуры и другие обозначения, которыми мы оперируем в процессе мышления, заменяя ими реальные вещи.

Знак для Лейбница в целом представляет собой а) важную составляющую мыслительного процесса; б) инструмент разума; в) вербализует не только сами вещи, но и представления о них, выступая вспомогательным средством для мышления в процессе обозначения явлений (вещей) внешнего мира; г) обладает когнитивной функцией; д) выполняет мнемоническую функцию, облегчая запоминание нужной информации и увеличивая объем памяти на ассоциативной основе; е) выполняет коммуникативную функцию, помогая формулировать собственные мысли и транслировать их другим; ж) имеет арбитрарный характер, т. е. произволен, но эта произвольность устраняется отношениями знаков между собой.

В «Размышлениях», определяя содержание языка, Лейбниц пишет, что «почву и основу языка составляют слова» (“Der Grund und Boden einer Sprache sind die Worte”) [Leibniz 1717: 273]. Он также

дает общую характеристику немецкому языку эпохи, отмечает недостаточность абстрактной и терминологической лексики, указывает на источники обогащения родного языка в русле всестороннего использования внутренних ресурсов родного языка (“Aussuchung guter Wörter”) и необходимости возрождения ценных устаревших слов (“Wiederbringung alter verlegener Worte, so von besonderer Güte”) и создания нового слова или семантической трансформации старого, введения неологизма как крайнего способа и заимствования как способа придания экспрессивности (динамики и силы) немецкому языку в сфере науки [см. подробнее: Аликаев, Сакиева 2011: 221—231].

Идеал языка в представлении Лейбница выражается в триаде “Reichtum (богатство) — Reinigkeit (чистота) — Glanz (блеск)” и дополняется требованиями к его достижению, отраженному в лексемах “verbessern” (улучшать), “reinigen” (очищать), “bereichern” (обогащать), “zuordnen” (систематизировать).

“Reichtum” как одна из составляющих идеала языка выражает как качество самого языка, так и практику его обогащения, являясь «самым первым и самым необходимым в языке» (“das erste und das nöthigste bei einer Sprache”) [Leibniz 1717: 288]. Оно определяется такими признаками, как высокое качество выразительных возможностей лексики, однозначность слов и способы языковой экономики, может оцениваться на основе перевода: “62. Inzwischen ist gleichwohl diejenige Sprache die reichste und bequemste, welche am besten mit wörtlicher Übersetzung zurechtkommen kann <...>” [Ibid.: 289]. При этом богатство языка как идеальный критерий, по мнению Лейбница, создает основу для его чистоты, включающей в себя стилистические параметры слов, корректную грамматику, ситуативно уместное использование высказывания: “80. Die Reinigkeit der Sprache, Rede und Schrift besteht darin dass so wol die Worte und Red-Arten gut Teutsch lauten, als dass die Gramatic oder Sprach-Kunst gebührend beobachtet, mithin auch der Teutsche Priscianus verschonet werde” [Ibid.: 299].

Идея социальной детерминированности лексики языка находит свое выражение в сочетании “plebeja et rustica verba”, лексема “ohnvernehmliche” в отношении слов обозначает сложные для понимания устаревшие и диалектные слова. Что же касается иноязычных слов, то Лейбниц исходит из прагматической целесообразности их использования: в обыденных текстах и речах их следует использовать ограниченно, в текстах, адресованных к ученым, они могут использоваться в широком спектре, т. е. использование указанных лексических единиц определяется коммуникативной целесообразностью. Важным в этом контексте являются рекомендуемые им принципы введения иноязычной лексемы: он рекомендует иноязычное слово давать в сопровождении немецкого эквивалента, что позволит закрепить лексему родного языка со временем в качестве

научного термина. Этот принцип стал в дальнейшем одной из важных стратегий введения латинских терминов в немецких текстах и формирования таким образом терминологической лексики на почве родного языка.

В целом следует отметить, что Лейбниц постулирует вербальность человеческого мышления, язык же выступает при этом инструментом познания. Особое значение для дальнейшего развития теории языка имеет мысль Лейбница о знаковом характере естественных языков, только исследование этих языков может дать нам научные представления о функциональных особенностях знака. При этом Лейбниц признает историческую изменчивость языка, что является существенным постулатом для XVII столетия, не признававшего эволюцию языковой системы. Он создает основу для новой теории языка, в которой обосновывает функциональные особенности языкового знака и роль самого языка в процессе человеческого познания.

В отличие от Лейбница, Томазиус концентрирует свое внимание на практической стороне использования языка. Тема языка в его работах не находит специального рассмотрения, она появляется в связи с проблемами понимания права в буржуазном обществе.

Функцию человеческой речи он формулирует следующим образом: “Es ist ausser Zweifel gesetzt / daß Gott dem Menschen die Rede deshalb gegeben / daß er dadurch sein Gedancken anderen Menschen zu erkennen geben könne / damit auff diese Weise die allgemeine Ruhe und Freundschaft desto besser fortgepflanzt und erhalten werde. Und es ist in Wahrheit ein grosses Elend / wenn Leute zusammen-kommen / die einander nicht verstehen <...>. So ist es auch eine ziemliche Verdrießlichkeit / wenn ein Mensch seine Gedanken dem andern nicht deutlich und artig <...> vorstellen kann” [Thomasius 1691/1994: 372 f.].

По мнению Томазиуса, языковая способность человека обеспечивает прежде всего коммуникацию, которая чрезвычайно важна в аспекте организации общества. А взаимопонимание, достигаемое посредством языка, создает основу для благополучия в обществе (“bürgerliche Glückseligkeit”) [Thomasius 1709: 364]. Рассматривая язык как организующий феномен общества, Томазиус утверждает, что любое нарушение этой социальной функции языка непременно скажется отрицательно на обществе. Далее он делает вывод о том, что если индивид хочет быть полезным обществу, то он морально обязан выражаться ясно, что находит свое отражение в лексемах “deutlich” и “artig”. Однако эти качества языка представляют собой не эстетические принципы, они сформулированы как основополагающие коммуникативные функции языка.

У Томазиуса мы находим особое взаимоотношение понятий “Vernunft” и “Rede”, которые позволяют определить главное в его понимании языка: “Die Vernunft ist niemals ohne Rede. Die Rede ausser der Gesellschaft hat keinen Nutzen, und die Vernunft gibt sich ausser der Gesellschaft nicht hervor” [Ibid.: 364].

Говоря другими словами, Томазиус подчеркивает значимость для общества языка, руководимого законами разума, вне общества не существует язык. По мнению Томазиуса, общество живет в коммуникации, инициированной и управляемой разумом, которая представляет собой средство социальной интеграции, являясь частью общественной этики.

Идеалы языка у Томазиуса, так же как у Лейбница, сформулированы в виде триады: “<...> es dünckt mich / daß die menschliche Rede mit drey hauptsächlichen Vortrefflichkeiten begabt sey/ mit der Deutlichkeit / mit der Artigkeit / und mit denen Zierathen der Redner-Kunst” [Thomasius 1691/1994: 374].

Идеальный признак языка “Deutlichkeit”, соотносимый с понятиями ясности и четкости мысли, определяется Томазиусом следующим образом: “Die Deutlichkeit besteht darinnen / daß ein Mensch dem andere seine Gedanken durch solche Worte vorstellt / die bei ihm auch den allergeringsten Theil derselben Gedanken nicht verhehlen / sondern ihme dieselbige mit allem ihme zu wissenden nöthigen Umständen ausdrücken / daß würcklich bey dem andern / mit dem man redet / dadurch ein gleichmäßiger Gedancke erwecket wird / der mit des ersten seinen recht genau überein kömmt / und so zu reden weder grösser noch kleiner ist” [Ibid.: 373 f.]. Говоря другими словами, под идеалом языка “Deutlichkeit” (ясность, четкость, внятность) Томазиус понимает идеальную коммуникативную модель, ориентированную на необходимость выражения собственной мысли в ясной языковой и содержательной форме, т. е. адресат должен получить мысль без семантических потерь как полноценную исходную информацию. Посредством ясности процесса и элементов коммуникации, по мнению Томазиуса, достигается идеальная форма общества, определяемая им как „die menschliche Einigkeit“ [Ibid.: 374].

Составляющим “Deutlichkeit” элементом является “genus subtile” [Thomasius 1710: 328], или простой стиль, т. е. формулируемая языковыми средствами мысль должна позволить реципиенту адекватно декодировать чужую информацию, что означает выбор подходящей техники сообщений или передачи научных содержания [Thomasius 1688/1994: 212].

Важным является также примечание Томазиуса, что “Deutlichkeit” (“perspicuitas”) входит в простой стиль изложения как стилевой признак, вторым стилевым признаком является языковая правильность (“latinitas”).

Второй идеал языка Томазиус выражает лексемой „Artigkeit“, под которой он понимает: “Durch die Artigkeit / verstehe ich nicht den Zierath und Ausputz einer Rede / sondern vielmehr eine natürliche Reinigkeit und Sauberkeit desselben <...>” [Thomasius 1691/1994: 374]. Данный идеал языка у Томазиуса совпадает по своему содержанию с лейбницевским понятием “Reinigkeit”. Последнее возникает у Томазиуса в контексте объяснения содержания понятия “Artigkeit”, кото-

рое включает не только грамматическую корректность выражения, правильное синтаксическое построение мысли и подбор необходимых слов (“*Ordnung derer Worte*”, “*artige Verknüpfung derer PERIODORUM*”) [Thomasius 1691/1994: 374], но и ситуативную уместность высказывания.

Третьему идеалу языка, связанному с красотой речи, Томазиус дает следующее определение: “*Endlich was die Zierathen der Redner = Kunst betrifft / so verstehe ich dadurch den sonderlichen Auffputz und Aufschmuckung einer Rede durch verblümete Redens-Arten / Gleichnisse-Exempel<...>*” [Ibid.: 375 f.].

Следует отметить, что в рассуждениях Томазиуса об идеале языка заметно влияние риторики эллинистического периода, где хорошими качествами языкового выражения считались “*perspicuitas*” (Deutlichkeit — ‘ясность, доступность’), “*latinitas*” (Richtigkeit — ‘правильность’), “*ornatus*” (Schmuck — ‘украшение’) и *aptum* (Angemessenheit — ‘уместность’). Но на первом месте у Томазиуса, как и у Лейбница, стоят доступность и ситуативная уместность высказывания или оформления мысли.

Единственный раз Томазиус предпринимает попытку сформулировать статус и назначение языка и взаимосвязь языка и его носителя: “*Der Mensch ist nicht auf der Welt der Sprachen halber / und die Sprachen machen für sich keinen gelehrten Mann / sondern die Sprachen sind erfunden / daß sie den Menschen dadurch ihre Gedanken ein ander eröffnen sollen...*” [Thomasius 1688/1994: 639 f.], т. е. для него на первом месте в языке стоит его коммуникативная функция, и он призван удовлетворять коммуникативные потребности общества, передавая и распространяя знания для его блага. Его заботы о языке направлены не на изложение теоретических проблем и патриотических мыслей, как у Лейбница, а на пропаганду пригодности родного языка для оформления значимых для общества тем, для коммуникации вне зависимости от сословной принадлежности.

Если для Томазиуса важным является коммуникативная функция языка, поддерживающая благополучие в обществе, то для Христиана Вольфа язык интересен с позиций математико-дедуктивного метода, основанного на философии рационализма. В рамках данного направления Вольф развивает теорию знака и описывает роль языка в процессе познания. Отправной точкой при этом выступает, как и у Лейбница, представление о неразрывной связи языка и познания. Этот теоретический посыл, ориентированный на анализ и описание когнитивного потенциала языка и языкового знака, дополненный его теорией знака, находит свое конкретное отражение в практической работе по созданию немецкой научной терминологии.

Не затрагивая конкретные проблемы, связанные с вольфианским понятием науки и его конкретным вкладом в формирование немецкой научной терминологии, перейдем к интересующей нас в рамках данной статьи концепции языка у Вольфа.

Рациональный математический метод доказательства является у Вольфа центральным научным методом описания фактов языка. Основываясь на данном методе, он создает собственную теорию знака.

Для начала Вольф декларирует однозначность каждого слова, т. е. за каждым словом стоит только одно понятие, при этом термин «понятие» выступает в качестве главной единицы для раскрытия содержания языкового знака. Для Вольфа слово и понятие, как в последующем и для Ф. де Соссюра, неразрывно связаны между собой. Слова выступают у него как произвольные знаки, которые он дифференцирует от естественных знаков: “Ein Zeichen ist ein Ding, daraus ich entweder die Gegenwart, oder Ankunft eines anderen Dinges erkennen kann, das ist, daraus ich erkenne, daß entweder würcklich an einem Orte vorhanden ist, oder daselbst gewesen, oder auch etwas daselbst entstehen werde. Z. E. Wo Rauch aufsteigt, da ist Feuer” [Wolff 1751/1983: 160].

Вольф выделяет три класса естественных знаков на основе категории времени: “signum demonstrativum” (Gegenwart: Rauch-Feuer), “signum rememorativum” (Vergangenheit: nasser Boden-Regen) и “signum prognosticum” (Zukunft: Wolken-Regen) [Nöth 2000: 17]. Естественным знакам Вольф противопоставляет произвольные знаки, которые образуются, когда сводят вместе два объекта (“zwei Dinge”) (один из которых используется для обозначения другого), которые иначе сами по себе никогда не встретились бы (“die sonst für sich nicht würden zusammenkommen”) [Ibid.:161]. Именно эти два объекта являются элементами языкового знака: “Die Wörter gehören unter die willkührliche Zeichen <...> den daß ein Wort und ein Begriff mit einander zugleich zugegen sind, oder eines von beyden auf das andere erfolgt, beruhet auf unserer Willkühr” [Ibid.]. Свою мысль о произвольности языкового знака он аргументирует на примере того, что одна и та же вещь в разных языках по-разному обозначается. Наличие определенного значения у каждого слова является, по мнению Вольфа, следствием познавательной функции слов: “Grund für eine besondere Art der Erkänntnis <...> , welche wir die figürliche nennen. Denn wir stellen uns die Sachen entweder selbst, oder durch Wörter, oder andere Zeichen vor” [Ibid.: 173].

По мнению Вольфа, язык не может сложением своих элементов, к которым он относит буквы и слова, отразить или передать вещь 1:1, ибо слово не есть сразу же вещь, т. к., например, слово «истина» (Wahrheit) ничего не говорит об истине [Ibid.: 179].

Вольф затрагивает также проблему языковой компетенции, которая прежде всего заключается в знании значений слова: “Die Scharfsinnigkeit erfordert in der figürlichen Erkänntniß, daß man alles erklären kann. Da nun in Erklärungen kein Wort in einem uneigentlichen Verstande darf genommen werden, es sey denn daß derselbe vorher erkläret worden; so ist nöthig, daß man auch so wohl die eigentliche Bedeutung der Wörter lerne und also der Sprache wohl mächtig werde” [Wolff 1729/1976: 177].

Представление Вольфа о знаке и его функциональных особенностях служит для него основой при разработке норм языка научного изложения: “Im gemeinen Gebrauch der Wörter pflēget man nicht ihre Bedeutung jederzeit so einzuschränken, daß man nicht unterweilen darinnen etwas ändern sollte. Und daher entsteht eine Unbeständigkeit im Reden, wodurch die meisten auf die Gedancken gerathen, als wenn ein Wort vielerley Bedeutungen hätte, und hingegen wiederum vielen einerley Bedeutung zukäme. Hieraus entspringt vieler Miß-Verstand in dem, was andere sagen, und man saget öfters selbst nicht eigentlich dasjenige, was man sagen will, so daß es schwer, ja unterweilen gar unmöglich fället, des anderen Sinn zu errathen, wo nicht die Sachen zugegen sind oder dieselben vor Augen hat, von denen man redet” [Wolff 1755/1983: 104].

Как видно из цитированного отрывка, Вольф говорит об отсутствии единства в употреблении значения слов и о распространенности полисемии и омонимии в обиходно-разговорном языке, что самими носителями языка не ощущается. Он также различает такие варианты языка, как обиходно-разговорный и язык науки [Wolff 1733/1973: 38].

Проблема когнитивного потенциала языкового знака появляется у него во второй главе его «Немецкой логики», где он в первом параграфе начинает с дефиниции понятия «слово». Слова, по мнению Вольфа, являются нечем иным, как знаками наших мыслей (“nichts anders, als Zeichen unserer Gedancken, daraus nemlich ein anderer dieselbe erkennen kann”). Тут же он утверждает, что слова служат для процесса коммуникации, а сама идеальная коммуникативная ситуация излагается им во втором параграфе данной главы: компетенция слушателя заключается в том, чтобы суметь связать каждое слово с конкретным представлением, а компетенция говорящего видится ему в том, чтобы каждым использованным словом вызывать в своем коммуникативном партнере адекватные представления. Он возлагает также на говорящего обязанность проверять себя при каждом употреблении слова на предмет корректной реализации его значения (“selbst fragen, was er für einen Begriff damit [mit dem Wort] verknüpfe”) [Wolff 1712/1978: 152].

Вольф углубленно занимается проблемой расхождения между его идеальным представлением языка и реалиями практического языка, делая при этом два важных вывода о когнитивном потенциале слов в процессе языковой коммуникации: в языке есть слова, не соотносящиеся с понятиями, и слова, значения которых не все знают. Но эти слова все же можно понять, хотя они не имеют предметного содержания: “Im Reden denckt man nicht stets an die Bedeutungen der Wörter” [Ibid.]. По мнению Вольфа, в процессе общения коммуниканты могут говорить о предмете, не имея его под рукой и не представляя его. Так возникает «пустой звук» (“leerer Ton”), слово, имеющее звуковое оформление, но без содержания, без понятия [Ibid.:152]: “<...> dass man miteinander reden, und einander verstehen, doch keiner einen

Begriff von dem haben kann, was er redet oder höret, in dem von lauter nichts geredet wird <...>” [Wolff 1712/1978: 153]. Вольф высказывает свое скептическое отношение к когнитивным возможностям слова, утверждая, что слово как языковой знак не всегда может адекватно и полно отразить само понятие, выражаемое им.

Другое интересное наблюдение Вольфа заключается в том, что он говорит о функционировании в обществе социально и профессионально детерминированных форм существования языка, что и определяет языковую компетенцию носителя языка. Так, например, неспециалист не может понять терминологию права и язык охоты [Ibid.: 154]. В этом аспекте он формулирует мысль о первичной языковой компетенции, которая заключается в умении с помощью слов создавать понятия для познания самого предмета. Переходя к практическим рекомендациям по правилам языкового общения, он говорит о необходимости договариваться о значениях слов, что особенно важно в научной сфере для выражения и передачи научных понятий. В этой связи появляется у него идеал доступности и ясности (“Deutlichkeit”), которому противопоставляется как качество языка понятливость (“Verständlichkeit”). Содержание понятия “Deutlichkeit” формулируется следующим образом: “...so dienen die Wörter und Zeichen zur Deutlichkeit, indem wir durch sie unterscheiden, was wir verschiedenes in denen Dingen und unter ihnen antreffen. Weil nun aber hierdurch die Aenlichkeit erhellet, die zwischen verschiedenen einzelnen Dingen anzutreffen...; Und wird demnach die allgemeine Erkenntnis durch die Wörter deutlich” [Wolff 1751/1983: 177 f.]. Таким образом, понятие ясности (“Deutlichkeit”) становится идеалом языка и процесса познания, этому должно содействовать и константное отношение между словом и понятием.

Идеал ясности языковых единиц находит свое отражение у него в принципах создания научной терминологии, в частности во введении новых терминологических единиц с точно описанными семантическими параметрами, зафиксированными в научных дефинициях, в разграничении одной и той же лексической единицы как единицы обиходно-разговорного языка и научного изложения, где слово получает семантически ясные и четко очерченные контуры [Wolff 1733/1973: 31].

В целом Вольф формулирует идеальное представление о семантике языкового выражения, презентуемое им понятием “Deutlichkeit”, применительно к практическому функционированию языка и делает различия между обиходно-разговорным языком и языком научного изложения.

В заключение отметим, что представители раннего немецкого Просвещения, рассматривая лингвофилософские вопросы языка, ставят проблемы соотношения языка и познания, высказывают мысль о знаковом характере слова как единицы языка, указывают на вербальный характер человеческого мышления, затрагивают во-

просы когнитивного и коммуникативного потенциала языка и его общественной значимости, оформляют идеал языка своего времени, выделяют в рамках национального языка, кроме диалекта, еще и общественно и профессионально детерминированные формы существования языка. Заложенные в этот период идеи о сущности языка и его функциях, о взаимоотношении языка и мышления, о специфике процесса познания на основе языка как инструмента получения и обработки информации оказались плодотворными для последующих поколений не только немецких философов и филологов, но и в целом для западноевропейской научной школы.

Литература

- Аликаев, Сакиева 2011 — *Аликаев Р. С., Сакиева Р. С.* Особенности эволюции немецкого языка научного изложения в XVII — первой половине XVIII в. // *Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов.* Т. VIII. М., 2011.
- Dünninger 1957 — *Dünninger J.* Geschichte der deutschen Philologie // *Deutsche Philologie im Aufriss.* 2. Aufl., Bd. 1. Lieferungen 1—2. S. 83—222. Berlin, 1957.
- Leibniz 1660/1903 — *Leibniz G. W.* Aus der Vorrede zum Marius Nizolius // *Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie / Übers.* von A. Buchenau, durchges. u. mit Einleitung und Erläuterungen; hg. v. Ernst Cassirer. Bd. I. Leipzig, 1660/1903.
- Leibniz 1717 — *Leibniz G. W.* Unvorgreifliche gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache // *Illustris viri Godofr. Guilielmi Leibnitii Collectanaea etymologica illustrationi linguarum veteris celtcae, germanicae, gallicae, aliarumque insertientia. Cum praefatione Jo. Georgii Eccardi. Contenta sequens pagina indicat.* Pars I, VI. Hannoverae, 1717.
- Leibniz 1890 — *Leibniz G. W.* Die philosophischen Schriften / Hg. v. Carl Immanuel Gerhardt. Bd. 7. Berlin, 1890.
- Leibniz 1983 — *Leibniz G. W.* Ermahnung an die Deutschen, ihren Verstand und Sprache besser zu üben <...> // *Unvorgreifliche Gedanken betreffend die Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache: Zwei Aufsätze / Hg.* v. Uwe Pörksen. Kommentiert von Uwe Pörksen und Jürgen Schiewe. Stuttgart, 1983.
- Nöth 2000 — *Nöth W.* Handbuch der Semiotik. Stuttgart; Weimar, 2000.
- Takada 2001 — *Takada H.* Kritische Bemerkungen zu Leibniz' Sprachkritik. Was leistet Leibniz "betreffend die Ausübung und Verbesserung "der deutschen Sprache?" // *Burkhardt A., Cherubim D.* Sprache im Leben der Zeit. Beiträge zur Theorie, Analyse und Kritik der deutschen Sprache in Vergangenheit und Gegenwart. Helmut Henne zum 65. Geburtstag; Tübingen, 2001.

Thomasius 1688/1994 — *Thomsius Chr.* Christian Thomsius / eröffnet / Der / Studierenden Jugend / Zu Leipzig // Einem DISCOURS / Von den Mängeln derer heutigen ACADEMIEN, absonderlich aber der JURISPRUDENZ / zwei Collegia / ein Disputatorium über seine Prudentiam ratiocinandi und ein Lectorum nach einer sonderbahren methode über die Institutiones Justinianae // Kleine Teutsche Schriften / Hg. v. Werner Schneiders. Halle, 1688/1994.

Thomasius 1691/1994 — *Thomasius Chr.* Gemischter DISCURS bei INTIMIRUNG 5. neuer Collegior // Kleine Teutsche Schriften (Originalausgabe von 1691). Hrsg. von Werner Schneiders. Hildesheim; Zürich; New York, 1994 (Ausgewählte Werke, 22).

Thomasius 1709 — *Thomasius Chr.* Drey Bücher der göttlichen Rechtsgelahrtheit // Welchem die Grundsätze des natürl. Rechts nach denen von dem Freyherrn von Puffendorff gezeigten Lehrsätzen deutlich bewiesen / weiter ausgearbeitet / Und von den Entwürfen der Gegner desselben / Sonderlich Herr D. Valentin Alberti befreyet / auch zugleich die Grundsätze der Göttlichen allgemein geoffenbarten Gesetze gezeigt werden, in das Teutsche übersetzt, mit einer Vorrede Ephraim Gerhards Von denen Hindernüssen der natürlichen Rechtsgelahrtheit / und dem Nutzen dieser Untersuchung. Halle, 1709.

Wolff 1712/1978 — *Wolff Chr.* Vernünfftige Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes und ihrem richtigen Gebrauch in Erkenntnis der Wahrheit. См. раздел: Vom Gebrauch der Wörter 151—156. Halle; Frankfurt a. M. (GW I. Bd. 1), 1712/1978.

Wolff 1729/1976 — *Wolff Chr.* Vernünfftige Gedanken von der Menschen Thun und Lassen, zu Beförderung ihrer Glückseligkeit. Halle; Frankfurt a. Main (GW I. Bd. 4), 1729/1976.

Wolff 1733/1973 — *Wolff Chr.* Ausführliche Nachricht von seinen eigenen Schriften, die er in deutscher Sprache heraus gegeben, см. раздел: Von der Schreib-Art des Autoris 23—52; Wie des Autoris Schriften müssen gelesen werden, 150—178. Halle; Frankfurt a. M., 1733/1973.

Wolff 1751/1983 — *Wolff Chr.* Vernünfftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt. 11. Aufl., Halle; Frankfurt a. M. (GW I. Bd. 15, 1), 1751/1983.

Wolff 1983 — *Wolff Chr.* Von der Verbesserung der Wörter = Bücher, in Des weyland Reichs-Freyherrn von Wolff übrige theils noch gefundene kleine Schriften. Halle; Frankfurt a. M. (GW I. Bd. 22), 1755/1983.

ZUSAMMENFASSUNG

Sprachphilosophische Ansätze in der deutschen Frühaufklärung

Im Aufsatz wird ein Vergleich der sprachphilosophischen Konzeptionen in der deutschen Frühaufklärung am Beispiel der Werke von

G. W. Leibniz, Chr. Thomasius und Chr. Wolff dargestellt. Im Vordergrund der Beschreibung und Analyse stehen folgende Fragen: das Wesen der Sprache als Mittel der Erkenntnis und der gesellschaftlichen Kommunikation, das Wort als natürliches Zeichen und seine Funktion in der Wiedergabe eines Begriffes, das Wort und seine Beziehung zum Denken, der kognitive und gesellschaftliche Wert der Sprache, das Sprachideal und seine Bestandteile, aktuelle Existenzformen der Sprache und ihre unterschiedliche Beschaffenheit und Funktion in der Kommunikation; d.h. all die Fragen, die von den obengenannten Frühaufklärern in ihren Werken besprochen wurden.

О. В. БАЙКОВА, Ю. В. БЕРЕЗИНА

(Вятский государственный гуманитарный университет)

РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В УСЛОВИЯХ ИНОЯЗЫЧНОГО ОКРУЖЕНИЯ: СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В последнее время объектом повышенного интереса исследователей являются не только внутрисистемные языковые закономерности, но и детерминирующие факторы речевого поведения билингвов, живые процессы современной языковой ситуации в условиях иноязычного окружения. Факторы, определяющие специфику речевого поведения в ситуации билингвизма, носят весьма открытый характер. Это связано, прежде всего, с отсутствием их четкой классификации, а также неопределенностью в иерархии структурных отношений экстралингвистических переменных. Об актуальности проблемы речевого поведения, вызванной социально-демографическими факторами, свидетельствует целый ряд работ в отечественном и зарубежном языкознании. Интерес к вопросам речевого поведения в ситуации билингвизма объясняется неоднородностью и сложностью процессов взаимодействия и взаимовлияния языков, особенностями функционирования языка в иноязычной среде. Наиболее значимыми факторами социально-демографического характера, оказывающими влияние на речевое поведение билингва, являются возраст, образование и семейные обстоятельства.

Как показывает лингвистический материал, собранный в Кировской области, объем функций немецкого языка у представителей старшего, среднего и младшего поколений значительно различается. Как видим, возраст коррелирует с различными стадиями билингвизма. Каждая возрастная группа российских немцев Кировской области имеет свои характеристики, которые сформированы различными историческими эпохами. Использование языковых систем данными возрастными группами необходимо рассматривать в контексте важнейших исторических событий определенного времени, которые сыграли значительную роль в речевом поведении этнических немцев и должны быть учтены при языковой характеристике представителей разных возрастных групп. Поэтому можно говорить о

языковом поведении определенного поколения. Подобной точки зрения придерживаются П. Хилькес, В. А. Маныкин, Л. И. Москалюк [Hilkes 1989; Маныкин 1992; Москалюк 2000].

Необходимо отметить, что представители старшего поколения, родившиеся до 1933 г. (первая подгруппа) и родившиеся до 1956 г. (вторая подгруппа), обнаруживают достаточно прочные знания родного языка-диалекта, поэтому при сборе диалектного материала мы сознательно ориентировались на лиц пожилого возраста, ожидая от них наиболее высокого уровня языковой компетенции. В результате анализа полученных анкетных данных выявлено, что российские немцы первой подгруппы старшего поколения выросли в более или менее гомогенной (немецкой) этнической среде и имели возможность обучаться в национальной школе, где преподавание всех предметов велось на немецком языке. Представители первой возрастной подгруппы старшей возрастной группы происходят из украинских (17) и волжских (4) колоний. Все названные места компактного проживания немцев имели до начала Второй мировой войны статус национальных районов, что означало использование немецкого языка практически во всех сферах повседневной жизни, включая национальные школы с преподаванием всех предметов на родном немецком языке [подробнее см. Байкова 2008].

Поколение немцев, выросшее в условиях подобных национальных «общин», идентифицировало себя с немецкой нацией, сохраняя национальные традиции, быт и культуру исторической родины. Письменный немецкий язык изучали в немецкой начальной школе и свободно могли позже его использовать лишь самые старшие представители первой возрастной подгруппы. Способность писать латинским шрифтом у лиц, обучавшихся в начальной школе с преподаванием на немецком языке, после окончания школы утратилась, а вот навыки чтения сохранились, хотя и в очень скромных рамках, до настоящего времени. Результаты опроса показали, что 36,6 % информантов регулярно читают на немецком языке Библию, духовную литературу. Для этой части информантов литературный немецкий язык является языком их детства, школьных лет, языком, на котором им читали родители, языком — идентификатором их национальной культуры.

Ко второй возрастной подгруппе относятся респонденты, родившиеся в период с 1934 по 1956 г. Это наиболее трагичный для российских немцев период, включающий годы репрессий, совпавших с началом Второй мировой войны и приведших в 1941 г. к массовой депортации немцев из европейской части бывшего СССР на север и восток. Только самые старшие из этого поколения родились в старых довоенных колониях на Волге, Украине или на юге России. Семь респондентов второй возрастной группы назвали своей родиной Украину и три респондента — Поволжье. Что касается образования, то немцы этой группы учились в общеобразовательных

русских школах с преподаванием немецкого как иностранного или неродного, что подтвердили 10 респондентов данной группы.

Следует заметить, что представители второй подгруппы старшей возрастной группы, чье детство пришлось на годы войны, не овладели письменным немецким языком вообще, так как характерный для них уровень образования — начальная школа с преподаванием на русском языке. Это значит, что писать по-немецки они могли только кириллицей, читали только по-русски или вообще не умели читать. Все представители этого поколения смогли окончить среднюю школу, изучив немецкий язык в качестве иностранного языка.

В данной подгруппе обнаруживается своего рода «пропасть» между положением родного немецкого языка в семье и школе. Все опрошенные этой возрастной подгруппы подтвердили, что они усвоили один из немецких диалектов с детства в кругу родных. В школе же немецкий изучался ими только как иностранный.

В старшей возрастной группе наблюдаются большие различия в диалектной компетенции среди говорящих. Это связано с тем, где и в каких условиях выучен немецкий язык, а также с возможностью использования диалекта во внутрисемейной сфере общения. Все представители первой подгруппы владеют сравнительно хорошим лексическим запасом, фонологической и грамматической системой диалекта и адекватно их применяют, чего нельзя сказать о представителях второй подгруппы. В речи информантов второй подгруппы наблюдаются нарушения правил грамматики, довольно скупой словарный запас. Однако следует отметить, что все чаще представители старшего поколения (первой и второй подгрупп) испытывают недостаток активного словарного запаса и, как следствие, переключаются на русский язык. Основным отличительным признаком речевого поведения всех представителей старшего поколения является то, что немецкий язык ими используется в форме одного из диалектов.

Что касается респондентов средней и младшей возрастных групп, родившихся начиная с 1956 г., то они, хотя и понимают немецкую речь, в большинстве случаев отказываются говорить на немецком языке, так как, по словам респондентов, не могут подобрать нужное слово или не могут воспроизвести его. Представители средней возрастной группы практически не знают немецкого языка, так как в этом нет необходимости; большинство из них изучает язык, потому что собирается уехать в Германию, и лишь немногие знают и изучают язык для того, чтобы общаться с представителями старшего поколения. Представители младшего поколения могут говорить только по-русски, в том числе и дома, так как у них уже русский монолингвизм. Немецкий язык для них — это язык их родителей, бабушек и дедушек, предмет в школе, но, как показывают наблюдения, редко — родной язык. В данном случае немецкий язык играет второстепенную роль, так как у российских немцев нет нужды использовать его в речи. Таким образом, происходит вытеснение немецкого язы-

ка и всех его диалектных проявлений, и это наблюдается не только во внесемейной, но и во внутрисемейной сфере общения. Как показывают результаты анкетирования, русский язык стал необходимой формой общения, с помощью которой достигается взаимопонимание. В беседах на темы о современной жизни, технике или политике респонденты используют русский язык, особенно если углубляются в тему. Это приводит к тому, что преобладание немецкого диалекта среди языковых форм общения, которое было характерно для старшего поколения, исчезает. «Языковой водораздел» между поколениями пролегает на стыке старшей и средней возрастных групп.

Таким образом, можно выделить два условия, в наибольшей степени содействующих высокому уровню языковой компетенции: усвоение родного языка в семье с рождения и дальнейшее обучение в школе на родном языке. Эти условия определяют активное владение немецким языком лицами старшего поколения. Среднее поколение, хотя и имело в большинстве своем возможность осваивать немецкий язык в семье, уже не могло продолжить его изучение как родного в процессе школьного обучения. Младшее поколение практически вовсе лишено возможности изучать немецкий язык — ни в семье, ни в школе условий для этого нет. В семье на нем не говорят, а в школе ему на смену приходит английский.

Еще одним значимым фактором социально-демографического характера является брак или семейные обстоятельства, так как характер брака часто определяет речевое поведение в семье. Для старшей возрастной группы, носителей немецких диалектов, характерны «чистые» в этническом отношении браки. Среди 31 (100 %) опрошенного респондента встретились один немецко-татарский (3,2 %), пять немецко-украинских (16,1 %), четыре немецко-русских (12,9 %) браков, все прочие были «чистыми» (67,8 %). Встречаются следующие семейные ситуации: 1) оба супруга владеют немецким диалектом или диалектами, мало отличающимися друг от друга (17 семей — 80,9 %); 2) оба супруга владеют немецким диалектом, но у каждого свой диалект, сильно отличающийся от другого, так что говорящие понимают друг друга с трудом (4 семьи — 19,1 %); 3) один из супругов владеет немецким диалектом, другой супруг — русскоязычный, татарскоязычный или украинскоязычный, немецким диалектом не владеет (10 семей — 32 %). Представители старшего поколения российских немцев в ситуации, когда оба супруга владеют немецким диалектом, стараются говорить на диалекте во внутрисемейной сфере, однако при общении с детьми, чтобы достичь взаимопонимания, используют русский язык. Во второй и третьей ситуациях, как правило, внутрисемейным средством коммуникации становится русский язык.

Следует отметить, что число смешанных браков в средней и младшей возрастных группах по сравнению с анкетными данными старшего поколения возросло. Если в «чистых» в этническом отноше-

нии браках российские немцы имеют возможность сохранить язык, традиции и обычаи своих предков, то в смешанных браках нередко немецкий язык и все, что с ним связано, находится «под запретом». Русские мужья или жены из-за незнания немецкого языка не приветствуют семейное общение на немецком языке. Поэтому респонденты лишены возможности сохранять и поддерживать знания немецкого языка, традиции и обычаи своей этнической культуры. Рост смешанных браков способствует утрате немцами средней и младшей возрастных групп немецкого языка и вытеснению его из семейно-бытовой сферы. Исходя из анкетирования и бесед с респондентами, можно сделать вывод, что смешанные браки отрицательно сказываются на сохранении традиций и норм немецкого языка. Российские немцы в смешанном браке не имеют возможности использовать немецкий язык на внутрисемейном уровне, общение на немецком может протекать только с немецкоговорящими друзьями, родственниками или соседями.

Таким образом, следует констатировать тот факт, что возможность изучения немецкого языка в семье и школе, как необходимое условие языковой компетенции высокого уровня, а также возможность полного его применения во всех сферах повседневной жизни зависят в значительной степени от социально-политических условий, в которых оказывается та или иная этническая общность.

Что касается российских немцев бывшего Советского Союза, то у старшего поколения этой этнической группы были обе возможности, осуществление которых обеспечивалось существованием немецкой административной самостоятельности — Республики Немцев Поволжья и национальных районов в пределах европейской части СССР. Для последующих же поколений этнических немцев возможности изучения и применения немецкого языка резко ограничены или же практически сведены к нулю.

Литература

- Байкова 2008 — *Байкова О. В.* Современное состояние немецких говоров Кировской области и особенности их системы вокализма: Монография. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2008.
- Манькин 1992 — *Манькин В. А.* Социолингвистический аспект функционирования диалектов немцев Поволжья: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов: Изд-во СГУ, 1992.
- Москалюк 2000 — *Москалюк Л. И.* Социолингвистические аспекты речевого поведения российских немцев в условиях билингвизма. Барнаул: Изд-во БГПУ, 2000.
- Hilkes 1989 — *Hilkes P.* Deutsche in der Sowjetunion: Sprachkompetenz und Sprachverhalten // Muttersprache. Zeitschrift zur Pflege und Erforschung der deutschen Sprache. 1989. Bd. 99. S. 69—83.

ZUSAMMENFASSUNG**Das Sprachverhalten von Russlanddeutschen
in der fremdsprachigen Umgebung:
Sozial-demographischer Aspekt**

Im Beitrag werden die sozial-demographischen Faktoren, die das Sprachverhalten von Russlanddeutschen bestimmen, besprochen. Dazu gehören Alter, Ausbildung und Ehe. Das Problem des Sprachverhaltens in der Zweisprachigkeitssituation ist aktuell, weil es sich um die Sprachfunktionierung in der fremdsprachigen Umgebung handelt.

Е. В. БЕСПАЛОВА

(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. акад. С. П. Королёва
(Национальный исследовательский университет))

КОНЦЕПТ ЛЕС / WALD В РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ И ПАРЕМИЯХ

Сопоставительное изучение концептов универсальных природных объектов (ЛЕС, ЗЕМЛЯ, МОРЕ, РЕКА, ГОРЫ и т. п.) на материале неблизкородственных языков — задача относительно новая для лингвокультурологии. Признавая концепт многомерной единицей, объединяющей разнородные сведения о внутренней форме, этимологии и истории, о словообразовании и сочетаемости, о функционировании в дискурсивных практиках и коннотациях, очевидно полагать сопоставительный анализ такого рода достаточно трудоемкой задачей.

В концептуализации универсальных природных объектов в разных лингвокультурах можно предположить и проследить много общих черт [ср. Кольовска 2014]. Однако общие черты касаются, по-видимому, самых общих категорий. Так, денотаты имен концептов ЛЕС / WALD в русском и немецком языках совпадают, в обеих лингвокультурах у данных концептов можно выделить общие универсальные признаки (вид леса, структура леса, состав леса, цвет леса, звук леса, влажность / сухость, богатство / продукты леса и т. п.) [ср. Бутерина 2008], имена концептов закономерным образом входят в схожие типы дискурсивных практик (научный дискурс, дискурс СМИ и т. п.). Более детальное рассмотрение вербализации признаков концептов выявляет, тем не менее, ряд отличий, например в способах вербализации и в номинативной плотности. В немецком языке при обозначении признаков концепта преобладает словосложение, например признак «вид леса» выражен в сложных существительных *Birkenwald*, *Tannenwald*, *Buchenwald* и др., для наименования видов леса в русском языке используется деривация, например *дубрава*, *ельничек*, *березняк*. Номинативную плотность в немецком языке по сравнению с русским можно проследить на примере единиц, обозначающих лес как объект защиты / охраняемый объект: *Bannwald*, *Dauerwald*, *Hegewald*, *Schonung*. В русском языке выявлено меньше наименований леса как объекта защиты, кроме того, лек-

семы *заповедник*, *заказник* обозначают, кроме лесных территорий, и акватории.

Формированию концепта как многомерной и культурно специфичной единицы способствует, по-видимому, и семантическое развитие единиц — имен концептов. В этом смысле продуктивными представляются наблюдения исследователей отечественной школы когнитивной семантики [Рахилина 2008; Кустова 2004]. Вектор семантического развития может быть определен на основе этимолого-семантического анализа, поскольку этимологию слова можно сравнить с его своеобразным языковым и культурно-историческим паспортом [Латушкина, Карамышев 2015: 134—135].

Существует так называемый *основной лексический фонд языка*, «единицы которого входят не только в разнообразные парадигматические и синтагматические отношения внутри языка, но связаны с важными для человека (и наиболее освоенными) ситуациями внеязыковой реальности» [Кустова 2004: 58]. Логично, на наш взгляд, отнести к этому фонду и имена таких значимых природных объектов, как ЛЕС. Слова основного фонда обладают неким семантическим потенциалом, восходящим к их этимонам и питающим новые значения. «Метафорическое значение использует концептуальную схему, извлекаемую, “экстрагируемую” из исходного значения и исходной ситуации» [Там же]. При этом важными для новых значений оказываются определенные признаки исходного значения или исходной ситуации. К таким признакам мы относим в первую очередь этимон лексемы, репрезентирующий концепт. Как будет показано ниже, эти этимоны различаются в русской и немецкой лингвокультурах.

К отличиям можно отнести и неравномерность фреймовой структуры концептов ЛЕС/WALD в русских и немецких специальных научных текстах и текстах энциклопедических словарей. В научном сознании представителей немецкой лингвокультуры фиксируется присутствие большего объема фрейма ЛЕС — ЧАСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ср. типичный, приводимый Бутериной [Бутерина 2008: 120—121] текст:

Die Stabilität der Waldökosysteme und die Vitalität der Waldbäume werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst: Witterung, Fruktifikation, Schadorganismen sowie vom Menschen verursachte Stoffeinträge in den Wald; nicht ausreichend ist allerdings die Verringerung der Stickstoffemissionen aus Landwirtschaft und Kraftfahrzeugverkehr. Demzufolge werden nach wie vor die Verträglichkeitsschwellen für unsere Waldökosysteme überschritten.

В научном сознании представителей русской лингвокультуры в большем объеме представлен фрейм ЛЕС — ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ, ср. типичные фрагменты из той же работы: *лес — жизненная среда для многих птиц и зверей, лесные экосистемы обеспечивают сохранение 70 % видов беспозвоночных животных, в лесах России обитает значительное число редких и охраняемых видов растений и животных* [Там же: 130, 208—209].

Специальное исследование Бутериной, содержащее богатый фактический материал, не охватывает, однако, сферу устойчивого употребления рассматриваемых концептов. Тем не менее именно в этой сфере используются наиболее типичные признаки концептов, устоявшиеся в языковом сознании представителей отдельных лингвокультур и образующие их специфику. Материалом анализа в настоящей статье являются устойчивые идиоматические языковые единицы, фразеологизмы и поговорки, рассматриваемые нами как источник этнокультурной информации, а в когнитивном аспекте — как единицы вторичной концептуализации [ср. Кулькова 2011; Кузьмина 2004]. К особенностям пословиц и поговорок исследователи относят к тому же бессубъектность, безадресатность, клишированность и прецедентность [Кулькова 2011].

Целью настоящей статьи является сопоставительный анализ фразеологизмов и пословиц, содержащих имя концепта ЛЕС / WALD. Материалом анализа послужили этимологические, семантические, фразеологические, толковые и двуязычные словари. В нашем анализе мы рассмотрим степень общности этимологической смысловой структуры единиц, деривацию этимологических образов, степень актуализации признаков концепта и их роль в мотивации, эмоциональные характеристики и коннотации.

Для внутренней мотивации идиоматических единиц существенными оказываются признаки концептов, входящие в их этимоны, — **существенные признаки**. В значении лексем, репрезентирующих концепты, эти признаки образуют интенционал. Для концептов ЛЕС / WALD можно выделить универсальные интенциональные признаки — это признак совокупности отдельных объектов (деревьев, кустарников) и признак большого количества объектов (деревьев, кустарников). Именно эти исходные признаки были впоследствии обобщены в концепт ЛЕС / WALD. Они связаны с первичным, «физическим» восприятием леса как целого, состоящего из большого количества объектов. В этих двух признаках проявляется так называемая память значения [ср. Кустова 2004: 199]: согласно этимологическим данным, современные значения слов *лес / Wald* восходят к более конкретным значениям («дерево, листва, кустарник»). Развитие цивилизации, которое привело к разделению природной среды и среды обитания человека, способствовало привнесению в концепт ЛЕС взаимосвязанных признаков «среда обитания диких животных», «неизвестность / опасность», «неосвоенность человеком» и «отсутствие культуры». Признак леса как среды обитания диких животных основан на наблюдениях за биосферой. Другие признаки связаны в большей степени с взаимодействием человека и леса. Так, признак неизвестности / опасности мотивирован конкретным опытом добывания в лесах пищи, дров, с опасностями, грозящими человеку в лесу (возможность заблудиться, пораниться, встретить диких хищных животных и т. п.). Признак неосвоенности человеком свя-

зан с тем фактом, что площадь лесов гораздо больше площади населенных пунктов, что означает существование на Земле довольно больших незаселенных территорий, где вероятность встретить другого человека чрезвычайно мала. Идея невозможности полноценного культурного развития человека вне социума или при ограниченном контакте с социумом проявляется в признаке леса как места, где культура отсутствует.

Признак **совокупности отдельных объектов** проявляется во внутренней форме пословиц с идентичной, на первый взгляд, смысловой структурой: *за деревьями не видеть леса* (посл. о мелочах, заслоняющих собою главное [Шведова 1998: 4897]) / *den Wald vor lauter Bäume nicht sehen* (*das Offensichtliche nicht sehen, keinen Durchblick haben; etwas, was man sucht, nicht sehen, obwohl es in unmittelbarer Nähe liegt*). Обращает на себя внимание тот факт, что в словарных толкованиях пословиц в русском «мелочи» занимают более сильную позицию, в немецком в сильной позиции «очевидное, искомое». Смысл русской пословицы, таким образом, в том, что кто-либо, уделяя внимание несущественным мелочам, не видит главного. Немецкая пословица говорит о том, что кто-либо не видит того, что у него перед носом, не видит очевидного. С позиций концептуального анализа, подразумевающего учет внутренней формы имен концептов, данные выражения могут быть объяснены следующим образом. Русское слово *лес* когда-то, по одной из версий историков языка, означало «дерево, дуб», косвенным подтверждением этого можно считать наличие параллелей в некоторых славянских языках и территориальных вариантах (словен. *les* 'дерево', воронез. *лес* 'дубовое дерево, дуб', полаб. *lós* 'лес, дерево', русск. разг. *лесина* 'одно дерево') [Черных 2006: 476—477]. По другой версии, *лес* родственен обозначению орешника: **lěščina* 'орешник': русск. *лещина*, укр. *ліщина*, болг. *лящина*, польск. *leszczyna* [Там же: 476—477]. Принимая во внимание этимологические данные, логично предположить, что концептуализация развивалась от наименования одного конкретного объекта к множеству, а затем к классу объектов: лес — это много деревьев/кустарников, наличие большого количества деревьев/кустарников есть существенный признак концепта ЛЕС. Мотивация русского фразеологизма прозрачна: не «видеть» — значит не понимать существенного [ср. Рябцева 2005: 225—244], отвлекаясь на незначительные детали, то есть на отдельные элементы целого, не уметь обобщать. Внутренняя мотивация пословицы «работает» на противопоставлении «части, элементы, детали» — «обобщение, целое».

В этимологии немецкой лексемы *Wald* прослеживаются следующие параллели: Г. Пауль называет лат. *vellere* 'rupfen' [Paul 1960: 719 f.], делая вывод, что *Wald* означает 'das gerupfte Laub' [см. также Kluge 1999: 872]. Ф. Клуге возводит происхождение лексемы к германскому корню **wal/u* и понимает исходное значение как *Büschel, Laubwerk, Zweige* [Ibid.]. Г. Пауль отмечает тот факт, что *Wald*

в немецком языке часто обозначает горы, покрытые лесом: *Bregenzer, Bayerischer, Böhmischer, Thüringer Wald, Schwarzwald* [Paul 1960: 719 f.]. Путь концептуализации имени концепта в немецком языке был, по видимому, в какой-то мере сходным: от наименования конкретного объекта к наименованию множества в целом и обобщению. Внеязыковая реальность расположения многих лесов на территории Германии на горах делает этот признак существенным в структуре концепта: лес для носителя немецкого языка — это часто и горы (большой размер, то, что хорошо видно). В структуре мотивации немецкой пословицы прослеживаются, таким образом, оба значения: «очевидное, то, что сложно не заметить (подобно горе)», «нужное человеку, то, что он ищет» (подобно веткам, связке хвороста). Внутренняя мотивация пословицы «работает» на противопоставлении «большое, очевидное, хорошо заметное, важное» — «множество деталей».

Концептуальный признак **леса как большого количества чего-либо** проявляется как в русской, так и в немецкой идиоматике. Русское выражение (*чем*) *дальше в лес, (тем) больше дров* означает нарастание сложностей / неожиданностей по мере погружения в ситуацию [ср. Шведова 1998: 14918]. Прозрачность мотивации базируется на хозяйственном опыте заготовки дров, которых действительно больше по мере удаления от жилища, то есть вглубь леса. Негативные коннотации обусловлены увеличением усилий по транспортировке этих дров к дому (время, отсутствие дороги, возможность заблудиться, тяжесть и т. п.). В данном выражении *лес*, а точнее, *поход в лес за дровами* метафорически переосмысливается как «жизненная ситуация, проблема, требующая решения». Этимологический признак количества, входящий, как было отмечено, в интенционал лексемы ЛЕС, переносится в импликационал лексемы ДРОВА, основное значение которой «собираемость». При этом происходит метонимический перенос по функции: нарастание сложности по мере увеличения количества. Среди имплицированных метафорических смыслов есть признаки исходной ситуации: трудность доставки дров / решения проблемы.

В немецкой идиоматике концептуальный признак *Wald* как большое количество проявляется иначе. Выражение *einen ganzen Wald ab-sägen* ('laut schnarchen') [Röhrich 1991: 1691] построено на сходстве звуков пилы и храпа. Мотивация достаточно прозрачна, она акцентирует интенсивность и продолжительность действия *schnarchen*: громкость звучания пилы (похоже на храп) и большое количество деревьев в целом лесу (нужно долго пилить, пока все не перепилишь). Метафоризация имеет ассоциативный характер, что создает яркий образ, отсутствующий в русской лингвокультуре. Совмещаются две сферы: имплицативная в лексеме WALD (сфера деятельности человека в лесу) и имплицативная в репрезентанте концепта СОН (храп не входит в интенционал этого концепта, представляя его фа-

культуративный признак). Совмещение двух имплицативных признаков создает необычную образность.

В соответствии с тенденцией так называемого семантического выветривания направление семантического развития лексической единицы движется от конкретного значения к абстрактному и далее к утрате конкретного значения, превращения в некий показатель [см. Кустова 2004: 199]. Такое развитие претерпевает лексема *Wald*, которая используется как показатель большого количества чего-либо (ср. *Krähenwald, Paragraphenwald, лес нефтяных вышек, лес фук*). В выражении *nicht für einen Wald voll Affen (unter keinen Umständen, um keinen Preis)*, являющемся калькой с английского отрывка пьесы У. Шекспира «Венецианский купец» *'I would not have given it for a wilderness of monkeys'*, лексема *Wald* лишь показатель большого количества и средство экспрессивного противопоставления (Порция обменяла дорогое для Шейлока кольцо на обезьянку, в ответ на что он приносит упомянутую фразу). Свидетельством того, что в современном немецком языке концептуальные признаки леса в данном выражении несущественны, служит синонимичное и более предпочтительное *nicht für einen ganzen Stall voll Affen* [Universalexikon].

Признак леса как среды обитания диких животных проявляется в русских пословицах довольно отчетливо: *медведь в лесу, а шкура продана* — 'пословица о тех, кто делит между собой доходы, выгоды, которых еще нет, а возможно и вообще не будет' [Шведова 1998: 4897], имплицитно подразумевает смыслы типа: медведь не пойман, а находится в своей естественной среде обитания, поймать медведя сложно и т. п. В пословице *как волка ни корми, всё в лес смотрит* мотивация прозрачна: несмотря на достаточное количество пищи, волку важна его среда обитания — лес. Эта ситуация переносится на другую, более обобщенную: кто-то не может до конца отказаться от привычного образа жизни, несмотря на, казалось бы, создаваемые для него хорошие условия. Через использование лексемы *волк* реализуется противопоставление «дикий — культурный». Интересно, что в данном выражении глагол развивает новое значение: *смотрит* означает *хочет уйти*. Такое же значение актуализируется в поговорке *глядеть (или смотреть) в лес* — 'тяготаясь местом работы или местом пребывания, намереваясь его оставить, покинуть'.

Концептуальный признак леса как объекта приложения хозяйственной деятельности человека актуализован в следующих русских пословицах. *Лес рубят — щепки летят* — пословица о том, что всякое большое дело не обходится без жертв. ЛЕС имплицитно здесь интенциональный признак большого количества, воспринимаемого как большой объем; в импликационал концепта входит несущественный признак незначительного объема щепки. На этой антитезе создается метафорический смысл оправдания жертвенности в других областях деятельности. В немецком языке аналогично используется образ, ассоциированный с лесом, поскольку работа рубанком предполагает

снятие стружки с древесного объекта: *Wo gehobelt wird, da fallen Späne* [Langenscheidt 1994: 212]. Различие обусловлено культурно-исторически: в русской изначально сельской культуре дрова использовались для отопления и вырубка леса расценивалась как жизненная необходимость, по сравнению с которой щепки не принимались в расчет. В немецкой культуре большое значение придается ремесленно-цеховой деятельности, которую и отражает пословица.

В пословице о неслаженных, несогласованных действиях, о разном в делах *кто в лес, кто по дрова* эксплицирована и сама хозяйственная деятельность — в лес ходят за дровами. Мотивация основана на том, что люди, делая формально одно дело (идут в лес и дрова рубят в лесу), разобщены. «Идти в лес» имплицитно не обязательно сбор дров, это может быть сбор ягод, трав, охота и т. п., то есть множественные импликации противопоставляются единичной. В немецком языке для выражения аналогичного смысла используется образ, не связанный с лесом: *der eine sagt hü, der andere hott* [Langenscheidt 1994: 212].

С концептом WALD в немецком языке связана идея «дикого, опасного» места. Так, разбирая этимологию лексемы *Wald*, Ф. Клуге и Г. Пауль указывают на ее близость с *wild* [см. Kluge 1999: 280; Paul 1960: 719 f]. Этот признак оттеняется наличием лексемы *Forst*, исходное значение которой определяется как нечто огороженное “*Zaun, Eingezüuntes*” [Paul 1960: 199]. Комментируя это значение, Клуге пишет: “*Gemeint ist der gehegte Forst im Gegensatz zum wilden Wald*” [Kluge 1999: 280]. Признак неизвестного / опасного проявляется в немецком фразеологизме *jemanden in den Wald wünschen* (‘jemanden verwünschen’) [Röhrich 1991: 1691], что буквально значит «желать, чтобы кто-то оказался в лесу». Фразеологизм имплицитно означает «будет один в опасном месте / не будет уверен в своей безопасности / не получит помощи в случае опасности / сгинет и т. п.». Тот же признак задействован в смысловой структуре русской пословицы *Волков бояться — в лес не ходить*, смысл которой, однако, направлен на преодоление страха перед неизвестным. ЛЕС не имеет здесь отрицательной коннотации. Прагматический потенциал пословицы носит положительный характер, в русском языке это способ ободрить кого-либо, придать решимости. Аналогичная пословица немецкого языка связана с другой образностью: *Wer Honig schlecken will, darf die Bienen nicht scheuen* [Langenscheidt 1994: 72].

Признак неосвоенности человеком присутствует в выражении *auf dem Holzweg sein* (‘im Irrtum sein’) [Röhrich 1991: 1691] скорее косвенно. Внутренняя мотивация основана на представлении о «нехожих тропах» как о путях, уводящих в сторону от цели, имеет место импликация «трудный неизведанный никем путь часто является ошибочным».

Признак отсутствия культуры проявляется в следующих немецких единицах: *im Walde aufgewachsen sein* (‘kein gesittetes Benehmen

haben'), *im Wald wohnen* ('dumm sein'), *sind wir im Wald?* (Mahnung), *Hinterwäldler* ('weltfremder, rückständiger [und bäurischer] Mensch') [Röhrich 1991: 1691]. В первом случае номинативный акцент проясляет недостаточный социальный опыт (вырасти в лесу — значит вырасти вдали от людей, вдали от культуры), имеющий следствием отсутствие воспитанности, плохое владение нормами поведения, принятыми в обществе. В таком же ключе следует понимать и призыв вести себя в соответствии с нормами поведения (*sind wir im Wald?*). Во втором выражении отсутствие социализации имплицитно означает отсутствие ума. Такое развитие значения основано, по-видимому, на идее обучения / развития умственных способностей среди себе подобных, то есть также среди людей, в обществе. Те же импликации присутствуют и в единице *Hinterwäldler*. В русском языке признак отсутствия культуры и его следствие, неспособность разбираться в каких-либо вещах, можно выделить в выражении *Как в лесу (разг.)* — 'ничего не понимая, ни в чем не разбираясь' [Шведова 1998: 4897].

Таким образом, проведенное сопоставление фразеологических единиц и паремий немецкого и русского языков, содержащих компонент ЛЕС/WALD, позволяет сделать следующие выводы. В устойчивых выражениях актуализируются как универсальные интенциональные признаки концептов, заложенные уже в их этимонах репрезентирующих их лексем, так и признаки, привнесенные в эти репрезентанты в процессе диахронического развития. Вектор развития устойчивых выражений с этими компонентами совпадает в немецкой и русской лингвокультурах лишь частично. В русском языке важными оказываются признаки леса как среды обитания диких животных и как места хозяйственной деятельности человека. Концепт ЛЕС, как правило, не получает в этих выражениях отрицательных коннотаций, даже если они имплицитно означают опасность. В немецком языке более востребованным оказывается признак леса как дикого, безлюдного места, восходящий к противопоставлению первоначальных репрезентантов WALD — FORST. На этом основано и более негативное восприятие леса в немецкой лингвокультуре. Экологический аспект восприятия леса как природного объекта, нуждающегося в защите, широко представлен в современном немецкоязычном дискурсе; этот аспект не нашел пока отражения ни во фразеологическом фонде, ни в паремиях.

Литература

- Бутерина 2008 — Бутерина О. В. Представление концепта «ЛЕС» в русских и немецких лингвокультурных источниках: Дис. ... канд. фил. наук. Саратов, 2008.
- Карасик 2004 — Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004.

- Кольовска 2014 — *Кольовска Е. Г.* Природно-ландшафтный код русской культуры в аспекте лингводидактики: Автореф. дис. ... канд. филологических наук. М.: МГУ, 2014.
- Кустова 2004 — *Кустова Г. И.* Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Латушкина, Карамышев 2015 — *Латушкина О. Л., Карамышев Е. А.* Лексический инвариант английского слова “tree” в диахронической плоскости // Вопросы когнитивной лингвистики. 2015. № 3. С. 133—137.
- Рахилина 2008 — *Рахилина Е. В.* Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М.: Русские словари, 2008.
- Рябцева 2005 — *Рябцева Н. К.* Язык и естественный интеллект. М.: Academia, 2005.
- Черных 2006 — *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 2006.
- Шведова 1998 — *Шведова Н. Ю. (общ. ред.).* Русский семантический словарь. М.: Азбуковник, 1998.
- Kluge 1999 — *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin. New York, 1999.
- Langenscheidt 1994 — *Langenscheidts Taschenwörterbuch Russisch. Russisch-Deutsch, Deutsch-Russisch.* Von Stanislaw Walewski und Prof. Dr. Erwin Wedel. Berlin; München; Wien; Zürich; New York: Langenscheidt, 1994.
- Röhrich 1991 — *Röhrich L.* Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Freiburg; Basel; Wien, 1991.
- Paul 1960 — *Paul H.* Deutsches Wörterbuch. Halle (Saale), 1960.
- Universal-Lexikon — Universal-Lexikon. [Электронный ресурс] (Режим доступа: http://universal_lexikon.deacademic.com/278091/Nicht_für_einen_Wald_voll_Affen — Дата обращения: 30.01.2016).

ZUSAMMENFASSUNG

Das Konzept ЛЕС / WALD in russischen und deutschen Phraseologismen und Sprichwörtern

Der Artikel widmet sich der vergleichenden Analyse von russischen und deutschen Phraseologismen und Sprichwörtern, die Repräsentanten der Konzepte ЛЕС/WALD enthalten. Bei der Analyse werden Etymologie der Repräsentanten, die Besonderheiten der Konzeptualisierung, Metaphorisierungsprozesse, Emotionalität und Expressivität berücksichtigt. Die Unterschiede des Gebrauchs werden durch etymologische Basis, unterschiedliche Wichtigkeit der konzeptuellen Merkmale und Erfahrung verdeutlicht.

О. И. БЫКОВА

(Воронежский государственный университет)

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДИАМЕДИАЛЬНОЙ ВАРИАТИВНОСТИ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ

Вариативность как фундаментальное свойство языковой системы находит проявление в подвижности и изменчивости аспектов языковой дифференциации. Проблема диамедиальной вариативности функционирования немецкого языка представляет интерес с позиции междисциплинарной германистики, предполагающей анализ явлений языка в зонах контакта с науками гуманитарного цикла: семиотикой, социологией, историографией, политикой, культурологией, медиатеорией.

В условиях плюрицентризма функционирования современного немецкого языка владение многими вариативностями может быть охарактеризовано как *внутреннее многоязычие* (innere Mehrsprachigkeit) в отличие от *внешнего многоязычия* (äußere Mehrsprachigkeit), когда коммуникант общается кроме родного языка на других иностранных языках [Kellermeier-Rehbein 2014: 19].

Язык представляет собой конгломерат отдельных вариативностей его употребления, что свидетельствует о внутренней гетерогенности (innere Heterogenität) языка и потенциально способствует изменениям в языке. «Diese innere Heterogenität historischer Einzelsprachen kann nun entweder als Motor für Sprachwandel betrachtet werden, oder <...> als Bedingung der Möglichkeit von Sprachwandel» [Linke 1991: 380]. Лексическая подсистема языка, как известно, является самой подвижной, динамичной, т. к. именно, прежде всего, в ней находят отражение явления жизнедеятельности коммуникантов, культурно обусловленные изменения в общественном устройстве языкового сообщества. Как полагает О. И. Москальская, «<...> ни одно слово языка не остается вне системы оппозиций, отражающих различные аспекты языковой дифференциации» [Москальская 1969: 61]. Автор предлагает рассматривать 4 оппозиции лексики: 1) лексика литературного языка — лексика различных нелитературных форм языка (диалекты, разговорное просторечие, профессиональное просторечие, жаргоны); 2) лексика немецкого национального литературного языка — лексика австрийского варианта национального немецкого

языка — лексика швейцарского; 3) лексика нетерминологическая — лексика терминологическая; 4) лексика нейтрального стиля нетерминологического слоя литературного языка — стилистически экспрессивная лексика (лексика поэтического стиля, официального, делового стиля, эмоциональная лексика) — лексика литературного, разговорного стиля речи. В то же время О. И. Москальская отмечает, что данная классификация лишь в общих чертах охватывает различные стороны языковой дифференциации, которая в действительности гораздо сложнее, что свидетельствует о подвижности и изменчивости аспектов [Там же: 63].

Внутрисистемная значимость единиц языка и динамика развития семантики обусловлены проявлением вариативности употребления языковых единиц: диахронической, диатопической, диастратической и диамедальной. Вариативность определяется с позиции теории множеств как множество вариантов, потенциал для вариации отдельных элементов (вариантов): “**Variabilität** ist eine Menge d. Varianten (mengentheoretisch) <...> Potenzial zur Differenzierung v. etw. Konstantem meint, dass natürliche Sprachen das Potenzial für Variationen ist die Voraussetzung, muss noch nicht variieren”. “**Variation**, Möglichkeit wird prozesshaft realisiert od. aktualisiert”. “**Varianten** sind Elemente einer Varietät” [Löffler 2010: 23].

Заслуживает внимания социолингвистическая модель вариативности, предложенная Х. Лёффлером [Там же: 79], представляющая собой комплексное сплетение (Geflecht) различных вариативностей языка, континуум отдельных «лектов» (Lekte) (диалектов, функциолектов, медиолектов, идиолектов, ситуолектов, социолектов) в зависимости от внеязыковых факторов вариативности, что, на наш взгляд, может свидетельствовать о междисциплинарном характере форм проявления языка. В случае функциолектов (Funktiolekte) вариативность опирается на различные функции в разных регистрах (Alltagssprache, Pressesprache, Behördendeutsch). Медиолекты (Mediolekte) представлены двумя видами вариативности: письменного и устного языка. Сюда же относятся и различные смешанные типы, как имеющие письменную базу квазисинхронной коммуникации в новых медийных средствах (Chat, SMS). Идиолекты (Idiolekte) обусловлены личностной спецификой способов выражения информации в межличностном общении. Ситуолекты (Situolekte) обозначают вариативности в различных ситуациях общения: разговор с друзьями или официальная речь. Возрастными и гендерными характеристиками коммуникантов обусловлены Alterssprachen, Genderlekte. Социолекты (Soziolekte) охватывают очень большое количество различных типов вариативностей, характеризующих различные социальные слои, принадлежность к профессии, круг интересов. Таким образом, в представленной модели речь идет о различных уровнях абстракции (Abstraktiosebenen). Эта модель демонстрирует наличие трудностей отграничения типов вариативностей, то есть отдельные

вариативности могут быть соотнесены со многими типами. С другой стороны, отдельные типы часто представляют негомогенные структуры и в свою очередь состоят из более мелких субсистем. Так, научный язык (*Wissenschaftssprache*) может быть реализован в зависимости от типа коммуниканта (эксперт или любитель) в устной и письменной форме. В этом отношении именно диамедиальная вариативность языковых единиц может быть рассмотрена как центральная категория, включающая все признаки диахронической, диатопической, диастратической вариативности функционирования языковых единиц.

В рамках широкой антропоцентрической парадигмы исследование языковых сущностей и динамичности их проявления предполагает рассмотрение взаимообусловленности функционирования в дискурсе системных микроструктур и макроструктур дискурса.

Прагматика и семантика не могут быть отграничены друг от друга. Речь идет о взаимообусловленности макроструктур дискурса, типов текстов и микроструктур дискурса, в том числе смыслообразующих семантических языковых единиц.

Согласно дискурсивной теории В. И. Карасика, дискурс, как многомерное образование, включает следующие конститутивные признаки: «<...> участников, условия, способы и материал общения, т. е. людей в их статусно-ролевых и ситуационно-коммуникативных амплуа, сферу общения и коммуникативную среду, мотивы, цели, стратегии, канал, режим, тональность, стиль и жанр общения, знаковое тело общения (тексты и/или невербальные знаки)» [Карасик 2000: 6].

Дискурс выступает источником новаций, которые преобразуют языковую системность в микро- и макросферах, он обеспечивает взаимодействие системного, узуального и инновационного начал языка. В дискурсе рождаются новые формы, новые значения, новые функции с возможностями их дальнейшего закрепления в системе языка. На необходимость интегративного подхода, методологического сдвига, способствующего выявлению и более адекватному описанию «наносмыслов» анализируемого слова, указывает Н. Ф. Алефиренко: «<...> факторами такого методологического сдвига являются интенсивное развитие лингвистической семантики, “зрелость” лингвопрагматики и лингвокультурологическое освоение категории дискурса. <...> Методологический сдвиг при этом ориентирован на выявление имплицитных наносмыслов в составе дискурсивной семантики слова» [Алефиренко 2006: 40]. В дискурсивной деятельности могут появляться новые смыслы, неэксплицируемые системой языка [Там же: 102—110]. Рассуждая о важности поворота лингвистических исследований в лингвистической теории смысла, которая «традиционно связывала его с формированием внутри слова или выражения», В. А. Маслова подчеркивает, что сейчас эта «теория переросла в идею формирования смысла в исторически обусловленных дискурсивных формациях» [Маслова 2008: 51].

Предпосылками необходимости такого изучения являются следующие положения:

- Дискурс как компонент определенной социальной деятельности людей и особая форма использования языка интенционален, отражает намерение говорящего и его ментальность [Кубрякова 2004: 527—528].
- В отличие от идеального статуса языковой системы дискурс имеет статус реального существования языка [Маслова 2008: 47].
- В дискурсе реализуются средства языка, потенциально заложенные в его системе.
- Дискурс связан с прагматическими, социокультурными и психологическими факторами.
- Дискурс позволяет выявить и объяснить скрытые смыслы и «неизбежно выводит на культурно маркированные обстоятельства и формульные модели поведения, имеющие социально-групповую либо этнокультурную значимость» [Карасик 2007: 350].

Культурная рефлексия в разных типах дискурса релевантна при порождении дополнительного смысла единиц языка и определяет принципы появления и моделирования новой лексики.

Изучение дискурсивно обусловленных языковых сущностей, форма и содержание которых не только определяются дискурсом, но и одновременно являются, по мнению немецкого лингвиста Х. Куссе, заданностью (*Vorgabe*), предполагает, что вариативность языковых, текстотипологических и дискурсивных объектов может быть объяснена исходя из их (языковых сущностей) значений (инвариантности) [Kuße 2012: 98]. В трактовке Х. Куссе это явление обозначено как “*partieller Kontextualismus*”: “*Die Sprachbeschreibung im partiellen Kontextualismus setzt vier Ebenen der Invarianz voraus, mit denen die pragmasemantische Invarianz eines sprachlichen Objektes, vorzugsweise eines Lexems oder einer grammatischen Form, in der konkreten Äußerung interagiert. Es sind dies die Invarianz von Sprechhandlungen, die Invarianz von Textsorten, die Invarianz von Diskurstypen und die Invarianz der außersprachlichen Situation der Äußerung*” [Kuße 2014: 49].

В дискурсе реализуются средства языка, заложенные в его системе. Как показывают корпусные данные немецких семантических единиц, «<...> нормы сочетаемости слова подвержены постепенным изменениям, которые со временем приводят к сдвигам в семантике и прагматической характеристике, а в отдельных случаях — к модификации семантической структуры слова вплоть до появления новых и утраты старых» [Карпов 2015: 147].

Одним из языковых механизмов пополнения номинативного инвентаря языка является вторичная номинация. Способы вторичной номинации различаются в зависимости от языковых средств, используемых при создании новых имен, и характера соотношения «имя — реальность». В соответствии с характером указания имени на действительность принято различать два типа вторичной номи-

нации: автономную и неавтономную [ЛЭС 1990: 336.]. Первая протекает на базе одного имени. При этом вторичные значения слов, обретая самостоятельную номинативную функцию, способны автономно указывать на действительность. Различные значения одного и того же слова не варьируют, а аккумулируются в слове как основное и переносное значение.

Для иллюстрации проявления автономной вторичной вариативности рассмотрим следующие примеры:

(1) В первичной номинации:

Die Drohne, “Männchen der Honigbiene mit etwas größerem plumpe Körper, das aber keinen Stachel besitzt. Sich überwiegend von den Arbeitsbienen füttern lässt” [DUW 1996: 366].

Во вторичной номинации:

“**Eine Drohne** ist ein unbemannter Flugkörper, der zur Aufklärung, aber auch zum Kampf eingesetzt wird” [Der Sprachdienst 4—5/13: 210].

“**Die Drohne** ist ein unbemanntes Luftfahrzeug, das für verschiedene, meist militärische Zwecke genutzt werden kann” [Wörter des Jahres. Der Sprachdienst 2013 1/14: 15].

(2) В первичной номинации:

Der Erdrutsch — “[plötzliche] Abwärtsbewegung großer Erdmassen an einem Hang” [DUW 1996: 447].

Во вторичной номинации:

“In den Medien: “Das Wahlergebnis hatte etwas von einem gewaltigem Naturereignis und dabei den Charakter des nicht unbedingt Erwartbaren. Das scheint auch sehr seriösen Medien wie FAZ und ZEIT so einzuleuchten, dass man sogar dort regelmäßig von *Erdrutschsiegen* liest. Besonders merkwürdig ist im Zusammenhang mit dem **Erdrutsch** als sprachlichem Bild dann aber vor allem eines: Es gibt zwar neben Wahlsiegen auch krachende Wahl Niederlagen, die allerdings niemand als Erdrutschniederlagen bezeichnet” [Der Sprachdienst 4/14: 188].

Отличительным признаком неавтономной вторичной номинации является использование комбинаторной техники в языке в процессе формирования новой единицы, например:

sozial abfedern: “Bereits 1989 war — im Zuge seit Jahren geführten Diskussion um den *Ladenschluss* — davon die Rede gewesen, bestimmte Härten bei den Arbeitszeiten **sozial abzufedern**” [Duden. *Thema Deutsch*. 2003. Bd. 4: 268].

“**Generation Golf**” ist der Titel eines Bestsellers des deutschen Autors Florian Illies (1971) aus dem Jahr 2000. Die “Golfer” sind die Kinder der ersten Babyboomer und die Nachfolger der Generation X. Die “Golfer” sind laut Illies im Gegensatz zur Generation X konsumorientiert, modebewusst, hedonistisch und unpolitisch. Als Symbol ihres gehobenen Markenbewusstseins stellte Illies den VW Golf in den Buchtitel, das automobiler Statussymbol für die Mehrheit der Abiturienten seiner Zeit” [Seidel 2008: 211].

Наши наблюдения за инновациями в немецкоязычном культурном пространстве за последние пять лет подтверждают значимость дискурсивной обусловленности функционирования лексики.

Чаще всего это происходит в текстах, тематика которых связана с общественной, политической жизнью, в политическом дискурсе и текстах СМИ как наиболее популярных. Распространенным в немецкоязычном политическом дискурсе являются новообразования: атрибутивные композиты с компонентом **Rettung-** в качестве определяющего слова (*das Bestimmungswort*). Так первое место среди слов 2012 г. занимает:

die Rettungsroutine:

(1) “<...> Tatsächlich beschreibt die besagte *Rettungsroutine* nämlich weder eine echte Rettung (zumindest ist bislang kein Ende der Krise in Sicht) noch kann vermutlich davon die Rede sein, dass im Umgang mit der *Euro-Rettung* eine Routine eingekehrt wäre”. “<...> So spiegelt das Wort *Rettungsroutine* beim Umgang mit derzeitigen wirtschaftlichen Lage nicht nur das fachgerechte, erfahrene, kompetente und situationsangemessene Verhalten, sondern auch in gewisserweise eine Rettungsmüdigkeit aufgrund der Dauerkrise” [Rüdebusch 2013: 1].

(2) “<...> Sie bezeichnet als Fachwort aus der Informatik und Computertechnologie zunächst ein Programm, das bei einem Absturz des Computers den Datenverlust verhindert, indem es die Daten automatisch, sozusagen routinemäßig sichert” [Ibid.: 2].

Der Rettungsschirm:

“Ein in dieser Perspektive auffällig euphemisierend angelegtes Gelegenheitskompositum ist der Begriff **Rettungsschirm**, der im öffentlichen Diskurs ein Konglomerat komplexer Strukturen wie *Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM)*, *Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFStF)*, *Europäischer Stabilisierungsmechanismus (ESM)* und *Europäischer Fiskalpakt* repräsentiert, Wortbildungen, die schon von ihrer Komplexität her einer breiten Öffentlichkeit schwer oder gar nicht vermittelbar sind. Semantisch fließen hier Schutz vor existentieller Bedrohung <...>, dann aber auch der wirtschaftliche Begriff <...>, der eine Schulden- bzw. Haftungsübernahme durch Dritte bezeichnet <...>” [Welbers 2013: 61].

В Австрии с 2012 года в сфере обозначений особенностей функционирования транспортных средств стало популярным слово **die Rettungsgasse:**

“So ist seit Anfang 2012 in Österreich Pflicht, bei Stau auf mehrspurigen Straßen einen Fahrweg für die Rettungskräfte freizulassen; die *Rettungsgasse*” [Rüdebusch 2013: 18].

В телекоммуникации можно наблюдать проявление вариативности номинаций:

drosseln:

“Durch die Reihen der Internetnutzer ging ein Aufschrei der Entrüstung, als ein bekannter grellfarbener deutscher Internet- und Telefonanbieter ankündigte, in nicht allzu ferner Zukunft für Neukunden

die Internet-Übertragungsgeschwindigkeit zu **“drosseln”**, sobald eine bestimmte Datenmenge überschritten wird”. <...> Die Vermutung liegt nahe, dass diese Bedeutung an den schwindenden Atem beim (*Er-*)*Drosseln* angelehnt sein könnte. Später wurden das Verb und seine Bedeutung auf das Herabsetzen der Leistung einer Maschine übertragen, so wurde die Leistung eines Autos etwa reduziert, indem man es drosselte. Hieraus wurde bald die Bedeutung, die auch heute weit verbreitet ist, nämlich “die Zufuhr von etw. verringern” bzw. allgemeiner noch, herabsetzen, einschränken’. In diesem Sinne wird es nun auch im Zusammenhang mit der angekündigten Einschränkung der Daten-Übertragungsgeschwindigkeit verwendet: Die Nutzung des Internets wird für denjenigen, der nicht bereit ist, mehr zu zahlen als bisher, eingeschränkt” [Zeit-Wörter. Der Sprachdienst 3/20136 134—135].

Интересно проявление лингвокультурной специфики с позиции семиотики при употреблении существительного **die Drossel** в сфере телекоммуникации для обозначения логотипа телекомпании с низким тарифом оплаты (в расщелку):

“So wurde **die Drossel** (der Vogel) zum neuen Wappentier der Telekom erkoren, wenngleich sie — wie wir nun wissen — von dem dahinter stehenden technischen Sachverhalt ebenso wie von dessen Sinngehalt völlig unberührt ist. Und schon sprechen nicht nur Vogelliebhaber von einer bislang unbekanntem Art: der *Flachrate-Drossel*” [Ibid.].

В данном случае актуализируется знаковая функция, знака особого, индексального типа на основании связи означающего и означаемого, смежности пересечения, когда означающее является частью означаемого.

Новообразование **der Audimaxismus** зафиксировано как австрийское слово 2009 года (Österreichisches Wort des Jahres 2009):

“2009 entstand in Österreich eine neue Studierendenbewegung, die mit der Besetzung des großen Hörsaals der Universität Wiens (Auditorium Maximum) begann. Aus dem Namen des Hörsaals, der auch abgekürzt *Audi Max* genannt wird, wurde dann das österreichische Wort des Jahres abgeleitet. Zum Wort des Jahres wurde es deshalb gewählt, weil durch diese Bewegung erstmals seit langem wieder ernsthaft über Bildung diskutiert wurde. Der Begriff ist eine “kreative Schöpfung” und steht vor allem für den Wunsch der Studierenden, die Studienbedingungen maximal zu verbessern und bei der Politik Gehör zu haben” [Muhr 2009].

Среди популярных слов 2013 года компетентным жюри была выделена аббревиатура для обозначения Большой коалиции партий Германии Христианско-демократического союза / Христианско-социалистического союза (CDU/CSU) и Социалистической партии Германии (SPD):

GroKo:

“Es handelt sich erstens um ein Kurzwort, wie es besonders häufig in sozialen Netzwerken gebildet und verwendet wird. Was das Wort bezeichnet, ist keineswegs neu, denn *GroKo steht für* ‘Große Koalition’, also

eine Koalition aus den beiden Parteien CDU/CSU und SPD, die es auf Bundesebene bereits zwei Mal gab” [Frank 2014: 2]

Таким образом, нам представляется возможным говорить о широком понимании и значимости современной компаративистики и как базовой методологии науки о языке, и как теории и практики межкультурной коммуникации. Лингвистика в ее трансдисциплинарном толковании не может не учитывать взаимосвязь факторов проявления диамедальной вариативности в языке и может в перспективе исследований найти применение при обнаружении межъязыковой лакунарности в лексике и интерференции.

Литература

- Алефиренко 2006 — *Алефиренко Н. Ф.* Когнитивно-семиологические аспекты лингвокультурологии // Вопросы когнитивной лингвистики. № 1. Тамбов, 2006.
- Карасик 2000 — *Карасик В. И.* О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. Волгоград: Перемена, 2000. С. 5—20.
- Карпов 2015 — *Карпов В. И.* Рецензия на: *Добровольский Д. О.* Беседы о немецком слове. *Studien zur deutschen Lexik*. М.: Языки славянской культуры, 2013 // Вопросы языкознания. 2015. № 2. С. 145—149.
- Кубрякова 2004 — *Кубрякова Е. С.* Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М., 2004.
- ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Ярцевой. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1990.
- Маслова 2008 — *Маслова В. А.* Современные направления в лингвистике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2008.
- Москальская 1969 — *Москальская О. И.* Вариантность и дифференциация в лексике литературного немецкого языка // Норма и социальная дифференциация языка. М.: Наука, 1969. С. 57—69.
- Kellermeier-Rehbein 2014 — *Kellermeier-Rehbein B.* Plurizentrik. Einführung in die nationalen Varietäten des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, 2014.
- Kuße 2012 — *Kuße H.* Kulturwissenschaftliche Linguistik. Eine Einführung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & CO: KG, 2012.
- Kuße 2014 — *Kuße H.* Partieller Kontextualismus: zur Logik und rhetorisch-diskursiven Funktionalität koordinierender Konjunktionen im Deutschen und Russischen // *Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов*. Т. XI. М.: Языки славянской культуры, Знак, 2014. С. 44—60.
- Linke et al. 1991 — *Linke A., Nussbaumer M., Portmann P. R.* Studienbuch Linguistik. Tübingen: Niemeyer, 1991.

Löffler 2010 — *Löffler H.* Germanistische Soziolinguistik. 4. neu bearb. Aufl. (= Grundlagen Germanistik 28). Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2010.

Источники примеров

- DUW 1996 — Duden Deutsches Universal Wörterbuch. 3. völlig neu bearb. und erw. Aufl. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverl., 1996.
- Duden 2003 — Thema Deutsch. Von “aufmüpfig” bis “Teuro”. — Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 2003. Bd. 4.
- Erdrutsch — Der Sprachdienst 4/2014, Jahrgang 58. S. 188.
- Frank 2014 — *Frank N.* Wörter des Jahres 2013 // Der Sprachdienst 1/2014, Jahrgang 58. S. 1—16.
- Muhr 2009 — *Muhr R.* Die Österr. Wörter 2009. [Internetquelle] URL: <http://www-oedt.kfunigraz.ac.at/oewort/2009/index2009.htm> (Datum d. Recherche: 30. 08.2013).
- Rüdebusch 2013 — *Rüdebusch F.* Wörter des Jahres 2012 // Der Sprachdienst, 1/2013, Jahrgang 57. S. 1—19.
- Seidel 2008 — *Seidel W.* Wo die Würfel fallen. Worte, die Geschichte machten. München: Deutscher Taschenbuchverlag GmbH & Co. KG, 2008.
- Welbers 2013 — *Welbers U.* Religiöse Welt-Ansichten. Zur sprachlichen Repräsentation religiöser Semantik // Der Sprachdienst 2/2013, Jahrgang 57. S. 60—72.
- Zeit-Wörter — Der Sprachdienst 3/2013. S. 134—135.

ZUSAMMENFASSUNG

Interdisziplinärer Charakter der diamedialen Variabilität im Wortbestand des Gegenwartsdeutschen

Die diamediale Variabilität der sprachlichen Entitäten erscheint als relevante Kategorie, die auch Merkmale der diachronischen, diatopischen und diastratischen Variabilitäten einschließt und potentiell den Sprachwandel im Wortbestand herbeiführen kann. Im Diskurs offenbart sich die Wechselbeziehung zwischen den sprachsystemimmanenten, usuellen und innovativen Gebrauchsbedingungen, die das Zustandekommen der Wortschatzerweiterung resultieren. Dabei können die Mikrostrukturen des Diskurses unter dem Einfluss der Makrostrukturen von Diskursen und Texttypen umgewandelt werden. In der diskursiven Tätigkeit der Kommunikanten können innovative Möglichkeiten der Sprache aktualisiert werden. Der interdisziplinäre Charakter der diamedialen Variabilität der Sprachmittel kann aus der Sicht der weiten Auffassung der kontrastiven Germanistik im Rahmen des integrativen Ansatzes bei der Untersuchung von Neuerscheinungen in der Lexik des Deutschen berücksichtigt werden.

Т. В. ГРЕЧУШНИКОВА

(Тверской государственной университет)

**НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА
VS ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
КОМПАРАТИВИСТСКИЙ ВЗГЛЯД
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ**

Стремительный темп современной коммуникации и алгоритмы клипового мышления в восприятии, в том числе и литературно-художественной информации, обусловили предпочтения в экспериментальном текстопостроении конца XX — начала XXI в. Минимизация текста, активное (если не определяющее) присутствие визуального и/или акустического компонента, оптимизация коммуникативных стратегий с претензией на универсальность — все это представляется мегаинновационным. Но при пристальном рассмотрении в этом новом обнаруживается немалая доля «хорошо забытого старого». Достаточно обратиться к немецкоязычной экспериментальной поэзии XX в., чтобы проследить узнаваемые тенденции и приемы, обусловленные как интернационализацией авангарда, так и национальной спецификой немецкоязычных государств.

Графика и акустика, основательно потеснившие в творчестве авангардистов семантику, должны были стать воплощением в том числе и наднациональной свободы языка и слова. «Прямо-таки программными становятся разъединение слов и их высвобождение из неизменных грамматических структур, регулирующих их отношения, попытка вернуть им их изначальный блеск, изобретение совершенно нового — доселе никем не использованного — языка, как протест против истлевающего общедоступного, словесные коллажи из разрозненных частей, разрывы слов, нагромождение самых разных языков и их взаимное — и даже одновременное — проникновение, монтажи из цитат и, в конце концов, диссоциация единиц текста, находящая свое отражение в рассеивании слова по белой бумажной поверхности, в использовании пустот между словами и т. д.» [Riha 1995: 15] (здесь и далее — перевод мой. — Т. Г.). «Плакаты стихотворения» (термин Рауля Хаусмана) подобного рода на основе «некой первобытной типографии, где буквы различной величины могли передвигаться по бумаге в спонтанной динамике»

[Riha 1995: 169], создают Георг Гросц, Рихард Хюльзенбек, Рауль Хаусман, Курт Швиттерс и др.

Архитектоника конкретной поэзии второй половины XX в. (явления, по замыслу создателей, «наднационального» и космополитического), унаследовавшая в том числе и «первобытную типографию» авангарда, столь же разнообразна. Однако конкуренцию здесь явно выдерживают не радикальные тексты-композиции, созданные, например, из одной повторяющейся буквы (Хансйорг Майер и др.), а способные альтернативно, но явно транслировать авторский замысел констелляции. Представители бразильского, французского, английского, немецкого, австрийского, американского, итальянского, шведского или датского конкретизма работают в схожих техниках, основываются на схожих эстетических воззрениях. Это, безусловно, облегчает понимание иноязычных произведений коллег по цеху, внося, на взгляд авторов, свой вклад в создание универсальной коммуникации будущего. В ряде случаев (в основном, в графических текстах) перевод редуцированных языковых единиц при сохранении структуры текста действительно не разрушает его идеи. Так, немецкоязычное «Schweigen» Ойгена Гомрингера (прим. 1) несложно трансформировать в английское «silence» (прим. 2) или русское «молчание» (прим. 3):

Eugen Gomringer
schweigen

schweigen schweigen schweigen	silence silence silence	молчание молчание молчание
schweigen schweigen schweigen	silence silence silence	молчание молчание молчание
schweigen schweigen	silence silence	молчание молчание
schweigen schweigen schweigen	silence silence silence	молчание молчание молчание
schweigen schweigen schweigen	silence silence silence	молчание молчание молчание

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Подобная техника представлена и у Эрнста Яндля в тексте «boogie-woogie» (прим. 4):

Ernst Jandl
boogie-woogie

i gegenüber
i gegengegenüber
i gegengegegenüber
i gegengegegengegenüber

i vis-à-vis

i vis-à-vis-à-vis

i vis-à-vis-à-vis-à-vis

i vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis

Пример 4

Несколько сложней интрига акустического эксперимента. В своих стремлениях создать универсальный, по Гуго Баллю, «неиспорченный журнализмом» язык для новой, не отягощенной стереотипами и пережитками прошлого коммуникации, авангардисты часто обращаются к (псевдо)национальным лингвистическим системам: так, ономастопозэтические звукоподражательные стихи Тристана Тзара из цикла “Negerlieder” (прим. 5) основаны на его рецепции негритянских напевов. Африканские мотивы привлекают авторов не только и не столько экзотикой, сколько шансом вернуться к некоему праязыку, доступному, с их точки зрения, лишь детям и нецивилизованным народностям, простому и магическому одновременно. Языку, способному в силу названного лечь в основу новой интернациональной коммуникации. Подобные «смешанные» тесты, где наряду с подражательными и узнаваемыми словами равноправно употребляются фонетические изобретения, нередки у Ганса Арпа (прим. 6) и Рихарда Хюльзенбека (прим. 7).

Tristan Tzara
Zanzibar

o mam re de mi ky
wir sind den Wahha entgangen haha
die Wawinza werden uns nicht mehr plagen oh oh
Mionwu bekommt kein Tuch mehr von uns hy hy
und Kiala wird nimmer uns wiedersehen he.

Пример 5

Hans Arp
Aus «te gri ro ro»

...gro bo gro gri gridül to te ti bü bü bo
to dül düljin sisi glo irisi ro ro gri sisi ti
back back bojin gloda sidül da da ro
denn
die sympatischen syntetischen menschen
sind halb so teuer als die landläufigen...

Пример 6

Richard Huelsenbeck
Aus «Ebene»

...wir blasen das Mehl von der Zunge und schrein und es
wandert der Kopf auf dem Giebel
Dratkopfgametot ibn ben zakalupp wauwoi zakalupp
Steißbein knallblasen
verschwitzt hat o Pfaffengekrös Himmelseverin
Geschwür im Gelenk
balu blau immer blau Blumenpoet vergilbt das Geweih
Bier bar obibor
baumabor botschon ortitschell seviglia o ca sa ca ca sa ca ca
sa ca ca sa ca ca sa ca ca sa...

Пример 7

Возможно, что стремление вернуться к истокам, чистоте языка, обусловило и, казалось бы, диаметрально противоположную, узконациональную тенденцию в конкретной поэзии второй половины XX в. Авторы «Венской группы» активно возвращают в поэтическую практику... диалект. «Мы открыли диалект для современной поэзии. Нам интересно его звуковое богатство (в особенности в венском диалекте), находящее типичные нюансы для каждого высказывания. Любое отдельно взятое слово может выступать в различных оттенках и индивидуализироваться, в то время как в письменном языке — диалект есть язык “устный”, “разговорный” — любое слово кажется объективированным и застывшим» [Rühm 1967: 20]. Так, эффект «Wiener Lautgedichte» (прим. 8) Герхарда Рюма достигается сочетанием минимализма акустической поэзии, типичного отказа от «иерархии» в написании существительных с большой буквы и звучания диалектальной лексики:

Gerhard Rühm
Aus «rede an österreich (1955—1958)»

gshleu moggn
desdel man
bauschn aung
graze glade bosd
schoggn kan

Пример 8

Естественность диалекта, его «близость к природе» вдохновляет многих авторов на импровизацию со словесными оболочками и фрагменты. Эта тенденция прослеживается в стихотворении Ганса Артмана (прим. 9), которое следует прочесть несколько раз, чтобы почувствовать оболочки изначальных слов:

Hans Carl Artmann

descarnatio talftlrock

Zeile	T e x t
1	uurw'pp
2	uurw'pp
3	uurw'pp chllf'sn
4	nnguc nnguc...
5	chllf'sn chllf'sn
6	chllf'sn uurw'pp...
7	g'clrrchl
8	g'clrrchl t hob'r
9	flib'rr n' n'
10	b'ngr' 's grau bredwl'ngk
11	'p neort scht'nl'ch
12	lrrchn'm aup ngc ngc chlln'r chllt nt nt...

Пример 9

Наиболее последовательным экспериментатором, продолжавшим художественный поиск даже после спада ажиотажного интереса к конкретной поэзии, безусловно, оставался австриец Эрнст Яндль, в творчестве которого мы также обнаруживаем диалектальные элементы. Однако они уже не самоцель, а скорее инструмент языковой игры, не лишенной юмора и (само)иронии (прим. 10). С «технической» точки зрения выразительный потенциал диалекта у Яндля нередко сочетается с другими нетрадиционными техниками письма; например, в тексте «wien: heldenplatz» (прим. 11) он комбинирует

графические (написание с маленькой буквы, выделение «Sa-Atz» не только для обозначения определенного произношения, но и в качестве намека на содержание выступления) и лексические, диалектальные выразительные средства. В результате ощутима не только саркастически изображенная речь Гитлера, но и атмосфера восприятия этой речи публикой: националистический восторг, граничащий с физическим экстазом.

Ernst Jandl	Ernst Jandl
werbetext	wien: heldenplatz
deinl kaffeel	der glanze heldenplatz zirka
seinl kaffeel	versaggerte in maschenhaftem männchenmeere
schmecktl nichtl	drunter auch frauen die ans maskelknie
	zu heften heftig sich versuchen, hoffensdick.
unserl	und brülzten wesentlich.
euerl	
ihr! kaffeel	verwogener stirnscheitelunterschwang
schmecktl nichtl	nach nöten nördlich, kechelte
esl	mit zu-nummernder aufs bluten feilzer stimme
schmecktl	hinsensend sämmertliche eigenwäscher.
nurl	
MEINL KAFFEEL	pirsch!
	döppelte der gottelbock von Sa-Atz zu Sa-Atz
	mit hünig sprenkem stimmstummel.
	balzerig würmelte es im männechensee
	und den weibern ward so pfingstig ums heil
	zumahn: wenn ein knie-ender sie hirschelte

Пример 10

Пример 11

Наследие Яндля интересно, однако, не только национальной спецификой. Учитель английского, он последовательно космополитичен и подвергает проверке на прочность не только родной, но и иностранные языки. Практически все словоформы или сочетания в следующих примерах содержат звуковые подстановки, нарушающие или утрирующие фонетические конвенции венского диалекта (прим. 12) или иностранных языков — будь то английский (прим. 13) или арабский (прим. 14).

Ernst Jandl
die tassen

bette stellen sie die tassen auf den tesch

perdon

stellen sie die tassen aif den tesch

perdon

die tassen auf den tesch

perdon

auf den tesch

perdon

nöhmen

nöhmen

nöhmen sö söch

nöhmen sö söch eune

nöhmen sö söch eune tass

eune tass

donke

donke

eun stöck zöcker

zweu stöck zöcker

dreu stöck zöcker

donke

zörka zweu stöck

zöcker

follen

follen

hinuntergefollen

auf dön töppich

neun

nur dör hönker üst wög

pördon

bötte bötte

Пример 12

Ernst Jandl	Ernst Jandl
calypso	falamaleikum
ich was not yet	falamaleikum
in brasilien	falamaleitum
nach brasilien	falnamaleutum
wulld ich laik du go	fallnamalsooovielleutum
	wennabereinmalderkrieglanggenugausist
wer de wimen	sindallewiederda.
arr so ander	
so quait ander	oderfehlteiner?
denn anderwo	

ich was not yet
in brasilien
nach brasilien
wulld ich laik du go...

Пример 13

Пример 14

К излюбленным приемам автора можно отнести имитацию иностранных языков и игру на их акустической схожести с родным (прим. 15), пермутацию и/или метатезу звуков в иностранных словах, осуществляемую по аналогии с немецкоязычными текстами (прим. 16):

Ernst Jandl	Ernst Jandl		
canzone	Aus "chanson"		
ganz	l'amour	le tür	am'lour
ganz	die tür	d'amour	tie dür
ohne	the chair	der chair	che thair
völlig beraubt	der bauch	the bauch	ber dauch
canzone	the chair	le chair	tie dair
ganz	die tür	der tür	che lauch
ganz	l'amour	die bauch	am thür
	der bauch	th'amour	ber'dour

Ernst Jandl canzone	Ernst Jandl Aus "chanson"		
ohne	der bauch	le bauch	che dauch
völlig beraubt	die tür	th'amour	am'tour
	the chair	die chair	ber dür
	l'amour	die tür	tie lair
	l'amour	l'amour	l'amour
	die tür	die tür	die tür
	the chair	the chair	the chair

Пример 15

Пример 16

Из приведенных выше примеров видно, что эксперимент Эрнста Яндля с иноязычным материалом не ограничивается «рисуночной» коммуникацией. С помощью иностранных языков создается, в частности, и эффект комбинирования «известного и неизвестного», используемый и как элемент языковой игры, и метафорически.

В ряде случаев Яндль комбинирует немецкие и английские слова и фразы, не искажая их. Так, цикл «zehn mal englisch und deutsch» состоит из текстов, практически зеркально отражаемых в авторских переводах (в большинстве случаев — мы приводим два текста из десяти — совпадает не только структура, но и ритмический рисунок) (прим. 17).

Ernst Jandl
Aus: «zehn mal englisch und deutsch»

1	7	
<i>einschätzung einer tätigkeit</i>	<i>zeitlos</i>	<i>timeless</i>
nein, getan habe er nichts	«vor hundert	«a hundred
nur ein gedicht geschrieben	zweihundert	two hundred
	jahren	years ago
<i>appraisal of an activity</i>	hätte man dies	this
	genauso	would have been
no, he hadn't done	geschrieben»	written
anything		in exactly the same way»
only written a poem	«dann bin ich	«then I am timeless...»
	zeitlos...»	
	«nein, tot»	«no, dead»

Пример 17

Художественный поиск нередко радикален. В истории литературы не однажды случались эксперименты, провозглашавшие свободу поэзии от реальности, «искусство для искусства» с его радикальной (само)рефлексией. Но помятуя, что литература не живет-таки в тотальном отрыве от реальности, и критически оценивая современный социально-политический контекст, заметим, что радикализм любой природы стал вызывать настороженность. На этом фоне тексты немецкоязычных конкретистов примиряют классику и эксперимент своей коммуникативной успешностью — не только за счет эффективной визуализации текста-символа, но и благодаря многоязычному межкультурному диалогу.

Литература

- Минаева, Пономарёва URL — *Минаева Э., Пономарёва Т.* Современный поэтический дискурс: коды визуальной поэзии [Электронный ресурс] // URL: [НЕТ ССЫЛКИ!!!](#) (Дата обращения: 12.01.2016).
- Cramer URL — *Cramer F.* Netzkunst und konkrete Poesie // URL: http://www.netzliteratur.net/cramer/netzkunst_konkrete_poesie.htm (Дата обращения: 25.01.2016).
- Riha 1985 — *Riha K.* Prämoderne Moderne Postmoderne. Stuttgart, 1995.
- Rühm 1967 — *Rühm G.* Die Wiener Gruppe. Achtleitner. Artmann. Bayer; Rühm; Wiener; Reinbek bei Hamburg, 1967.

ZUSAMMENFASSUNG

Nationale Spezifik vs internationale Kommunikation: der komparativistische Blick auf den experimentellen poetischen Text

Das Sprachspiel der experimentellen Poesie beinhaltet mehrere Facetten. Nicht nur Muttersprachen der Autoren / Innen, sondern auch Fremd- und exotische Sprachen werden erforscht, kombiniert und / oder imitiert. In dieser vielseitigen Palette kommen auch lokale Sprachen, bzw. Dialekte nicht zu kurz. Der Anliegen der Konkretisten, eine neue internationale Kommunikation zu etablieren, und ihr kreativer Umgang mit dem Sprachmaterial könnten auch im heutigen poetischen Experiment nicht die letzte Rolle spielen.

С. И. ДУБИНИН

(Самарский национальный исследовательский университет
им. С. П. Королева)

ЭВОЛЮЦИЯ ВОКАБУЛЯРА
«СОЛДАТА ВОСТОЧНОГО ФРОНТА»
(на материале изданий
“Deutsch-russisches Soldaten-Wörterbuch”)

Лексикографические источники времен Великой Отечественной войны, в частности массово изданные двуязычные словари для военнослужащих вермахта, представляют собой уникальный и неисследованный материал. «Солдаты фюрера» к моменту нападения на СССР были определенным образом подготовлены для общения с местным русскоязычным населением и с пленными, располагая помимо словарей разнотипными печатными малоформатными изданиями, например базовыми разговорниками разного качества, словарями картинок, пособиями, языковыми картами и др. [Дубинин 2015а: 16—17]. Некоторые из них появились еще до начала войны и опирались на издания для военнослужащих кайзеровской армии периода 1914—1918 гг.

Военный двуязычный словарь-разговорник можно рассматривать как связный текст в совокупности с жизненными, социокультурными, психологическими, идеологическими и другими факторами. Это особый и подвижный текстотип в событийном аспекте военной ситуации, ее концептосферы, а также соответствующей дискурсивной практики и языкового имиджа его «потребителя». Типологически он относится к малым алфавитным словарям тезаурусно-толкового типа (минимизированные словники, перечни слов) для целевой группы военнослужащих низшего звена. Его корпус образуют элементарно выстроенные словарные статьи: лексема (не всегда в «основной форме») или фраза, переводное соответствие (как правило, одно) и его транслитерация.

Интерес представляет краткий анонимный немецко-русский словарь “Deutsch-russisches Soldaten-Wörterbuch”, появившийся и вскоре переизданный в начальный период военных действий против СССР (06.1941 — 11.1942 гг.), когда на значительных оккупированных территориях оказались миллионы советских граждан

(приблизительно треть населения страны) и военнопленных. Этот известный типовой военный словарь-разговорник для вермахта раннего образца, имеющий обширную издательскую историю, почти полностью состоит из словника, включая скудную разговорную и справочную части. Первое издание этого лаконичного «справочника военной жизни для кампании на Востоке» отмечено концом лета — началом осени 1941 г., на что указывает перевод указателя: nach Lemberg «направление до Львова» (город захвачен 30.06.1941 г.). SWB был массово переиздан с дополнениями в 1941 г., затем вышел с небольшими изменениями в ноябре 1942 г., и еще дважды стереотипно в 1943 и в 1944 гг.

Этот малоформатный лапидарный словарик — продукт издательства *E. S. Mittler & Sohn*, одного из крупнейших и старейших в Германии (осн. в 1789 г.), имевшего национальный статус и специализирующегося на военной, политической и справочно-учебной литературе. Но в качестве заказчика «словаря солдата» командование вермахта не указано. Этот берлинский издательский дом выпустил первые военные разговорники, периодику и пособия по поручению генштаба будучи еще «кайзеровским». Так, известны немецко-русско-польский разговорник для солдат и немецко-французский солдатский словарь, анонсы которых (1894 г.) предварялись нейтральной установкой: “In der Armee wird die Kenntnis der Sprache unserer westlichen und östlichen Nachbarn bekanntlich mit besonderer Aufmerksamkeit gepflegt. Um diese auch unter den Mannschaften zu verbreiten, hat Hauptmann v. Donat im Verlage der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn in Berlin soeben äusserst praktische “Soldaten-Wörterbücher” sowohl für Deutsch-polnisch-russisch als auch für Deutsch-französisch bearbeitet, in denen, nach Gruppen geordnet, die gebräuchlichsten Ausdrücke und Redewendungen, insbesondere Fragen im Wortlaut und zugleich in der Aussprache aufgeführt sind”. Авторство некоего «капитана фон Доната» вызывает сомнение и явно вымышлено. Издательский концерн *E. S. Mittler & Sohn* использовал опыт военно-политического роста Пруссии, колониальной политики Германии, войны 1914—1918 гг., удерживая в Третьем рейхе звание важнейшего военного издательства. С 1939 г. оно обеспечивало вермахт типовыми военными разговорниками на языках союзников и противников Германии [Дубинин 2015а: 17].

К моменту появления русского варианта SWB издательство выпустило разными по объему тиражами 11 малоформатных (октав 8) солдатских словарей (см. табл. 1) на некоторых языках как противников (отмечены обжирнением), так и союзников Германии (отмечены курсивом) в начавшейся войне (т. н. страны «оси» и примкнувшие к ним) и нейтральных государств (отмечены подчеркиванием). Были анонсированы и другие языки, хотя выход таких ожидаемых изданий, как финское, норвежское, венгерское, словацкое или чеш-

ское, в *Mittler & Sohn* не зафиксирован¹. Имеются косвенные сведения только о немецко-сербском словарики, но наиболее значимыми явились французский, русский и польский.

Таблица 1

Издаия “Soldaten-Wörterbuch für den Feldgebrauch”

Язык	Годы изданий	Объем (ЛЕ)	Число страниц
польский	1939	1000	35
	1941	2000	64
сербохорватский	1940	1000	44
	1941	1000	47
французский	1938 (?)	1000	(?)
	1939	1000	35
	1941	1000	(?)
	1943	1000	32
	1944	1000	32
английский	1940	1000	40
	1942	1000	31
новогреческий	1941	1000	40
<i>болгарский</i>	1941	2000	64
<i>румьинский</i>	1940	1000	44
итальянский	1939	1000	40
	1943	1000	31
<i>турецкий</i>	1941	1000	48
<i>испанский</i>	1940	1000	48
португальский	1940	1000	48

При сходных объеме (ок. 1000 ЛЕ) и макроструктуре эти словари обнаруживают отдельные особенности. Так, некоторые брошюры снабжены на титуле типовыми рубриками: “Alphabet. Aussprache und Betonung. Redensarten. Die notwendigen Wörter, alphabetisch geordnet. Zahlen, Maße, Gewichte und Geld”. В английском словарики рубриikator имеет следующий вид: “Einige Redensarten. Wörter, alphabetisch. Zahlen. Maße und Gewichte. Das englische Geld nach alter Goldkurswährung”². Сербохорватский словарики отличался уточне-

¹ В 1942 г. в берлинском издательстве научного профиля *Walter de Gruyter* вышли аналогичные мини-словари на восточных языках: “Deutsch-arabisches Soldaten-Wörterbuch für den Feldgebrauch”, “Deutsch-persisches Soldaten-Wörterbuch für den Feldgebrauch”.

² Уточнение амбициозно маркировано в отношении Великобритании как участника Второй мировой войны с ее начала, но без военных действий на своей территории. Хотя золотое содержание и валютная

нием алфавитов: “Das kroatische Alphabet. Das cyrillische Alphabet im Verhältnis zum lateinischen Alphabet”. Самый многочисленный по числу переизданий французский словарь имел детальную тематическую рубрикацию словника: “Lebensmittel. Gerät. Haus und Hof. Tiere. Körperteile und Krankheit. Zivilkleidung. Bevölkerung. Gelände. Wehrmacht. Eisenbahn, Kraftwagen. Zahlen, Tageszeiten. einige Zeitwörter. einige Eigenschafts- und Umstandswörter. Fürwörter usw. einige Redewendungen” (с конкретизацией в корпусе: Fragen im Gelände, Quartiermachen, Requirieren и др.).

Двояе расширенное 2-е издание польского словарика имело новый подзаголовок “Für den Feldgebrauch und tägliches Leben”, ставший исходным для русского варианта SWB. Некоторые ранние издания солдатских словарей отпечатаны фразатурой, которая с начала 1941 г. была запрещена нацистами за якобы «еврейское происхождение». Однако в изданиях данного типа вероятнее изъятие фразатуры в пользу антиквы ввиду сложности восприятия иностранными союзниками вермахта, жителями оккупированных территорий и ввезенными в страну иностранными рабочими. Фразатура встречается фрагментарно, например только в первом русском издании на заднике титульной части.

Публикации словарей для солдат вермахта имели иногда политическое «стимулирующее» звучание, не будучи напрямую связанными с нуждами или практикой военных действий. Так, по свидетельствам дипломатов, появление в начале 1941 г. турецкого словарика и спонсирование его продажи рейхсминистром пропаганды Й. Геббельсом должно было «напомнить» Турции о военной мощи Рейха и ускорить ее вступление в войну как союзника Германии [Война разговорников]. Появление подобных изданий зимой 1941 г. послужило тревожным сигналом для советского консульства в Берлине о готовности вермахта к нападению на СССР [Бережков 1984: 44]

Первый русский тираж непритязательного в оформлении и напечатанного на газетной бумаге словарика-брошюры 1941 г. был рассчитан на короткое время пользования, поскольку агрессор не сомневался, что война с СССР завершится быстро (предполагаемая продолжительность основных боевых действий 4—5 месяцев) и издание затем не понадобится. Краткосрочные европейские кампании Рейха и победная эйфория вермахта показали, что объем в 1000 или максимум в 2000 слов мог быть достаточен для победоносной военной акции и начального контроля на захваченных территориях. В структуре словника на первый план поставлена прагматика военной службы, рекогносцировка и необходимое общение, но не с противником, а с населением. «Авторы» не обозначали реалий оперативных и стратегических планов командования.

роль рейхсмарки с 1939 г. укрепились, «золотой стандарт» реально замещался обменными курсами.

Словарик можно было носить вместе с солдатской книжкой (Soldbuch) или он сшивался с ней. Судя по потребностям Восточного фронта, где при общей численности вермахта (по разным оценкам) к лету 1941 г. ок. 7,5 млн человек в июне 1941 г. во вторжении, названном «восточном походом», участвовало 5,5 млн человек, а в конце 1944 г. оставалось 4,2 млн человек [Залесский 2005: 93], русский словарь был самым массовым из подобных изданных *Mittler & Sohn*.

В словарики нет привычной для такого рода изданий части “Für Notizen” (для записей)³ в расчете на пополнение лексики из живых наблюдений в общении. В начальном кратком разделе обоих изданий 1941 г. “Redensarten” (обороты речи) представлен скудный набор контактоустанавливающих приветствий, извинений, реакций, клише вежливых обращений, например в ситуации покупки, ориентации на местности, обнаружения соответствий (“Wie heißt auf Russisch?”). Даны парадигмы базовых глаголов *sein*, *haben* и шаблоны фраз с ними. Этот нейтральный набор ближе к элементарному речевому репертуару путешествующего, но не военнослужащего. Диссонансом в перечне звучат команды “Halt! Hände hoch!” и фраза в возможной ситуации дознания “Befindet sich N. zu Haus?”, «выдавая» специфику издания. На титуле SWB отсутствует рубрикатор и нет традиционного опросника (опрос местного жителя, ориентация на местности, допрос пленного). Практиковалось указание контактируемому лицу на нужное русское слово (словарь набран столбцами: немецкое слово / русское соответствие / его транслитерация), что должно было улучшить коммуникацию в предметно-материальной и в ключевых понятийных сферах по принципу: «Меньше фраз, больше слов!».

Второе издание словаря в 1941 г., увеличенное до 3000 слов (79 стр.), отпечатано в дрезденской типографии издательства *Dr. Güntz-Druck* благотворительного фонда, где с начала 1930-х гг. размещались нацистские и военные заказы. В аннотации появляется фраза: “Auf Grund dieser Erfahrungen⁴ sind hier die wichtigsten Ausdrücke zusammengestellt worden”. Здесь отпечатана часть ноябрьского тиража 3-го издания 1942 г.

Алфавитный словник первых и последующих изданий [SWB: 6—67; SWB 2: 5—76] построен единообразно по принципу переводных лексических соответствий (иногда это русские атрибутивные словосочетания, УСК, аббревиатуры военного дела) без семантической детализации и грамматических показателей. Это затрудняет, например, понимание предлогов, видового значения некоторых глаголов, идентификацию реалий, а также различение форм числа существительных, композитов, синонимов, полисемии. Впрочем,

³ Уточняющие дополнительные записи пользователей встречаются на полях сохранившихся экземпляров, например для *Guten Tag! добрый день / dóbrüü den' (здравствуйте), Bahnhof станция / sstanziija (вокзал)*.

⁴ Имелся в виду начальный опыт войны с СССР.

словарь анонсирует через использование в аннотации глагола *sich verständigen* (русск. «объясняться с кем-л. по поводу чего-л.; договариваться, достигать соглашения, сговариваться») [БРНС 2: 532] коммуникативные стратегии элементарного понимания.

Издание снабжено упрощенной и несистемной транслитерацией русских слов, как указано в сравнительной таблице алфавитов (*ungefähre Aussprache*). Слова и фразы приводятся иногда в их разговорной форме (безударные гласные, предложные сочетания), с указанием ударной гласной и слогаделения, но в основном выборочно. В русской части нередки ошибки и искажения, ср.: *тормаз*, *голь* (= гол), *морозено*, *гребен* (= гребень), *в близи*, *тубочисть*, *скотский вагон*, *конский завод*, *кофе* (вместо кафе), *нести* (вместо нестись — о курице), *вязь* (= вяз), *пятачек* (= пяточок) и т. п. Русские мягкие согласные, сочетания согласных, фонемы, их позиционные варианты и альтернативы, отсутствующие в немецком языке, нередко транслитерированы неадекватно, иногда с ориентацией на графику, что могло вызвать непонимание при их воспроизведении. В 1-м издании, которое готовилось в явной спешке, есть опечатки, семантические неточности, ср.: *Stöhr* вместо *Stör*, *Autopanne* «порча» (имеется в виду автоавария); *Umschlagstelle* «переменный пункт» (имеется в виду обменный пункт) [SWB 2: 41, 60].

SWB изначально не был ориентирован на выработку навыков иноязычного общения, исходной системы форм корректной или связной речи военнослужащих вермахта по-русски, на ведение допросов, чем квалифицированно занимались армейские переводчики (*Wehrmachtssprachmittler*), приписанные к штабам. Коммуникативная установка словарика отмечена как минималистская: “*Der Krieg hat gezeigt⁵, wie mit einfachen Mitteln sich der deutsche Soldat überall verständigen kann. Die richtigen Worte, ohne Rücksicht auf Grammatik nebeneinander gestellt, genügen fast immer*”. В подзаголовке и аннотации всех изданий так сказано об отборе ЛЕ: “*Rund 3000 Wörter für Feldgebrauch und tägliches Leben. Mit einem sehr geringen Wortschatz, <...> die wichtigsten Ausdrücke*”

Отдельно в словнике даны немногие команды, бытовые и ключевые для военнослужащих (особенно для постовых) императивные фразы, которые нуждались в орализации в первую очередь: “*Halt! Vorwärts! Was ist passiert? Uhrzeit? Hilfe! Vorsicht! Mir ist es warm! Wer? Wo? Womit? Wieviel? Was für ein? Er ist weg*”. Вероятно, что они вынесены за рамки начального раздела «Обороты речи» и рассеяны в словнике для поддержания положительного речевого имиджа военнослужащего вермахта, который не выглядел бы а priori агрессивным оккупантом-карателем. Во 2-м издании к ним добавлено:

⁵ В первом издании употреблено “*Der Weltkrieg hat gezeigt*”, т. е. имелся в виду опыт 1-й мировой войны, а не начало военных действий с 1939 г., что учитывается в дальнейшем.

“Aufstehen! Antreten! Hinlegen! Stillgestanden! Weg! Ich blute”. Обращают на себя внимание, хотя и немногие в 1-м издании, ЛЕ охранно-управленческой и контрольно-репрессивной семантики: bestrafen, festnehmen, verboten, erschossen/erschossen lassen, Beitreibung «реквизиция», Geisel «заложник», Meuterei «бунт», Todesstrafe. Во 2-м издании это также Feldgendarm и Feldpolizei, Spähtrupp «дозор», Streife «патруль», Standrecht «закон военного времени», Todesurteil «смертный приговор», Gnade «помилование», absperren «оцеплять», amtlich «официально», Gesuch «прошение», Aufsicht и Aufseher «надзор, надзиратель», Ausfuhrgenehmigung «разрешение на вывоз», Ultimatum.

Словарик мог быть особенно востребованным квартирьерами, военнослужащими дозорных и рекогносцировочных групп, в обязанности которых входило изучение санитарного состояния района, отношения к армии местного населения, сбор сведений об источниках воды и топлива, о наличии и состоянии дорог, а также полицейско-патрульной службой (Heeresstreifendienst). Последняя, служба «примером другим военнослужащим», кроме поддержания порядка и дисциплины в зоне расположения войск привлекалась для регулирования дорожного движения. В 1941 г. была создана единая патрульная служба (Wehrmachtstreifendienst) с обязательным обучением патрулей (также русскому языку). Полевая жандармерия вермахта тесно контактировала с населением, контролируя также трудовые повинности, работу с пленными, беженцами, опираясь на опыт и кадры гражданской полиции [Залесский 2005: 437—438].

Тематически и инвентарно (т. н. базовая лексика) словник SWB представляет собой пеструю и негармоничную смесь преобладающей общеупотребительной лексики с конкретной семантикой, многообразных военных реалий и спецтерминов. Отмеченное отсутствие рубрикации словника позволяет предположить, что военнослужащие уверенно ориентировались в соответствующем предметно-понятийном поле. Анонимные авторы акцентируют важность именно военного ремесла, обеспечивающего качественное превосходство вермахта над противником. Коллоквиализмы и маркированная бранная лексика единичны, ср.: (das) Pack (Schimpfwort) «сволочь», также пренебр. «сброд, подонки». Солдатские жаргонизмы не представлены, и можно отметить лишь разговорное Blindgänger «не разорвавшийся снаряд» (2-е изд.) и устаревшее Bursche «денщик». Явными архаизмами времен 1-й мировой войны выглядят ЛЕ Bürooffizier «адъютант», Kampfwagen «танк».

Примечательно отсутствие ориентации SWB на пометы (редкие исключения: elekt., milit., mediz., Eisenb.). В русской части не выделены интернационализмы или германизмы, что облегчило бы освоение иноязычной лексики и построение речевых опор, что отличало, например, армейские разговорники [Дубинин 2015б: 171—173]. Не обозначены и не структурированы синонимика и гипо-, гиперонимические отношения ЛЕ. Отметим фиксацию во 2-м издании ико-

нической лексики: Rotes Kreuz «об-во Красного Креста», Gelbkreuz «желтый крест» (символика иприта), Blaukreuz «Голубой крест» — общество трезвости евангелической церкви Германии (ошибочно назван по-русски «синим»).

В целом SWB по-военному содержательно реалистичен. Идеологические маркеры словника немногочисленны и даже официальное наименование вооруженных сил Третьего рейха отсутствует. Реалии нацистского режима в Германии и на подвластных территориях отмечены во 2-м издании лишь LE Hakenkreuz, Nationalsozialismus, Parteizelle «ячейка» (в НСДРП), Gau «округ» (т. н. новые территории). Но примечательны уничижительные в отношении еврейского населения обозначения: Jude, jüdisch «еврей (жид)», «еврейский (жидовский)», как проявление антисемитизма, унаследованного вермахтом от армии Пруссии. При номинации партизан и их тактики использованы как общеизвестные Partisanen и Hinterhalt «засада» (2-е изд.), так и уничижительно-жаргонное в нацистской армии Heckenschütze «стрелок из кустов» (также с криминальным оттенком значения «убийца из-за угла») [БРНС 1: 608]. Но красноармеец номинирован нейтрально как Frontsoldat «фронтовик» (2-е изд.), как синонимическая пара представлены нейтральные LE Gegner / Feind «враг (противник)».

Реалии планов «Барбаросса» (военный) или «Ост» (колониационный) по осуществлению оккупационной и «интеграционной» политики в СССР имперского министерства по делам оккупированных и включенных в Рейх восточных территорий, рейхскомиссариатов (Украина, Остланд) или относящихся к военной администрации территорий со статусом собственно оккупированных в словаре нет. Косвенно LE Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Kirche, Pfarrer, Kapelle, Kirchturm маркируют приверженность оккупационных властей возрождению христианских праздников, церковных зданий и богослужения. LE Schutzpolizist «городовой» и Gutsbesitzer «помещик» ассоциируются с досоветским строем. В первых изданиях приведен не общеизвестный русизм (формально полонизм) Starost «староста», важный для политики поддержки в самоуправлении коллаборационистов. В качестве его нейтрального эквивалента приводится Amtsvorsteher «старшина» (в основном значении «управляющий» [БРНС 1: 89]).

Хотя в целом печатная продукция для вермахта была сильно идеологизирована и армия рассматривалась нацистами как «главный помощник партии» [Ермаков 2006: 14, 348], тем менее в SWB отсутствуют пропагандистские понятия, идеологемы (советизмы), относящиеся к войне Германии с СССР, а также маркированные этнические и политические реалии типа: Sowjets, Stalinismus, Untermensch, Sowjetarmee, Rote Armee, Kommunist / Bolschewik, Politruk, Komissar, Sowjetunion, deutsch, Deutschland, das Dritte Reich, Besetzung и т. п. Отметим лишь LE Rußland, Kriegsgebiet «район военных действий»

(2-е изд.). LE *Führer* приведена в паре с *Weg* в значении «вождь (проводник)». Практически нет бытовых реалий (заимствований-русизмов), за исключением скорее эквивалентных LE — описательных *Kohlsuppe* «щи», *Rote-Rüben-Suppe* «борщ» и *Schnaps, Korn* (с уточнением *Getränk*) «водка».

Во 2-м издании SWB появляются немногие необходимые реалии, связанные с последствиями затяжных военных действий и их эскалацией, — пленные, пропаганда в отношении противника, поиск дезертиров, контроль за беженцами: *rückwertiges Gebiet* «тыловой район», *Gefangenerlager / Internierungslager* «лагерь военнопленных (для интернированных)», *sich ergeben* «сдаваться», *Flüchtling* «беженец», *Zivillist* «штатский», *Wehrpflichtiger* «военнообязанный», *Flugblatt* «листовка». Пропагандистское распространение листовок производилось вермахтом с целью стимулирования бойцов Красной армии к получению якобы «спасительного» статуса военнопленного или к дезертирству (см. появление LE *Deserteur* «дезертир»). Отметим также LE, связанные с отправлением оккупантами общих внешних директив — местное население обязано вести себя в соответствии с приказами, изданными для него немецкими властями, проявлять самоорганизацию, ср. во 2-м издании: *Militärbehörde* «военное управление», *Vollmacht* «полномочие», *Verordnung* «постановление», *Vorgesetzter* «начальник».

Помимо в основном номинативной детализации (существительные), касающейся железнодорожного транспорта и грузоперевозок, связи, воинских званий, вооружения и техобслуживания, полевой медицины и др., нередко производных от корневого слова (*Feld-, Front-, Lager-, Eisenbahn-, Waffen-, Marsch-* и др.), 2-е издание отмечено немногими новыми разноплановыми глагольными единицами. Это, впрочем, нельзя расценивать как акцент на вербализацию словника или переструктурирование SWB в разговорник⁶, ср.: *abmarschieren* «выступать», *aufstehen* «вставать», *bremsen* «тормозить», *bügeln* «гладить», *galoppieren* «галопировать», *paddeln* «грести», *radieren* «гравировать», *schmieren* «смазать», *sterben* «умереть», *zerstören* «разрушать» и др. Особо отметим появление глагола *dolmetschen* «переводить» и *Vermittlung* «посредничество».

Очевидной новацией словника 2-го издания SWB стала тематизация реалий войны в условиях зимы, ср.: *Filzstiefel* «валенки», *Pelz/Pelzmantel* «шуба, тулуп», *Pelzstiefel* «меховые сапоги», *Winteröl* «незамерзающее масло», *Schneehemd* «маскхалат», антисанитарии и результирующих медицинских проблем: *Flöhe* «блохи», *Frostsalbe* «мазь против обморожения», *Gelbsucht* «желтуха», *Hygiene* «гигиена», *Impfung* «прививка», *Infektion* «зараза», *Lungenentzündung* «воспа-

⁶ Появление во 2-м издании служебных слов как маркер ориентации на построение фраз не фиксируется. Лишь у пространственного предлога *unter* отмечено семантическое уточнение «zwischen» [SWB 2: 69].

ление лёгких», Tuberkulose «чахотка» и др., а также в условиях бездорожья: (un)fahrbar «(не)проездной», Waldweg «лесная дорога», weglos «бездорожный», Fußpfad «тропинка», Notbrücke «временный мост», Tauwetter «распутица», unsichtig «непроглядный» и др.

Наглядны следующие примеры, отражающие «качество» словника. Несистемность и избыточность при лапидарном по установке отборе лексического материала заметны, например, при множественном обозначении нефти во 2-м издании как Erdöl (общеупотребительное), Rohöl «сырая нефть» и Naphta (ЛЕ маркирована австрийским узусом). Избыточны для краткого словника детализации типа Biwak / Biwakplatz «привал», обозначения почтовой бумаги как Briefpapier / Briefbogen (2-е изд.), ночлега как Nachtlager / Nachtquartier (2-е изд.), перекрестка как Straßengabel / Straßenkreuzung (2-е изд.), фоторазведки как Bildaufklärung / Bilderkundung, умывальника Waschbecken/Waschtisch/Waschschüssel (2-е изд.). Неадекватно передано название солидола (консистентной смазки) как Staufferfett малопонятным для русских «сало Штауффера». Немецкое Pastete передано как «пирог», но точнее это «пирожок с мясом (с рыбой)». Недопонимание могли вызывать переводные соответствия во 2-м издании Soldatenheim «солдатский дом» (имеется в виду клуб, а не жилище или казарма), Hoheitsgewässer «государственные воды» (вместо «территориальные»).

Идеографическая база и понятийная схема SWB лучше всего просматриваются через анализ ЛСГ. Среди множества тематических групп и подгрупп лексики, которые во 2-м и отчасти в 3-м изданиях пополнялись и дифференцировались, можно отметить как доминирующие: *военное дело, амуниция, управление, право и вооружение; питание и провиант; топливо и технические вещества; военный и вспомогательный транспорт; техника и средства связи; санитария и болезни, гигиена* (вплоть до Nagelbürste «щетка для ногтей»), *физкультура*. Некоторые из них актуализированы, как отмечалось выше, в связи с затягиванием «восточной кампании» (*плен, содержание военнопленных*) и со спецификой сложной ситуации войны с СССР в новых условиях (климат, бездорожье и др.): *зимнее обмундирование; дорожное дело*.

Особо отметим детализированность тематической группы *кавалерия, конная тяга, снаряжение и упряжь*, значительно расширенную во 2-м издании. Вермахт не имел обладающей ударной силой кавалерии, а ее действия можно охарактеризовать как вспомогательные для основных родов войск. На момент начала войны с СССР она играла вторичную роль (армейская и разведывательная войсковая), но события зимы 1941 г. и последующих кампаний показали ее необходимость и недостаточность в сухопутных силах. С успехом действовали германские конная разведка и охрана, эскадроны для борьбы с партизанами, а при бездорожье, на пересеченной местности она была мобильнее танковых и моторизованных частей, не говоря о пехоте. Особая тема — тягловая кавалерия для нужд ар-

тиллерии, почты, доставки и др., где вермахт активно эксплуатировал захваченные ресурсы. Слабым звеном в кавалерии вермахта было снабжение, обеспечение личным составом, услугами (ковка, ветеринария, уход за лошадьми). Кавалерия вермахта, имея невысокую огневую мощь, решала оперативно-тактические и стратегические задачи.

Примечательно отражение в словнике лексических реалий, относящихся к отравляющим веществам и газам, к химзащите и ведению химической войны, в возможности которой уже на начальном этапе гитлеровцы не сомневались, имея на вооружении отравляющие вещества. Основным фактором, сдержавшим Рейх от применения ОВ, стала оснащенность и готовность СССР ответить масштабной химической войной. Тем не менее 2-е издание SWB дополнено названиями основных боевых ОВ и ЛЕ тематической группы *противохимическая оборона*: Gasabwehr, Gasalarm, Gasanzug, gaskrank, Gaskurs, Gasmunition, Gasschutz, gassicher и др.

Значительна стратификация тематических групп, обусловленная ориентацией оккупационных войск на содержание и привлечение пленных (отметим появление во 2-м издании ЛЕ Konzentrationslager), гражданских специалистов и рабочей силы, грузчиков, прислуги, персонала для разнообразных услуг на занятых территориях. Это: *автодело и починка транспорта; лазарет и лечение; почта; коневодство; квартирование и постой; оборонительно-строительные и дорожные работы; ремонт обуви и амуниции; энерго- и водоснабжение; заготовки и бытовое обслуживание* и др. Эта лексическая стратификация свидетельствует, что «победоносные» оккупанты надеялись на длительное пребывание, освоение территорий, комфортное размещение и на определенную интеграцию. Но SWB, как уже отмечалось, не содержит номинаций, непосредственно связанных с военным администрированием: после захвата территорий и проведения мероприятий по прекращению вооруженного сопротивления рычаги управления должны были по начальному плану передаваться вермахтом гражданской администрации.

Вермахт имел право изымать на оккупированных территориях продукты питания для обеспечения своих военнослужащих сверх установленных норм. В этой связи обращает на себя внимание актуализация в SWB понятий *requirieren* «реквизировать», *Verpflegung* «продовольствие» и *Lebensmittel / Eßwaren* «съестные припасы» [SWB 1, 19, 35, 47, 62]. Многочисленны и детализованы тематические группы *провиант, продукты питания, блюда и напитки, домашний скот и птица, рыба*, косвенно отражая практику тотальных реквизиций у населения продовольствия, продуктов подсобных хозяйств и промыслов, фуража. Это прикрывается упоминанием неких налогов (*Steuer*) как отсылки к положению о «натуральных налогах» во 2-м издании, где упомянута спецслужба продовольственного управления (*Proviantamt*) [SWB 2: 52, 63], а указанные тематические группы рас-

ширены, например, Futtervorrat «запас фуража», Komißbrot⁷ «солдатский хлеб», Konserven «консервы» [SWB 2: 27, 39]. В 3-м издании в разговорнике появляются характерные вопросы и фразы: “Wieviel Vieh haben Sie (Hühner, Enten, Gänse, Schweine, Kühe, Pferde)? Wir brauchen Lebensmittel (Brot, Fleisch, Milch, Mehl, Butter, Eier) und Pferdefutter (Hafer, Häcksel, Heu). Bringen Sie es her!” [SWB 3: 7].

Однако отдельные реалии, отраженные в SWB, в частности, в тематической группе «еда и продукты питания», избыточны. Например, некоторые продукты питания не могли быть ориентированы на рядовой состав: Bananen и Hummer «омар» (элиминированы в 3-м издании), Störfleisch «осетрина», Apfelsinen, названия изысканных сортов сыра, десерта (Nachspeise).

Ввиду первых неудач, потери стратегической инициативы концепция «превентивной акции на востоке» уже в 1941 г. была скорректирована. В частности были усилены требования устава и дисциплины в войсках вермахта, о чем было осведомлено местное население. Это отразилось во 2-м издании SWB появлением «дисциплинарной» лексики, ср.: Appell «переключка, сбор», Aufsicht «надзор», Disziplin, производные с корнями Dienst- (Dienstgeheimnis, Dienstplan) и Exerzier- (Exerzierplatz, Exerzierausbildung, exerzieren «упражнять»), Entwarnung «отбой после тревоги», Feldgericht и Feldpolizei «полевой суд» и «полиция» и др. Среди многочисленных тематических блоков отметим расширение ЛСГ *железнодорожное сообщение и подвижной состав*, роль которых в отсутствие автодорог оказалась для вермахта решающей.

«Солдатский словарь» идеологически и манипулятивно демонстрирует размытость статусного компонента немецкого военного дискурса в пользу личностного (имиджевого) компонента. Военнослужащий вермахта на Восточном фронте «образца 1941 года» предстает в зеркале SWB как солдат — профессионал ремесла, знаток вооружения, осведомленный и всесторонне квалифицированный специалист, уделяющий внимание быту, спорту (отметим маркирование игровых видов спорта и легкой атлетики как развивающих командный дух солдата), здоровью и питанию, переписке, детально ориентирующийся в военном деле, в спецтехнике и т. п. Но вовсе не как отправитель приказов, оккупант, насильник-агрессор-караатель, носитель идей аннексии или реванша за поражение в Первой мировой войне, что, впрочем, было актуально для идеологии вермахта. Как особый лингвокультурный типаж, солдат вермахта не позиционирован как проводник нацистских идей и политики на захваченных территориях СССР — непримиримого противника Рейха в борьбе двух идеологий, покорения «неполноценного про-

⁷ Т. н. простой «солдатский хлеб» из смешанной муки, традиционный в германской армии, к выпечке которого обязали гражданские пекарни на оккупированных территориях.

тивника», подавления чуждой государственной системы любимыми методами ведения войны. В SWB не вербализованы особые директивы командования по ведению войны: режим неограниченного террора, тотальное применение суровых мер, освобождавшие оккупантов от ответственности за преступления против гражданского населения.

Ключевой концепт «Солдат» предстает в зеркале SWB при этом в особом виде, хотя вермахт почти полностью копировал систему званий и чинов кайзеровской армии. Единого звания для рядовых солдат в вермахте, как в Красной армии (красноармеец, краснофлотец, рядовой), не существовало даже внутри родов войск. Рядовые солдатские чины (Mannschaften) именовались по специальности, должности, например Pionier «сапёр», Jäger «егерь», Funker «связист» и др., или по традиции, особенно в воинских подразделениях, имевших долгую историю, архаичными ЛЕ типа Grenadier, Kanonier, Schütze. Рядовой состав насчитывал до 40 разновидностей наименований. Немецкое der Soldat акцентировалось идеологами вермахта как собирательное название, близкое к русскому «военнослужащий», но с менее нейтральной окраской (ср. производное Sanitätssoldat), поскольку несло качественную оценку и могло быть заменено русским «воин». Это был символ профессионала, поэтому, например, фельдмаршала Эрвина Роммеля неофициально и почтительно называли «первым солдатом вермахта».

В солдатской книжке вермахта были внесены «10 заповедей по ведению войны немецкими солдатами», а на первом месте стояла запись: «Немецкий солдат сражается за победу своего народа, как рыцарь. Жестокость и ненужные разрушения позорят его». В соответствии с принятой теорией войны решающее значение для победы над врагом имели личностное, моральное превосходство над ним и только во вторую очередь — превосходство материальное и численное. Эта «маска» была необходима вермахту (т. н. «армейцам», «людям в зеленой форме», «оруженосцам нации») как основной военной силе Рейха (но не войскам СС) на начальном этапе 1941 г. «блицкрига» как войны, которая декларировалась как «справедливая и освободительная», как оправданный упреждающий ответ на подрывную политику и неизбежную грядущую агрессию СССР против Германии [Дубинин 2015а: 20].

Кроме отмеченных выше показательны корректуры в 3-м издании словаря 1942 г. (отпечатано два тиража), почти сохранившем объем словника и вышедшем к завершению начального периода войны. Наступление германских войск было остановлено, план «Барбаросса» не дал результатов, но на южном направлении германские войска вышли к концу 1942 г. к Сталинграду и Северному Кавказу. Часть брошюр (ноябрьский тираж) отпечатана с пометой на титуле “Anhang 2 zur H. Dv. (Heeres-Druckvorschriften)” в спецсерии инструкций и памяток командования вермахта, посвященных

действиям на восточноевропейском театре войны и войне с СССР (брошюры-справочники о знаках различия, уставах, картографии и комсоставе РККА, о партизанах, разведке и пр.), что придавало ей повышенный статус.

Во вдвое расширенной части “Redensarten” появляется указатель “nach Moskau” «до Москвы» (начало наступления 10.1941 г.) и номинации Rotarmisten «красноармейцы», deutsche Soldaten «германские войска». Показательны фразы, отражающие реалии военных столкновений с противником — Красной армией и партизанами (пик партизанского движения пришелся на лето 1942 г.), за участие в борьбе с которыми в 1944 г. был даже введен особый нагрудный знак, оперативную работу с населением: “Sind hier Partisanen gewesen? In welcher Stärke? Sind im Ort Waffen vorhanden?”, разведывательные действия, ориентацию на местности и детализацию квартирования: “Wir brauchen Lebensmittel! Wieviel Vieh haben Sie? Wo ist eine Furt? Wo sind die Feldbefestigungen? Zeigen Sie es auf der Karte!” и т. п. Фразы-обращения в словнике приведены по-прежнему в вежливой форме: “Fragen Sie! Holen Sie!” Староста (ранее Starost) обозначен описательно как Ortsvorsteher (малоупотребительная в узусе LE). Впервые отмечена опасность атак советских ВДВ: “Haben Sie Fallschirme gesehen? Wo? Wann? Wieviel?”

Трехтысячный словник 3-го переиздания 1942 г. в целом не претерпел кардинальных изменений. Прежние лексикографические недостатки и опечатки не были устранены. Несколько расширены тематические подгруппы «радиосвязь», «пища», «квартирование». Появляется советская реалья Staatsgut (Sowchos) «совхоз», хотя лексическая группировка советизмов остается слабой стороной SWB (см. сохранение во всех изданиях архаичных Kaufmann «купец», Gut / Gutsbesitzer «поместье, помещик»).

Особо отметим добавление важных для построения речи глаголов: antworten, sprechen, sagen, fragen, brauchen (и его формы 1-го лица), denken, schreiben, machen, wissen, vergessen, а также модальных глаголов, их парадигм в 1-м и 2-м лице, а также с отрицанием и производных УСК (“Was soll das?”). Показательны фразы “Russisch (Deutsch) lernen; Ich will Russisch lernen” [SWB 3: 44] и причастные формы, используемые в регламентирующих объявлениях (verboten, verdeckt). Эти черты можно расценивать как развитие элементов словаря-разговорника, во что закономерно следовало бы превратиться доминантно информативному SWB, чтобы стать универсальным «пособием для солдата».

Последние два переиздания SWB стереотипны, датированы началом 1943 г. и 1944 г. и не отражают особенностей последних этапов войны. Хотя следовало ожидать появления здесь реалий изменения тактики вермахта после катастрофических поражений «в битве на Востоке», попыток перевооружения, контраступлений, начала отступления, начавшегося в ходе коренного перелома в пользу СССР

в 1943 г. Оба оттиска маркированы как “Merkblatt. Unveränderter Nachdruck” в упомянутой выше серии изданий командования и без указания издательства на титуле тиража 1943 г. Не получили в них отражения практика активизировавшихся «рот пропаганды» или реалии общего усиления нацистского давления на армию: создание в 1943 г. и деятельность так называемого штаба национал-социалистического руководства.

Отмеченные явления свидетельствуют об «инерции» милитаристского дискурса и об «оцепенении» тотальной нацистской военной имиджелогии, проявившихся даже в такого рода сугубо практически ориентированных массовых изданиях, каковым являлся SWB. Здесь имеет место манипулирование «победоносным духом», уникальным потенциалом и образом вермахта, но скорее не как «первого оруженосца нации» («вторым оруженосцем» именовались войска СС) или «первой опоры государства» («второй опорой» именовалась НСДРП), а как германского солдата нового образца в «войне на Востоке». Статичный образ «профессионала вермахта» конституируется в заданных для него параметрах, рефлексивно самоорганизует его идеального носителя, несмотря на трагически меняющуюся для захватчиков реальность войны с СССР, перманентные катастрофы их поражений. Судьба вооруженных сил нацистского государства завершилась капитуляцией вермахта, разоружением в 1945 г., роспуском его личного состава осенью 1946 г.

Литература

- Бережков 1987 — *Бережков В. М.* Страницы дипломатической истории. М., 1987.
- Война разговорников 2010 — *Война разговорников (2010)*. [Электронный ресурс] // URL: <http://lingvomania.info/2010/vojna-gazgovornikov.html> (Дата обращения: 10.12.2015).
- Дубинин 2015а — *Дубинин С. И.* Трансформация «дискурса завоевателя»: на материале немецко-русского словаря “Soldaten-Wörterbuch” // Вестник СамГУ. Гуманитарная серия. № 7 (129). Самара, 2015. С. 16—23.
- Дубинин 2015б — *Дубинин С. И.* Лаконичность речевого репертуара «оруженосца нации» // Теория и история германских и романских языков в современной высшей школе России / Отв. ред. И. С. Баженова. Калуга, 2015. С. 168—173.
- Ермаков 2006 — *Ермаков А. М.* Оруженосцы нации. Вермахт в нацистской Германии. М., 2006.
- Залесский 2005 — *Залесский К. А.* Вермахт. Сухопутные войска и верховное командование. М., 2005.

Источники и принятые сокращения

Большой немецко-русский словарь: В 2 т. / Под ред. О. И. Москальской и др. М., 1969. Т. 1—2. **(БРНС 1-2)**

Deutsch-russisches Soldaten-Wörterbuch. Rund 2000 Wörter für Feldgebrauch und tägliches Leben. Berlin: E. S. Mittler & Sohn, 1941. 71 S. **(SWB 1)**

Deutsch-russisches Soldaten-Wörterbuch. Rund 3000 Wörter für Feldgebrauch und tägliches Leben. Berlin: E. S. Mittler & Sohn, 1941. 79 S. **(SWB 2)**

Deutsch-russisches Soldaten-Wörterbuch. Rund 2000 Wörter für Feldgebrauch und tägliches Leben. Berlin: E. S. Mittler & Sohn, 1942. 79 S. **(SWB 3)**

Deutsch-russisches Soldaten-Wörterbuch. Rund 3000 Wörter für Feldgebrauch und tägliches Leben. Unveränderter Nachdruck. Berlin: E. S. Mittler & Sohn, 1943. 79 S. **(SWB 4)**

ZUSAMMENFASSUNG**Evolution des Vokabulars des “Soldaten der Ostfront” (am Beispiel des “Deutsch-russischen Soldaten-Wörterbuchs”)**

Im Aufsatz werden die typographischen Unterschiede sowie markante situationsbedingte Transformationen der Strukturen und des Vokabulars von fünf Auflagen des “Deutsch-russischen Soldaten-Wörterbuchs” (1941—1944) kontrastiv untersucht. Es werden die pragmatischen Veränderungen in den thematischen Gruppen der Lexik festgestellt, die eine ideologische und manipulative Funktion haben.

О. А. КОСТРОВА

(Самарский государственный
социально-педагогический университет)

**ОНОМАСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НЕМЕЦКОГО ГОРОДА
В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
(к постановке проблемы)**

В ходе обсуждения проблемы устойчивого развития возникла концепция устойчивого развития городов. Эта концепция предполагает такую организацию жизни города, которая была бы согласована с жизнью окружающей природы, что, по мнению Н. Н. Моисеева [2000: 53], обеспечило бы коэволюцию человека и биосферы. Системный анализ устойчивого развития городов выявил среди прочего аспекты их психолого-социального развития и функционирования [Шмелева, Шмелев 2008: 405], однако ономастические вопросы до сих пор не входили в эту систему. Ономастикон города изучается обычно как собственно лингвистическая проблема [ср., например, Шмелева 2014]. Представляется, тем не менее, что городская ономастическая среда должна изучаться в междисциплинарном ключе, что позволит учесть множество факторов, влияющих на психическую конституцию и духовный мир человека, живущего в городе.

Тема нашей статьи — названия пространственных городских объектов линейного типа: улиц, площадей, обозначаемых термином *годоним* [Шмелева 2014: 7], с целью их систематизации в плане устойчивого развития. Материалом послужили годонимы немецкого города Штутгарта, приведенные на сайте по адресу meinestadt.de (3187 единиц).

Город представляет искусственную окружающую среду, созданную человеком для осуществления своей жизнедеятельности. Городская среда формируется не только архитектурой и инфраструктурой, но и сопровождающим их ономастиконем, который можно рассматривать как фактор психологического взаимодействия со средой [ср. Шмелева, Шмелев 2008: 406]. Устойчивость городского ономастикона, который является духовным творением человека, связана с устойчивостью языкового выражения определенного этноса, с его историей и культурой. Другой немаловажный фактор устойчивости годонимов — их письменная фиксация на вывеске [Шмелева 2014: 13], создающая визуальный образ города. К тому же годонимы мно-

гократно повторяются в многочисленных картах, буклетах, справочниках, туристических изданиях, звучат в рекламных объявлениях и в названиях транспортных остановок, фиксируются в персональных данных и в личной переписке. Диапазон их функционирования намного шире, чем может показаться на первый взгляд. Человек буквально погружен в ономастическую среду, что не может не отразиться на его ментальности и эмоциональном настрое.

Методология исследования

В исследовании применяется интегративный подход, сочетающий концептуальную, структурно-семантическую и когнитивно-прагматическую характеристику топонимов с историко-этимологическим и статистическим анализом. Многофакторность анализа обеспечивает возможность их полевого моделирования.

Топонимы рассматриваются нами как языковые единицы, концептуализирующие городское пространство. Для концептуализации мы используем два вида предложенных Л. Талми конфигуративных единиц: фигуры и основания [Talmy 1983: 277]. Фигуры — это улицы и площади с их разновидностями (1), а основаниями можно, на наш взгляд, считать городские или природные объекты, служащие ориентирами локализации (2):

(1) *Königstraße, Berliner Platz*; (2) *Am Bergwald, An der Burg*.

В когнитивно-прагматической классификации топонимов мы опираемся на работу Т. Н. Семеновой [2001: 45—46], в которой различаются топонимы с *абсолютной* и *относительной референцией*. Относительность референции топонимов определяется как положением в пространстве в ряду других топонимических объектов, так и знакомством с прецедентными именами, благодаря которому формируется прагматическое насыщение имени. Например, имя *Eugen* в названии одной из штутгартских улиц вряд ли что скажет русскому человеку, тогда как в немецкой лингвокультуре это имя символизирует память о герцогском роде. В этом случае относительность референции определяется когнитивной базой реципиента и тем объемом информации, который он вкладывает в понимание эргонима, добавляя (или не добавляя) в интерпретацию аффективные коннотации [ср. Nübing 2012: 34]. Эти коннотации могут быть не столь сильными, как у топонимов *Konrad-Adenauer-Straße* (далее *Str.*) или *Mozart-Str.*, но тем не менее они могут обнаруживать эмоциональную связь человека с тем или иным местом.

Смысловые связи топонимов приводят к мысли о наличии у них *исторического значения*, в отличие от лексического значения, свойственного именам нарицательным [Ślupеcka 2011: 56]. Топонимы, насыщенные дополнительным смыслом, мы считаем *сущностными номинациями* [Кострова 2015]. Глубина понимания сущности варьируется при этом в зависимости от структуры когнитивной базы реципиента.

С проблемой устойчивого развития тесно связано понимание национально-этнической идентичности [ср. Назаров и др. 2008]. *Национально-этническая* идентичность формируется на уровне *языковой личности*, в структуре которой выделяется лингвокогнитивный компонент [Караулов 1981: 238]. В этот компонент входит тезаурус, запечатляющий «образ мира», в котором топонимы нередко выполняют консервирующую функцию, поскольку они сохраняются на протяжении веков и даже тысячелетий [Nübing 2012: 51].

Систематизация топонимов может быть проведена по принципу поля. Ономастикон Штутгарта представлен, на наш взгляд, двумя полями, имеющими разные фигуративные центры. Один центр — *лексико-семантический* — образуют годонимы-дескрипторы *Str.* и *Weg*, обозначающие протяженные пространственные фигуры города и значительно превосходящие по частотности другие дескрипторы. Различие между ними в том, что *Str.* обычно закладывается планомерно и предназначается не только для пешеходов, но и для транспорта, а *Weg* прокладывается пешеходами стихийно и может быть только слегка вымощен [ср. Wahrig 1975: 1238, 1416]. *Str.* употребляется примерно в два раза чаще, чем *Weg*. К периферии этого поля относятся годонимы с менее частотными дескрипторами *Gasse, Allee, Ring, Steg/Steige, Platz, Hof* и некоторыми другими.

Другой фигуративный центр образован закрытым *лексико-грамматическим* классом слов, а именно пространственными предлогами, обозначающими локализацию какого-либо городского пространства, которое не называется, а только предполагается, относительно природного или городского объекта. Наиболее частотны здесь предлоги *an, bei, in, zu*. Этот центр составляет специфику ономастикона немецкого города. К периферии относятся годонимы с менее частотными предлогами *vor* и *hinter*.

Дескрипторы и предлоги сочетаются с конкретными именами, приобретая индивидуализирующую функцию, цель которой — посредством когнитивных механизмов восприятия и памяти идентифицировать специфические места на земле [Tort-Donada 2014: 80]. С дескрипторами *Str.* и *Weg* сочетаются названия трех основных семантических групп, создающих устойчивость поля: элементы природного (3) и географического ландшафта (4), этнические номинации, которые выражаются структурно-семантически через название этноса (5) или через специфические языковые элементы (6), а также прецедентные имена (7), существующие в ономастической системе более ста лет. Этот временной период определен нами произвольно; границей служил рубеж XIX и XX вв. Здесь проявляется консервирующая функция годонимов. Ср.:

(3) *Bachwiesenstr., Elsterweg*; (4) *Bietigheimer Str., Brockenweg, Davoser Weg*; (5) *Gotenstr., Keltenweg*; (6) *Königstraße, Kälbleweg*; (7) *Chopinstr., Thomas-Münzer-Weg*.

Те же тематические группы сочетаются и с периферийными дескрипторами лексико-семантического поля (8). В лексико-грамматическом поле дескрипторы, выполняя идентифицирующую функцию, обозначают природные объекты (9) или городские объекты непространственной семантики (10). Ср.:

(8) *Obere Weinsteige*; (9), *Im Lauch*; (10) *Im Allen Park*.

Названия улиц относятся к типу топонимов, в которых — среди прочего — реализуется информация об (изменчивых) идеологических ценностях государства [Шмелева 2014: 31]. Новыми мы условно считаем названия, содержащие реалии XX века. В основном это имена собственные личные, которые позволяют установить дату отсчета времени (11). Эти языковые единицы реализуют языковую политику государства через инференцию идеологических или культурных ценностей, что превращает их в сущностные номинации. Они относятся к периферии лексико-семантического поля и представляют аспект развития системы.

(11) *Anwar-el-Sadat-Str.*, *Daimler-Str.*, *Einsteinstr.*, *Käthe-Kollwitz-Weg*.

При исследовании этих единиц мы сосредоточились на их количественном соотношении с номинациями устойчивого характера, а также на определении тематических групп, которые представляют эти имена, и выборе дескрипторов, с которыми они сочетаются.

Результаты исследования

Исходя из изложенных предпосылок, представим городскую онимическую систему Штутгарта.

Как отмечено выше, в ядре лексико-семантического поля выделяются три семантические зоны: природно-географическая, диалектально-этническая и культурно-историческая. К природно-географической зоне относится довольно многочисленная группа топонимов, содержащих типичные для данной местности ландшафтные компоненты. Эти компоненты представляют ментальные модели, позволяющие объяснить стратегии упорядочения внешнего мира, выявить черты, важные для взаимодействия с ним [Hough, Burns, Simmons 2014: 87]. Такие топонимы создают эмоциональные узы между человеком и местом, своего рода пространственную идентичность [Jordan 2014: 43]. В названиях улиц Штутгарта используются такие эндонимические компоненты, называющие природные объекты, как *-berg*, *-feld*, *-halde*, *-rain*, *-hain*. Ср.:

(12) *Albstr.* (ср. *Schwäbische Alb*), *Mönchfeldstr.*, *Rotenbergstr.*, *Haldenrainstr.*, *Mühlhainstr.*

К ядерной зоне относим и названия улиц, компонентами которых являются фаунонимы и флористические имена. Среди фаунонимов встречаются, в основном, названия животных и птиц, обитающих на территории земли Баден-Вюртемберг, ср.: (13) *Entenweg*, *Froschweg*, *Eulenstr.*, *Goldkäferweg*, *Spechtweg*, *Falkenstr.* Но есть и экзотические для

этой местности названия, семантика которых выводит их из состава ядра. Они занимают особое место в ономастической системе, определяемое, по-видимому, эмоциональными факторами, ср.: (14) *Löwenstr.*, *Flamingostr.*, *Krokodilweg*. Растительный мир отражается названиями деревьев и цветов, формирующих специфическую ауру, и плодов, входящих в рацион населения (15). Периферийную зону представляют названия с менее типичными дескрипторами (16). Ср.:

(15) *Eichstr.*, *Kiefernweg*; *Veilchenstr.*, *Anemonenweg*; *Kirschenweg*, *Melonenstr.*

(16) *Katzensteg*, *Erbsenbrunnengasse*.

Не столь многочисленное, но устойчивое поле представлено предложными номинациями. Предлоги *an* и *bei* передают семантику близкой расположенности к природному или городскому объекту, предлог *in* — семантику включенности в этот объект, предлоги *vor*, *zu* и *hinter* — собственно ориентационную семантику. Перечисленные пространственные ориентиры передают специфику урбанических номинаций, создавая впечатление устойчивости бытия. Такой способ номинации используется не только в ядерных (17), но и в новых годонимах (18), что свидетельствует о его устойчивости. Ср.:

(17) *Beim Herzogenberg*, *Im Haldenhau*, *Vor dem Lauch*, *Zum Langwieser See*, *Zur Schillereiche*, *Zur Uhlandshöhe*, *Zu den Tannen*; (18) *Beim Inselkraftwerk*.

История земли Вюртемберг запечатлена в названиях, содержащих специфические южнонемецкие реалии. Исконные немецкие, а в ряде случаев и швабские компоненты названий способствуют формированию в сознании языковой личности устойчивой этнической идентичности. Например, юг Германии издавна славится виноделием, что отражено, в частности, в названии улиц *Zur Kelter* и *Hinter der Kelter*. Словарь средневерхненемецкой лексики [Lexers 1974: 105] объясняет слово *Kelter* как помещение, в котором находился виноградный пресс. С пометой *ю.-нем. словари дают толкование существительных в названиях улиц *In der Schranne*, *In der Werre*. Многие названия улиц содержат типичный швабский суффикс *-le*, придающий им уменьшительно-ласкательный оттенок, ср.: *Schlößle*, *Im Feldle*, *Im Gäßle*, *Im Stüble*. Диалектально-разговорный оттенок сохраняют такие названия, в которых имеет место редукция гласных, их расширение или перегласовка в виде умлаута, ср., например: *Gänswaldweg*, *Gutaweg*, *Gäuweg*, *Guts-Muths-Weg*. Диалектальные и разговорные элементы способствуют сохранению швабской идентичности.

Многие названия улиц и площадей имеют топоморфный культурный код [ср. Мезенко 2011: 389], указывая на другие объекты, например на города, упоминание которых отражает пространственную ориентацию и культурно-исторические связи. Названия улиц Штутгарта отражают расположение города в юго-западной части Германии, его близость к соседним немецким, чешским, швейцарским и венгерским городам (19). Пространственно-ориентационные

компоненты *ober-*, *unter-* указывают на относительность референции (20). Ср.:

(19) *Tübinger Str.*, *Pragstr.*, *Züricher Str.*, *Budapester Platz*. (20) *Oberer Grundweg*, *Untere Brandstr.*

Культурно-историческая интерпретация названия способствует актуализации исторического значения. Штутгарт впервые упоминается в письменных источниках как небольшое поселение в 1229 г. В начале XIV в. оно на 3 года отходило к Священной Римской империи. Память о римском влиянии сохранилась в названиях улиц *Am Römerkastell*, *Beim Römerhaus*, *Beim Römerhof*, *Viaduktstr.*

При графе Эберхарде I Штутгарт становится резиденцией Вюртембергских королей, а в 1495 г. при герцоге Эберхарде возвышается до столицы герцогства. Заслуги герцога увековечены в названии улиц *Herzogstr.* и *Eberhardstr.* Центральные площади Штутгарта называются именами исторических реалий или именами вюртембергских герцогов и принцесс, ср.: *Schloßplatz*, *Karlsplatz*, *Charlottenplatz*. К ним примыкают улицы *Am Schloßgarten*, *Katharinenstr.* и *Charlottenstr.* Сын Эберхарда герцог *Carl Eugen*, имя которого носит одна из центральных улиц, основал на месте конного завода, давшего название Штутгарту, охотничий и представительский замок *Solitude*, к которому ведут одноименные улицы *Solitudestr.* и *Solitudeallee*. Перечисленные топонимы создают неповторимый, прошедший проверку временем колорит, передавая от поколения к поколению историческую семантику, которую вкладывает в них коренное население. По этому признаку они входят в культурно-историческую ядерную зону традиционно-устойчивых топонимов.

Переходную зону к варибельному топонимическому полю образуют топонимы, возникновение которых датируется XIX в. Они имеют не столь долгую традицию, но тем не менее несут отпечаток устойчивости в силу значимости обозначаемых ими личностей. Остало след в топонимике объединение Германии, осуществленное в 1891 г. Отто фон Бисмарком. Его именем названы в Штутгарте площадь и улица. Устойчивый культурный ландшафт образуют топонимы, в состав которых входят прецедентные имена композиторов, поэтов, ученых, особенно тех, чья жизнь и творчество были связаны с землей Баден-Вюртемберг. Назовем лишь некоторые имена: Фридрих Шиллер, Людвиг Уланд, Фридрих Гельдерлин, Гегель.

Среди прецедентных имен, цементирующих устойчивость ономастического пространства, следует назвать имена литературных и фольклорных персонажей, вошедших в золотой фонд немецкой и мировой культуры (21):

(21) *Fauststr.*, *Erlkönigstr.*, *Freischützstr.*, *Rapunzelweg*, *Nibelungenstr.*, *Hamletstr.*, *Figarostr.*

Для земли Баден-Вюртемберг особое значение имеют связи с Россией, которые скреплялись высочайшими браками. Одна из улиц в Штутгарте называется *Olgastr.* в память великой княжны Ольги Ни-

колаевны Романовой, которую супружеские узы связывали с крон-принцем Вюртембергским Карлом.

Особое место занимает в топонимике Штутгарта военная история Германии. Память о Верденском сражении 1916 г., ставшем символом бессмысленности войны, хранит название улицы *Verdunstr.* Вторая мировая война также не прошла бесследно для топографической карты города. Антифашистскую направленность имеют названия улиц в честь борцов немецкого Сопrotивления и жертв национал-социализма (22):

(22) *Geschwister-Scholl-Str., Anne-Frank-Str., Heinrich-Baumann-Str.*

Послевоенная история Штутгарта связана с его восстановлением после американских бомбовых налетов. Многие улицы получают новые имена, запечатлевшие память о выдающихся политических деятелях. Имя первого канцлера ФРГ носит *Konrad-Adenauer-Str.*, имя первого послевоенного обер-бургомистра Штутгарта — *Arnulf-Klett-Str., Theodor-Heuss-Str.* названа по имени политика-либерала, основателя свободной демократической партии, *Willi-Brandt-Str.* — по имени четвертого канцлера ФРГ, лауреата Нобелевской премии мира. Для этих названий характерно использование «нейтральных» дескрипторов *Str.* и *Platz*, что свидетельствует в пользу их относительной новизны.

Среди новых номинаций отмечаем референцию к традиционным тематическим группам, обозначающим политиков, деятелей науки и культуры (23):

(23) *Kafkaweg, Gustav-Mahler-Str., Ernst-Barlach-Weg, Reinhold-Nägele-Str.*

Специфика нового времени проявляется в годонимах, в которых запечатлены имена актеров (*Otto-Sander-Str., Oskar-Heiler-Staffel*), певцов (*Wunderlichstr., Wolle-Krivanek-Str.*), режиссеров (*Nüblingweg*), дирижеров, журналистов (*Wilhelm-Blos-Str.*), инженеров (*Otto-Konz-Brücken*), дизайнеров (*Mia-Seeger-Str.*), летчиков-асов (*Heinrich-Gontermann-Weg, Werner-Voß-Weg*) и спортсменов (*Fritz-Waller-Str., Geiwitzstr.*), а также названия фирм и торговых брендов (*Mercedesstr., Robert-Bosch-Str., Dornierstr.*), расположенных или имеющих представительства в Штутгарте.

Выводы

Подводя краткий итог, отметим, что ономастическое пространство немецкого города создается двумя центрами: лексико-семантическим и лексико-грамматическим, в каждом из которых устойчивыми являются не только дескрипторные, но и индивидуализирующие номинации. Лексические дескрипторы имеют фигуративный характер, грамматические — ориентационный. Переходную зону образуют топоморфные номинации, дающие ориентацию на географические объекты без использования предлогов. Устойчивость индивидуализации основана на использовании прецедентных, фольклорных и литературных имен, этнонимов, наименований

природных, географических и традиционных городских объектов, а также диалектальных элементов и специфических реалий.

Оценивая прагматику наименований, отметим, что основные функции топонимов Штутгарта состоят в сохранении социокультурной памяти, способствуя этноязыковой, пространственной, природно-ландшафтной идентификации личности, формируя чувства национально-этнической самобытности и достоинства. Варибельную часть ономастикона образуют наименования, возникшие в XX веке и представляющие новых национальных лидеров, новые профессии, фирмы и бренды. Характерно, что в составе антропонимов называется не только фамилия, но и имя, а также то, что они образуют периферию преимущественно в лексико-семантическом поле без использования предлогов. Доля новых наименований в составе ономастического пространства не превышает, по нашим подсчетам, 5 %, что, несомненно, свидетельствует о его устойчивости.

Литература

- Караулов 2010 — *Караулов Ю. Н.* Русский язык и языковая личность. М., 2010.
- Кострова 2015 — *Кострова О. А.* Сущностные номинации и их стереотипное восприятие в немецкой лингвокультуре // Вопросы когнитивной лингвистики. № 1. 2015. С. 133—142.
- Мезенко 2011 — *Мезенко А. М.* Урбанонимия как язык культуры // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. «Филология. Социальные коммуникации». Т. 24. (2011). № 2. Ч. 1. С. 388—392.
- Моисеев 2000 — *Моисеев Н. Н.* Судьба цивилизации. Путь разума. М.: Языки русской культуры, 2000.
- Назаров 2008 — *Назаров Р. Р., Юнусова Ж. М., Алиева В. Р.* Этничность и устойчивое развитие // О необходимых чертах цивилизации будущего. М., 2008. С. 482—486.
- Семенова 2001 — *Семенова Т. Н.* Антропонимическая индивидуализация: когнитивно-прагматические аспекты. М.: Готика, 2001.
- Шмелева 2014 — *Шмелева Т. В.* Ономастикон российского города. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing, 2014.
- Шмелева, Шмелев 2008 — *Шмелева И. А., Шмелев С. Э.* Устойчивое развитие городов: проблемы междисциплинарного исследования // О необходимых чертах цивилизации будущего. М., 2008. С. 403—409.
- Gasque 2014 — *Gasque Th.* The Effects of the Great War on U. S. Place Names // ICOS. 2014. P. 34.
- Hongh 2014 — *Hongh C., Burns A., Simmons D.* Cognitive Toponymy: People and Places in Synergy // ICOS. 2014. P. 87.

- Jordan 2014 — *Jordan P.* Place Names as an Expression of Human Relation to Place // ICOS. 2014. P. 43.
- Lexer 1974 — *Lexers M.* Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Leipzig: S. Hirzel Verl., 1974.
- Nübing 2012 — *Nübing D., Fahlbusch F., Heuser R.* Namen. Eine Einführung in die Onomastik. Tübingen: Narr Francke Attempto Verl., 2012.
- Ślupecka 2011 — *Ślupecka A.* Deutsch-polnische Sprachkontakte im Lichte der Onomastik: Die Straßennamen der Danziger Altstadt // *Studia germanica Gedanensia* / Ed. by A. Kątny. Gdańsk, 2011. S. 54—63.
- Talmy 1983 — *Talmy L.* How Language Structures Space // *Spital Orientation. Theory, Research and Application* / Ed. by Herbert L. Pick, JR. and Linda P. Acreddo. New York; London: Plenum Press, 1983. P. 225—282.
- Tort-Donada 2014 — *Tort-Donada J.* Toponyms as Memory Marks // ICOS. 2014. P. 80.

ZUSAMMENFASSUNG

Onomastisches System einer deutschen Stadt aus der Sicht der nachhaltigen Entwicklung

In dem Artikel werden traditionelle und dynamische Komponenten im onomastischen System der deutschen Stadt Stuttgart aus der Sicht der nachhaltigen Entwicklung betrachtet. Zu den traditionellen gehören Straßen- und Platznamen, die zur Nachhaltigkeit der süddeutschen Identität beitragen: typische Landschafts-, Pflanzen und Tiernamen, sowie Präzedenznamen der deutschen Kultur. Nachhaltige sprachliche Eigenart wird sowohl durch lexikalisch-semantische als auch lexikalisch-grammatische Komponenten aufrechterhalten. Dynamische Komponenten sind Zeichen der Sprachpolitik.

И. В. МАТВЕЕВА

(Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н. А. Добролюбова)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕМЕЦКИХ И РУССКИХ ПОСЛОВИЦ ПОЛЯ «ДЕНЬГИ»

При сравнении пословиц разных языков происходят сравнения разных языковых изображений мира, проявления разных языковых ментальностей. Сравнительное исследование языковой ментальности на материале пословиц предполагает реконструкцию соответствующих пословичных картин мира и их сопоставление при опоре исключительно на факты языка [Иванова 2006]. Пословичная картина мира складывается из отдельных пословичных полей, различающихся в разных языках по тематике, объему и конфигурации. Различия в конфигурации при сравнительном анализе выступают на первый план, поскольку, как отмечает Алан Дандес, в мировидении народов очень много общего, различия же часто связаны не с кардинальным расхождением во взглядах, а с расстановкой акцентов [Dundes 1980:71].

Таким образом, сравнительное исследование пословичных картин мира строится на последовательном сравнительном описании разнообразных составляющих их пословичных полей. Показательность сравнения во многом обусловлена выбором социально значимого по тематике поля. К таким социально значимым для любого народа полям принадлежит пословичное поле «Деньги».

Задача исследования состоит в сравнительном анализе немецких и русских пословиц поля «Geld / Деньги», собранных методом сплошной выборки по словарям пословиц [Beyer Н., Beyer А. 1989; Erpert 1990; Пермяков 1985] и электронных ресурсов [Русские народные пословицы и поговорки на тему денег].

Особенностью пословиц рассматриваемой тематики является присутствие в них, за редким исключением, наименования денежных знаков, причем это наименование используется в прямом смысле, что значительно облегчает выявление направления ассоциативных связей между полем «деньги» и другими тематическими полями.

Сравним строение пословичных полей в двух указанных языках.

В немецком языке центральное место в пословичном поле занимают пословицы, прославляющие всепобеждающую силу денег

(24,6 %). Эти пословицы образуют несколько групп. К первой, самой большой, группе относятся пословицы о всемогуществе денег типа *Der Pfennig hat hundert Wege. Das liebe Geld kann alles. Hat der Bauer Geld, hat es die ganze Welt. Geld regiert die Welt.* К ним непосредственно прилегают пословицы об обретении силы человеком за счет денег, имеющие устойчивую формулу (8,9 %) — *Wer Geld hat: Wer zahlt, bestimmt die Musik. Wer Geld hat, wird überall verstanden. Wer Geld hat, dem geht Teufel aus dem Wege.*

К третьей группе относятся пословицы, в которых деньги «действуют на равных» с другими концептами. К концептам, с действием которых объединяется сила денег, относятся *Zeit, Wissen* (2,23 %): *Zeit ist Geld. Wissen ist Gold. Für Geld und gute Worte kann man alles haben.*

Первым трем группам противопоставлены по смыслу пословицы четвертой группы об отрицательном действии денег (1,49 %): *Reich an Gold, reich an Sorgen. Goldene Ketten sind auch Ketten.*

Второе по значимости ядро в пословичном поле “Geld” составляют группы пословиц, повествующие о бережливости. К ним, в первую очередь, относятся пословицы, построенные по одной семантической модели — из малого количества слагается большее (17,9 %): *Viele Pfennige machen einen Taler. Pfennig zu Pfennig macht (am Ende) einen Taler.*

В шкале ценностных доминант немецкого народа бережливость занимает одно из основных мест. Пословицам о бережливости в некотором отношении противопоставлены 4 пословицы, осуждающие скардность. Скупость является скорее предметом иронии (2,9 %): *Mancher geizt um Pfennige und wirft Taler weg. Der Geiz wächst mit dem Gelde.* Следующее по значимости место в поле занимают группы пословиц, характеризующие источник денег, их трату, текучесть и различные другие характеристики (14,9 %): *Pfennig kommt, Pfennig geht. Ein Pfennig zieht den anderen aus dem Beutel. Altes Geld und junge Weiber sind gute Zeitvertreiber.*

В рамках пословичного поля, помимо рассмотренного выше центра и двух других объемных группировок пословиц, выделяется ряд более мелких групп. Например, группа пословиц, в которых принадлежность денег или способы их приобретения выступают как необходимые дифференциальные признаки поля «деньги», весьма важные для народа (4,4 %): *Der eigene Pfennig zahlt am besten. Ein ehrlicher Pfennig ist besser als ein gestohlener Taler.* Есть группа пословиц, отрицательно оценивающих отсутствие денег (3,7 %): *Wer kein Geld hat, reitet zu Fuß. Wo Geld fehlt, da ist das Brot teuer. Wer kein Geld hat, der zahlt mit der Haut.* Она противопоставлена группе с отрицательной оценкой излишка денег (4,4 %): *Je mehr Geld, desto mehr Sorgen. Große Taschen, große Sorgen. Geld bringt viele Sorgen und lässt die Nerven spannen.*

Можно выделить мелкую группу пословиц, положительно оценивающих отсутствие денег, бедность не оценивается как нечто негативное (4,4 %): *Wer kein Geld hat, muss Honig im Munde haben. Besser ein*

Mann ohne Geld als Geld ohne Mann. Armut macht erfinderisch. Armut ist der sechste Sinn.

В группе «Деньги и друзья» значимость денег может оцениваться выше и ниже значимости друзей (3,7 %): *Viel Geld, viele Freunde. Wer Pfennige hat, hat auch Freunde. Beim Gelde hört die Freundschaft auf. Besser in der Tasche kein Geld als ohne Freund in dieser Welt.* Известная устойчивость ассоциативной связи «деньги — друзья» позволяет выделить такие пословицы в отдельную группу.

Пословицы группы «Деньги и ум» повествуют о том, что нет денег без ума, а также о том, что деньги могут затмить разум (4,4 %): *Wenig Geld, wenig Verstand. Viel Geld, wenig Verstand. Wo Geld redet, muss Verstand schweigen. Reichtum stiftet Torheit. Ein reicher Mann muss klug (gescheit, weise) sein, wenn er auch ein Narr wäre.*

В русском языке конфигурация пословичного поля «Деньги» следующая: центральные в поле группы не обладают явным количественным преимуществом по сравнению с другими пословичными группами, количество же мелких групп гораздо больше и разнообразнее. Так, группа пословиц, повествующих о силе денег, занимает скромное место (8,3 %): *Деньгам все повинуется. Денежка дорогу прокладывает. Алтын сам дорогу открывает и путь очищает. За денежки и черт спляшет.* К этой группе примыкает группа пословиц, в которых сила денег соотносена с силой других концептов в пользу денег, при этом противопоставляемый концепт единственный, но весьма важный для русского человека — правда (1,3 %): *Сильна правда, а деньги сильнее. Когда деньги говорят, тогда правда молчит.*

Этим двум группам противопоставлена группа с отрицательной оценкой денег, в которой сопоставление денег с другими концептами производится не в пользу денег. Противопоставляемыми концептами являются *правда, счастье, душа, уговор, добрые люди, здоровье, краюшка, репутация, любовь, почет* (9,7 %): *Не в деньгах счастье. Деньги могут много, а правда все. Уговор дороже денег. Почет дороже денег. Совет дороже денег. За деньги славы не дают. Люди — все, а деньги — сор. Здоровья на деньги не купишь.* Центральное же место в поле занимают группы пословиц, характеризующие источник денег, их трату, текучесть и различные другие характеристики (15,27 %): *Деньги — наживное дело. Деньги, что вода. Деньги искус любят. За что купил, за то и продаю. Какова работа, такова и плата. За спрос денег не берут.*

Среди этих центральных групп главное место занимают пословицы, в которых наименования денежных знаков использованы с различными препозитивными определениями — свои, чужие, трудовые, праведные, отцовские (14,5 %): *Легко на чужие деньги ехать. Трудовая денежка до веку живет. Казенная копеечка на воде не тонет, на огне не горит. Неистраченные деньги — приобретение. Медные деньги звонче золотых. Щербата денежка, да гладок калач. Даровой рубль дешев, нажитой дорог.*

Значительное место в поле занимает группа пословиц, отрицательно оценивающих отсутствие денег (10,4 %): *Без денег воду пить. Хуже всех бед, когда денег нет. Горе — деньги, а вдвое — без денег. На грош не много возьмешь.*

Этой группе противопоставлена группа пословиц, отрицательно оценивающих излишек денег (4,1 %): *Грехов много, где денег вволю. Лишние деньги — лишние заботы. Деньги девать некуда, кошелек купить не на что. Больше денег — больше хлопот.* Однако к этому противопоставлению присоединяется группа, положительно оценивающая излишек денег (2 %): *Лишняя денежка карману не тяжесть. От туга набитого кошелек на сердце легко. Алтын серебра не ломит ребра.*

Свою нишу в пословичном поле «Деньги» занимают пословицы, повествующие о бережливости (6,9 %). Большое сходство с немецкими обнаруживают пословицы, образованные по модели «из малого количества денег получается большее» *Рубль цел копейкой. Копейка рубль бережет. Денежка рубль бережет, а рубль голову стережет.* Постоянные ассоциативные связи образованы у поля «Деньги» с полями «Счет» и «Хлеб» (4,8 %): *Хлебу мера, деньгам счет. Денежка счет любит. Денежка любит счет, а хлеб меру. Береги хлеб для еды, а деньги для беды.*

В отличие от немецкого языка, для русского более характерна отрицательная оценка скарденности (4,1 %): *У скупого рубль плачет, а у щедрого и полушка скачет. Пожалел алтын — потерял гривну. Не жалей алтына, а то отдашь полтину.*

В русском языке более значительное место (4,8 %), чем в немецком, занимают пословицы, отрицательно оценивающие дачу денег в долг: *Взаймы денег давать, что волка накормить. Федюшке дали денежку, а он и алтын просит. Дай ворю целковых горю — воровать не перестанет. Долг не ревет, а спать не дает. Долг платежом красен.*

Надо отметить, что противопоставленность пословиц по смыслу характерна как для русского, так и для немецкого языка и проницывает такие мелкие группы, как «Деньги и друзья», «Деньги и ум» (13,1 %): *На деньги ума не купишь. Ум хорош, а без денег дурен. Есть рубль, есть и ум, два рубля — два ума. Умом туп, да кошелек туг. Денег палата, да ума-то маловато. Без ума торговать — только деньги терять. Дружба дружбой, а денежка врозь.*

В пословицах не только аккумулируется знание человека о мире, но и дается оценка этого знания и через нее та или иная жизненная установка, «программа поведения» [Кумахова 2011: 7].

Поскольку пословицы и поговорки характеризуются чрезвычайным разнообразием, то только цель их употребления составляет тот существенный признак, который позволяет определить специфику оценочного значения пословиц. Разные типы пословиц представляют собой оценочные суждения и выражают оценочное значение через отношение к принятому лингвокультурным сообществом заведенному порядку вещей, то есть стандарту, норме. Наиболее адекватным для выявления особенностей оценки в немецких и русских

пословицах является нормативный подход к определению оценочного значения, из которого следует, что хорошее означает соответствие норме, которая принята лингвокультурным сообществом, то есть идеализированной модели мира, а плохое — то, что не соответствует этой модели [Арутюнова 1999: 181]. Такое определение представляется наиболее адекватным существу феномена оценки.

Проведем анализ паремий в плане выявления оценочного прагматического содержания, значимого для лингвокультурного сообщества. Нами выявлено несколько групп пословиц на основе единства интегрального значения.

Первую группу составляют пословицы, призванные выражать обобщенное значение обычности. В этих пословицах констатируются обычные для данного этнического сообщества, принятые им нормы поведения, образ действий. В их семантической структуре выделяются интегрирующие семы «это обычно», «так бывает», «так принято», которые объединяют данные паремии общим значением «норма»: *Vor dem Pfennig zieht man den Hut. Wo der Pfennig spricht, hört man andere Rede nicht. Mit Gold beweist man seine Unschuld am besten. Отдашь деньги руками, а ходишь за ними ногами. Кто украдет рубль, того отдадут под суд, а кто тысяч двести, того держат в чести. Кто долго спит, тот денег не скопит. Какова работа, такова и плата.*

Вторая группа пословиц также характеризуется определенным доминантным признаком. В них репрезентируется такое рационально обработанное знание, которое не подвергается сомнению. Семантическая структура данных пословиц связана с выражением интегрирующего значения, связанного с семантическим компонентом «несомненно»: *Wo Geld ist, da kommt Geld hin. Das Fragen kostet kein Geld. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Денежка не бог, а бережет. Не в деньгах счастье. В деньгах родства нет. Деньги, что вода.*

Эти две группы пословиц констатируют свойства предметов, явлений, человека и предполагают общеизвестность того или иного явления, события, свойства. В них оценочный компонент значения не содержится в семантической структуре пословичного знака. Вне ситуации трудно определить, негативно или позитивно оценивается информация, репрезентируемая такими пословицами: она выводится из семантической структуры пословицы, ее приходится извлекать, опираясь на весь смысл пословицы, на фоновые знания и ассоциации. Внутренняя форма пословицы, как правило, содержит знание, связанное с конкретной ситуацией. Это знание как буквальное значение пословичного знака может совпадать (1) и не совпадать (2) со значением пословицы: (1) *Reich an Gold, reich an Sorgen. Goldene Ketten sind auch Ketten.* (2) *Morgenstunde hat Gold im Munde. Щепота денежка, да гладок калач. Кто рано встает, тому Бог подает.* Поскольку в пословичной картине мира отражается мир не так, как он есть, а так, каким хочет видеть его человек, то оценка, выраженная в пословичных суждениях, призвана воздействовать на адресата,

повлиять на него так, чтобы он соответствовал идеализированной модели мира.

Пласт в пословичных картинах мира составляют пословицы с императивами «можно/нельзя». Этот семантический компонент связан с установкой, с предписанием «так должно/не должно быть». Именно в таких пословицах находит яркое выражение так называемое нравственное сознание этноса, его этнокультурные приоритеты. Предписание, как известно, связано с оценкой, поскольку установка «можно/нельзя» не может быть дана без оценочной квалификации. Предпочтительность того или иного поступка, свойства или их отрицательная характеристика, выраженные в пословицах, свидетельствуют о согласии/несогласии с ними субъекта назидания. Из этого логически следует, что согласие (принятие) соотносится с тем, что этнос считает возможным, должным, желательным, то есть с оценкой «хорошо», несогласие — с тем, что нельзя, невозможно, нежелательно, то есть с оценкой «плохо»: *Küss-den-Pfennig kommt zum Taler. Mit Verwandten iß und lach, aber nie Geschäfte mach. Не оставляй денег детям: глупый проживет, а умный сам наживет. Гляди вниз: денег не найдешь — ног не зашибешь. Не жалея алтына, а то отдашь полтину. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Береги хлеб для еды, а деньги для беды.* Оценочное значение пословиц-императивов и пословиц-предписаний, связанных с рекомендацией действовать в соответствии с принятыми нормами, извлекается из отношения к понятию «норма». В пословичной картине мира соответствие норме представляет собой должное, а не действительное, то есть то, к чему этнос стремится и что оценивается как «хорошо».

Пословицы-предписания актуализируют заведенный порядок вещей и соотносятся с понятием «должное»: *Wie die Arbeit, so der Lohn. Das Geld liegt auf der Straße (man muss es nur aufzuheben verstehen). За деньги славы не дают. Какова работа, такова и плата. Голосом петь, конем воевать, а деньгами торговать.*

Можно выделить пословицы с эксплицитно выраженным оценочным значением посредством объективно-оценочных слов *хороший/хорошо, отличный/отлично, плохой/плохо, идеальный/идеально, нормальный/нормально*, которые называются «аксиологическими словами» [Кумахова 2011: 14]:

Das liebe Geld kann alles. Es ist ein guter Pfennig, der hundert einbringt. Altes Geld und junge Weiber sind gute Zeitvertreiber. Деньги — хороший слуга, но плохой хозяин. На пустой карман и грош хорош. Мал золотник, да дорог. Особенность оценочных категорий состоит в том, что «хорошо» и «плохо» не являются такими же характеристиками предметов и явлений, как *твердый, белый* или *много*, а выражают отношение оценивающего субъекта.

В данной группе пословиц оценка может быть эксплицирована в пословичном тексте оценочно-характеризующими словами типа «*ehrlich*», «*dumm*», «*щербатый*», «*дурак*», «*скотина*» и др. *Ein ehrlicher Pfennig ist besser als ein gestohlener Taler. Sein Geld ist so dumm, wie er. Щербата*

денежка, да гладок калач. У дурака в горсти дыра. Человек не скотина, а деньги не мякина. Дурак деньги напоказ носит. Особый интерес в рамках данной группы представляют паремии, в которых оценочная семантика реализуется посредством определенного образа: *Geld ist die Seele des Geschäftes*. Денежки не рожь, и зимой растут; денежки и не лед, а зимой тают. Денежки — что голуби: где обжизвятся, там и поведутся. Деньги — что галки, все в стаю сбиваются. *Reden ist Silber; Schweigen ist Gold*. Денег нет, зато сами золото. Гроша не стоит, а глядит рублем. Гость в первый день — золото, во второй — серебро, в третий — мельхиор, в четвертый — бессовестный.

Оценочная квалификация в немецких и русских паремиях поддерживается и формальной структурой пословиц. Приведем группу немецких и русских паремий, в структуре которых использованы компаративы прилагательных (наречий) «хороший (хорошо)» и «плохой (плохо)», создающие прагматически обусловленную ситуацию выбора. Категория сравнения внутренне связана с категорией оценки, поскольку сами компаративы «лучше» и «хуже», предполагая выбор из определенного количества альтернатив, в конечном итоге носят оценочный характер: *Ein ehrlicher Pfennig ist besser als ein gestohlener Taler*. Сильна правда, а деньги сильнее. Уговор дороже денег. Почет дороже денег. Без денег сон крепче. Медные деньги звонче золотых.

Выявлено, что в подавляющем большинстве пословиц немецкого и русского языков используется компаратив «лучше» — «*besser*». Лишь незначительное количество паремий содержат компаратив «хуже»: *Хуже всех бед, когда денег нет*. Такая структурная организация паремий подтверждает ориентированность человеческого сознания на позитивное. Кроме того, модель «ориентироваться на лучшее при оценке» является универсальной, поэтому находит яркое выражение в паремиологическом фонде, являющемся концентрированной формой выражения ценностных приоритетов.

В русских пословицах наименования денежных знаков используются с ласкательно-уменьшительными суффиксами — денежка, копеечка: *Ближняя копеечка дороже дальнего рубля*. Денежка дорогу прокладывает. За денежки и черт спляшет. Ласкательно-уменьшительные суффиксы привносят в коннотативный компонент пословицы эмоциональность, отражая эмоциональное отношение к объекту высказывания, в немецком эмоциональность никак формально не выражена.

Итак, сравнительный анализ немецких и русских пословиц поля «Geld/Деньги» позволяет отметить основные различия в конфигурации поля. При тематическом совпадении крупных групп они, как правило, характеризуются разным удельным весом. В рассматриваемых различных инвариантных моделях пословиц оценка представлена по-разному. Оценочная квалификация эксплицитно выражается «аксиологическими словами» типа *хороший/хорошо, плохой/плохо*. Кроме того, оценка эксплицируется в пословичном тексте оценочно-характеризующими словами, имплицитно содержащими в сво-

ей семантической структуре семы «хорошо» и «плохо». Но чаще в паремиях оценка не эксплицирована, она выводится из семантической структуры пословицы с опорой на весь ее смысл и на фоновые знания.

Литература

- Арутюнова 1999 — *Арутюнова Н. Д.* Язык и мир человека. М., 1999.
- Бредис 2014 — *Бредис М. А.* Отражение ценностных ориентиров в паремиологии (на материале пословиц русского, латышского, литовского, немецкого и английского языков о дружбе и деньгах) // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. № 77. 2014. С. 102—104.
- Иванова 2006 — *Иванова Е. В.* Мир в английских и русских пословицах: Учебное пособие. СПб., 2006.
- Кумахова 2011 — *Кумахова Д. Б.* Оценочная категоризация действительности в пословичной картине мира (на материале кабардино-черкесского и русского языков): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Нальчик, 2011.
- Пермяков 1985 — *Пермяков Г. Л.* 300 общеупотребительных русских пословиц и поговорок. М., 1985.
- Русские народные пословицы и поговорки на тему денег [Электронный ресурс] // <http://www.dengy-vsem.ru/folklor.php?id=1>.
- Beyer 1989 — *Beyer H., Beyer A.* Sprichwörterlexikon. M., 1989.
- Dundes 1980 — *Dundes A.* Interpretingfolklore. Bloomington, 1980.
- Eppert 1990 — *Eppert F.* Sprichwörter und Zitate. Verlag Klett Edition Deutsch GmbH, 1990.

ZUSAMMENFASSUNG

Komparative Analyse deutscher und russischer Sprichwörter im semantischen Feld “Geld”

In dem Artikel stellt der Autor am Beispiel des Sprachenpaares Deutsch — Russisch die Ergebnisse einer kontrastiven Analyse der Parömien im Bedeutungsbereich “Geld” vor. Im Mittelpunkt stehen Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Sprichwörtern der ausgewählten Sprachen.

Ж. В. НИКОНОВА

(Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова)

**ИЛЛОКУТИВНАЯ СТРУКТУРА СЛОЖНЫХ
РЕЧЕВЫХ АКТОВ
В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ**

Рассмотрение вопроса об иллокутивной структуре речевых актов осуществляется в настоящей статье с позиции теории дейксиса.

Современная лингвистическая наука подходит к рассмотрению языкового дейксиса с различных сторон. Традиционно в содержание понятия дейксиса в языке входит «указание как значение или функция языковой единицы, выражаемое лексическими и грамматическими средствами» [ЛЭС 1990: 128]. В качестве основных функций дейксиса в лингвистической литературе называются «указание на участников речевого акта (ролевой дейксис) — говорящего и адресата <...>; указание на предмет речи <...>; указание на временную и пространственную локализацию сообщаемого факта (хронотопический дейксис)» [Арутюнова 1988: 128]. Выявлению и описанию единиц языка, выполняющих в речевом произведении функции указания на основные параметры акта коммуникации, посвящены работы многих зарубежных и отечественных лингвистов (К. Бругман, О. Есперсен, К. Бюлер, Э. Бенвенист, Ч. Филлмор, А. М. Пешковский, Р. О. Якобсон, Ю. Д. Апресян, Е. В. Падучева, Н. А. Сребрянская, И. А. Стернин и др.).

В последние десятилетия дейксис рассматривается также в связи со стратегиями построения речевого действия, когда говорящий осуществляет выбор вербальных средств, в том числе и дейктических, таким образом, чтобы его речевое действие выполнило прагматическую установку. Анализ дейктических единиц в акте коммуникации раскрывает их речемыслительный и функционально-прагматический потенциал и акцентирует внимание на том факте, что осмысление дейктических координат формирует и упорядочивает в конкретном речевом акте иные знания о мире. В частности, Дж. Андерсон и Э. Кинан считают, что дейксис представляет собой осуществляемую говорящим посредством языка операцию референции, в которой он использует свой речевой акт в качестве точки отсчета (для всех дейктических категорий речевого акта) и идентифицирует референта(ов)

[Anderson, Keenan 1985: 259—308]. Данный подход объясняет достаточно широкое распространение в современной лингвистической литературе определения, согласно которому дейксис есть «указание на всё то, что может быть обозначено как непосредственно относящееся к акту речи» [Вольф 1974: 6]¹.

Подобное более широкое рассмотрение дейктических функций вербальных средств в свете антропоцентрического фактора позволяет обратить внимание и на другие дейктические функции единиц языка. Отправной точкой в их описании могут служить постулаты о внутренней структуре речевого акта, включающей в себя иллокутивный, перлокутивный и локутивный (пропозициональный) акты. Несмотря на то что все симультанные составляющие речевого акта слиты в реальном высказывании воедино, в теории и практике лингвистического анализа речевых актов каждая из них выделяется и описывается отдельно. Особое место отводится при этом иллокутивной составляющей речевого произведения.

Термин «иллокутивный» (от лат. *il-* 'в', *loqui* 'говорить', т. е. 'действие, совершаемое посредством говорения') ввел в практику исследований языка Дж. Остин, обращая внимание на центральную роль иллокутивной составляющей в общей структуре речевого акта и противопоставляя его актам референции и предикации. Впоследствии Дж. Серль писал, что основанием для такого разграничения служит тот факт, что одно и то же пропозициональное содержание, являющееся результатом соответствующих актов референции и предикации, может быть выражено посредством различных по своему значению речевых актов [Searle 1969: 39]. В отличие от локутивного акта, в результате которого формируется пропозициональное содержание речевого акта, и перлокутивного акта, ориентированного на результаты речевого взаимодействия коммуникантов, иллокутивный акт заключается в осуществлении говорящим действия посредством речи (Дж. Остин, Дж. Серль, Д. Вандервекен, П. Грайс, А. Вежбицка и мн. др.).

Исследователями онтологической природы иллокутивного акта подчеркивается, что в процессе речевого действия происходит перенос содержания со сказываемого (замысел) на сказываемое (речевое произведение), который становится возможным благодаря иллокутивной силе, реализуемой говорящим в конкретной речевой ситуации средствами конкретного языка. Результат иллокутивного акта измеряется при этом в координатах «осуществлен — не осуществлен» и представлен иллокуцией вербального коррелята речевого акта [Linke 2004: 213]. Учитывая полиаспектный характер иллоку-

¹ В лингвистической литературе выделяются два вида дейксиса — анафора и собственно дейксис — в зависимости от того, производится ли в речевом акте указание на лингвистический контекст или на ситуацию акта речи (К. Бюлер, В. А. Виноградов, Е. М. Вольф, Е. В. Падучева и др.).

тивного акта, иллокутивная семантика речевого акта включает в себя:

— коммуникативную интенцию речевого акта, отражающую интенциональное состояние говорящего (И. П. Сусов, В. Н. Василина и др.), например: *Закрой, пожалуйста, дверь! Не закроешь ли ты дверь? Mach' bitte die Tür zu! Könntest du bitte die Tür zumachen?* (иллокуция — просьба закрыть дверь);

— иллокутивную функцию речевого произведения, выступающего проекцией речевого акта с определенной иллокутивной силой. В данном случае иллокуция предстает как использование высказывания для достижения заданной говорящим иллокутивной цели (Т. В. Седова, Н. Н. Боева-Омельченко, Г. Г. Матвеева, Е. Е. Петрова и др.). Например, иллокутивная функция просьбы, характерная для предыдущих примеров, делает открытой для распознавания коммуникативную интенцию просьбы с целью добиться от слушающего определенного действия;

— интенсивность проявления иллокутивной силы, которая проявляется в категоричности высказывания, а также в эмоциональной экспрессии и оценочности речевого акта. Показателями данных составляющих иллокутивной семантики речевого акта выступают, например, иллокутивные функции эмоционально-оценочной лексики (А. С. Стаценко, В. А. Гамурар и др.) и иллокутивные функции прощальных средств речевого акта (С. В. Кодзасова, О. Ф. Кривнова, Т. Е. Янко, Е. И. Григорьев, В. М. Тычина и др.).

Иллокутивная составляющая высказывания или дискурса, выступающего вербальным коррелятом речевого акта, представляет в свете изложенного совокупность компонентов значения разноразноуровневых языковых средств, которые обнаруживают себя в речевом произведении не только в качестве индикаторов иллокутивной функции речевого акта (описываемых в лингвистической литературе как иллокутивные индикаторы), но и как дейктики качества и интенсивности иллокутивной силы говорящего в конкретном коммуникативном акте.

Идея об иллокутивном дейксисе восходит к трудам С. Андерсона и Э. Кинана, считающих обязательным компонентом речевой ситуации, представленным в речевом акте, иллокутивный акт (речевое действие) говорящего. Он связывается со способом его вербального воплощения. Описание данного компонента предлагается производить при помощи модального оператора «Как? Каким образом? — Так, таким образом», который именуется дейксисом образа действия и представлен как дейктическая категория, указывающая на иллокутивный акт говорящего [Anderson, Keenan 1985: 259—308].

Однако анализ реляций компонентов речевой ситуации, дейктического центра речевого акта и соответствующих им дейктических категорий дает основание полагать, что иллокутивный дейксис понимается шире, чем соотнесение речевого действия с категори-

альным планом модальности предложения-высказывания, и представлен не только единицами языка, выполняющими дейктические функции по отношению к качеству и интенсивности иллокутивной силы говорящего, но и вербальными средствами, указывающими на сам иллокутивный акт и способ его вербализации в конкретном акте коммуникации.

Наблюдение над языковыми фактами показывает, что в речи дейктические функции по отношению к факту и способу осуществления речевого действия выполняют разные единицы и средства языка.

Одним из средств иллокутивного дейксиса выступает иллокутивная структура сложных речевых актов, реализация основной коммуникативной интенции в которых осуществляется более чем в одном высказывании.

Каждый реальный сложный речевой акт представлен в дискурсе иллокутивной структурой, отражающей коммуникативные стратегии говорящего по реализации основной иллокутивной силы. Данный факт можно проиллюстрировать на следующем примере сложного речевого акта с общей иллокутивной доминантой *gratulieren*:

Фрагменты дискурса, выступающего вербальным коррелятом сложного речевого акта <i>gratulieren</i>	Иллокутивная структура речевого акта
<p><i>Lieber Geschäftsfreund,</i></p> <p><i>ein ereignisreiches Jahr ist zu Ende gegangen — neben Kriegen und Dürrekatastrophen hat es doch auch erfreuliche Dinge gegeben — die Hoffnung für die Zukunft wecken:</i></p> <p><i>es ist die höchste Zeit — die Weihnachtszeit als Zeit der Besinnung, des Friedens und der Liebe wieder in unser Bewusstsein zu nehmen.</i></p> <p><i>In diesem Sinne wünsche ich Ihnen friedvolle und</i></p> <p><i>besinnliche Festtage und ein erfolgreiches Jahr 1998</i></p> <p><i>Peter Krause</i></p>	<p>ich rede an (indem ich Sprechkontakt anknüpfe)</p> <p>ich stelle fest</p> <p>ich behaupte</p> <p>ich weise zurück und <u>wünsche</u></p> <p>ich nenne mich, indem ich beende</p>

Иллокутивная структура дискурса в приведенном примере формируется в зависимости от стратегий говорящего различными простыми речевыми актами обращения, констатации факта, пожелания, иллокутивная сила которых подчинена реализации основной иллокутивной силы сложного речевого акта — поздравления.

Несмотря на то что вербализация коммуникативных стратегий предполагает индивидуальный характер построения говорящим дискурса, выступающего вербальным коррелятом сложного речевого акта, неотъемлемыми составляющими его иллокутивной структуры являются простые речевые акты, которые можно назвать «коммуникативным каркасом» выражения иллокутивной доминанты сложного речевого акта, т. к. именно их наличие в иллокутивной структуре речевого произведения позволяет слушающему адекватно распознать общую иллокутивную семантику речевого акта.

К таким простым речевым актам в приведенном примере относится речевой акт пожелания. Присутствие в иллокутивной структуре дискурса его экспликатора — перформатива *wünschen* — в сочетании с речевыми актами обращения и автономинации, а также языковыми средствами, имеющими дейктическую функцию по отношению к пропозициональному содержанию речевого акта (*ein ereignisreiches Jahr ist zu Ende gegangen*), указывает на актуализацию говорящим речевого акта с иллокутивной семантикой поздравления. Подобный факт наблюдается и во многих других сложных речевых актах с иллокутивной доминантой поздравления. В частности, в следующем примере реализации сложного речевого акта поздравления «коммуникативный каркас» иллокутивной структуры дискурса сформирован наряду с простым речевым актом *gratulieren* в сочетании с элементами пропозиционального содержания простыми речевыми актами с иллокутивными функциями *anreden*, *wünschen*, *sich nennen*:

Фрагменты дискурса, выступающего вербальным коррелятом сложного речевого акта <i>gratulieren</i>	Иллокутивная структура речевого акта
<p>Heinz Erhardt — es dürfte keine Steuern, kein Zahnweh, keine Schützengräben — wäre das Leben noch schöner <i>Herr Meisenkaiser,</i> zu Ihrem Geburtstag gratuliere ich Ihnen mit einem Spruch von H. Erhardt, <i>weil ich Sie als nachdenklichen und lebensfrohen Menschen</i> <i>schätzensgelernt habe in den vielen Jahren, die wir uns schon kennen.</i></p>	<p>ich zitiere ich rede an (indem ich Sprechkontakt anknüpfe) ich gratuliere ich begründe</p>

<i>Deshalb bin ich sicher — Sie werden Ihren heutigen Ehrentag genießen und für heute all die großen und kleinen Einschränkungen der Lebensfreude vergessen — die H. Erhardt nennt und über die wir so oft bei einem Gläschen gesprochen haben.</i>	ich schlussfolgere und meine
<i>Da ich Sie auch als Liebhaber eines guten Tropfens kenne —</i>	ich erkläre
<i>erlaube ich mir — Ihnen als Geburtstagspräsent einen Kasten Wein durch meinen Fahrer bringen zu lassen.</i>	
<i>Für die Zukunft wünschen meine Mitarbeiter und ich Ihnen</i>	ich wünsche
<i>alles Gute — besonders Gesundheit und weiterhin die Energie und Schaffenskraft, um die viele Jüngere Sie beneiden.</i>	
<i>Herzliche Grüße</i>	ich beende (indem ich eine Grußformel gebrauche)
<i>Dieter Küpper</i>	ich nenne mich

Наличие в иллокутивной структуре данного дискурса простых речевых актов цитирования, обоснования, мнения, объяснения, а также этикетных формул отражает своеобразие реализации коммуникативной стратегии говорящего при осуществлении речевого акта поздравления.

Анализ многочисленных примеров показывает, что реализация основной иллокутивной силы в сложном речевом акте имеет лингвокультурную специфику.

В результате проведенного сопоставительного исследования иллокутивной структуры речевых актов служебного поручения на материале русского и немецкого языков установлено, что социокультурные различия речевого поведения и иерархичность отношений в сфере деловой коммуникации, регулируемая различными нормами речевого и делового этикета в русской и немецкой лингвокультурах и фиксируемая в фоновых знаниях носителей языка, по-разному отражаются в иллокутивной структуре речевых актов служебного поручения в сопоставляемых языках.

Несмотря на то что иллокутивная структура речевых актов служебного поручения в немецком и русском языках оказалась относительно изоморфной, включая блоки контактоустанавливающих, аргументативных, оценочных, повествовательных, этикетных и контакторазмыкающих (вторичных) речевых актов, выявлено четкое различие в комбинации и частоте включения вторичных речевых актов в общую структуру дискурса для выражения основного иллокутивного значения речевого акта. Данный факт можно представить в виде следующей таблицы:

Иллокутивная доминанта блока речевых актов в иллокутивной структуре сложного речевого акта служебного поручения	В немецком языке	В русском языке
1. Блок контактоустанавливающих речевых актов	99,3 %	96,8 %
2. Блок побудительных речевых актов	97,8 %	79 %
3. Блок аргументативных речевых актов	61,2 %	74,7 %
4. Блок повествовательных речевых актов	81,5 %	69,1 %
5. Блок оценочных речевых актов	16 %	84,2 %
6. Блок этикетных речевых актов, включая речевой акт благодарности	76,2 %	26 %
7. Блок контакторазмыкающих речевых актов	94,7 %	96 %

Исследования показали, что облигаторный характер поручения выражается в немецком языке чаще посредством модальности побуждения, например: *“Angelika, ich brauche dringend Informationen über die gestrigen Abgaben. Holen Sie mir bitte die betreffende Mappe!”* В русском же языке более часто встречаются описательные высказывания с модальностью долженствования: «У меня к тебе еще одно дело. *Нужно подготовить* новое предложение».

В то время как носители русского языка тяготеют при реализации речевой стратегии поручения к использованию аргументов в пользу необходимости поручаемого действия, носители немецкого языка считают необходимым более четко объяснить реципиенту содержание и алгоритм выполнения служебного поручения, используя речевые акты повествовательного и оценочного типа, например: *“Herr Mayer, schicken Sie bitte den erarbeiteten Plan an unseren Partner. Im Moment ist es sehr wichtig für weitere Zusammenarbeit”*.

Большее внимание этикетной стороне речи уделяется, согласно данным сопоставительного исследования, в речевых актах служебного поручения в немецкой лингвокультуре. Здесь имеются в виду как случаи использования этикетных формул в контактоустанавливающих и контакторазмыкающих вторичных речевых актах, так и случаи включения в иллокутивную структуру служебного поручения отдельных вторичных речевых актов с этикетной функцией (приветствие, обращение, комплимент, прощание, благодарность).

Наряду с фактом более низкой частотности включения в общую иллокутивную структуру речевого акта служебного поручения этикетных речевых действий в русском языке, здесь были выявлены и случаи использования говорящим побудительных речевых актов угрозы, прежде всего для получения им большего перлокутивного эффекта, например: *«Просто выиграйте для меня этот тендер. А с тебя,*

Костя, особый спрос. Если Зубов соскочит, ты знаешь, что я с тобой сделаю. Сделка сорваться не должна. Всем всё понятно?»

Использование отрицательно-побудительных стимулов является одним из основных различий в реализации речевых актов служебного поручения в немецком и русском языках. Очевидно, что указание на негативные последствия в случае невыполнения поручения является в России одним из эффективных способов воздействия на реципиента в сфере деловой коммуникации.

Отражение особенностей делового общения в немецкой и русской лингвокультурах обнаруживаем, прежде всего, в специфике организации иллокутивной структуры сложных речевых актов служебного поручения, в частности в порядке следования и соотношении простых речевых актов с заданной иллокутивной функцией. В немецком языке в сложных речевых актах служебного поручения особенно сильно представлен блок этикетных РА (76,2 %), а в русском языке — блок оценочных РА (84,2 %).

Полученные сведения раскрывают специфику реализации речевых актов служебного поручения в немецком и русском языках и тем самым особенности организации делового дискурса в немецкой и русской лингвокультурах.

В целом результаты сопоставительного исследования иллокутивной структуры дискурса, выступающего вербальным коррелятом РА служебного поручения в немецком и русском языках, свидетельствуют об актуальности и практической значимости подобных исследований, раскрывающих лингвокультурную специфику речевого общения, и могут быть продолжены на материале других языков и в рамках речевых актов других иллокутивных типов.

Литература

- Арутюнова 1988 — *Арутюнова Н. Д.* Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Вольф 1974 — *Вольф Е. М.* Грамматика и семантика местоимений: На материале иберороманских языков. М., 1974.
- ЛЭС 1990 — Лингвистический энциклопедический словарь / Отв. ред. В. Н. Ярцева М., 1990.
- Anderson, Keenan 1985 — *Anderson St., Keenan E.* Deixis // Language typology and syntactic description / Ed. By T. Shopen. Cambridge, 1985. S. 259—308.
- Linke 2004 — *Linke A., Nussbaumer M., Portmann P.* Studienbuch Linguistik. 5., erw. Aufl. Tübingen, 2004.
- Searle 1969 — *Searle John R.* Speech acts: An essay in the philosophy of language. Cambridge, 1969.

ZUSAMMENFASSUNG**Illokutive Struktur komplexer Sprechakte
im kontrastiven Aspekt**

Im Beitrag wird illokutive Struktur komplexer Sprechakte als eine Art sprachlicher Deixis behandelt, die die Referenz durch Bezug auf den illokutiven Akt und als Folge auf die illokutive Dominante des komplexen Sprechaktes darstellt. Dies trägt zum Erfassen von Besonderheiten der Realisierung komplexer Sprechakte verschiedener illokutiven Typen in verschiedenen Sprachen bei. An konkreten Beispielen wird gezeigt, dass kontrastive Analyse der illokutiven Struktur komplexer Sprechakte im Deutschen und im Russischen ganz deutlich die Spezifik ihrer Realisierung im Rahmen der Geschäftskommunikation in Deutschland und Russland feststellt.

И. С. ПАРИНА

(Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н. А. Добролюбова)

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ДЕФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕРИВАТЫ: ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА И ОПИСАНИЯ

Описание современного состояния языка — актуальная лингвистическая задача, решать которую с появлением электронных текстовых корпусов стало легче. Одно из существенных достоинств корпусов состоит в том, что в них может осуществляться поиск языковых единиц, заранее не известных — например, по лексическому окружению или тем или иным грамматическим признакам. Это позволяет не только подтверждать с помощью корпусов заранее сформулированные гипотезы, но и выдвигать совершенно новые (ср. [Добровольский 2013: 593; Steyer 2009]).

В качестве основного недостатка корпусов нередко называют отсутствие сбалансированности (так, корпус DeReKo, который использовался в рамках настоящего исследования, более чем на 90 процентов состоит из текстов современной немецкой прессы — <http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/projekt/referenz/korpora.html>). Из-за преобладания письменных текстов могут возникать сложности при изучении явлений, характерных в большей степени для устной речи — в частности, образной фразеологии. Так, было подсчитано, что для получения достаточной информации о пословицах и идиомах необходим корпус объемом не менее 50 миллионов словоформ — поскольку в массиве текстов меньшего объема фразеологизмы, активно употребляемые носителями языка, могут не встретиться ни разу [Moon 2007].

Однако даже в корпусе, содержащем несколько миллиардов словоформ — таком, как DeReKo, — некоторые языковые единицы встречаются настолько редко, что достоверные статистические исследования становятся невозможными, и можно лишь констатировать, что та или иная единица существует. Это справедливо и в отношении рассматриваемых в настоящей статье фразеологических и дефразеологических дериватов. По этой причине в качестве материала привлекались не только тексты корпуса DeReKo, но и немецкоязычные форумы и блоги, ведь спонтанная письменная речь текстов электронной коммуникации по многим своим характеристикам, в том числе по лексическому составу, приближена к устной.

Цель исследования изначально состояла в том, чтобы проверить вариативность немецких фразеологизмов со значением безумия (получающих в словаре [Duden. Bd. 11] толкование “*nicht ganz bei Verstand sein*”) — выявить варианты уже зафиксированных в существующих словарях фразеологизмов и новые фразеологизмы этого семантического поля, не получавшие ранее лексикографического описания.

Эта цель связана с выполнением практической задачи — составлением и редактированием статей для нового немецко-русского фразеологического словаря. Этот лексикографический проект под рабочим названием «Современная немецкая фразеология: немецко-русский корпусный словарь» подробно рассматривается в [Добровольский 2013: 574—604; Dobrovolskij 2013: 210—217]. Несколько завершённых статей размещены для ознакомления на сайте Института немецкого языка (http://wvonline.ids-mannheim.de/idiome_guss/index.htm).

Гипотеза о том, что в корпусе могут быть выявлены не описанные ранее фразеологизмы, связана с многократно встречающимся в классической литературе утверждением о тенденции к образованию экспрессивных окказиональных вариантов фразеологизмов, которые со временем узуализируются (например, [Fleischer 1982: 182—183]). А. Д. Райхштейн в качестве основного способа фразеологической деривации называет замену именного компонента на его стилистически маркированные синонимы (например, *Kopf* на *Birne*, *Nuß*, *Rübe*, *Dach*, *Deckel*) [Райхштейн 1980: 84—86]. С. Пташник, помимо замены компонента, выделяет такие способы фразеологической деривации, как редукция (например, *Licht am Ende des Tunnels* от *Licht am Ende des Tunnels sehen*) и развитие образной основы (*jmdn. ins Boot holen*, *jmdn. mit ins Boot nehmen* от *in einem Boot sitzen*) [Ptaschnyk 2005: 84].

Кроме того, исследованиями неоднократно было подтверждено, что во многих языках — в том числе в немецком — наибольшее число фразеологизмов входит в те семантические группы, которые служат для обозначения субъективно значимых и оцениваемых негативно физических, психических и социальных состояний лица и ситуаций [Райхштейн 1980: 58—61; Fleischer 1982: 183; Stepanova, Černyševa 2003: 180; Proost 2007].

Поэтому было выдвинуто предположение, что рассматриваемая группа фразеологизмов также окажется продуктивной.

Поиск незарегистрированных в словаре фразеологизмов осуществлялся несколькими способами. Во-первых, были проанализированы контексты с распространёнными идиомами этой группы — такими, как *nicht alle Tassen im Schrank haben*, поскольку нередки случаи параллельного употребления нескольких идиом:

Der schimpft vielleicht sonst: “*Haben Sie nicht mehr alle auf dem Christbaum?!*” Diese Redensart spielt mit Geistesabwesenheit und der Unvollständigkeit der Sinne — genau wie der Satz: “*Der hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank!*” (Nürnberger Nachrichten, 24.12.2008).

Во-вторых, в ходе прочтения контекстов к таким употребительным идиомам, как *einen Vogel haben*, было установлено, что периодически они встречаются в определенном синтаксическом окружении — в частности, в предложениях типа: “*Du hast wohl einen Vogel!*” Поэтому был задан поисковый запрос “*Du hast wohl!*”, и все выявленные контексты проанализированы. Наконец, при формулировании запроса опускались те компоненты, которые с наибольшей вероятностью могли быть заменены на более экспрессивные, — в основном существительные. Например, для поиска вариантов, образованных по аналогии с идиомой *einen Sprung in der Schüssel haben*, формулировался запрос «*einen Sprung in* в сочетании с существительным с артиклем и *haben* в различных грамматических формах».

Исследование позволило выявить несколько фразеологизмов, не зафиксированных в [Duden. Bd. 11].

Один из них, *nicht alle Latten am Zaun haben*, образован, видимо, по аналогии с *nicht alle Tassen im Schrank haben*.

Zitat des Tages: “*Die haben ja nicht alle Latten am Zaun!*”. SPD-Chef Sigmar Gabriel zu CSU-Forderungen, der designierte Bundespräsident Joachim Gauck solle heiraten (Hamburger Morgenpost, 27.02.2012).

В [Duden Bd. 11] указан другой фразеологизм с компонентом *Latte*, имеющий значение безумия — [*sie*] *nicht alle auf der Latte haben*, так что можно предположить, что в приведенном выше контексте речь идет не об узуализированном фразеологизме, а о контаминации *nicht alle Tassen im Schrank haben* и [*sie*] *nicht alle auf der Latte haben*. Однако в корпусе он встречается 38 раз — и, значит, не является окказиональным. Кроме того, позже было установлено, что он зафиксирован в базе данных по немецкой фразеологии *redensarten-index.de*, которая постоянно пополняется на основе предложений, присылаемых пользователями, и уже содержит более 15 тысяч статей.

Еще один фразеологизм, зафиксированный в базе *redensarten-index.de*, но не указанный в [Duden. Bd. 11], — *einen nassen Hut aufhaben*. В ходе поиска по типичной синтаксической структуре был выявлен его вариант, которого нет и во фразеологической базе, — *einen feuchten Hut aufhaben*.

Die Tankstelleninhaberin war nach Angaben der Polizei gemeinsam mit ihrer 48 Jahre alten Tochter am 16. Februar dieses Jahres von einem jungen Mann überfallen und mit einer Pistole bedroht worden. Als die Bemerkung “*Du hast wohl’n feuchten Hut auf* — mach, daß du rauskommst” nichts fruchtete und sich der Täter trotzdem an der Kasse zu schaffen machte, trieb ihn die Mutter aus dem Kassenraum (Rhein-Zeitung, 16.11.1996).

Необходимо отметить, что для обоих вариантов в корпусе было найдено всего по одному контексту. Поэтому для принятия решения о том, включать ли эту идиому в словарь, словник которого составит около двух тысяч единиц, потребуется дополнительное исследование на основе текстов электронной коммуникации.

В результате поиска фразеологизмов, образованных путем замены компонента, были обнаружены варианты идиомы *einen Sprung in der Schüssel haben*, не зафиксированные ни в [Duden Bd. 11], ни в *redensarten-index.de* — вероятно, потому, что представлены лишь в австрийском варианте немецкого языка — *einen Sprung in der Marille haben* и *einen Wurm in der Marille haben*.

Diese Nordlichter, die *haben wohl einen Sprung in der Marille* (Kleine Zeitung, 26.01.1998).

Hollywood-Hüne Nick Nolte trompetete ja schon immer herum, er *habe einen Wurm in der Marille*. Dass er nicht ganz dicht ist und immer exzentrischer gerät, beweist jetzt sein neuester Gesundheits-Trip (Neue Kronen-Zeitung, 09.04.2000).

По-видимому, употребление существительного *Marille* ‘абрикос’ в качестве экспрессивного синонима компонента *Kopf* вообще характерно для австрийского варианта немецкого языка, потому что в корпусе встречаются и другие случаи такой замены. Так, в следующем примере используется вариант идиомы *weich im Kopf sein* — ‘быть слабоумным’:

Bei uns sind Fernsehmillionäre aber sicher seriös. Und das Format ist auch nicht frauenfeindlich, sondern quotenhebend. Und Frauen werden nicht ein bisschen *weich in der Marille*, sondern realitätsnah gezeigt (NEWS, 20.11.2003).

Кстати, сама идиома *weich im Kopf sein*, скорее всего, представляет собой неологизм. В корпусе она встречается лишь 5 раз, однако с помощью поисковой системы Google было найдено 3410 случаев ее употребления. Таким образом, этот фразеологизм — хотя он и не входит в рассматриваемое в данном случае семантическое поле — является реальным кандидатом на включение в корпусный словарь.

Aber einen ganzen Tag nur vor dem Fernseher sitzen und sich von der Katastrophenberichterstattung *weich im Kopf* machen lassen, das ging erst recht nicht (Süddeutsche Zeitung, 31.10.2012).

Итак, описанные выше идиомы были обнаружены с помощью поиска по синтаксическому окружению и по отдельным компонентам. Подробный анализ контекстов также оказался результативным, но выявлены с его помощью были не фразеологизмы, а дефразеологические дериваты, то есть лексемы, образованные от фразеологизмов.

Явление дефразеологической деривации подробно рассматривается в [Fleischer 1997]. В качестве наиболее распространенного случая В. Фляйшер указывает образование существительного от глагольного фразеологизма (*dünne Bretter bohren* — *der Dünnbrettbohrer*). Особенность полученной таким образом лексемы состоит в том, что ее значение остается затемненным без обращения к значению фразеологизма, послужившего производящей базой. В [Lazarenko 2008] перечисляется несколько видов дефразеологической деривации: обособление одного из компонентов (*ein gebranntes Kind sein* ‘Mensch mit

schlechten Lebenserfahrungen' — *gebrannt* 'lebenserfahren'); деривация от одного из компонентов путем аффиксации (*jmdm. Wurst/Wurscht sein* 'jmdm. gleichgültig, für jmdn. nicht interessant sein' — *wurstig/wurschtig* 'gleichgültig, uninteressiert'); сращение и словосложение (*blau wie ein Veilchen* 'sehr betrunken' — *das Blauveilchen* 'Angetrunkener') и аббревиация (*j(g)anz weit draußen* — *jwd* 'nicht einfach, nicht ohne großen Zeitaufwand zu erreichen').

Дефразеологические дериваты, выявленные нами в ходе анализа материала, были образованы другим способом — а именно на основе развития образной основы идиом.

Так, в 18 контекстах с идиомами *nicht alle Tassen im Schrank haben* и *einen Sprung in der Schüssel haben* были обнаружены лексемы *Porzellan-Syndrom* и *Porzellankrankheit*.

Tante Marga ist mit ihren 82 Jahren wirklich topfit... Und sie verkündet stolz, dass sie nicht am "Porzellan-Syndrom" leidet, was heißen soll, dass sie noch alle Tassen im Schrank hat (Nürnberger Nachrichten, 11.08.2004).

So auch Ursel Müller, die als Hausmädchen Irene "den Gerichtsvollzieher und andere Diebe" aus dem ihr anvertrauten Haushalt vertreibt und sich Heiratsanträgen des Junggesellen mit *Porzellansyndrom* (*Sprung in der Schüssel*) erwehren muss (Mannheimer Morgen, 15.02.2011).

В ходе дальнейшего поиска с помощью системы Google было выявлено более двадцати тысяч контекстов с лексемой *Porzellankrankheit* и 818 — с лексемой *Porzellansyndrom*. Заметим, что *Porzellankrankheit* также обозначает 'фарфоровую болезнь' — опасное заболевание ракообразных, в том числе аквариумных (<http://veterinary.academic.ru>), и частотность лексемы связана именно с этим значением. Тем не менее встречается достаточно много анекдотов и карикатур, где задействовано именно значение, связанное с идиомой *nicht alle Tassen im Schrank haben*. Кроме того, результаты поиска подтверждают замечание В. Фляйшера о том, что значение дефразеологических дериватов может оставаться неясным без обращения к фразеологизму, от которого они образованы. Так, среди результатов поиска присутствуют запросы на форумах, где пользователи просят объяснить значение лексемы — а в качестве ответа предлагается 'болезнь, сопровождающаяся ломкостью костей' (<https://de.answers.yahoo.com/>), проблемы с пищеварением (Ibid.) и, наконец, указание на фразеологизм:

Meine Frau sagte vorhin, ich hätte die *Porzellankrankheit*. Wer klärt mich auf!

Beste Antwort: Sie meinte das "Porzellan-Syndrom". D.h. Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank! (<https://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080201023915AABCjdp>).

Таким образом, значение 'безумия' для этих лексем является интерсубъективным.

Кроме того, была обнаружена лексема *Keramik-Syndrom*, образованная, видимо, по аналогии с *Porzellan-Syndrom* и имеющая сходное значение:

“Mein Arzt hat mir ein *Keramik-Syndrom* bescheinigt. Ich *habe einen Sprung in der Schüssel*”. “Die kranke Oma” muß im Sketch mit Hilde Klein, Trudi Jung und Heidi Baurhenn gepflegt werden (Rhein-Zeitung, 16.02.1998).

С помощью поисковой системы Google было выявлено 44 примера употребления этой лексемы. Наконец, есть и третья лексема из этого синонимического ряда:

Von manchen bin ich schon angesprochen worden, ob wir die *Wachauer Krankheit* — nämlich *einen Sprung in der Marille* — haben, weil wir das Projekt nicht früher umgesetzt haben (Kleine Zeitung, 08.12.1996).

Так же, как и ее фразеологический коррелят — *einen Sprung in der Marille haben*, — эта лексема употребляется в австрийском варианте немецкого языка. Компонент ‘Wachauer’ — это отсылка к области Вахау — долине Дуная в Нижней Австрии, где выращивают особый сорт абрикосов с защищенным наименованием по происхождению (<http://www.wachauermarille.at/>). Найденные с помощью Google 310 примеров подтверждают интерсубъективность этого дефразеологического деривата.

Таким образом, выбранная нами методика действительно позволила выявить варианты существующих фразеологизмов и образованные от них новые фразеологизмы и лексемы. Конечно, многие из них оказались слишком редкими для включения в словарь, имеющий ограничения по объему словника. Однако в состав неограниченного по объему электронного ресурса — такого, как *redensarten-index.de* — они могли бы быть включены. Кроме того, они интересны сами по себе — как проявление живой устной речи в письменных текстах корпуса и свидетельство непрерывного языкового развития.

Литература

- Добровольский 2013 — *Добровольский Д. О.* Беседы о немецком слове. М.: Языки славянской культуры, 2013.
- Райхштейн 1980 — *Райхштейн А. Д.* Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. М.: Высшая школа, 1980.
- Dobrovolskij 2013 — *Dobrovolskij D.* German-Russian idioms online: On a new corpus-based dictionary // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды Международной конференции «Диалог 2013». Т. 1. М., 2013. P. 210—217.
- Duden. Bd. 11. — Duden. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Mannheim u. a.: Dudenverlag, 2002.
- Fleischer 1982 — *Fleischer W.* Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1982.
- Fleischer 1997 — *Fleischer W.* Das Zusammenwirken von Wortbildung und Phraseologisierung in der Entwicklung des Wortschatzes // Wortbildung und Phraseologie / Hg. v. R. Wimmer, F.-J. Berens. Tübingen: Narr, 1997. Studien zur deutschen Sprache. Bd. 9. S. 9—24.

- Lazarenko 2008 — *Lazarenko O.* Phraseologismen als Quelle der Wortbildung // *Kalbotyra* 2008. Vol. 59 (3). S. 183—191.
- Moon 2007 — *Moon R.* Corpus linguistic approaches with English corpora // *Phraseologie / Phraseology.* Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. An International Handbook of Contemporary Research. Berlin; New York: de Gruyter, 2007. P. 1045—1059.
- Proost 2007 — *Proost K.* Paradigmatic relations of phrasemes // *Phraseologie / Phraseology.* Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. An International Handbook of Contemporary Research. Berlin; New York: de Gruyter, 2007. P. 110—118.
- Ptashnyk 2005 — *Ptashnyk S.* “Unstable” feste Wortverbindungen: Zur Dynamik des phraseologischen Sprachbestandes // *Hermes — Journal of Linguistics.* 2005. Vol. 35. S. 77—95.
- Stepanova, Černyševa 2003 — *Stepanova M. D., Černyševa I. I.* Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. M.: Издательский центр «Академия», 2003.
- Steyer 2009 — *Steyer K.* Zwischen theoretischer Modellierung und praxisnaher Anwendung. Zur korpusgesteuerten Beschreibung usueller Wortverbindungen // *Theorie und Praxis der idiomatischen Wörterbücher / Hg. v. C. Mellado Blanco.* Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2009. S. 119—145.

Электронные ресурсы

- <http://veterinary.academic.ru>
http://wvonline.ids-mannheim.de/idiome_russ/index.htm
<http://www.redensarten-index.de>
<http://www.wachauermarille.at/>
<https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/>
<https://de.answers.yahoo.com/>
<https://www.google.de/>

ZUSAMMENFASSUNG

Auf der Suche nach phraseologischen und dephraseologischen Derivaten

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind Idiome des semantischen Feldes VERRÜCKTHEIT. Ihre Variation wurde anhand des Deutschen Referenzkorpus untersucht. Es wurden verschiedene Methoden verwendet: die Suche nach typischer syntaktischer Umgebung, nach den Basiskomponenten, sowie die Analyse der Ergebnisse der Recherche nach bereits bekannten Idiomen. Es wurden neue Varianten bereits bekannter Phraseme, neue Phraseme, sowie dephraseologische Derivate ermittelt.

И. Р. ПЕРЕВЫШИНА
(Белгородский государственный
национальный исследовательский университет)

**СУФФИКСЫ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СИСТЕМЕ
НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
(контрастивный, переводоведческий
и лингвокультурологический аспекты)**

Русский и немецкий языки, являясь индоевропейскими языками, обладают целым рядом сходных черт на разных уровнях, в том числе и на словообразовательном. Сходство данных языков наблюдается в общности некоторых особенностей словообразовательной структуры лексических единиц (например, структурная однотипность основ слова), в наличии одинаковых способов словообразования (например, словосложение, аффиксация, субстантивация, адъективация), в наличии некоторых общих тенденций развития словообразовательных систем обоих языков (например, значительный рост словарного состава путем аббревиации, продуктивность словосложения, адъективация причастий) [Перевышина 2012: 291]. В русском языке имеется широко развитая, дифференцированная система суффиксов субъективной оценки «для образования качественных прилагательных с особой, эмоционально-экспрессивной окраской и выражением отношения говорящего к предмету, качеству, признаку. Суффиксы субъективной оценки придают словам различные оттенки (ласкательные, сочувствия, пренебрежения, презрения, уничижения, иронии, также реального уменьшения или увеличения): *добренький, сладенький, лёгонький, плохонький, смирѐхонький, большущий, хитрющий, высоченный, темноватый, рыжеватый*» [Розенталь, Теленкова 1985: 102]. В немецком языке полностью отсутствуют суффиксы субъективной оценки в системе имени прилагательного, за исключением одного из множества значений суффикса *-lich*. В словаре словообразовательных элементов немецкого языка, вышедшего в 1979 г., суффикс прилагательного *-lich* характеризуется как продуктивный, частотный, но только восьмое значение этого суффикса указывает на элементы субъективной оценки, а именно на значение ослабления признака (*bläßlich* — ‘бледноватый’, *rötlich* — ‘красноватый’) [Зуев, Молчанова, Мурашов 1979: 282].

«Оценку можно рассматривать как один из видов модальностей, которые накладываются на дескриптивное содержание языкового выражения. Высказывания, включающие оценку или другие модальности, содержат дескриптивную компоненту и недескриптивную, т. е. модальную, компоненту, причем первая описывает одно или несколько из возможных положений дел, а вторая высказывает нечто по их поводу» [Вольф 200: 11]. Тексты с эмоциональной доминантой (художественный текст или лирическое стихотворение) отличаются от информативных тем, что в понимании их смысла немалую роль играет субъективный фактор. Он непрерывно связан с выражением позиции автора, иначе говоря, субъективной модальностью. По мнению Анны Вежбицкой, «эмоциональная температура текста» [1997: 54—55] у русских весьма высока, гораздо выше, чем у английского текста, и выше, чем в текстах других славянских языков. Оценочный характер текста создается обилием эмоциональных и экспрессивных средств, в том числе значительным количеством прилагательных с суффиксами субъективной оценки, которые в русских художественных текстах имеют достаточно высокую коммуникативно-функциональную весомость, следовательно, их роль в создании коммуникативного эффекта, образности, определенного стилистического рисунка также высока, поэтому важна актуализация значений суффиксов субъективной оценки в переводе.

Поскольку языковая система русского языка характеризуется большим количеством суффиксов субъективной оценки прилагательных, а в языковой системе немецкого языка суффиксы субъективной оценки представляют собой лакуны, безэквивалентные номинации, ключевым вопросом для сопоставительного языкознания, переводоведения и лингвокультурологии является вопрос о переводимости и непереводимости. Рассматривая вопросы, связанные с актуализацией значений при переводе русских суффиксов субъективной оценки на немецкий язык, сопоставительное языкознание оперирует такими понятиями, как лингвистические универсалии и уникалии, план выражения и план содержания; для теории перевода релевантными являются переводческие технологии: перевод с помощью эквивалентов и функциональных эквивалентов/ адекватных замен, способы и приемы перевода безэквивалентных номинаций; для лингвокультурологии важным является рассмотрение текста перевода «с точки зрения теории лакун, понимать которую следует широко: если в пределах текста лакуна — это некоторый фрагмент текста, в котором имеется нечто непонятное, то с позиции какого-либо языка иноязычный текст в целом также представляет собой лакуну, которую требуется заполнить лингвокультурными средствами» [Сорокин, Морковина 1998: 77].

Проблема переводимости и непереводимости является одной из старейших теоретических проблем. С периода античности и вплоть до первого десятилетия XIX в. в лингвистике и филологии господ-

ствовала идея универсализма. Это обусловлено тем, что лингвистическое учение, зародившись в Греции, было затем воспринято Римом, а после падения Рима — учеными новых европейских государств и со временем стало восприниматься как эталон, как идеал лингвистической науки. Греко-римская классификация частей речи, членов предложения, порядка слов, парадигм, склонения и спряжения и т. д., лингвистическая терминология были восприняты учеными европейских государств и некритически перенесены на почву новых языков — без учета их специфики и черт отличия от древних классических языков: лингвисты все явления европейских языков «подгоняли» под греческие или римские образцы. Так родилась концепция общности всех языков Европы и мира — отмечалась общность как мыслительных процессов, так и языков, как понятийно-философской, так и лингвистической картины мира (универсума), а вследствие этого возникло стремление создать единую логику и единую грамматику для всех языков. Однако чем больше сопоставлялись языки в поисках всеобщего, универсального, единого, тем больше черт различия обнаруживали ученые, тем четче осознавалась необходимость изучать наряду с чертами общности, универсальности также черты идиоэтничности, национального своеобразия, что в свою очередь требовало изучения своеобразных черт быта, истории, культуры, нравов, обычаев, менталитета (склада мыслей и чувств) соответствующего народа.

Отцами теории непереводаемости принято считать немецких филологов XIX в. В. Гумбольдта, А. Шлегеля и философа XVIII в. Г. В. Лейбница, в России аналогичных воззрений придерживался А. А. Потембин. Суть этой концепции такова: употребляя даже самые простые и вроде бы общеупотребительные слова, люди разных национальностей имеют различные представления об обозначаемом явлении.

Проблема непереводаемости в разные эпохи решалась по-разному. Так, Лео Вайсгербер в книге «Родной язык и формирование духа» [2004] пишет, что любая попытка выйти за узкий круг родственных нам языков показывает, насколько другие языки отличаются от них содержательно, а это, естественно, говорит о том, что носители языков различных языковых систем думают по-разному. При этом даже переводчики близких друг другу языков отмечают, что перевод без искажений самой передаваемой мысли невозможен. Каждый человек словно «врастает» в родной язык, он вынужден усваивать его способ понимания мира явлений и национального духа, и, таким образом, все члены языкового сообщества перерабатывают переживаемое ими сообразно с внутренней формой их родного языка и мыслят и действуют соответственно. Лео Вайсгербер подчеркивает, что тот, кто занимается переводом на иностранные языки, неминуемо сталкивается с фактом понятийного несовпадения слов различных языков. Во многом идеи Вайсгербера восходят к релятивистской

концепции В. Гумбольдта. Именно В. Гумбольдт [1859] выдвинул известный тезис о том, что язык народа есть его дух. Согласно Гумбольдту, каждый язык уникален с точки зрения зафиксированной в нем картины мира, а значит, и способ мышления каждого народа уникален. Основной вывод компаративистов XIX в.: каждый язык универсален по своему содержанию, но идиоэтничен (национален) по своей форме. Иногда преувеличиваются черты идиоэтнического, делающие взаимопонимание народов сомнительным или даже невозможным (так, В. Гумбольдт утверждал наличие национальной картины мира у каждого народа, которая, по его мнению, формируется на основании изучения родного языка, который в виде лингвистической картины мира «задает» человеку видение мира, его оценку, менталитет). Некоторые продолжатели концепции В. Гумбольдта утрируют субъективно-философские мысли учителя, так, например, концепция культурологической и лингвистической (семантической) относительности Сепира и Уорфа. Следуя логике вышесказанного, можно резюмировать, что при таком понимании природы языка не может быть и речи о полноценном переводе.

Несколько по-иному проблему переводимости и непереводимости трактует гипотеза неопределенности перевода, выдвинутая американским логиком и философом Уиллардом Куайном в монографии «Слово и объект» [2000]. В самом общем виде теорию Куайна можно свести к тому, что любой перевод является принципиально неопределенным. По Куайну, мы не можем добиться успеха, отдавая предпочтение какому-либо одному варианту перевода. Неопределенность перевода — это вопрос о том, сколько синонимических вариаций может быть для перевода того или иного явления. «Традиционная характеристика синонимов как выражений, имеющих одинаковое значение, действительно неопределенна. При рассмотрении явления синонимии Куайн и его сторонники фактически требуют формально строгих критериев для синонимии и идентификации. Однако проблема синонимии не только проблема языковая (семантическая), но прежде всего гносеологическая, и она связана с творческим характером мышления, полифункциональностью естественного языка и его эволюцией» [Сомонов 1979: 21]. По сути, гипотеза Куайна не направлена на доказательство невозможности перевода, она лишь отрицает возможность тождественного перевода точно так же, как и другие разновидности теории релятивизма.

Концепция «универсализм» утверждает наличие общего, универсального в каждом языке, что отвергает тезис о непереводимости. Языковые универсалии — свойства, присущие человеческому языку в целом (а не отдельным языкам или языкам отдельных семей, регионов и т. д.). Возможность выявить универсальные свойства языка — существенная предпосылка большинства современных теорий языка, в том числе и теории перевода. Весьма показательна в этом отношении трансформационная модель перевода, в основу которой положе-

ны идеи трансформационной грамматики: мысль о том, что в основе любого языка лежит ограниченное множество простейших синтаксических типов предложений — ядерных структур / глубинных структур, и что различные языки гораздо больше похожи друг на друга в отношении простейших конструкций, чем в отношении сложных.

В XX в. в лингвистике все более отчетливо намечается тенденция к вскрытию и описанию понятийных универсалий, находящих выражение в речи, то есть стремление вскрыть, обосновать и увязать с выразительными возможностями конкретных языков такие универсальные абстракции, которые являются отражением в психике и в речевой практике человека объективных, наиболее существенных и частотных проявлений объективной действительности. А. В. Бондарко называет такие категории функционально-семантическими категориями. Б. М. Балин определяет языковые понятийные категории как «интердисциплинарные абстракции высокого порядка, высокочастотные и универсальные в плане мыслительно-речевого функционирования, возникающие и существующие как результат отражения психики фундаментальных проявлений и отношений объективной действительности. Эти абстракции передаются в разных языках в системе речи, но разным набором средств в зависимости от особенностей системы конкретного языка» [Балин 1972: 24].

Сопоставление оригинальных текстов и их переводов показывает отсутствие полного изоморфизма между планом выражения и планом содержания при переводе русских суффиксов субъективной оценки на немецкий язык. Для каждого народа характерны специфические условия материальной жизни, культуры, общественного устройства, то есть каждый народ обращает внимание на разные стороны действительности, действительность часто по-разному отражается в понятиях различными народами. Поэтому естественно, что и понятия, создаваемые при познании этой конкретной исторической действительности, не могут быть однозначными, тождественными, «межязыковая эквивалентность единиц исчезает сразу же, как только мы опускаемся ниже ранга предложения» [Хэллидей 1978: 44]. При сопоставлении исходного языка (ИЯ) и переводящего языка (ПЯ) в основном наблюдается несовпадение семантических систем и составляющих эти системы единиц разных языков. Конкретное распределение элементарных единиц смысла (сем или семантических компонентов) по отдельным словам, словосочетаниям, предложениям данного текста, как правило, не совпадает в текстах ИЯ и ПЯ. Но данное обстоятельство, равно как и отсутствие в ПЯ соответствующих эквивалентов, например, при переводе таких безэквивалентных номинаций, как русские прилагательные с суффиксами субъективной оценки, не означает, что понятия, выражаемые в ИЯ, не могут быть воспроизведены в ПЯ. Реальная действительность, окружающая разные языковые коллективы, едина для носителей языков, поэтому значения в ПЯ могут быть выражены системой разноуров-

невых средств, что не нарушает принципа коммуникативно-функциональной эквивалентности текстов ИЯ и ПЯ. Для актуализации значений русских суффиксов субъективной оценки прилагательных в немецких переводах часто вводятся различные адвербиальные уточнители: *простоват* — *etwas naiv*; *молоденькая, худенькая* — *ganz jung, ganz schlank und schwächig*, кроме того, актуализации значений в тексте на ПЯ, выражаемых в ИЯ суффиксами субъективной оценки, способствуют самые различные трансформации:

Но что такое г. Бенковский? Можно спросить? — О нем можно! — Он — черненький, сладенький, тихонький [Горький 1955: 404—405].

Aber wer ist denn dieser Herr Benkowsky? Darf man das fragen? — Das dürfen Sie. Es ist ein schwarzes, süßes, stilles Herrchen [Gorki 1902: 52].

Впереди отмахивал крупный, грудастый [Шукшин 1983: 120].

Voran rannte ein großer Wolf mit kräftiger Brust [Schuckschin 1981: 224].

Высокий сутуловатый мужчина [Шолохов 1981, 10].

Der Mann, dessen hohe Gestalt leicht vorgebeugt war [Scholochow 1965: 7].

Для сопоставительного языкознания, как было отмечено выше, при анализе примеров обращается внимание на то, что план выражения и план содержания не совпадают, но значение русских суффиксов субъективной оценки прилагательных актуализируется.

С точки зрения переводоведения в вышеприведенных примерах произошли следующие преобразования: пример (1) иллюстрирует нам морфологическую трансформацию, т. е. замену прилагательных с суффиксами субъективной оценки на существительное: *черненький, сладенький, тихонький* — *ein schwarzes, süßes, stilles Herrchen*; описательный перевод представлен в примере (2): *крупный, грудастый* — *mit kräftiger Brust*; пример (3) демонстрирует синтаксическую трансформацию, простое предложение заменяется сложноподчиненным с придаточным определительным.

Действительно, с помощью функциональных эквивалентов в результате адекватной замены возможно воспроизведение информации текста исходного языка. Но будет ли эта информация полной, без потерь? Как влияет потеря стилистической информации на восприятие переведенного произведения в целом? Рассмотрим пример перевода русских суффиксов субъективной оценки прилагательных из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»

«Это был невысокий сгорбленный человечек с очень слабыми ногами, всего только шестидесяти пяти лет, но казавшийся от болезни гораздо старше, по крайней мере, лет на десять. Все лицо его, впрочем, очень сухенькое, было усеяно мелкими морщинками, особенно было много их около глаз. Глаза же были небольшие, из светлых, быстрые и блестящие, вроде как бы две блестящие точки. Седенькие волосики сохранились лишь на висках, борода была крошечная и реденькая, клином, а губы, часто усмехавшиеся, — тоненькие, как две бечевочки. Нос не то чтобы длинный, а востренький, точно у птички» [Достоевский 2007: 23].

«*Er war ein kleiner, gebeugter Mann auf sehr schwachen Beinen, zwar erst fünfundzwanzig Jahre alt, doch infolge seiner Kränklichkeit mindestens zehn Jahre älter wirkend. Sein mageres Gesicht war übersät mit kleinen Runzeln, besonders um die Augen. Die Augen waren nicht groß, aber hell, sehr beweglich und glänzend wie leuchtende Punkte. Das graue Haar hatte sich nur an den Schläfen erhalten; das spitze Bärtchen war klein und dünn, die Lippen, die öfters zu lächeln pflegten, waren schmal, wie zwei Schnürchen, Die Nase war nicht sehr lang, dafür spitz, wie der Schnabel eines Vögels*» [Dostoevskij 2003: 37].

Оценка в вышеприведенном примере является основным компонентом смысла текста, эмоциональной доминантой текста. В отрывке как бы сгущаются экспрессивно-окрашенные формы имен прилагательных: *сухонький, седенький, реденький, тоненький, востренький* — словно сама жизнь, душа медленно уходит из старца, и прежний облик теряет форму, краски, характерные черты. В переводе, на наш взгляд, происходит простая констатация при описании внешности старца.

Теория перевода, сопоставительное языкознание и лингвокультурология по-разному рассматривают проблему переводимости и непереводимости. Если теория перевода и сопоставительное языкознание решают «ее в пользу переводимости, но с оговорками и комментариями, касающимися трудностей перевода и допущения частичной эквивалентности» [Павлова, Светозарова 2012: 109], и описывают набор способов и приемов по достижению функциональной эквивалентности, то лингвокультурология рассматривает проблему переводимости иначе. А. В. Павлова, Н. Д. Светозарова пишут: «Как непереводимые рассматриваются некоторые лексемы и отдельные грамматические явления, которые в практике перевода обычно успешно переводятся и для переводчиков особых сложностей не представляют. Если поверить гипотезе лингвистической относительности, то придется признать, что русские в описанных ситуациях иначе осмысливают и членят действительность, чем немцы. Носители разных языков осмысливают действительность принципиально одинаково, а выражают свою мысль по-разному, следуя правилам и нормам своих языков. Если различать мышление и культуру и включать в понятие “культура” в том числе языковую норму и речевой узус, то выражение субъективной оценки в русском и немецком языках по-разному вполне объяснимо» [Там же].

Литература

- Балин 1972 — Балин Б. М. Функционально-семантическая категория, языковая понятийная категория // Вопросы грамматики и стилистики немецкого языка. Калинин, 1972. С. 24—40.
- Вайсгербер 2004 — Вайсгербер Й. Л. Родной язык и формирование духа / Пер. с нем. О. А. Радченко. 2-е изд., испр. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2004.

- Вежибцкая 1997 — *Вежибцкая А.* Язык. Культура. Познание. М., 1997.
- Вольф 2002 — *Вольф Е. М.* Функциональная семантика. М., 2002.
- Гумбольдт 1859 — *Гумбольдт В. фон.* О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное различие человеческого рода: Учебное пособие по теории языка и словесности в военно-учебных заведениях / Пер. с нем. П. Билярского. СПб.: Императорская Академия наук, 1859.
- Зуев, Молчанова, Мурясов 1979 — *Зуев А. Н., Молчанова И. Д., Мурысов Р. З. и др.* Словарь словообразовательных элементов немецкого языка. М.: Рус. яз., 1979.
- Куайн 2000 — *Куайн У. В. О.* Слово и объект / Пер. с англ. А. З. Ченяк, Г. А. Дмитриев. М.: Логос, Праксис, 2000.
- Павлова, Светозарова 2012 — *Павлова. А. В., Светозарова Н. Д.* Трудности и возможности русско-немецкого и немецко-русского перевода: справочник. СПб.: Антология, 2012.
- Перевышина 2012 — *Перевышина И. Р.* Контрастивное описание словосложений немецкого и русского языков и перевод окказиональных композитообразований // *Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. Т. 9.* М.: Языки славянской культуры, 2012. С. 291—298.
- Розенталь, Теленкова 1985 — *Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.* Словарь лингвистических терминов. М.: Просвещение, 1985.
- Сомсонов 1979 — *Сомсонов В. Ф.* К анализу гипотезы Куайна о неопределенности перевода // *Тетради переводчика. Вып. 16.* М., 1979. С. 21—29.
- Сорокин, Морковина 1998 — *Сорокин Ю. А., Морковина И. Ю.* Культура и ее этнопсихолингвистическая ценность // *Этнопсихолингвистика. М.: Наука, 1998.*
- Хэллидей 1978 — *Хэллидей М. А. К.* Сопоставление языков // *Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М.: Международные отношения, 1978. С. 42—54.*

Источники

- Горький 1955 — *Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 29.
- Достоевский 2007 — *Достоевский Ф. М.* Братья Карамазовы. М.: Пушкинский Дом, 2007.
- Шолохов 1981 — *Шолохов М.* Рассказы. Судьба человека. М.: Советская Россия, 1981.
- Шукшин 1983 — *Шукшин В.* Рассказы. Л.: Лениздат, 1983.
- Gorki 1902 — *Gorki M.* Deutsch von Elissawetinskaja, Ausgewählte Werke. Bd. 4. Lpz., 1902.
- Dostoewskij 2003 — *Dostoewskij F.* Die Brüder Karamasow / Пер. с русск. Swetlana Geier. Zürich: Ammann Verlag, 2003.

- Scholochow 1965 — *Scholochow M.* Deutsch von Kopylov, Neuland unterem Pflug. M.: Progress, 1965.
- Schuckschin 1981 — *Schuckschin W.* Null null Kopeken. Erzählungen. Leipzig: Verlag Philipp Reclam, 1981.

ZUSAMMENFASSUNG

Deutsche und russische adjektivische Suffixe der subjektiven Einschätzung (im sichtsicht der kontrastiven Linguistik, Übersetzungslehre und kulturbezogenen Sprachwissenschaft)

Kontrastive Erkenntnisse in der Wortbildung der deutschen und der russischen Gegenwartssprache zeigen, dass für die russische Wortbildung die Suffixe der subjektiven Einschätzung typisch sind. Im System der deutschen Sprache fehlen diese Suffixe, d.h. dass sie Lakune oder äquivalenzlose Nominationen darstellen. Die potentiellen Möglichkeiten der wortbildenden Modelle im Deutschen und im Russischen sind verschieden. Diese Tatsache bereitet viele Schwierigkeiten beim Übersetzen. Sehr oft müssen Lexeme mit den Suffixen der subjektiven Einschätzung der Ausgangssprache durch verschiedene Sprachmöglichkeiten in der Zielsprache wiedergegeben werden oder überhaupt nicht wiedergegeben werden. Die Theorie der Übersetzbarkeit und Nichtübersetzbarkeit wird in der Übersetzungslehre, in der kontrastiven Linguistik und in der Sprach- und Kulturwissenschaft verschieden in Betracht gezogen.

Е. В. ПЛИСОВ

(Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н. А. Добролюбова)

КОНФЕССИОЛЕКТЫ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ¹

Дискуссии о статусе языка в религиозной сфере коммуникации связаны с несколькими подходами в интерпретации его роли в общении человека с Богом и людей друг с другом. В настоящее время язык религии изучается с теологических, лингвокультурологических, когнитивных, дискурсивных, лингвистических позиций. Целью настоящего исследования является описание основных подходов к изучению языка религиозной сферы и анализ языковых манифестаций в зависимости от религиозной и конфессиональной принадлежности носителей современного немецкого языка.

Современный немецкий религиозный дискурс характеризуется гетерогенной структурой, обусловленной внешними и внутренними факторами. По данным Епископской конференции Германии, Евангелической церкви Германии и Религиоведческого информационного центра (<http://remid.de/>), в стране в настоящее время проживает почти 24 млн. католиков (29,5 % общего количества населения), а также 15,7 тыс. старокатоликов, 15 тыс. харизматов и 1,5 тыс. англикан. Среди приверженцев евангелической традиции 22,6 млн протестантов (27,9 %), 350 тыс. представителей новоапостольской церкви, 418 тыс. баптистов и менонитов, 167 тыс. свидетелей Иеговы, 53 тыс. методистов, 49 тыс. пятидесятников, 39 тыс. мормонов, 34 тыс. адвентистов, 33 тыс. лютеран, 26 тыс. представителей Латвийской евангелическо-лютеранской церкви за рубежом и др. Среди 1,53 млн представителей православных, восточных и униатских церквей ведущее место занимают представители православных церквей: Константинопольской (460 тыс.), Румынской (300 тыс.), Сербской (250 тыс.), Русской (190 тыс.), Болгарской (60 тыс.), Антиохийской (15 тыс.), а также Сиро-яковитской православной церкви (100 тыс.), Украинской греко-католической церкви (40 тыс.), Армян-

¹ Работа выполнена в рамках реализации государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации, проект 1321 «Современный религиозный дискурс: структура и стратегии развития».

ской апостольской церкви (35 тыс.), Эфиопской православной церкви (20 тыс.), Коптской православной церкви (10 тыс.), Ассирийской церкви Востока (10 тыс.) и др. Ислам в Германии представлен 4 млн мусульман различного происхождения и толка. В настоящее время насчитывается около 200 тыс. иудеев, в том числе без закрепленной общинной принадлежности и представителей Союза прогрессивных евреев Германии. Индуизм представлен, по разным подсчетам, 90—100 тыс. последователей, включая приверженцев новых религиозных течений. В стране насчитывается около 270 тыс. буддистов. По разным оценкам, в стране также насчитывается около 2—2,5 млн представителей других (альтернативных) религиозных групп и течений, в том числе сектантов, организованных атеистов и людей, не исповедующих никакой религии.

В современной лингвистике используется несколько понятий для описания гетерогенности немецкого религиозного дискурса. Наряду с понятиями *религиозный язык*, *язык религии* используются также понятия *теолект*, *теоглоссия*, *религиолект*, *конфессиолект*, *язык конфессии*, *субконфессиолект*, *этноконфессиолект* и другие, которые также требуют некоторого пояснения.

В научной дискуссии 1990—2010-х гг. немецкий медиовист А. Гройле отмечает, что отказ от термина «сакральный язык» (*Sakralsprache*) в настоящее время представляется неоправданным, требуется дальнейшее обсуждение ключевых для теолингвистики понятий и терминов, где локализация и терминологическое значение «сакрального языка» будет уточняться [Greule 2012]. Сакральные языки могут быть первичными, т. е. с самого начала использоваться в такой функции, или естественные языки могут приобрести сакральный характер, когда с течением времени языковые, в том числе стилистические, формы обособляются, систематизируются и закрепляются в языке как сакральные, или иератические. А. Гройле предлагает также начать дискуссию о взаимоотношении понятий «сакральный язык», «теолект» и «литургический язык» [Reimann, Rössler 2012]. Под первым он понимает язык, который используется в отношении коммуникативной ситуации богослужения и характеризует используемые во время богослужения тексты. Под теолектом (во взаимосвязи с такими явлениями языковой вариативности, как социолект, диалект и др.) он понимает в большей степени гиперонимическое по отношению к сакральному языку явление, поскольку теолект может проявляться в различных коммуникативных ситуациях, в том числе в научной сфере и средствах массовой информации. Литургический язык (*Liturgiesprache*) А. Гройле считает не богослужбным языком, а исключительно специфическим языком литурга, вместе с языком общины он входит в качестве гипонима в понятие «сакральный язык». В работе «Теонимы» ученый определяет теолект как объект теолингвистики и сумму действующих в одном или всех языках теолектальных коммуникантов

устной или письменной природы: “Der in Analogie zu Dialekt und Soziolekt gebildete Terminus Theolekt gibt zu verstehen, dass es sich um sprachliche Äußerungen handelt, die mit dem *theós*, mit GOTT, zu tun haben — sei es dass *über* Gott oder *mit* Gott gesprochen wird, sei es dass sprachliche Äußerungen als Äußerungen Gottes selbst verstanden werden” [Greule 2013: 13]. Другими словами, теолект это — тот вариант коммуникации, где Бог выступает в качестве отправителя, получателя или содержания [Ibid.: 13]. В этом ракурсе А. Гройле пытается доказать и предпочтительность обозначения направления научного поиска «теолингвистика» (*Theolinguistik*) вместо использовавшегося ранее «язык и религия» (*Sprache und Religion*): “Es geht darum, wissenschaftlich zu beschreiben, wie es Menschen gelingt bzw. gelang, mit Sprache über das Göttliche zu kommunizieren” [Ibid.: 13]. Благодаря своей близости к теологии теолингвистика рассматривается до сегодняшнего дня в большей степени в христоцентрическом аспекте, хотя ее потенциал значительно шире, и в последние годы появляются работы по исследованию неевропейских языков в аспекте их взаимодействия с божественным и/или сакральным [Meisig 2008; Kulmar 2008; Schleiff 2005].

Кроме понятия «теолект» ученые используют также понятие «религиолект». Э. Кречмер выделяет религиолект наряду с другими «лектами» языка: социолектом, диалектом, сексолектом, геронтолектом, хронолектом, идиолектом и др., количество «лектов» потенциально не ограничено [Kretschmer 2013: 157]. Под ними автор понимает “Konstrukte, die als solche aus der Beobachtung der sprachlichen Wirklichkeit abgeleitet sind, aber nicht diese Wirklichkeit sind” [Ibid.: 156]. Поскольку с их помощью может быть упорядочена языковая действительность, они, по мнению автора, обладают дискретной природой: “Sie trennen auf der Ebene der “*langue*” das, was auf der Ebene der “*parole*” niemals getrennt erscheint. <...> Es hängt vom Standpunkt des Betrachters ab, welche Varianten er zu einem Lekt zusammenbündelt, um diesen von anderen Lekten zu unterscheiden” [Ibid.: 156].

Идея рассмотрения внутррелигиозных процессов в их взаимосвязи с политическими, культурными, языковыми изменениями опирается на общественные процессы конфессионализации (*Konfessionalisierung, Konfessionsbildung*) и секуляризации Германии в XVI—XVII вв. Конфессиональный фактор влияет существенным образом на жизнь немцев вплоть до эпохи Просвещения², в том числе на бытовой язык. Достаточно вспомнить о таких конфессионализмах, как окончание *-e* у существительных женского рода (*das*

² См. подробнее [Macha 2014]. Интересным представляется и тот факт, что для начала Нового времени конфессиолект определяется скорее как региолект с конфессиональной основой, т. е. самым тесным образом, а возможно, и синкретически связаны субязыки территориальной и социальной дифференциации.

lutherische -e), начальные прописные буквы у существительных в лютеранских изданиях Библии, наличие лексических конфессионализмов (*Kommunion — Abendmahl — Nachtmal; Glaube in Gott — Glaube an Gott*), различные традиции написания библейских имен собственных (*Genesareth — Genezareth; Golgotha — Golgatha; Sabaoth — Zebaoth; Sion — Zion*). Это влияние в некоторых направлениях продолжается до настоящего времени. Р. Хиндерлинг называет конфессиолектом конфессионально обусловленный вариант языка, в совокупности с другими социальными факторами конфессиональная принадлежность призвана выполнять четкую идентифицирующую функцию в условиях поликонфессиональности общины [Hinderling 2003: 135].

Понятие «конфессиолект» получает распространение и в отечественной лингвистике. С. Г. Павлов определяет его следующим образом: «конфессиолект — подсистема в системе национального языка, обслуживающая коммуникативные потребности определенного религиозного объединения» [Павлов 2011: 37]. Ученый отмечает, что религиозная речь не является функциональным стилем, т. е. явлением, принадлежащим литературному языку и противостоящим другим стилям; она является социальной разновидностью языка. В работах В. М. Викторина [2015: 10—11] под конфессиолектом понимается религиозно окрашенный вариант языка и производная модель речи, он предлагает также термины «этноконфессиолект» для обозначения бытовой языковой разновидности (речевого состояния) с вероисповедно-общинной спецификой и «субэтноконфессиолект» — для формы последнего при компактном проживании религиозно-обособленной этногруппы. В результате изучения ираноязычного и татароязычного конфессионального своеобразия ученый устанавливает, что этнокультурная специфика может создаваться не только в «собственной» среде, но и в контактах с одноязычными иноверцами и иноязычными единоверцами. Здесь, на наш взгляд, возможно вести речь о первичных и вторичных (приобретенных) конфессиолектных признаках, а возможно и религиозно-культурных, если взаимодействие и влияние происходило между носителями разных религиолектов.

Применительно к немецкому религиозному дискурсу сегодня можно говорить о наличии нескольких религиолектов, функционирование которых зависит от представленности мировых религий в немецком культурно-языковом пространстве, а именно христианского, исламского и буддистского. Отдельное место будет занимать иудаистский религиолект как связанный с национальной религией, в отношении него справедливо будет ввести термин «этнорелигиолект». Каждый из представленных религиолектов будет, в свою очередь, подразделяться на конфессиолекты. Применительно к христианскому религиолекту возможно выделение католического, протестантского, православного, древневосточного, ассирийско-восточного и других конфессиолектов. Почти все конфессиолекты

претерпят дальнейшую дифференциацию в зависимости от этнических, гендерных, возрастных, временных и других факторов, релевантных для того или иного конфессиолекта.

Остановимся на христианском религиолекте и его конфессиональных особенностях. Здесь целесообразно рассмотреть словарные языковые единицы (ЯЕ), маркирующие принадлежность говорящего к определенной религиозной или конфессиональной группе. Для этого в словарях используется целый ряд помет (сплошная выборка произведена по словарю *Duden*, электронная версия 2001 г. [Duden], и составила 941 ЯЕ). Для маркировки принадлежности к христианству в словаре используются следующие пометы:

— пометы, маркирующие принадлежность к религиолекту (359 ЯЕ): *Religion* — 140, *christliche Religion* — 82, *kirchlich* — 2, *christliche Kirche(n)* — 24, *Theologie* — 49, *christliche Theologie* — 9, *ökumenisch* — 16, *biblich* — 37;

— пометы, маркирующие принадлежность к конфессиолекту (582 ЯЕ): *katholische Religion* — 36, *evangelische Religion* — 9, *katholische Kirche* — 461, *evangelische Kirche* — 51, *orthodoxe Kirche* — 6, *Ostkirche* — 2, *katholisches Kirchenrecht* — 9, *katholische Liturgie* — 1, *katholische Theologie* — 3, *evangelische Theologie* — 4.

В предложенной выборке большинство ЯЕ относится к конфессиолектам (61,8 %). Их дробность, наличие особых реалий и специфических способов обозначения являются причинами частотного использования приведенных маркеров в словаре. На примере группы помет, объединенных общей принадлежностью к церкви (*christl. Kirche*, *kath. Kirche*, *ev. Kirche*, *orth. Kirche*) (542 ЯЕ), попытаемся проследить особенности описания христианской лексики в общем толковом словаре. Выбранные пометы могут относиться как к основному значению слова (64,4 %) и его лексико-семантическим вариантам (32,4 %), так и к примерам употребления (3,2 %).

Как видно из приведенных данных, чаще всего этими пометами сопровождается основное значение слова (349 ЯЕ), например:

Reliquiar, das (kath. Kirche): *künstlerisch gestaltetes Behältnis für Reliquien.*

Reformationsfest, das (ev. Kirche): *Gedenkfeier für den als Beginn der Reformation geltenden Anschlag der 95 Thesen Luthers (am 31.10.1517 in Wittenberg).*

Katechumene, der (christl. Kirche): **1.** *[erwachsener] Taufbewerber im Vorbereitungsunterricht.* **2.** *Konfirmand, bes. im ersten Jahr des Konfirmandenunterrichts.*

Rauchfass, das (kath. u. orthodoxe Kirche): *an Ketten hängendes, durchbrochenes Metallgefäß zum Verbrennen von Weihrauch während der Liturgie.*

Значительно реже этими пометами маркированы лексико-семантические варианты значения (176 ЯЕ):

Vikar, der: **1.** (kath. Kirche) *ständiger od. zeitweiliger Vertreter einer geistlichen Amtsperson.* **2.** (ev. Kirche) **a)** *Pfarrvikar;* **b)** *in ein Praktikum übernommener Theologe mit Universitätsausbildung.* **3.** (schweiz.) *Stellvertreter eines Lehrers.*

В группе исследуемых единиц встречаются имена существительные (477) и прилагательные (24), глаголы (22), а также устойчивые речевые формулы (2). Среди имен существительных можно выделить следующие тематические группы: обозначения Богородицы и святых; обозначения храма и элементов его структуры; обозначения таинств, богослужения и его элементов; обозначения богослужebных предметов, литургических сосудов, элементов облачения; обозначения церковных праздников и предметов, связанных с этими праздниками; обозначения абстрактных понятий; обозначения представителей церковной иерархии; обозначения церковных институтов, богословских школ и их последователей. Маркировка лексем указывает либо на функционально-стилистическую специфику ЯЕ (в том числе внутри религиозной сферы: *Priesterseminar* — *Predigerseminar*), либо на различие толкования ее значения в разных христианских традициях (*Sakrament*, *Liturgie*, *Patriarch*, *Diakon*, *Vikar*, *Synode* и др.). Встречаются также лексем, основное значение или лексико-семантический вариант значения которых сопровождается более «широкой» пометой *christl. Kirche*, а дальнейшие варианты значений (микроварианты) маркированы «конфессиональными» пометами, которые отмечают различия в значении слова, например:

Lektor, der: **3.** (*christl. Kirche*) **a)** (*ev. Kirche*) *Laie, der in Vertretung des Pfarrers Lesegottesdienste hält*; **b)** (*kath. Kirche*) *Laie, der während der Messe liturgische Texte vorliest*.

Подробнее о тематическом принципе классификации религиозной лексики см. [Плисов 2006; Зинцова 2013].

В словарях лексико-семантические варианты значения могут быть лишены любых помет, однако их конкретная реализация в речи в окружении определенного контекста способна инициировать возникновение некоторых приращений смысла или актуализировать потенциальные семы их значения. Так, в примере “er starb, versehen mit den Tröstungen der Kirche” слово *Tröstung*, употребленное в сочетании с *versehen*, актуализирует один из своих семантических признаков *jmdm. von irgendwoher zuteil werden*, и ЯЕ получает маркировку *kath., orthodoxe Kirche* с толкованием значения этого примера “nach Empfang der Sterbesakramente”, релевантным для обеих конфессий.

Основное отличие значения от употребления заключается в том, что значение не обязательно обусловлено контекстом. Употребление, напротив, неизбежно обусловлено контекстом, либо языковым, либо ситуационным, но всегда таким, который дает возможность однозначного соединения употребления с одним определенным значением. Часто общим недостатком основных определений значения является то, что они не дают возможности лингвистически отделить друг от друга отдельные значения полисемантического слова. Причина этого заключается в том, что значение находится в корреляции с понятием и означает группу денотатов. Здесь на помощь приходят примеры употребления ЯЕ. Так, у слова *Jungfrau* зафиксировано

пять лексико-семантических вариантов, при иллюстрации первого значения “(bes. weibliche) Person, die noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt hat”, среди прочего, приводится пример *die Jungfrau Maria* (kath. Kirche; *die Mutter Jesu*), который сопровождается соответствующим маркером. Слово *Segen* также многозначно, но первый лексико-семантический вариант “durch Gebetsworte, Formeln, Gebärden für jmdn., etw. erbetene göttliche Gnade, gewünschtes Glück und Gedeihen” маркирован пометой *Religion*, в то время как в иллюстративной части приводятся примеры употребления, сопровождающие маркеры которых сужают сферу употребления лексемы в определенном контексте: *sie leben ohne den Segen der Kirche* (veraltend; *ohne kirchlich getraut zu sein*) *zusammen*; *es läutete zum Segen* (kath. Kirche; *zum abschließenden Teil der Messe*). Похожую ситуацию можем наблюдать в отношении слова *liturgisch* (кстати, единственная лексема, сопровождаемая в словаре пометой *christl. Kirche* во множественном числе).

Обратим свое внимание на рассмотрение взаимодействия этих помет с другими пространственно-временными, стилистическими и специальными маркерами.

В «чистом» виде пометы встречаются в 494 случаях (90 % общего числа примеров). Эти данные свидетельствуют о том, что ведущее место занимают моносемантические ЯЕ с однозначной трактовкой функциональной сферы их употребления. Это связано с тем, что сфера религиозного общения представляет собой консервативную коммуникативную сферу, тесно связанную с традицией, в том числе речевой. Дополнительные семантические процессы отражены в тех примерах, функционально-стилистическая направленность которых не получает однозначного толкования. Это несколько усложняет процесс определения сфер употребления отдельных ЯЕ, маркировка которых в одном словаре может быть неоднозначной.

Reliquie, die (Rel., bes. kath. Kirche): *Überrest der Gebeine, Asche, Kleider o. Ä. eines Heiligen, Religionsstifters o. Ä., der als Gegenstand religiöser Verehrung dient*: eine R. in einem Schrein aufbewahren, ausstellen; -n verehren.

Mette, die (kath. u. ev. Kirche): *mitternächtlicher od. frühmorgendlicher Gottesdienst vor einem hohen kirchlichen Fest*.

Hilfsgeistliche, der u. die (ev. u. kath. Kirche): *in der Seelsorge tätige[r], dem Pfarrer unterstellte[r] Geistliche[r]*.

Особое место занимает диалектная лексика церковно-религиозной тематики. В последнее время в германистике появилась целая серия работ, посвященная изучению взаимодействия диалекта и религиолекта (конфессиолекта) [Hinderling 2003; Voss 2009; Dialekt und Religion 2014; Macha 2014]. Комбинаторные пометы, включающие религиозную компоненту и отражающие территориальную дифференциацию лексики, встречаются в общем толковом словаре нечасто. В толковом словаре представлены как пометы, характеризующие наддиалектный характер лексики (*österreichisch, schweizerisch, landschaftlich, regional, norddeutsch* и др.), так и пометы, указывающие

на распространение языковых единиц в пределах одного диалекта (*bayrisch*).

В тематическом отношении это почти всегда конкретные имена — названия праздников, предметов (церковного) обихода, действующих лиц, например:

Auffahrt, die (christl. Rel.): **a**) (südwestd. veraltend, schweiz.) *Himmelfahrt Christi*; **b**) (südd., schweiz.) *Himmelfahrtstag*: an A. hat es geregnet.

Weihnachtskerze, die **a**) (landsch.) *Christbaumkerze*; **b**) [mit weihnachtlichen Motiven verzierte] *Kerze, die zu Weihnachten aufgestellt wird*.

Herrgottswinkel, der (südd., österr.) (*in katholischen Bauernstuben*) *Ecke, die mit dem Kreuzifix geschmückt ist [u. in der auch andere Andachtsgegenstände verwahrt werden]*.

Pastor, der (regional, bes. nordd.) *Pfarrer*.

Pastorin, die (bes. nordd.): **a**) (ev. Kirche) *Pfarrerin*; **b**) (ugs.) *Ehefrau eines Pastors*.

Особого внимания заслуживают обозначения церковных праздников, в которых представлена вариативность диалектных форм, в том числе морфологических:

Pfingsten, das <meist o. Art., bes. südd., österr. u. schweiz. sowie in bestimmten Wunschformeln u. Fügungen auch als Pl.> (*in den christlichen Kirchen*) *Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes*: frohe P!; wir werden diese P., dieses Jahr (bes. nordd.) zu / (bes. südwestd.:) an P. zu Hause bleiben; sie haben zu P. geheiratet.

Примечательно, что в рассматриваемой лексикографической комбинаторике не встречаются комбинации с пометами, маркирующими принадлежность к городским койне (*berlinisch, wienerisch*), что, скорее всего, связано с большим языковым консерватизмом жителей сельской местности и небольших городов.

В заключение следует отметить, что конфессионально значимыми пометами в подавляющем большинстве случаев маркированы ЯЕ, релевантные для католической церкви. Для этого есть несколько причин. К экстралингвистическим следует отнести более древнюю и глубокую традицию католицизма в европейских государствах, и в Германии в частности; ритуальный характер богослужения и в целом церковной жизни (в сравнении, например, с протестантами), а в этой связи наличие большего количества релевантных для этой сферы предметов: обозначения Св. Таинств, богослужения и его элементов; обозначения богослужебных предметов, литургических сосудов, элементов облачения; обозначения церковных институтов и т. д. Среди лингвистических причин на первое место выступают языковые традиции богослужения: долгие столетия главенствующую роль играла латынь, которая явилась источником многочисленных заимствований в религиозной сфере коммуникации, есть также заимствования из греческого и древнееврейского языков. Трудность понимания обусловила сопровождение ЯЕ указанными пометами. Чаще всего пометами *christl. Kirche, kath. Kirche, ev. Kirche, orth. Kirche*

маркируются основное значение слова или его лексико-семантические варианты. Это обусловлено тем, что зачастую мы имеем дело с обозначениями специфических денотатов, языковая «вольность» в отношении которых строго ограничена сакральным характером самих предметов и (или) традицией. С другой стороны, спецификация может касаться и языковой формы — в богослужебный немецкий язык были заимствованы многочисленные элементы богослужебной латыни, ныне редко используемой.

Лексикографы не всегда точно определяют сферу использования языковой единицы, иногда она оказывается релевантной не для всех христианских церквей. Сложность конфессиональных вариантов современного немецкого языка обуславливается как общими свойствами языка, так и специфическими особенностями их системы и функционирования. Изучение вариативности в современных религиолектах (конфессиолектах) немецкого языка свидетельствует о важности сочетания лингвистического и социолингвистического аспектов [Плисов 2013, 5]. Различные взаимодействия религиолектов и конфессиолектов по отношению друг к другу и их подчиненность по отношению к немецкому литературному языку усложняют их функционирование и определяют их открытость для постоянного влияния общественных процессов и шире — социальных факторов.

Литература

- Викторин 2015 — *Викторин В. М.* Новейшая проблематика «конфессиолекта» и «этноконфессиолекта»: становление терминологии, связи российской и германской традиций // *Современные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков.* Астрахань: Астраханский гос. ун-т, 2015. С. 10—17.
- Зинцова 2013 — *Зинцова Ю. Н.* Тематический принцип описания лексики (на примере религиозной лексики современного немецкого языка) // *Проблемы изучения религиозных текстов.* Вып. 3. Н. Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 2013. С. 12—20.
- Павлов 2013 — *Павлов С. Г.* Семантика языковых единиц. Внешняя лингвистика. Н. Новгород: НГПУ, 2011.
- Плисов 2006 — *Плисов Е. В.* Конфессиональная дифференциация христианской лексики в толковом словаре (на материале немецкого языка) // *Вестник КРАУНЦ. Сер. «Гуманитарные науки».* 2006. № 1. С. 43—54.
- Плисов 2013 — *Плисов Е. В.* Немецкий религиозный текст в условиях поликонфессиональности: Монография. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2013.

Dialekt und Religion 2012 — *Dialekt und Religion. Beiträge zum 5. dialektologischen Symposium im Bayrischen Wald, Walderbach,*

- Juni 2012 / Hg. v. E. Friebe, U. Kanz, B. Neuber, L. Zehetner. Regensburg: Edition Vulpes, 2014.
- Duden Deutsches Universalwörterbuch 2001 — Duden Deutsches Universalwörterbuch / Hg. v. der Dudenredaktion. 4., neu bearb. und erw. Auflage. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverl., 2001.
- Greule 2012 — *Greule A.* Annäherung an Sakralsprache. Einführung in die Fachtagung “Sakrale Sprache in Geschichte und Gegenwart” // *Greule A.* Sakralität. Studien zu Sprachkultur und religiöser Sprache / Hg. v. S. Reimann und P. Rössler. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2012. S. 13—17.
- Greule 2013 — *Greule A.* Theonyme // Namenkundliche Informationen. 2013. Doppelheft 101/102. S. 11—21.
- Hinderling 2003 — *Hinderling R.* Wej mir sog’n. Sprache und Identität des Mundartsprechers in Nordostbayern. Erfahrungen bei der Erhebung des Materials für den Sprachatlas von Nordostbayern // Sprachidentität — Identität durch Sprache / Hg. v. N. Janich, Ch. Thim-Mabrey. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2003. S. 125—136.
- Kretschmer 2013 — *Kretschmer E.* Über die Kategorisierung der Sprachvarietäten und die des Mediolektivs im Besonderen // REAL Revista de Estudos Alemães. 2013. № 4. P. 152—175.
- Kulmar 2008 — *Kulmar T.* Zum Problem der sakralen und der profanen Sprache bei den Inkas // Religiosität und Sprache. Teil 2/3: Religiolekte und Metasprache(n). Münster: Ugarit-Verl., 2008. S. 361—368.
- Macha 2014 — *Macha J.* Der konfessionelle Faktor in der deutschen Sprachgeschichte der Frühen Neuzeit. Würzburg: Ergon-Verlag, 2014.
- Meisig 2008 — *Meisig K.* Buddhist Chinese: Religiolect and Metalanguage // Religiosität und Sprache. Teil 2/3: Religiolekte und Metasprache(n). Münster: Ugarit-Verl., 2008. S. 91—100.
- Reimann, Rössler 2012 — *Reimann S., Rössler P.* Vorwort // *Greule A.* Sakralität. Studien zu Sprachkultur und religiöser Sprache. Hg. von S. Reimann und P. Rössler. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2012. S. VII—XI.
- Schleiff 2005 — *Schleiff U.* Religion in anderer Sprache: Entstehung, Bewahrung und Funktion religiös bedingter Diglossie. Berlin: Logos-Verl., 2005.
- Voss 2009 — *Voss Ch.* Südslawistische Perspektiven auf christliche vs. muslimische Sprachidentitäten und Weltbilder // Eurolinguistik. Entwicklungen und Perspektiven / Hg. v. U. Hinrichs, N. Reiter und S. Tornow. Wiesbaden: Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG, 2009. S. 297—314.

ZUSAMMENFASSUNG

**Konfessiolekte im deutschen religiösen Diskurs
der Gegenwart**

In dem Artikel geht es um die wesentlichen Schwerpunkte bei der Interpretation solcher Begriffe wie *Sprache der Religion*, *Religiolekt*, *Theolekt*, *Konfessiolekt*. Die Struktur des deutschen religiösen Diskurses der Gegenwart wird als die Gesamtheit der Religiolekte und Konfessiolekte behandelt. Zu beobachten und zu beschreiben sind in diesem Zusammenhang die sprachlichen Einheiten, die im Wörterbuch als religions — bzw. konfessionsgeprägt markiert sind (als Angabe der Hauptbedeutung des Wortes, der lexisch-semantischen Variante, des illustrativen Beispiels).

А. С. ПОЛЕВЩИКОВА

(Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова)

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ТЕКСТЕ: ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Научный стиль — один из функциональных стилей кодифицированного литературного языка, обслуживающий научную сферу человеческой деятельности и обеспечивающий коммуникацию в сфере науки и техники. В зависимости от того, являются ли участники коммуникации специалистами в определенной области знаний или нет, в рамках научного функционального стиля принято выделять собственно научный (академический) и научно-популярный подстили [Брандес 2004: 191].

Основная функция научно-популярного стиля состоит в популяризации научных знаний для широкой аудитории, поэтому при сохранении основных характеристик научного стиля — объективности, четкости и ясности изложения — он отличается большей непринужденностью, экспрессивностью, эмоциональностью, а также образностью изложения материала. Это достигается за счет сокращения количества узкоспециальных терминов, использования разговорной лексики, метафорической образности и экспрессивно-оценочных средств [Разинкина 2004: 218].

Популяризации изложения материала, а также успешному диалогу автора и читателя способствует и такой стилистический прием, как языковая игра. Языковая игра создается за счет нарушения языковых правил, норм и конвенций, принятых в данное время данным языковым коллективом в качестве образцовых или предпочтительных. Важно, что отступление от общепринятого стандарта является намеренным, всегда мотивировано определенными стилистическими и коммуникативными задачами говорящего (пишущего) и может проявляться на всех текстовых уровнях.

В настоящей статье игровой компонент в научно-популярном тексте будет рассмотрен на материале текста монографии Б. Кюпперса и К. Бёзенберг “Im Mittelpunkt steht der Mitarbeiter” (2011) и ее русскоязычного перевода. Монография посвящена актуальным проблемам кадровой политики на современном предприятии и адресована как современным руководителям бизнеса, так и широкому

кругу читателей. По словам самих авторов, «основная задача этой книги заключается в описании разрыва между тем, что знает наука, и тем, что делает экономика, и попытке преодолеть это несоответствие» [Бёзенберг, Кюпперс 2014: 291].

На жанрово-композиционном уровне игровой компонент обращает на себя внимание уже при первом знакомстве с оглавлением. С одной стороны, структура монографии обеспечивает необходимые для научно-популярного текста четкость и ясность изложения. Текст состоит из 5 крупных разделов, которые в свою очередь подразделяются на более мелкие параграфы. В конце монографии авторы в реферативной форме излагают 10 основных идей книги, а также дают постраничный предметный указатель, который предельно облегчает читателю работу с текстом, позволяя без труда вернуться к заинтересовавшему его отрывку. С другой стороны, как названия отдельных параграфов, так и их содержание обращает на себя внимание необычностью даже для непринужденного стиля научно-популярного текста. Так, монография начинается с традиционного Введения. Следовательно, заключительной частью должно быть традиционное Заключение. Вместо этого читателя ожидает Эпилог, завершающий, как правило, литературное произведение¹, а не научно-популярный текст.

В разделе “Hilfreiches und Inspirierendes” [Bösenberg, Küppers 2011: 221] авторы предлагают варианты обобщения содержания для разных поколений — в форме сообщения для Твиттера (максимум 140 знаков)² и интересного рассказа во время коктейля (не больше 100 слов в течение 1 минуты, чтобы привлечь внимание собеседника)³.

С точки зрения сообщения новой информации оба варианта излишни и служат исключительно своеобразным развлекательным рекламным ходом, сближающим стиль главы с популярным в СМИ стилем инфотейнмента — развлекательной манерой подачи информации [Поцелуев 2010]. Предваряющий обобщения эмоджикон ;-),

¹ «В литературе <...> заключительная часть произведения, в которой кратко сообщается о судьбе героев после изображенных в нем событий или даются разъяснения замысла автора» [Зенович 2000: 750].

² “Sinnmaximierung ist das Credo für die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts. Gewinnmaximierung garantiert. Was Engagement will, muss Sinn bieten” [Bösenberg, Küppers 2011: 223] — 138 знаков с пробелами.

³ “Erfolgreiche Navigation durch die stürmischen Zeiten von Währungs- und Finanzunruhen inmitten demografischer Verknappung von Ressourcen kann einfacher sein, als man denkt. Die elementaren Bedingungen für Erfolg setzen voraus, dass man sich intensiv mit den veränderten Lebens- und Wertwelten seiner Mitarbeiter befasst. Wer es schafft, seinen Mitarbeitern Sinnhaftigkeit und ein entsprechendes Maß an Einfluss zu vermitteln ist auf einem Erfolg versprechenden Weg. Sinnmaximierung statt Gewinnmaximierung ist der entscheidende Hebel für Engagement und Mitarbeiterbindung” [Bösenberg, Küppers 2011: 223] — 70 слов.

к сожалению опущенный в русскоязычном издании, является дополнительным подтверждением их игрового статуса⁴.

Как игровая форма просвещения аудитории инфотейнмент предполагает также активное включение читателей (слушателей или зрителей) в интерактивный диалог с авторами и помогает таким образом преодолеть разрыв между автором и читателем⁵. С этой целью К. Бёзенберг и Б. Кюпперс делятся на страницах монографии личным опытом и представляют в форме краткой аннотации ряд печатных изданий и интернет-ресурсов, которые «могут приносить пользу и служить источником вдохновения в решении вопросов, поставленных в <...> книге» [Бёзенберг, Кюпперс 2014: 288]. В первую очередь это постоянно обновляемый одноименный с книгой сайт⁶, а также актуальные твиты по темам книги в Твиттере⁷. Кроме того, читателю предлагается оставить свой отзыв на личной странице авторов в Facebook⁸ или присылать письма на их личный электронный адрес.

Развлечь читателя и в то же время активизировать его внимание и мотивировать к включению в диалог, наряду с пересказами в стиле Твиттера и коктейля, способствует также игровой прием, который можно условно обозначить как «лексико-семантическая провокация». Например, разработанный авторами «фитнес-план» для сотрудников (“Fitnessplan für Mitarbeiter”), а также предпринимателей и кадровиков (“Fitnessplan für Unternehmer und Personaler”) в первую очередь ассоциируется с планом фитнес-тренировок для повышения уровня общей физической подготовки. Здесь же речь идет о реализации на практике основного теоретического положения книги — «максимизации смысла» (“Sinmaximierung”)⁹.

⁴ “Wie sagen Sie es den anderen? Zusammenfassung für verschiedenen Generationen ;-)” [Bösenberg, Küppers 2011: 223].

⁵ Об успешности диалога авторов монографии К. Бёзенберг и Б. Кюпперса со своими читателями свидетельствуют исключительно положительные рецензии на сайте www.amazon.de. Единственный недостаток книги читатели видят в низком качестве переплета, который разваливается уже после первого прочтения: “Was mir bitter aufstößt, ist, dass die Bindung dermaßen grottenschlecht ist, dass die Seiten allein vom Umblättern schon gerne ausreißen. <...> Ansonsten sehr empfehlenswert”.

⁶ www.mittelpunkt-mitarbeiter.de

⁷ [www.twitter/DerMitarbeiter](https://twitter.com/DerMitarbeiter)

⁸ [www.facebook/MittelpunktMitarbeitera](https://www.facebook.com/MittelpunktMitarbeitera)

⁹ С этой же целью авторы дают отдельным параграфам необычные названия, например “Ein Paradigmenwechsel in viraler Ausbreitung” («Эпидемия смены парадигм») или “Demografische Entwicklung — ein “Brandbeschleuniger” («Демографическое развитие — “зажигательная смесь”»), а также перемежают серьезные теоретические пассажи занимательными примерами-иллюстрациями из самых разных областей. Так, например, в рассуждениях о правильном распределении задач между сотрудниками проводится аналогия с принципом расстановки игроков в футбольной команде, а в рассуждениях о стратегических альянсах как факторах успеха — с принципами

Если на жанрово-композиционном уровне игровой компонент не вызывает переводческих проблем¹⁰, то сохранить языковую игру на лексико-семантическом и морфологическом уровнях удаётся при переводе далеко не всегда, поскольку адекватная передача смысла зачастую вынуждает отказаться от игрового компонента.

В качестве примера языковой игры, которую удалось сохранить при переводе, можно привести описание кризисной ситуации, поставившей производителя фотокамер Leica на грань банкротства: «Der “Ferrari der Fotografen”, wie die Leica in Insiderkreisen genannt wurde, stand plötzlich in der Boxengasse — zwar immer noch handgefertigt, aber nicht renntauglich» [Bösenberg, Küppers 2011: 40]. Разворачивающийся на основе перифраза «Феррари фотографов» ассоциативный ряд легко переводится на русский язык: «Феррари фотографов», как профессионалы обычно называют фирму, неожиданно оказался на пит-лейне. Несмотря на ручную сборку, для участия в гонках он уже не годился» [Бёзенберг, Кюпперс 2014: 48].

С ключевым понятием максимизации смысла (“*Sinnmaximierung*”) в монографии тесно связан авторский окказионализм *sinn-voll*. Смысловую нагрузку окказионального написания подчеркивает выделение его в тексте курсивом. Написание через дефис активизирует значение обоих компонентов в составе слова, которые в сумме дают иное значение, не совпадающее со значением прилагательного “*sinnvoll*” («осмысленный», «толковый», «рациональный», «сознательный»). В зависимости от контекста авторский вариант *sinn-voll* может переводиться на русский язык как «имеющий [истинный] смысл», «обладающий полнотой смысла» или «наполненный смыслом». При этом во всех вариантах игровой компонент теряется.

“Als *sinn-voll* empfinden viele von uns beispielsweise glückliche und lebenslange Ehen <...>” [Bösenberg, Küppers 2011: 21]. — «Для многих из нас *истинный смысл* заключается, например, в счастливом браке

успешной кооперации в мире флоры и фауны. Однако, в отличие от приведенных выше примеров лексико-семантической провокации, такая манера подачи материала вполне соответствует стилю научно-популярного текста.

¹⁰ Единственная сложность — необходимость уложиться при переводе сообщения для Твиттера в нужное количество знаков, а при переводе обобщения для коктейля — не превысить верхней границы в 100 слов. «Максимизация смысла — кредо сферы труда XXI в. Гарантирована максимизация прибыли. Кто ожидает вовлеченности, должен предлагать смысл» [Бёзенберг, Кюпперс 2014: 284] — 139 знаков с пробелами.

¹¹В бурные времена валютной и финансовой турбулентности успешная навигация посреди демографического сокращения ресурсов проще, чем кажется. Основопологающим условием успеха является необходимость интенсивно изучать изменившиеся жизненные и ценностные миры своих сотрудников. Тот, кто сумеет дать своим сотрудникам осмысленность и соответствующую долю влияния, находится на пути к успеху. Максимизация смысла вместо максимизации прибыли — важный рычаг управления вовлеченностью и удержанием сотрудников» [Там же] — 58 слов.

(длящемся по возможности всю жизнь), <...> » [Бёзенберг, Кюпперс 2014: 24].

“Wir möchten unseren Lesern zeigen, welche *sinn-vollen* Voraussetzungen und Maßnahmen für Unternehmen in Zukunft tatsächlich zu Erfolgsfaktoren werden” [Bösenberg, Küppers 2011: 22]. — «Мы хотим показать читателям, какие условия и меры действительно *могут иметь смысл* для обеспечения будущего успеха предприятия» [Бёзенберг, Кюпперс 2014: 24].

“Flexibilität ist naturgemäß gekoppelt an einen hohen Grad an Selbstbestimmung und die Möglichkeit, Einfluss auf das Gesamtergebnis zu nehmen. Und beides erzeugt das Gefühl, etwas *sinn-volles* zu tun — der stärkste Treiber für Mitarbeiterbildung und Engagement” [Bösenberg, Küppers 2011: 221]. — «Гибкость естественным образом сочетается с высокой степенью самоопределения и возможностью влиять на общий результат. И то, и другое создает впечатление *полноты смысла деятельности* — сильнейший мотиватор привязанности сотрудников и их вовлеченности» [Бёзенберг, Кюпперс 2014: 200].

“Schafft die Arbeit insgesamt ein Umfeld, in dem ausreichend *sinn-volles* Agieren möglich ist?” [Bösenberg, Küppers 2011: 222]. — «Создает ли работа в целом условия, в которых в достаточной степени возможна *наполненная смыслом* деятельность?» [Бёзенберг, Кюпперс 2014: 282].

Невозможно сохранить языковую игру и при переводе построенной на паронимии поговорки „Qualität kommt von Qual“. Попытка передать смысл поговорки более или менее близкими с точки зрения стиля и семантики эквивалентами, например «Терпение и труд всё перетрут» или шутивным «Если долго мучиться, что-нибудь получится», не передают псевдоэтимологическую связь слов *Qualität* и *Qual*. На этом основании наиболее удачным представляется перенос оригинала поговорки в русский текст с указанием буквального перевода:

“Malcolm Gladwell und andere fanden heraus, dass 10.000 Stunden Praxis zu wahrer Exzellenz und Höchstleistung führt — relativ unabhängig vom Talent. Insofern hat die alte, leicht ironische Aussage, “Qualität kommt von Qual”, einen gewissen Wahrheitsgehalt” [Bösenberg, Küppers 2011: 54]. — «Группой ученых во главе с Малколмом Гладвеллом было подсчитано, что 10 000 часов практики и тренингов в течение 10 лет, независимо от таланта, дают высочайший уровень профессиональной подготовки. Таким образом, старая, несколько ироничная поговорка “Qualität kommt von Qual” (букв. «Слово “качество” происходит от слова “мука”») не лишена оснований» [Бёзенберг, Кюпперс 2014: 66].

Наиболее интересным и сложным для перевода языковой игры является пассаж, в котором авторы рассуждают о значении числа «семь» в мировой культуре и истории, а также о семилетних циклах в жизни человека.

“Kein Zweifel, die Zahl Sieben hat uns Menschen nachhaltig geprägt. Und sie tut es immer noch — bewusst oder unbewusst, Wir suchen unsere Siebensachen zusammen, hoffen am Siebenschläfertag inständig auf Sonne, da das eine freundlichen Sommer bedeutet, und fürchten uns vor dem verflixten 7. Jahr der Ehe” [Bösenberg, Küppers 2011: 63].

Приведенная цитата содержит приметы, связанные с числом «семь» в немецкой культуре, но не имеющие соответствующих эквивалентов в культуре русской.

Так, фразеологизм “seine Siebensachen zusammensuchen” переводится «собирать свои вещи, пожитки». Siebenschläfertag (букв. ‘День семи спящих’) — народное название 27 июня. По этому дню, согласно народным поверьям, определяли погоду на ближайшие семь недель. «Семь спящих» — семь отроков Эфесских, которые во время гонений на христиан в III в. н. э. при императоре Декии открыто исповедовали христианскую веру и отказались принести жертвоприношения идолам. Готовясь принять мученическую смерть, они временно скрывались в пещере, где и были замурованы по приказу императора. Несмотря на это, святые отроки не погибли, а погрузились на 200 лет в чудесный сон¹¹. Согласно православному календарю память семи отроков Эфесских празднуется 4 августа и 22 октября по старому стилю или 17 августа и 4 ноября — по новому. Таким образом, ни одна из дат не связана с 27 июня. Авторы Лингвострановедческого словаря предполагают, что это «название восходит к римскому календарю, где 27 июня называлось “Siebenschläfer”» [Маркина 2006: 920].

Поскольку процитированный выше абзац монографии служит, в первую очередь, иллюстрацией культурной значимости числа «семь», которое широко представлено также и в русской паремиологии и фразеологии, собственно перевод на русский язык можно заменить примерами соответствующих русских пословиц и поговорок:

«Число “семь”, несомненно, оказало и продолжает оказывать на нас серьезное влияние — осознаём мы это или нет. Мы знаем правило, семь раз отмерь — один отрежь, желаем семь футов под килем и идем вперед семимильными шагами. Про умного человека говорим, что у него семь пядей во лбу, про непостоянного — что у него семь пятниц на неделе. Дальний родственник для нас — седьмая вода на киселе. В одной семье семеро по лавкам, в другой — у семи нянек дитя без глаза» [Бёзенберг, Кюпперс 2014: 80].

Языковая игра сохраняется, но теряется лексическая связь с исходным текстом. В результате создается новый текст, сохранивший с исходным только общую смысловую нагрузку.

Таким образом, возникающие в процессе перевода сложности связаны, в первую очередь, с проблемой сохранения игрового компонента в русском языке, в частности при переводе окказиональных

¹¹ Подробнее см. <http://days.pravoslavie.ru/Life/life4375.htm>

новообразований. Сохранение или утрата игрового компонента при переводе напрямую связаны с текстовым уровнем. Анализ примеров показал, что меньше всего трудностей вызывает перевод языковой игры на жанрово-композиционном уровне. На лексико-семантическом и морфологическом уровне адекватная передача смысла с сохранением игрового компонента возможна далеко не всегда. В зависимости от контекста передача смысла может приводить к утрате игрового компонента, а его сохранение, напротив, — к потере лексической связи с исходным текстом.

Анализ текста монографии К. Бёзенберг и Б. Кюпперса позволяет сделать вывод о важности игрового компонента в научно-популярном тексте как приема, способствующего максимальной популяризации изложения материала, активизирующего внимание читателя и создающего необходимые условия для успешного диалога с автором.

Литература

- Брандес 2004 — *Брандес М. П.* Стилистика текста. Теоретический курс. (На материале немецкого языка) Учебник. М.: Прогресс-Традиция, ИНФРА-М, 2004.
- Зенович 2000 — *Зенович Е. С.* Словарь иностранных слов и выражений. М.: ООО «Издательство АСТ», Олимп, 2000.
- Кожина 2003 — *Кожина М. Н. (ред.)* Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.: Флинта, Наука, 2003.
- Маркина 2006 — *Маркина Л. Г., Муравлёва Е. Н., Муравлёва Н. В.* Культура Германии. Лингвострановедческий словарь. М.: АСТ Астрель, Хранитель, 2006.
- Павлова, Светозарова 2012 — *Павлова А. В., Светозарова Н. Д.* Трудности и возможности русско-немецкого и немецко-русского перевода: справочник. СПб.: Антология, 2012.
- Поцелуев 2010 — *Поцелуев С. П.* Диалог и парадиалог как формы дискурсивного взаимодействия в политической практике коммуникативного общества. Дис. ... докт. полит. наук. Ростов-на-Дону, 2010.
- Разинкина 2004 — *Разинкина М. Н.* Функциональная стилистика (на материале русского и английского языков): Учебное пособие. М.: Высш. шк., 2004.

Источники примеров

- Бёзенберг К., Кюпперс Б.* В центре внимания — сотрудник: что способно изменить сферу труда будущего. М.: Издательство «Элит», 2014.
- Bösenberg Ch., Küppers B.* Im Mittelpunkt steht der Mitarbeiter. Was die Arbeitswelt wirklich verändern wird. Haufe Gruppe. Freiburg; Berlin; München, 2011.

ZUSAMMENFASSUNG**Wortspiel im Sachtext: Aspekte der Übersetzung**

Am Beispiel des Sachbuches von Ch. Bösenberg und B. Küppers “Im Mittelpunkt steht der Mitarbeiter” (2011) und seiner russischsprachigen Version untersucht der vorliegende Artikel die Übersetzbarkeit des Wortspiels ins Russische. Die Übersetzungsschwierigkeiten sind sowohl auf zahlreiche Okkasionalismen als auch auf Unterschiede im deutschen und russischen Sprachsystem zurückzuführen und bieten einen ergiebigen Stoff für die linguistische Analyse.

Р. М. СКОРНЯКОВА

(Кемеровский государственный университет)

ДЕРИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИТИЧЕСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ

(на примере сокращения *Pegida*)

Политическая лингвистика (или лингвополитология), относительно новая дисциплина, возникшая на пересечении двух наук — политологии и лингвистики, имеет целью установление закономерностей взаимовлияния общественно-политических событий на изменения в языке и наоборот. Как указывает А. П. Чудинов, «основная цель политической лингвистики — исследование многообразных взаимоотношений между языком, мышлением, коммуникацией, субъектами политической деятельности и политическим состоянием общества, что создает условия для выработки оптимальных стратегий и тактик политической деятельности» [Чудинов 2006: 8].

Лексический состав как наиболее подвижный пласт языка быстро реагирует на изменения, происходящие в общественно-политической жизни людей. В результате этих изменений возникают новые слова. По меткому замечанию Е. В. Розен, неологизмы являются зеркалом изменчивого мира [Розен 2000: 10].

Как известно, существуют различные подходы в изучении неологизмов. Согласно узкому взгляду под неологизмами понимаются слова, имеющие новую фонетическую оболочку и новое значение. Так, немецкий лингвист Тея Шиппан определяет неологизмы следующим образом: “Als Neologismen werden gewöhnlich Neubildungen (nach Wortbildungsmodellen gebildete Wörter) und Wortschöpfungen (erstmalige Verbindungen von Formativen und Bedeutungen) bezeichnet, solange sie von der Gemeinschaft als neu empfunden werden oder wenn die Entstehungszeit bekannt ist” [Schippa 1987: 257].

В соответствии с широким взглядом к неологизмам относятся кроме совершенно новых слов и другие группы лексики. Так, составители словаря “Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im Deutschen” дают следующее определение: “Ein Neologismus ist eine lexikalische Einheit bzw. eine Bedeutung, die in einem bestimmten Abschnitt der Sprachentwicklung in einer Kommunikationsgemeinschaft aufkommt, sich ausbreitet, als sprachliche Norm allgemein akzeptiert und in diesem Entwicklungsabschnitt von der Mehrheit der Sprachbe-

nutzer über eine gewisse Zeit hin als neu empfunden wird” [Herberg, Kinne, Steffens 2004: 12].

В настоящем исследовании мы придерживаемся широкого взгляда на новые слова и рассматриваем в качестве неологизмов следующие группы лексики [см. Skornyakova 2007: 26]:

- слова с новой фонетической оболочкой и новым значением;
- лексические единицы, образованные по существующим в языке словообразовательным моделям, — сложные и производные слова;
- фразеологизмы с новой фонетической оболочкой и новым значением;
- новые значения уже существующих слов;
- заимствованные слова;
- новые лексические единицы в форме сокращений.

Одним из объектов исследования лингвополитологии являются политические неологизмы, т. е. новые слова, касающиеся общественно-политической сферы. По мнению А. П. Миньяр-Белоручевой, «политические неологизмы позволяют сконцентрировать внимание на тех понятиях, предметах и явлениях, которые ранее не были поименованы, а следовательно, осознанны» [Миньяр-Белоручева 2012: 32].

Источником политических неологизмов являются значимые общественно-политические явления и события. Так, общественно-политическая ситуация 2014—2015 гг. обострила и выдвинула проблему интеграции мусульманского населения в Германии на передний план. В октябре 2014 г. в Дрездене была основана оппозиционная организация, получившая название *die Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes*, которое является политическим неологизмом с новым значением в форме устойчивого словосочетания. На его основе возникла новая лексическая единица в форме сокращенного слова *die PEGIDA*. В настоящее время более употребительным в немецких средствах массовой информации является другой вариант написания этого сокращения — *die Pegida*.

Начиная с 20 октября 2014 г. это объединение каждую неделю проводило демонстрации протеста. В первой демонстрации в Дрездене приняли участие лишь 350 демонстрантов. Постепенно демонстрации протеста стали регулярными и распространились по всей стране. Они проходили по понедельникам и собирали несколько тысяч демонстрантов. Лидером и главным инициатором создания этой организации считается Лутц Бахманн. 19 декабря 2014 г. сторонники *Pegida* в Дрездене официально зарегистрированы как Verein.

20 октября 2015 г. отмечался один год с начала этого антиисламского движения в ФРГ. В 2015 г. в связи с массовым притоком беженцев и мигрантов из Сирии и других ближневосточных стран происходит активизация этого движения, которое приобретает более агрессивный характер. Так, статья (Der Spiegel, 10.10.2015), по-

священная возрождению оппозиционного движения противников исламизации Германии, носит название “Sie sind wieder da”.

В немецком языке политический неологизм *Pegida* с течением времени послужил основой для деривационных процессов в трех различных направлениях.

Об этом свидетельствуют, с одной стороны, данные с сайта неологизмов, который представляет собой проект Wortwarte-Neologismen Университета г. Тюбинген, Германия. Целью проекта является фиксация новых слов на материале современной немецкой прессы.

С другой стороны, деривационные процессы сокращенного слова *Pegida* исследуются также самостоятельно на основе онлайн-версий таких немецких газет и журналов, как *Der Spiegel*, *Der Tagesspiegel*, *Die Zeit*, *Die Morgenpost* и др.

Во-первых, по аналогии с сокращением *Pegida* в немецком языке возник целый ряд новых **сокращенных слов**, являющихся политическими неологизмами. Демонстрации противников исламизации Германии проходили не только в Дрездене, но и в других городах ФРГ. Так, в декабре 2014 г. и в январе 2015 г., а также осенью 2015 г. они прошли в Бонне, получив название *Bogida* (по первым буквам в названии города); в Дюссельдорфе (*Dügida*), Лейпциге (*Le-gida*), Ганновере (*Hagida*), Кельне (*Kögida*), Франкфурте-на-Майне (*Fragida*), Касселе (*Kagida*), Нюрнберге (*Nügida*) и в других крупных городах.

Указанные политические неологизмы в форме сокращенных слов активно функционируют в современной немецкой прессе, ср.: *Bonn — Melanie Dittmer wird wohl auch am morgigen Montag wieder auf die Straße gehen. Dann trifft sie sich in Bonn mit Hunderten Aktivisten der islamfeindlichen Gruppierung “Bogida” (Bonn gegen die Islamisierung des Abendlandes) zu einem abendlichen Spaziergang* (spiegel-online vom 21.12.2014).

Примечательно, что в Берлине антиисламское движение получило сокращенное название *Bärgida*, вероятно, по ассоциации с символом города Берлин — *der Bär* на основе игры слов, ср.: *In der Hauptstadt versammelt sich der Berliner Pegida-Ableger “Bärgida” regelmäßig. Die Zahl der Gegendemonstranten ist meist höher* (morgenpost.de vom 19.10.2015). С. К. Лохова отмечает: «В политическом дискурсе игра слов в основном имеет прагматическую функцию. Она может служить для более точной передачи мысли, для образной и выразительной передачи сообщения. В данном случае, “играя” словом, автор не только обращает внимание на звуковую форму и семантику слова, на его этимологию, на наличие синонимичных слов, но и усиливает эмоциональное воздействие на реципиента» [Лохова 2007: 3].

Организации противников исламизации Германии получили свои сокращенные названия также на основе наименований федеральных земель, например в Баварии (*Bagida*), в Мекленбурге — Передней Померании (*MVgida*), в Тюрингии (*Thügida*), ср.: *Mehrere hundert Menschen haben sich am Montagabend in Apolda der Demo eines Able-*

gers der fremdenfeindlichen **Thügida**-Bewegung entgegengestellt (focus.de vom 10.11.2015).

Во-вторых, сокращенное слово *Pegida* послужило основой для образования **производных слов**. Так, сторонников антиисламского движения обозначают производными словами *der Pegidist* (отмечено на указанном сайте неологизмов 15.12.2014), *der Pegidianer* (отмечено на сайте неологизмов 03.01.2015).

Производное слово *der Pegidist* образовано с помощью продуктивного частотного суффикса заимствованных существительных мужского рода *-ist*, который служит, в частности, для обозначения лиц по их принадлежности к общественно-политическим течениям [Словарь словообразовательных элементов немецкого языка 1979: 253], ср.: *Die Pediga-Vertreter verweigern sich den Medien. Das ist irritierend, speziell für die Medien, die die Pegidisten Lügenpresse schimpfen* (tagesspiegel.de vom 15.12.2014).

Производное слово *der Pegidianer* образовано в результате присоединения к сокращенному слову расширенного варианта суффикса существительных мужского рода, продуктивного нечастотного, служащего для обозначения лиц с определенными склонностями [Словарь словообразовательных элементов немецкого языка 1979: 56], ср.: *Was ist da "unsere" Kultur? Kultur — ob im Zusammenleben, in der Musik, der Kunst, der Philosophie oder wo sonst auch immer — ist meist radikaler und dauerhafter im Wandel, als sich jeder Pegidianer auch nur im Ansatz vorstellt* (zeit.de vom 03.01.2015). Необходимо отметить, что в указанном контексте дериват с суффиксом *-aner* явно имеет ироническое значение.

Кроме того, возникновение производных слов обусловлено следующими общественно-политическими событиями. В последнее время в Германии выросло как число сторонников антиисламского движения, так и число его противников. В конце декабря 2014 г. в Дрездене состоялась 15-тысячная демонстрация сторонников и 5-тысячная демонстрация противников ксенофобии. 12 января 2015 г. в Дрездене в митинге протеста приняли участие 25 тысяч сторонников *Pegida*, в то же время прошла 100-тысячная демонстрация противников антиисламского движения, в которой приняли участие бундесканцлер Ангела Меркель и президент Йоахим Гаук.

В результате этих событий в немецком языке образовалось новое производное слово, касающееся движения противников ксенофобии в Германии, *die Anti-Pegida*. По данным Словаря словообразовательных элементов немецкого языка, *anti-* является продуктивным частотным префиксом заимствованных или немецких существительных. Префикс придает существительным значение отрицания, противоположности или противодействия чему-либо [1979: 57], ср.: *Pegida und Anti-Pegida demonstrieren in Dresden. Dresdner antifaschistische und antirassistische Bewegungen veranstalten einen Demonstrationzug anlässlich des ersten Jahrestages der ultrarechten Protestbewegung* (sächsische zeitung.de vom 19.10.2015). Проведенное исследование показало, что произво-

дное слово *die Anti-Pegida*, в свою очередь, является основой для образования большого количества сложных слов.

Деривационные процессы нашли отражение и в образовании большого числа **сложных слов**, которые можно систематизировать, разделив на группы с точки зрения их значения. К первой группе относятся сложные слова, обозначающие сторонников антиисламского движения: *der Pegida-Anhänger, der Pegidaversteher, das Pegida-Mitglied, der Pegida-Redner, der Pegida-Demonstrant*. Например, политический неологизм *der Pegidaversteher* именуется того, кто разделяет взгляды противников исламизации Германии, ср.: *Grund ist ein geplanter Trauermarsch in Dresden. "Wir sind angewidert", schreiben die Künstler, von Pegidahasser vs. Pegidaversteher. Schwer zu verstehen, wer da warum gegen wen ist* (spiegel.de vom 12.01.2015).

Вторая группа состоит из сложных слов, которые обозначают организаторов и руководителей антиисламского движения: *der Pegida-Gründer, der Pegida-Organisator, der Pegida-Chef, der Pegida-Anführer, der Pegida-Aktivist*. Так, с весны 2015 г. одной из заметных фигур движения против мигрантов-мусульман в Дрездене стала Татьяна Фестерлинг, ср.: *Pegida-Anführerin Tatjana Festerling macht im Internet besonders hasserfüllt Stimmung gegen Flüchtlinge. Dafür handelte sie sich eine einwöchige Sperre bei Facebook ein* (tagesspiegel.de vom 10.08.2015).

Третья группа включает сложные слова, являющиеся наименованиями объединений и организаций противников исламизации Германии: *der Pegida-Verein, das Pegida-Bündnis, der Pegida-Ableger*. Например, политический неологизм *der Pegida-Ableger* называет ответвления антиисламского движения в разных городах ФРГ, ср.: *Dügida nennt sich der Düsseldorfer Pegida-Ableger. Nicht zu verwechseln mit Duigida, dem Ableger aus Duisburg* (rheinische post.de vom 19.10.2015).

Четвертую группу образуют сложные слова, обозначающие акции, которые проводят противники ислама в Германии: *die Pegida-Demonstration, die Pegida-Kundgebung, die Pegida-Bewegung, der Pegida-Marsch, die Pegida-Aktion, das Pegida-Plakat*, ср.: *Der Weg vom Wort zur Tat scheint immer kürzer zu werden. Das zeigt die Pegida-Aktion "Wir helfen beim Grenzbau", die Anfang Oktober erstmals im sächsischen Sebnitz angekündigt wurde und nun eine Fortsetzung in Bayern finden soll* (spiegel.de vom 10.10.2015).

К пятой группе относятся сложные слова, касающиеся сторонников толерантного отношения к мусульманским беженцам, их деятельности против ксенофобии в Германии. В качестве первого компонента в этих сложных словах выступает дериват *die Anti-Pegida*: *die Anti-Pegida-Bewegung, die Anti-Pegida-Aktion, die Anti-Pegida-Demonstration, der Anti-Pegida-Protest, der Anti-Pegida-Demonstrant, das Anti-Pegida-Festival*. Сложные слова пятой группы широко представлены в современной немецкой прессе, ср.: *In etlichen deutschen Städten sind am Montagabend wieder Anhänger und Gegner der islamfeindlichen Pegida-Bewegung auf die Straße gegangen. Die größte Anti-Pegida-Demonstration gab es in München.*

Dort beteiligten sich etwa 12.000 Menschen an einer Kundgebung für eine offene und tolerante Gesellschaft (zeit.de vom 20.01.2015).

В целом исследование деривационного потенциала политических неологизмов на примере сокращения *Pegida* позволяет выявить следующую тенденцию: деривационная активность новых слов напрямую зависит от степени их актуальности для общественно-политической сферы государства. Массовый приток беженцев и мигрантов из ближневосточных стран послужил причиной создания оппозиционной организации *Pegida*, выступающей против исламизации Европы, и в частности Германии. Миграционные процессы обострили и выдвинули проблему интеграции мусульманского населения в немецкое общество на передний план. Поэтому сокращенное слово *Pegida*, зафиксированное на сайте неологизмов в октябре 2014 г., является основой для образования большого количества сокращенных, производных и сложных слов в современном немецком языке.

Литература

- Лохова 2007 — Лохова С. К. Игра слов в политическом дискурсе (компьютерный анализ политической метафоры): Дис. ... канд. филол. наук. М., 2007.
- Миньяр-Белоручева 2012 — Миньяр-Белоручева А. П. К проблеме создания политических неологизмов // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Лингвистика». 2012. № 25.
- Розен 2000 — Розен Е. В. На пороге XXI века: Новые слова и словосочетания в немецком языке. М., 2000.
- Словарь словообразовательных элементов немецкого языка — Словарь словообразовательных элементов немецкого языка / А. Н. Зуев, И. Д. Молчанова, И. Д. Мурашов и др.; под рук. М. Д. Степановой. М., 1979.
- Чудинов 2005 — Чудинов А. П. Политическая лингвистика: Учебное пособие. М., 2006.
- Herberg, Kinne, Steffens 2004 — Herberg D., Kinne M., Steffens D. Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im Deutschen. Berlin; New York, 2004.
- Skornyakova 2007 — Skornyakova R. M. Deutsche Neologismen im Bereich der Arbeitswelt // Вестник ТГПУ. Сер. «Гуманитарные науки (Филология)». 2007. Вып. 4 (67).
- Schippan 1987 — Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1987.

ZUSAMMENFASSUNG

**Wortbildungspotential von politischen Neologismen
(am Beispiel der Abkürzung *Pegida*)**

Im Rahmen der politischen Linguistik setzt sich der Beitrag mit dem Wortbildungspotential von politischen Neologismen am Beispiel des Kurzwortes *Pegida* auseinander. Der Schwerpunkt liegt in der Untersuchung der Wechselwirkung zwischen der politischen Situation im heutigen Deutschland in Bezug auf Migrationsprozesse und der Derivationsaktivität der Abkürzung *Pegida*. Aus dieser Sicht werden im Beitrag anhand der modernen deutschen Presse neue Kurzwörter, Ableitungen und Zusammensetzungen untersucht, denen der Neologismus *Pegida* zugrunde liegt.

Н. Н. ТРОШИНА
(Институт научной информации
по общественным наукам РАН)

**ДИСКУРСООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ КОНЦЕПТОВ
(на примере концепта БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА
в западно- и восточногерманских речевых практиках)**

Построение дискурса органически связано с особенностями лингвокультуры — как традиционными, так и формирующимися на данном конкретном историческом этапе существования нации, т. е. в определенной языковой ситуации. Эта природа дискурса особенно ярко проявляется в условиях настолько резкого изменения языковой ситуации, что носители одной национальной культуры оказываются в диаметрально противоположной политической, экономической и социокультурной ситуации. Такие резкие изменения произошли в Германии после Второй мировой войны. Сама жизнь осуществила удивительный эксперимент, доказывающий актуальность такого раздела языкознания, как лингвокультурология: это направление лингвистики ведет вовсе не к какому-то «мифу», как это пытаются представить авторы нашумевшего сборника «От лингвистики к мифу: Лингвистическая культурология в поисках этнической ментальности» [Павлова 2013]. Лингвокультурология важна, потому что она «исследует прежде всего коммуникативные процессы и связь используемых в них языковых выражений с синхронно действующим менталитетом народа» [Телия 1996: 218].

Существенно, что «в эпицентре лингвокультурологии XX века оказался не только язык, но и дискурс, в которых разными языковыми и дискурсивными единицами представлен соответствующий образ мира» [Алефиренко 2010: 19]. Таким образом, объектом лингвокультурологии является система концептов и принятых в данной культуре речевых практик, выстраивающих дискурсы в различных сферах коммуникации в соответствии с тематически опорными концептами. Поэтому может сложиться языковая ситуация, когда при наличии *одной исходной общей культуры* (например, немецкой) формируются *две лингвокультуры* из-за того, что одни и те же понятия различно концептуализируются в условиях различных общественно-политических систем. Это задевает эмоциональное восприятие носителей дифференцирующихся лингвокультур, поскольку, в от-

личие от понятий, «концепты не только мыслятся, они переживаются. Они — предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений» [Степанов 1997: 41]. Именно это переживание и сопровождающая его интерпретация «направляются» в соответствии с общественно-политическим порядком в данном обществе. Это делается путем использования соответствующих речевых практик, обеспечивающих «нужную» подачу опорных концептов.

Таким концептом является концепт БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА как опорный дискурсообразующий феномен, играющий особо важную роль в современной истории не только Германии, но и мира: год назад — 9 ноября 2014 г. — широко отмечалась 25-я годовщина падения Берлинской стены, построенной 13 августа 1961 г. Дата «9 ноября» буквально врезалась в память немецкого народа как судьбоносная (*Schicksalstag*), так как именно этот день отмечен важными событиями в жизни страны: 9 ноября 1918 г. произошло отречение от престола кайзера Вильгельма II и революция в Германии, в 1923 г. — нацистский путч, в 1938 г. — ночь еврейских погромов («хрустальная ночь»), в 1989 г. — падение Берлинской стены и открытие внутригерманской границы (*Mauerfall*, *Mauereröffnung*).

В речи восточных немцев слово *Mauer* использовалось только в неофициальном дискурсе, в официальном же было принято словосочетание *antifaschistischer Schutzwall*, а в повседневном общении — *Grenze*. На вопрос, заданный случайному прохожему, как пройти, например, на Ляйпцигерштрассе (там находился Центральный институт языкознания Берлинской академии наук), следовал ответ “*Das ist Richtung Grenze*”, но не “*Richtung Mauer*”, т. е. в ГДР в дискурсе СТЕНЫ слово “*Mauer*” было табуировано, его избегали: “*Irgendwo war da schon eine Blockade beim Sprechen. Irgendwo war die Schere präsent, auch wenn man sie nicht benutzt hat. Irgendwas klickte — im Öffentlichen*” — свидетельствует г-жа П. — профессор Высшей школы индустриального дизайна в г. Галле [Fix, Barth 2000: 498—499]. О постоянно ощущавшемся внутреннем давлении пишет также Беттина Бок [Bock 2005: 46]. Что же касается обозначения *antifaschistischer Schutzwall*, то над ним в частном общении просто смеялись [Fix, Barth 2000: 650].

Действительно, дискурс не только отражает существующий порядок в обществе, но и определяет его [Foucault 2000; Ahbe 2008], при этом «различные дискурсы характеризуют один и тот же объект различным образом, используя различные правила его представления. Создается различная перспектива для восприятия этого объекта» [Bublitz 2001: 256]. Так произошло и с объектом «Берлинская стена» и, соответственно, с концептом БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА, перцептивные образы которой по-разному формировались в западно- и восточногерманском публичном дискурсе. Соответственно, был задан разный «вектор конфигурации смыслов, присущих всей тематической области» [Карасик 2010: 151] — в данном случае области «раз-

деленная Германия». Такие концепты, как ANTI-FASCHISTISCHER SCHUTZWALL и SCHANDMAUER / KLAGEMAUER, возникшие в результате такого аксиологического расщепления первичного концепта BERLINER MAUER, В. И. Карасик называет «регулятивами поведения» [Карасик 2010:188], поскольку они составляют оценочную картину мира, отражают нормы и ценности, присущие данной лингвокультуре и предписывают определенное восприятие и реакции. Так, импликатура, заложенная в концепте ANTI-FASCHISTISCHER SCHUTZWALL, означает, что обвинения в нацистском прошлом предъявлялись немцам в западной Германии, но не в Восточной. Этому смысловому вектору соответствовали и другие концепты, в частности UNUMSTÖßLICHE MAUER, NICHTSOZIALISTISCHES WIRTSCHAFTSGEBIET (т. е. ФРГ).

Проблема языкового разделения, связанная не только с использованием в речи различных лексем, но и с различным восприятием концептов и, следовательно, с различной их вербализацией, всегда интересовала как западногерманских, так и восточногерманских лингвистов. Но поскольку обсуждение этой темы всегда было сильно политизировано, оно было и необъективно. Попытки объективного подхода к этой проблеме пресекались, причем по обе стороны Берлинской стены. Так, например, основной предписанный тезис западногерманской германистики был «В ГДР все плохо», что не соответствовало реалиям жизни. Однако когда Петер Кристиан Лудц — западногерманский политолог и германист, составитель справочника «DDR-Handbuch» [DDR-Handbuch 1975] — заявил, что в ГДР была совсем неплоха система социального обеспечения, он подвергся таким нападкам со стороны коллег, что покончил с собой. После его смерти справочник был переиздан в расширенном варианте.

Построение двух разнонаправленных дискурсов с опорным концептом БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА было результатом усилий не только журналистов и политологов, но и лингвистов по обе стороны этой Стены, в результате чего возник уже собственно лингвистический дискурс Стены, положениями которого пользовались политики также по обе стороны этой Стены. Дискурс Стены определялся изменениями в политической ситуации и применялся для научного обоснования «внутригерманского межкультурного дискурса», обеспечивавшего нужную для каждой стороны интерпретацию злободневного концепта.

Немецкий лингвистический дискурс Стены прошел три этапа в своем развитии, и каждый из них соответствовал задаваемому выше направлению социальной перцепции концепта СТЕНА [Shethar, Hartung 1998]:

1) В 50—60-е гг., т. е. до возведения Берлинской стены (т. е. до 13 августа 1961 г.) и в первые годы ее существования, единство немецкого языка не обсуждалось лингвистами ГДР, лексические и не-

которые стилистические различия в речевой практике считались временными явлениями. Язык воспринимался как прочная основа единства нации. Однако западногерманские лингвисты уже тогда заговорили о языковом разделении Германии, обусловленном политикой ГДР.

2) В начале 70-х гг. стороны поменялись местами, так как ситуация в ГДР стабилизировалась и политическое руководство страны стало подчеркивать самостоятельный путь развития страны. Соответственно, стала пропагандироваться иная картина мира: немцы в ГДР — самостоятельная социалистическая немецкая нация, у нее свой немецкий язык. В связи с этим обострился вопрос о количестве национальных вариантов немецкого языка. Сколько их? Три, т. е. собственно немецкий (Binnendeutsch), австрийский и швейцарский? Или все же четыре — два немецких (в ГДР и в ФРГ), австрийский и швейцарский?

Вопрос о векторе языкового развития в двух немецких государствах, о формировании двух вариантов собственно немецкого языка оказал непосредственное влияние на лексикографическую практику, в частности на подготовку и выпуск нового «Словаря немецкого языка» (Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache 1961—1977) под редакцией Р. Клаппенбах и В. Штайница [Klappenbach, Steinitz 1961—1977] — словаря, который планировался как общенемецкий нормативный. Первые три тома были выпущены в соответствии с этой целью, однако в 1969 г. под влиянием концепции о существовании двух немецких государств (Zwei-Staaten-Theorie), принятой политическим руководством ГДР, составителям этого словаря надлежало внести свой вклад в дистанцирование от другого немецкого государства. Авторскому коллективу было предписано «представить лексический фонд немецкого языка на базе марксистско-ленинского мировоззрения» [Herberg, Ludwig 2013: 375]. Соответствующие дополнения и уточнения были внесены в словарные статьи, начиная с четвертого тома (с буквы М). Были подготовлены новые версии первых трех томов, так, например, было изменено толкование слова *Kosmopolitismus* «космополитизм»:

Kosmopolitismus, der; —, /ohne Pl./griech.>

Denkweise der Bourgeoisie, die den Menschen vornehmlich als Glied der ganzen Menschheit und nicht als einer staatlich selbständigen Nation mit dem Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit betrachtet [Klappenbach, Steinitz 3, 1969]

Kosmopolitismus, der; —, /ohne Pl./griech.>

bürgerl. Ideologie von einem Weltbürgertum aller Menschen, die sich ursprünglich gegen die geistige Enge feudaler Kleinstaaterei richtete, heute jedoch von der imperial. Bourgeoisie zur Verschleierung ihres nationalistischen Vormachtstrebens und zur Zerstörung von Nationalbewußtsein und — kultur anderer Nationen propagiert wird [Klappenbach, Steinitz 3, 1973].

В Западной Германии экономическое и политическое укрепление ГДР не приветствовалось, в связи с чем западные лингвисты вынуждены были обосновать концепцию, важную для этого этапа внутригерманских отношений, — концепцию языка как средства, объединяющего нацию.

3) В конце 80-х гг. экономическая ситуация ГДР осложнилась, в связи с чем руководители ГДР проявили большую готовность к диалогу с Западом и вспомнили о языковом единстве нации. Значимость концепта ЕДИНЫЙ ЯЗЫК в гэдээровской картине мира выросла, значимость концепта СТЕНА, соответственно, упала.

В результате немецкая германистика пережила «двойной перелом» (*doppelte Wende*): в 70-х и в 80-х гг. XX в. [Shethar, Hartung 1998].

Было бы рискованно утверждать, что воздействие публичного и лингвистического дискурса за 40 лет отдельного существования ГДР и ФРГ привело к появлению двух вариантов немецкого менталитета (менталитет меняется очень медленно!), но влияние публичного дискурса на коммуникативное сознание немцев по ту и другую сторону Берлинской стены — это факт, подтвержденный многими немецкими исследователями. Коммуникативное сознание — это «совокупность коммуникативных знаний и коммуникативных механизмов, которые обеспечивают весь комплекс коммуникативной деятельности человека. Это коммуникативные установки сознания, совокупность ментальных коммуникативных требований, а также набор принятых в обществе норм и правил коммуникации» [Стернин 2003: 265].

Любой язык находится под воздействием опыта и условий жизни его носителей, а они значительно различались в разделенной Германии. Как пронизательно отмечает Р. Хопфер, «одно государство может заключить с другим договор об объединении, но 'присоединиться' к другому языку и к другой языковой практике невозможно» [Hopfer 1996: 94]. Эти различия были настолько ощутимы, что предлагалось создать социолингвистическую немецко-немецкую энциклопедию «Вессианский немецкий для осси», в которой восточным немцам (осси) разъяснялись бы особенности использования немецкого языка западными немцами (весси). Однако этот проект так и не был реализован.

Различия в речевой коммуникации оказались после объединения Германии настолько болезненными для немцев, что на их основе делались далекоидущие выводы о глубинных культурных различиях восточных и западных немцев, что воспринималось очень остро. Причина такой реакции заключалась в том, что на протяжении многих столетий Германия не существовала как единое государство и не была политически оформленной нацией: она воспринималась, прежде всего как культурная нация [Polenz 1998]. После объединения это дорогое для немцев культурное единство оказалось под вопросом

из-за различий в использовании языка (Sprachgebrauch), т. е. из-за различий дискурсивного характера. Именно эти различия привели к так называемому языковому бунту (Sprachrevolte), ярко проявившемуся в лозунгах и речах на массовых демонстрациях 1989—1990 гг. и в комментариях к этим лозунгам типа: “Wir haben unsere Sprachlosigkeit überwunden!”, “Das Volk hat seine Sprache gefunden!”

Одновременно обнаружались лексические и стилистические различия в речи западных и восточных немцев, например выражение “Fakt ist, dass...” (принятое в ГДР, но не употреблявшееся в ФРГ), но они довольно скоро сгладились, так как восточные немцы приняли (переняли) лексику и стиль (прежде всего стиль оформления письменных текстов), принятые в Западной Германии. Скоро, однако, выяснилось, что дело не столько в гэдээровской лексике, сколько в различном коммуникативном поведении. Как отмечает Г. Лерхнер, «прежние коммуникативные модели поведения с реализующими их языковыми средствами — именно из-за выработанного автоматизма их употребления — переносятся на новые ситуации, структурно сопоставимые, но совершенно иные в предметно-содержательном плане, причем это происходит незаметно для говорящего» [Lerchner 1992: 314].

Речевые практики, выработанные в ГДР, оказались неприменимы в объединенной Германии и привели к проблемам в речевом общении, чего никто не ожидал. На уровне речевого поведения, т. е. на дискурсивном уровне, возникли проблемы такой остроты, что писатель Кристоф Хайн сказал: “Ost- und Westdeutschland sind durch eine gemeinsame Sprache getrennt!” Но ведь еще до объединения Германии западные и восточные лингвисты пришли к общему мнению, что при сохранении языковой общности на территории Германии образовались две коммуникативные общности. Их особенности проявлялись не только в политическом дискурсе, но и в других ситуациях публичного общения. Так, например, в ГДР в школе и на производстве общение протекало в рамках ситуаций, которых не было в ФРГ: не было так называемого часа классного руководителя, на производстве не было мероприятий «по обмену опытом». В эйфории объединения это было упущено из виду и привело к коммуникативному и психологическому дискомфорту во взаимном восприятии, с сожалением констатируют Хорст-Дитер Шлоссер [Schlosser 1993] и Готтхард Лерхнер [Lerchner 1992]. Восточные немцы видели в своих западных согражданах самоуверенных зазнаек, не лезущих за словом в карман (Ein Ossi — ein Wort, ein Wessi — ein Wörterbuch), но при этом интеллектуально далеко не всегда оказывающихся на высоте, о чем свидетельствуют следующие «загадки»: Warum sagt man nicht “blöder Wessi?” — Man sagt ja auch nicht schwarzer Neger; Was erhält man, wenn man einen Wessi mit einem Ossi kreuzt? — Einen arroganten Arbeitslosen.

Западные немцы видели в восточных жалких неприспособленных нытиков (Jammerossi), а восточные территории называли Jammertal-Ost «жалкий восточный край».

Неудивительно, что весьма скоро выросла и вошла в поговорки «стена в голове» (Mauer im Kopf), хотя сама Стена и была уже снесена. Уже пять лет спустя после падения Берлинской стены наступило отрезвление, и на вопрос, согласны ли вы с мнением “Die Mauer ist weg, aber die Mauer in den Köpfen wächst”, 67 % опрошенных ответили утвердительно и 31 % — отрицательно. На вопрос «Как вы оцениваете развитие ситуации после объединения Германии?» только 13 % восточных немцев ответили положительно, 53 % — отрицательно (по заказу еженедельника “Spiegel” провел институт “Emnid”) [Spiegel 1995].

Дискурс объединения постепенно трансформировался в дискурс разделения (Wiedervereinigungsdiskurs wurde zum Spaltungsdiskurs) [Pappert, Schröter 2008:157], т. е. «стена в головах» выстроилась в виде дискурсивной стены, опорой которой стали, прежде всего, концепты NEUE BUNDESLÄNDER, OSTDEUTSCH и концептуальные антонимы DEUTSCHLAND-OST — DEUTSCHLAND-WEST. Импликация, присутствующая в концепте NEUE BUNDESLÄNDER, отделяет население Восточной Германии от их западных сограждан. Это дискурсивное отделение подчеркивается использованием специальных речевых практик — нарочитым употреблением слова *ostdeutsch* в прессе. Так, например, если речь идет о Франкфурте-на-Одере, то обязательно указывается, что это Франкфурт в Восточной Германии, если — о Франкфурте-на-Майне, то географическое положение города не уточняется. Если речь идет об участии восточногерманских политиков в каких-либо европейских структурах, обязательно подчеркивается их «географическое происхождение»: “Petra Eiler ist die einzige Ostdeutsche in der Führungsetage der Europäischen Kommission” [Tagesthemen 17.09.2006]. Уточнение *westdeutsch* встречается гораздо реже.

По наблюдениям Петера фон Поленца, такая асимметрия в употреблении прилагательного *deutsch* была сформирована речевыми практиками в западногерманских СМИ уже до объединения Германии — с начала 80-х гг.: в сообщениях о каких-либо событиях в ФРГ слова *deutsch*, *Deutschland* употреблялись в одном контексте со словами *national*, *Nation*. По мнению П. фон Поленца, это противоречило Основному закону ФРГ, так как в этом Законе отсутствует определение немецкого языка как национального [Polenz 1993]. Так был запущен процесс языкового отчуждения западных и восточных немцев (*tiefgreifender Fremdwerdungsprozess*) [Stötzel 1991].

В новом политическом дискурсе сформировались и другие концепты, унижавшие достоинство восточных немцев: BUSCHZULAGE — надбавка к зарплате западногерманских специалистов, переехавших в новые федеральные земли, за работу в экстремальных условиях (как в африканском буше); OSTHÄLFTE, OSTELBIEN, OS-

SINEIEN, даже *KOHLONIE* (от фамилии федерального канцлера Гельмута Коля). При этом западногерманская территория называлась только *alle Bundesländer*.

Как же концепт БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА воспринимается сегодня, уже 26 лет спустя после ее падения?

В связи с прошлогодним юбилеем газета “Thüringische Landeszeitung” опубликовала результаты опроса, проведенного Эрфуртским институтом маркетинговых и социальных исследований “Insa-Consulere” в октябре 2014 г. [Thüringische Landeszeitung 2014]. Оказалось, что каждый шестой немец, т. е. 16 % населения Германии (возрастная дифференциация не учитывалась), выступает за возвращение Берлинской стены, из-за которой было столько споров до и после объединения Германии, и поддерживают мнение “Nein, die Mauer wieder her, dann hat jeder seine Ruhe!” Таким образом, концепт БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА положительно коннотирован для 16 % населения Германии. Вернуть Стену призывают не только отдельные (хотя и весьма многочисленные) граждане на востоке и на западе страны, но и целые политические структуры, например «Партия пиратов Германии» и партия «Альтернатива для Германии». Говорят уже не только о «стене в головах», но даже и о «баррикадах в головах». Импликация, вложенная в эту когнитивную метафору, понятна: «Мы готовы к борьбе». Социологи видят причину такого поворота в восприятии концепта СТЕНА прежде всего в разочаровании и восточных, и западных немцев, а также в трудностях социальной, культурной и языковой адаптации друг к другу, т. е. обращают внимание именно на лингвокультурологический аспект этой проблемы.

Судя по данным этого опроса, концепт БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА в ментальном словаре немцев оказался гораздо более устойчивым, чем сама Стена.

Однако в ситуацию вмешивается поколенческий фактор: за минувшие 26 лет выросло новое поколение — так называемые *Wendekinder*. Эти молодые люди из западных и восточных областей Германии беспрепятственно общаются друг с другом, в результате чего вырабатываются новые — общие — речевые практики, объединяющие современных носителей немецкого языка в лингвокультурном отношении. Новая лингвокультура взаимодействует с традиционной немецкой культурой.

Наметившаяся тенденция подтверждается данными проведенного в сентябре 2015 г. опроса на тему: “War die Wiedervereinigung aus heutiger Sicht Ihrer Meinung nach richtig oder nicht richtig?” [Wiedervereinigung-Umfrage]. 90 % опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет считают, что объединение Германии — это пример для других стран. Поэтому есть шанс, что дискурсивная стена когда-то рухнет так же, как рухнула 26 лет назад реально существовавшая Берлинская стена, а вместе с ней потеряет свою актуальность для немецкого ментального лексикона концепт БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА.

Литература

- Алефиренко 2010 — *Алефиренко Н. Ф.* Лингвокультурология: Ценностно-смысловое пространство языка. М., 2010.
- Карасик 2010. — *Карасик В. И.* Языковая кристаллизация смысла. Волгоград, 2010.
- Павлова 2013 — От лингвистики к мифу: Лингвистическая культурология в поисках «этнической ментальности» / Сост. А. В. Павлова. СПб., 2013.
- Степанов 1997 — *Степанов Ю. С.* Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.
- Стернин 2003 — *Стернин И. А.* Языковое, коммуникативное и когнитивное сознание: Проблема разграничения // Языковое сознание: Устоявшееся и спорное. XIV Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. М., 29—31 мая 2003. М., 2003. С. 264—265.
- Телия 1996 — *Телия В. Н.* Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурный аспекты. М., 1996.
- Ahbe 2008 — *Ahbe T.* Ost-Diskurse: Das Bild von den Ostdeutschen in den Diskursen von vier überregionalen Presseorganen 1989/90 und 1995 // Diskursmauern: Aktuelle Aspekte der sprachlichen Verhältnisse zwischen Ost und West. Bremen, 2008. S. 21—53.
- Bock 2005 — *Bock. B.* Die Ordnung des Diskurses und die Rolle des Schweigens in der DDR // Germanistische Beiträge: Sprachbiographien: Interviews und Analysen. Leipzig, 2005. S. 39—53.
- Bublitz 2001 — *Bublitz H.* Differenz und Integration: Zur diskursanalytischen Rekonstruktion der Regelstrukturen sozialer Wirklichkeit // Handbuch sozialwissenschaftlicher Diskursanalyse. Opladen, 2001. S. 225—260.
- DDR-Handbuch 1975 — DDR-Handbuch / Hg. v. Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, 1975.
- Fix, Barth 2000 — *Fix. U., Barth D.* (unter Mitarb. von Beyer F.). Sprachbiographien: Sprache und Sprachgebrauch vor und nach der Wende von 1989 im Erinnern und Erleben von Zeitzeugen aus der DDR: Inhalte und Analysen narrativ-diskursiver Interviews. Frankfurt a. M., 2000. 719 S.
- Foucault 2000 — *Foucault M.* Die Ordnung des Diskurses: Mit einem Essay von Ralf Konersmann. 7. Aufl. Aus dem Franz / Übers. von W. Seitfer. Frankfurt a. M., 2000.
- Herberg D., Ludwig K.-D. 2013 — *Herberg D., Ludwig K.-D.* Germanistische Lexikographie in der DDR: Ergebnisse, Wirkungen, Probleme am Beispiel des “Wörterbuches der deutschen Gegenwartssprache” // Positionen der Germanistik in der DDR: Personen — Forschungsfelder — Organisationsformen. Berlin, Boston, 2013. S. 363—386.

- Hopfer 1996 — *Hopfer R.* Wessianisch für Osis. Vorschläge für eine soziolinguistische deutsch-deutsche Enzyklopädie // Von “Buschzula-ge” und “Ossinachweis”: Ost-West-Deutsch in der Dikussion. Berlin, 1996. S. 94—109.
- Lerchner 1992 — *Lerchner G.* “Broiler”, “Plast(e)” und “Datsche” machen noch nicht den Unterschied.: Fremdheit und Toleranz in der pluzertrischen deutschen Kommunikationskultur // Sprachgebrauch im Wandel: Anmerkungen zur Kommunikationskultur in der DDR vor und nach der Wende. Frankfurt a. M. etc., 1992. S. 297—332.
- Pappert, Schröter 2008 — *Pappert St., Schröter M.* Der Vereinigungsdiskurs als Spaltungsdiskurs in der Spiegelberichterstattung 1990—2000 // Diskursmauern: Aktuelle Aspekte der sprachlichen Verhältnisse zwischen Ost und West. Bremen, 2008. S. 157—177.
- Polenz 1993 — *Polenz P. von.* Die Sprachrevolte in der DDR im Herbst 1989: Ein Forschungsbericht nach drei Jahren vereinter germanistischer Linguistik // Zeitschr. für germanistische Linguistik. Bd. 22. Hildesheim, 1993. S. 127—149.
- Polenz 1998 — *Polenz P. von.* Zwischen “Staatsnation” und “Kulturnation”: Deutsche Begriffsbesetzungen um 1800 // Sprache und bürgerliche Nation. — Berlin; New York, 1998. S. 55—70.
- Schlosser 1993 — *Schlosser H.-D.* Die ins Leere befreite Sprache: Wendetexte zwischen Euphorie und bundesdeutscher Wirklichkeit // Muttersprache. Wiesbaden, 1993. Jg. 103. H. 3. S. 219—230.
- Shethar, Hartung 1998 — *Shethar A., Hartung W.* Was ist “Ostjammer” wirklich? Diskursideologie und die Konstruktion deutsch-deutscher Interkulturalität // Sprache als Mittel von Identifikation und Distanzierung. Frankfurt a. M., 1998. S. 39—66.
- Spiegel-Umfrage 1995 — Spiegel-Umfrage Viele Ostdeutsche trauern den alten Zeiten nach // Spiegel. Hamburg, 1995. H. 27. S. 41.
- Stötzel 1991 — *Stötzel G.* Entzweigung und Vereinigung: Antworten der Sprache auf die deutsche Frage // Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht. H. 67: Die deutsche Frage: Sprachwissenschaftliche Skizzen. Paderborn, 1991. S. 2—20.
- Thüringische Landeszeitung-Umfrage — Thüringische Landeszeitung-Umfrage. Режим доступа: <http://www.n-v.de/ticker/Umfrage-Gut-jeder-sechste-Deutsche-will-Mauer-zurueck-article13927951.html>
- Klappenbach, Steinitz 1961—1977 — Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache / Hg. v. R. Klappenbach, W. Steinitz. Bd. 1—6. Berlin, 1961—1977.
- Wiedervereinigung-Umfrage — Wiedervereinigung-Umfrage. Режим доступа: <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/70636/umfrage/beurteilung-der-wiedervereinigung/>

ZUSAMMENFASSUNG**Konzepte als Diskursstützen (vergleichende Analyse des MAUER-Konzepts in den westdeutschen und ostdeutschen Sprachpraktiken)**

Nach der Wende sind die Unterschiede in der kulturellen Spezifik des Sprachgebrauchs in Ost- und Westdeutschland deutlich geworden. Sie haben auch die Besonderheiten bei der Interpretation des diskursprägenden Konzepts BERLINER MAUER bedingt. Die Ergebnisse der jüngsten soziologischen Umfragen lassen aber schlussfolgern, dass heute neue kulturelle Normen für den Sprachgebrauch entstehen, die die Sprachträger im Osten und Westen kommunikativ vereinen.

W. JAMSCHANOVA

(Sankt-Peterburg)

TOLERANZ UND DULDSAMKEIT

(deutsch-russische Parallele)

Der Begriff *Toleranz* gewinnt heute immer mehr an Bedeutung und wird gebräuchlicher sowohl in Deutschland als auch in Russland. Aber selbst in Deutschland, wo dieses Wort schon Jahrhunderte lang gebraucht wird, wird der Begriff *Toleranz* offensichtlich sehr differenziert verstanden und interpretiert: "Wer eine eindeutige oder gar einheitliche Antwort auf die Frage nach Inhalt, Umfang und Wirkung von Toleranz heute erwartet, wird enttäuscht sein. Vielmehr gewinnt der Leser einen ersten Eindruck davon, wie umstritten die Toleranz bereits unter ihren Theoretikern ist, wie vielfältig ausdeutbar sie erscheint, wie man bei einer ersten Betrachtung gar von einer diffusen 'Gemengelage' sprechen kann" [Fromm: 2001]. Auch russische Forscher bezeichnen die Toleranz (*толерантность*) als eines der widersprüchlichsten Phänomene der Gegenwart.

In Deutschland befassen sich mit dem Inhalt des Begriffs *Toleranz* nicht nur Theoretiker, sondern auch gewöhnliche Internetnutzer. Allein im Jahre 2008 wurde der deutsche Wikipediaartikel zu *Toleranz* über fünfzig Mal bearbeitet. Es gibt auch Versuche, den Internet-Meinungsaustausch zu systematisieren und archivieren [Losehand 2009].

Eingeführt von Martin Luther Mitte des 16. Jahrhunderts hatte das lateinische Wort *Toleranz* zuerst eine rein theologische Bedeutung *tolerantia dei*. Später wird mit dem lateinischen *tolerantia* auch das geduldige Ertragen von körperlichen Schmerzen und militärischen Niederlagen angesprochen. Eine lange Zeit wird das entlehnte Wort *Toleranz* als Synonym des deutschen Substantivs *Duldsamkeit* gebraucht.

Die Wörter *толерантность* (*Toleranz*), *толерантный* (*tolerant*), *толерировать* (*tolerieren*) erschienen in der russischen Sprache zum ersten Mal im 19. Jahrhundert und wurden von den so genannten Westlern im positiven Sinne gebraucht. Die Slawophilen dagegen traten intensiv gegen den Gebrauch dieser Wörter auf. In der Sowjetzeit verschwanden sie völlig aus dem Sprachlexikon und sind nur in einigen Fremdwörterbüchern erhalten geblieben. Ende des 20. Jahrhunderts kehrten sie aber als westliche Entlehnungen triumphierend zurück und werden heutzutage sehr intensiv in den Massenmedien gebraucht.

Sowohl in Deutschland als auch in Russland wird in der Diskussion um Toleranz der enge Zusammenhang der Begriffe *Toleranz/толерантность* und *Duldsamkeit/терпимость* nicht außer Acht gelassen sowie der Versuch unternommen die jeweilige Rolle der Begriffe festzustellen und einen Ausblick auf deren Entwicklung zu geben.

Toleranz und Duldsamkeit

Der Begriff *Duldsamkeit* hat in beiden Sprachen einen langen Entwicklungsweg durchlaufen. Obwohl im Deutschen dafür zwei Wörter (*Duldsamkeit* und *Toleranz*) und im Russischen lediglich ein Wort (*терпимость*) gebraucht werden, zeigt der Inhalt selbst keine großen Unterschiede in beiden Sprachen. Ein Überblick über die Begriffsbestimmungen und gängigen nichtwissenschaftlichen Vorstellungen der an der Toleranz-Diskussion Beteiligten, lässt folgende Kennzeichen der *Duldsamkeit / Toleranz* feststellen:

Es muss streng zwischen Gut und Böse, Wahrheit und Irrtum unterschieden werden, denn Duldsamkeit / Toleranz ist eine Reaktion auf das Böse, den Irrtum. Das Gute und Positive sollte gebilligt und nicht toleriert werden: "Toleranz können wir nur gegenüber einer aus guten subjektiven Gründen abgelehnten Überzeugung üben" [Habermas 2002: 169—170]; Womit ich rückhaltlos einverstanden bin, was ich uneingeschränkt teile, muss ich nicht tolerieren. Ich toleriere etwas oder jemand, weil ich mit ihm in einer bestimmten Sache gerade nicht einig bin und uneinig bleibe" [Schaede 2013].

Es muss eine potentielle Wahlmöglichkeit des Reagierens auf das Böse bestehen: eine Option, das Missbilligte, statt es zu tolerieren, genauso gut auch abstellen zu können. *Duldsamkeit / Toleranz* beschreibt "die Fähigkeit, eine Form, oder — bis zur jeweiligen Toleranzschwelle — viele Formen des Andersseins oder Andershandelns, insbesondere Herkunft, Religion, Neigungen, Moral oder Überzeugungen, zu dulden, also nicht zu bekämpfen" [Losehand 2009].

Ein Beispiel dafür bildet die Duldsamkeit eines Glaubens. Für einen Gläubiger ist seine Religion selbstverständlich die einzig wahrhafte, jede andere besitzt für ihn kein volles Maß der Wahrhaftigkeit. Dies bedeutet aber nicht, dass man den anderen Religionen einen Religionskrieg erklären muss. Der gewählte Weg der religiösen Toleranz bedeutet aber auch nicht, dass der Anhänger einer Religion die eigenen Wahrheitsansprüche und Gewissheiten relativieren oder gar aufgeben muss. *Duldsamkeit/Toleranz* heißt vielmehr, dass diese in ihrer praktischen Wirksamkeit eingeschränkt werden müssen.

So werden in einem multinationalen und multikonfessionellen Staat wie Russland die Glaubensunterschiede laut Gesetz toleriert. Im Artikel 67 der "Staatsgrundgesetze des Kaiserreichs Russland" [1906] hieß es: "Die Glaubensfreiheit wird nicht nur Christen ausländischer Konfessionen, sondern auch den Juden, Mohammedanern und Heiden zugeeig-

net: damit alle Völker, die in Russland sind, den Allmächtigen Gott in verschiedenen Sprachen nach dem Gesetz und Bekenntnis ihrer Urväter preisen”.

Aber auch innerhalb heutiger pluralistischer Gesellschaften, in denen die Traditionen verschiedener Sprach- und Kulturgemeinschaften aufeinander treffen und täglich unterschiedliche, teilweise sich widersprechende Werte und Lebensentwürfe aufeinander stoßen, ist *Duldsamkeit / Toleranz* immer dort nötig, wo sie ”eine Beurteilung nicht allein unter dem Gesichtspunkt der existentiellen Relevanz, sondern auch unter den Geltungsaspekten von Wahrheit und Richtigkeit herausfordern” [Habermas 2002: 177].

1.3 Die Missbilligung gilt nur den aus der Sicht der Tolerierenden ”falschen” Überzeugungen oder Handlungen, aber nicht deren Träger. Die letzteren werden eher als in einen Irrtum geratene Menschen angesehen. Man unterscheidet zwischen der Person und den ihr anhaftenden Mängeln und ist duldsam / tolerant gegenüber der Person, aber unduldsam / intolerant gegenüber ihren Fehlern, die keineswegs anerkannt werden können: ”Toleranz bedeutet: Ich mache dem Anderen deutlich, dass er mir nicht gleichgültig ist: Ich lehne seinen Glauben ab, aber ich akzeptiere, dass er ihn lebt” [Steinacker 2013]; ”Das Akzeptanzmoment benennt gewichtige Motive, weshalb ich trotz prinzipieller Ablehnung von Überzeugungen die damit verknüpften Personen oder Gruppierungen akzeptiere und respektiere” [Schade: 10].

Das beschriebene Verständnis der *Duldsamkeit / Toleranz* der Deutschen fällt mit dem Verständnis von *терпимость* (*Duldsamkeit*) der russischen Muttersprachler völlig zusammen, was in den Lexika und den Äußerungen der Vertreter beider Sprachen ihren Niederschlag findet.

Toleranz gegen Duldsamkeit

Die Synonymie der Substantive *Duldsamkeit* und *Toleranz* wird innerhalb einer hundertjährigen Entwicklungsgeschichte langsam eingebüßt. Das Wort *Duldsamkeit* wird durch das Wort *Toleranz* allmählich verdrängt, wobei *Duldsamkeit* eine eher negative Bedeutung erhält: ”Toleranz soll aber ein positiver Begriff sein. <...> Erdulden ist in unserem Sprachraum, zu der heutigen Zeit so negativ belegt, dass von Fachleuten dazu aufgerufen wird, nichts zu erdulden, was das eigene Leben erschwert. <...> Toleranz können Sie auch mit dem Sprichwort ‘Leben und Leben lassen’ interpretieren” [Bauer 2012].

Die negative Einschätzung der Duldsamkeit im Unterschied zur positiven Einschätzung der Toleranz wird durch folgende Kriterien bewiesen: 1) Emotionalität versus Rationalität, 2) Passivität versus Aktivität.

2.1 Bei der Gegenüberstellung der Toleranz und der Duldsamkeit nach dem Unterscheidungsmerkmal Rationalität versus Emotionalität [Михайлова 2005] wird die Rationalität der Duldsamkeit unterschätzt. Schon die Anfangseinschätzung einer Situation vom Standpunkt Gut

oder Böse sowie Wahrheit oder Irrtum aus, kann nicht bloß gefühlsmäßig beziehungsweise emotional sein. Noch mehr Verstand braucht man für die Analyse der möglichen Reaktionsarten auf den Irrtum eines Anderen. Völlig rational erfolgt auch das Unterscheiden zwischen dem Verhalten zur Person und zu den ihr anhaftenden Mängeln.

2.2 Auch bei der Gegenüberstellung der Toleranz und der Duldsamkeit nach dem Unterscheidungsmerkmal Aktivität versus Passivität, die von vielen deutschen und russischen Autoren durchgeführt wird [Nebelsiek 2002; Bauer 2012; Schneider 2013; Михайлова 2005], wird die Aktivität der Duldsamkeit unterschätzt.

Schon laut ihrer Definition setzt die Duldsamkeit sogar mehrere Aktivitätsarten voraus: Einerseits die mentale (rationale) Einschätzung einer Situation und als Ergebnis deren Bewertung als Übel, Irrtum oder Torheit. Zum anderen ist eine Handlungsaktivität präsent: Auf die reale Einmischung in die getadelte Situation zu verzichten, dem gerechten Zorn keine Luft zu geben, sich manchmal auch zähneknirschend zurückzuhalten, ist auch als eine Aktivität zu beurteilen.

Die Bedeutungsverschiebung des deutschen Wortes *Duldsamkeit* Richtung Passivität geht mit der gegenwärtigen passiven und daher negativen Bedeutung *dulden*, *Geduld*, die den semantischen Kern der *Duldsamkeit* bildet. Das war in der Sprachgeschichte nicht immer so [Ямшанова 2011]. Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurde diese Tatsache im Deutschen Sprichwörter-Lexikon betrachtet, indem den Muttersprachlern erläutert wurde, dass ihre Vorfahren nicht nur die passive, sondern auch die aktive Bedeutung der *Geduld* gekannt hatten.

Das Sprichwort *An der Geduld erkennt man den Mann* wird im Lexikon wie folgt kommentiert: “Geduld bezeichnet hier männliche Ausdauer im Kampfe, keineswegs das feige Hinnehmen jedes Unrechts wie dies auch die Sprichwörter anderer Völker bestätigen. *Geduld ist ein schöner Sieg*, sagen die Franzosen” [Wander 2004]. In der Erläuterung des Sprichwortes *Geduld, das edle Kraut, wächst nicht in allen Gärten* wird die Entgegensetzung der aktiven und der passiven Geduld noch bildhafter ausgedrückt: “Wenn die Sprichwörter Geduld empfehlen, so meinen sie nicht jene passive Esels- und Schafsgeduld, die jede Unbill ruhig erträgt und den, der sie zufügt, noch hündisch beleckt; sondern die aktive Geduld, jene konsequente, überzeugungstreue Ausdauer im Kampfe, die den Gegner ermüdet oder im Erliegen noch siegt. Diese Geduld ist allerdings ein edles Kraut zu nennen, das nicht in allen Gärten wächst” [Wander 2004].

Nicht umsonst wendet sich das Sprichwörter-Lexikon in seinen Kommentaren an die Beispiele aus anderen Sprachen, die eine positive Bedeutung der *Geduld* in ihrem Sprichwörterbestand behalten haben. Von den russischen Muttersprachlern wird die Geduld in solchen Beispielen auch heute eindeutig aktiv und positiv verstanden. Im Gegensatz zur in modernen deutschen Lexika fixierten einzig passiven Bedeutung des Wortes *Geduld*, stellen die russischen Lexika neben einer passiven Bedeutung auch eine zweite aktive Bedeutung des Substantivs *мепнунне* (*Ge-*

duld) fest. Diese aktive Bedeutung wird als Beharrlichkeit, Standhaftigkeit, Selbstbeherrschung in Erwartung nötiger Ergebnisse definiert, ganz im Sinne der Kommentare im Deutschen Sprichwörter-Lexikon des 19. Jahrhunderts.

Aus der Internet-Diskussion über das Verhältnis zwischen den Begriffen *Duldsamkeit* und *Toleranz* ist ersichtlich, dass alle Teilnehmer dieser Diskussion die enge Verbundenheit der Semantik beider Begriffe bestätigen, unabhängig davon ob sie diese auch weiter “beibehalten” wollen oder dagegen sind. Als Diskussionsergebnis könnte der Schluss dienen, dass *Duldsamkeit* heute eine “enge Bedeutung” der *Toleranz* bilde: “Die Definition des Wortes *Toleranz* darf nicht auf *Duldsamkeit* begrenzt sein, wenn der Begriff Werte tragen soll” [Bauer 2012]; “Die enge Definition ist nun eine, die heute kaum noch Anwendung findet. Oder wann haben Sie das letzte Mal jemanden nach *Toleranz* rufen hören, der damit meinte, man müsse seine Verhaltensweisen lediglich ‘dulden’?” [Honekamp 2014].

Die Bedeutung des Substantivs *терпимость* hat keine gravierenden Änderungen erlebt wie *Duldsamkeit* in der deutschen Sprache; das Wort *толерантность* ist nicht einmal 30 Jahre alt und kennt keine hunderte Jahre lange Geschichte wie die deutsche *Toleranz*.

Wenn das Schicksal der *Duldsamkeit* von den Teilnehmern der Internet-Diskussionen heute als eine “enge Bedeutung” der *Toleranz* bestimmt wird, so ist die Entwicklungstendenz der *Toleranz* noch offen. Es wird rege besprochen, welche zusätzlichen Inhalte die “neue” *Toleranz* bekommen solle.

Toleranz ohne Duldsamkeit?

Der heutige Entwicklungstrend wird als Weg von der Duldungs-Toleranz hin zur Respekt-Toleranz geschildert [Schneider 2013]. Diese Tendenz findet auch ihre sprachliche Gestaltung. Die meisten Teilnehmer der Toleranz-Diskussion bleiben bei dem gewohnten Wort *Toleranz*, indem sie dessen neuen Sinn genauer zu fassen versuchen. Es gibt aber Vorschläge, auf das Wort *Toleranz* zu verzichten und für den neuen Inhalt auch eine neue Form zu finden. Dies findet auf folgenden Wegen statt: 1) durch attributive Ergänzungen zum Wort *Toleranz*, 2) durch den Verzicht auf das Wort *Toleranz* und Suche nach neuen Ausdrucksformen, 3) durch die Präzisierung des Sinns der *Toleranz* durch neue Bezeichnungen.

3.1 Um den Trend der Abgrenzung der *Toleranz* **von der Duldsamkeit zu zeigen und das gegenwärtige Fehlen der Synonymie zwischen beiden Wörtern zu unterstreichen, werden zusätzliche attributive Ergänzungen zum Wort *Toleranz* eingeführt: Duldungs-Toleranz, Respekt-Toleranz, Toleranz auf Augenhöhe.**

3.2 Einige Teilnehmer der Toleranz-Diskussion wollen auf dieses Wort ganz verzichten, und zwar gerade, weil die *Toleranz* die Idee der *Duldsamkeit* beinhaltet, die bewusste Ablehnung dessen, womit man nicht einverstanden ist. Als Ersatz für das Wort *Toleranz* gilt das Substantiv *Akzeptanz*:

“Toleranz ist, wenn man etwas unangenehm findet und trotzdem nichts dagegen tut. *Akzeptanz* ist <...>, wenn man bestätigt, dass man etwas in Ordnung findet” [Nebelsiek 2002]. *Dilek Kolat, Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen in Berlin*, meint: “<...> wenn man darüber nachdenkt: was bedeutet eigentlich Toleranz — dann meine ich, ist es ein Begriff, der nicht gut passt. Ich würde viel lieber das Wort *Akzeptanz* benutzen. Denn das Wort *Toleranz* hat auch in sich schon, dass man sich abgrenzt oder etwas ablehnt. Man muss ja etwas ablehnen, um es dann zu tolerieren” [100 Grimmsche Wörter 2013].

3.3 Die meisten Autoren bleiben bei dem Wort *Toleranz*, versuchen aber den Sinn dieses Phänomens zu präzisieren, indem sie erklären, welche neuen Konnotationen die gegenwärtige Semantik des Wortes bereichern. Dabei werden solche Begriffe wie *Akzeptanz*, *Respekt*, *Achtung*, *Integration*, *Inklusion* verwendet: “Von einem geduldeten Nebeneinander sind wir zu einem respektvollen Miteinander gelangt” [Schneider 2013]; “Eine tolerante Einstellung modifiziert die Handlungsdispositionen dadurch, dass sie über einen fortbestehenden religiösen oder weltanschaulichen Dissens hinweg zur Achtung der Person des Andersgläubigen und Andersdenkenden als eines gleichberechtigten Mitbürgers anhält” [Habermas 2002: 173]; “Die Toleranz unterscheidet sich daher auch sehr eindeutig von Akzeptanz, einem Begriff, der den ‘Andersartigen’ gar nicht erst duldet, sondern hingegen gleich integriert” [Contor 2010]; “Das Ziel ist also nicht eine tolerante Gesellschaft, sondern eine inklusive Gesellschaft” [Schestag 2013].

3.4 Bei den in Punkt 3.3 erwähnten Äußerungen handelt es sich um das ehrerbietige Verhalten zur Person, die als Objekt der Toleranz auftritt, das nach Meinung der Autoren gleichberechtigter sein muss. In den meisten Aussagen aber wird ein solches positives Verhalten auch auf die Position der zu tolerierenden Person übertragen. So werden in der Wertschätzungs-Konzeption der Toleranz von Forst nicht nur Mitglieder anderer kultureller oder religiöser Gemeinschaften als rechtlich-politisch Gleiche respektiert, sondern auch “ihre Überzeugungen und Praktiken als ethisch wertvoll” [Fromm 2001] geschätzt. Die weit verbreitete Wendung der “neuen” Toleranz *Ich bin für alles offen!* ist weit weg sowohl von der alten christlichen Maxime *Hasse die Sünde, aber liebe den Sünder*, als auch von den Vorstellungen der Duldungs-Toleranz, bei der sie lauten würde: *Ich bin für alle, aber keineswegs für alles offen!*

Das gedankenlose Akzeptieren und Respektieren geschweige denn Integrieren von fremden Überzeugungen und Praktiken läuft aber Gefahr eines Herunterrutschens zur Gleichgültigkeit und Indifferenz. Der Duldungs-Toleranz ist diese Gefahr fremd. Durch ihr strenges Unterscheiden zwischen Gut und Böse, Wahrheit und Irrtum, sowie zwischen Tadel des Irrtums und Barmherzigkeit gegenüber dem Träger dieses Irrtums sorgt sie dafür, dass sie weder in die Richtung der wohlwollenden Annahme, Akzeptanz, Respekts des Getadelten noch in die Richtung der Gleichgültigkeit heruntergleitet.

Deutsche Forscher, die Entwicklungstrends der Toleranz untersuchen, warnen eindringlich vor dieser Gefahr: “Problematisch ist, dass im weiteren Verlauf der Begriff der *Toleranz* zu einer Form der Beliebigkeit verleitet, die allerdings mit keinem der ursprünglichen Toleranzkonzepte verbunden war” [Weber 2007]. Wenn man über die enge Definition der *Toleranz* (also *Duldsamkeit*) hinausgeht, so landet man “bei einer Gesellschaft, die keine Werte mehr kennt, keine mehr kennen kann, weil sie alles anerkennen muss, was irgendjemand als seine Überzeugung geltend macht” [Honekamp 2014].

Mit der Toleranz hat es der Mensch nicht leicht. Nach Habermas ist Toleranz immer eine Zumutung und nach R. Forst tut sie weh, wie viele Tugenden. Dieser moralische “Reibungspunkt” fehlt der Akzeptanz oder dem Respekt. Kein Wunder, dass die “neue” Toleranz, die nach Russland mit der “Erklärung von Prinzipien der Toleranz” [1995] und mehreren internationalen Toleranz-Projekten gekommen ist, eine rege Diskussion unter den Forschern hervorruft. Durch die jüngsten Toleranz-Erfahrungen in Europa schließen sich auch russische Internetnutzer der Toleranz-Diskussion unvermeidlich an.

Literatur¹

- Михайлова 2005 — Михайлова О. С. Толерантность и терпимость: взгляд лингвиста [Электронный ресурс] // <http://avkrasn.ru/article-1653.html>
- Ямшанова 2011 — Ямшанова В. А. Терпение и смирение vs. Geduld и Demut // От значения к форме, от формы к значению / Отв. ред. М. М. Воейкова, 2011. С. 617—631.
- Bauer 2012 — Bauer M. Definition von Toleranz — so wenden Sie den Begriff richtig an // http://www.helpster.de/definition-von-toleranz-so-wenden-sie-den-begriff-richtig-an_147206#anleitung
- Contor 2010 — Contor B. Gefährliches Toleranz-Defizit. <http://www.readers-edition.de/2010/10/19/gefaehrliches-toleranz-defizit/>
- Fromm 2001 — Fromm E. Toleranz — eine diffuse Gemengelage? // http://www.luise-berlin.de/lesezeichen/blz01_06/text27.htm
- Habermas 2002 — Habermas J. Wann müssen wir tolerant sein? In: Leibniztag. Festveranstaltung am 29 Juni 2002. S. 167—177 // https://edoc.bbaw.de/opus4-bbaw/frontdoor/deliver/index/docId/1374/file/05_III.Lebniztag.Festveranstaltung.pdf
- Honekamp 2014 — Honekamp F. Tolerierbare Intoleranz? // <http://www.freiewelt.net/>
- 100 Grimmsche Wörter 2013 — 100 Grimmsche Wörter: Toleranz // Archiv (Beitrag 04.03.2013). http://www.deutschlandradiokultur.de/toleranz.1730.de.html?dram:article_id=237308

¹ Alle Internet-Artikel sind eingesehen im September 2015.

-
- Losehand 2009 — *Losehand J.* Was ist Toleranz? Eine Aktualisierung des Nullmeridians // Tolerantia 1. <http://www.tolerantia.de/2009041702>
- Nebelsiek 2002 — *Nebelsiek K.* Toleranz als Fähigkeit // <http://www.kersti.de/O0002.HTM>
- Schaede 2013 — *Schaede St.* Frechheit und Toleranz // <file://localhost/C:/Users/Δ/Desktop/>
- Schestag 2013 — *Schestag A.* Ich bin nicht tolerant! // <http://www.schestag.de/2013/03/29/ich-bin-nicht-tolerant/>
- Schneider 2013 — *Schneider N.* Reformation und Toleranz // http://www.ekd.de/vortraege/schneider/2013_01_23_schneider_reformation_und_toleranz.html
- Staatsgrundgesetze des Kaiserreichs Russlands 1906. — Staatsgrundgesetze des Kaiserreichs Russlands 1906 // <http://www.verfassungen.net/rus/russland06-index.htm>
- Steinacker 2013 — *Steinacker P.* Grenzen und Chancen von Toleranz // http://www.nr-kurier.de/artikel/2_4902-peter-steinacker-sprach-in-bad-marienberg-ueber-toleranz
- Wander 2004 — *Wander K. F.* Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Digitale Bibliothek // <http://www.zeno.org/Wander-1867>
- Weber 2007 — *Weber F.* Über die Grenzen von Lessings Toleranzbegriff in der Ringparabel // http://www.landeskirche-braunschweig.de/uploads/tx_mitdownload/Toleranzbegriff_neu.pdf

РЕЦЕНЗИИ

Р. С. АЛИКАЕВ

Бондарко Н. А. Немецкая духовная проза XIII—XV веков: язык, традиция, текст. СПб.: Наука, 2014. — 674 с.

Появление фундаментального исследования Николая Александровича Бондарко можно отнести к числу особо заметных научных событий в отечественной филологии. В обширном труде молодого и талантливого германиста изложены итоги его многолетней работы, посвященной изучению языковых структур и механизмов создания позднесредневековых духовных текстов, относящихся к различным диалектным ареалам Германии и охватывающих временной отрезок от конца XIII века до последней четверти XV века. Предметом исследования являются не индивидуальные стилевые особенности того или иного автора, а стереотипные языковые и смысловые структуры, наблюдаемые во множестве анонимных текстов и переходящие из одного источника в другой, с ориентиром на выявление общих структурных закономерностей, действовавших при создании большого числа текстов в указанный период. В качестве теоретической основы методологии анализа стереотипных языковых структур и продуктивных текстообразующих моделей в работе Николай Александрович опирается на теорию типовых моделей традиционного поэтического языка известного франкоканадского медиевиста Поля Зюмтора.

В качестве фактологического материала и отправной точки исследования автор избрал набор текстов, относящихся к традиции францисканской духовной прозы, сформировавшейся в южнонемецком ареале (в частности, в Аугсбурге и Регенсбурге) в третьей четверти XIII века и функционировавшей в рукописях до последней четверти XV века. Выбор этот закономерен и обусловлен, с одной стороны, недостаточной степенью изученности материала и спецификой сложившейся исследовательской парадигмы, с другой — ролью францисканской прозы в истории духовной культуры средневековой Германии и особенностями самой рукописной традиции памятников.

Монография состоит из двух частей. Первая часть посвящена ранней прозе немецких францисканцев в аспекте анализа и описания культурного контекста и рукописной традиции. Особое внимание в этой части автор уделяет формулированию задач и изложению теоретических основ исследования, детальной характеристике ре-

лигиозно-просветительской деятельности францисканского ордена в южнонемецком ареале в XIII—XIV вв. Здесь же рассматриваются основные этапы развития рукописной традиции в нормативно-правовой и духовно-мистической прозе представителей регенбургского и аугсбургского ордена францисканцев. Особое место в этой связи отведено анализу и описанию текстов и рукописей малого корпуса Давида Аугсбургского, древнейшего списка его немецких сочинений. Отдельно рассматривается и подготовленное самим автором новое издание основного корпуса немецких памятников, приписываемых Давиду Аугсбургскому с особым вниманием к принципам издания, что также оправдано, ибо оно структурировано по иным принципам и имеет иное предназначение. Следует отметить, что скрупулезность, с которой Николай Александрович подошел к описанию и анализу в данной части, позволила устранить ряд неточностей в имевшихся описаниях рукописей, установить источники отдельных заимствований и идентифицировать несколько текстов в рукописных сборниках.

Во второй части монографии реализуется основная задача исследования, в частности комплексно и детально описаны стереотипные структуры различных уровней в традиционном языке и текстообразующие модели как действенный механизм, на основе которого разворачивается процесс создания, распространения, рецепции и аудиовизуальной репрезентации духовно-мистических и церковно-правовых прозаических текстов в традиции. Анализ широкого круга памятников немецкой позднесредневековой прозы, включающий не только тексты духовно-назидательных, медитативных и мистико-аллегорических трактатов, но и таких церковно-институциональных текстов, как францисканские уставы и статуты, проведен на основе нового авторского методологического подхода с описанием их функциональных особенностей и с учетом исторической специфики коммуникативной ситуации.

Для адекватного описания стереотипных структур в традиционном языке и специфики становления текстообразующих моделей каждый раз оказывается необходимым затрагивать детально проблемы традиции и авторства, аутентичности как целого текста, так и его части, классификации стереотипных структур в средневековых текстах. Исследование показывает, что автор глубоко проник в структурно-содержательную канву привлеченных для анализа текстов, обладает обширными знаниями в области религиозной культуры описываемой эпохи, что позволило успешно реализовать поставленные в работе задачи.

В результате проделанной исследовательской работы автору удалось аргументированно показать, что продуктивные текстообразующие модели формируются на основе многократного воспроизведения одной или комбинации нескольких логико-синтаксических схем в виде конкретного репрезентативного варианта, а семантиче-

ская структура конструкций, укладывающихся в эти схемы, допускает ограниченный круг референтов для основных актантов и сужает сферу приемлемых значений предикатов. Однако при всей жесткости структура логико-синтаксической схемы предполагает не только определенную свободу лексического наполнения синтаксических позиций, но и варьирование второстепенных элементов. Важно также, что количество текстообразующих моделей исчислимо.

В работе на основе привлечения повторяющихся структур разного уровня в текстах, относящихся к разным жанрам немецкой и латинской духовной и церковно-правовой литературы описываемого периода, выделены три группы языковых стереотипов — функциональные, продуктивные и грамматические, которые описаны всесторонне.

Интересны авторские наблюдения, касающиеся феномена варьирования в исследуемой традиции, тесно связанной с процессами редактирования и репродуцирования текста. Оно носило динамичный характер и не ограничивалось ни диалектной дифференциацией рукописной традиции конкретного памятника, ни стилистическими корректурами писцов, выступая в качестве текстообразующего элемента.

В целом можно констатировать, что предложенные Н. А. Бондарко функциональная классификация стереотипных структур и методика анализа логико-синтаксических схем и их вариантов дали возможность адекватно выявить механизмы продуцирования, рецепции и трансформации целого ряда традиционных текстов, что позволяет говорить о перспективности их применения при дальнейшем изучении языка средневековой словесности.

Фундаментальный труд Николая Александровича Бондарко имеет высокую научную значимость и, бесспорно, найдет широкое практическое применение в вузовских курсах по истории немецкого языка и медиевистике, по теории и методологии филологического анализа текста, будет полезен преподавателям, аспирантам и студентам.

N. BABENKO

(Russische Akademie der Wissenschaften)

Natalija Ganina, Klaus Klein, Catherine Squires, Jürgen Wolf (Hg.). Deutsch-russische Arbeitsgespräche zu mittelalterlichen Handschriften und Drucken in russischen Bibliotheken. Beiträge zur Tagung des deutsch-russischen Arbeitskreises vom 14. bis 16. September 2011 an der Lomonossov-Universität Moskau aus Anlass des 300. Geburtstages des Universitätsgründers Michail Lomonossov. Erfurt, 2014. — 280 s.

Dieser Band mit den Beiträgen von Germanisten und Medievisten aus Deutschland, England und Russland stellt ein bedeutsames und ertragreiches Ergebnis der wissenschaftlichen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Buchgeschichte dar. Initiiert wurde diese Zusammenarbeit im Rahmen der Partnerschaft von zwei Universitäten — der Lomonossov-Universität Moskau und Philipps-Universität Marburg — in der Erforschung von deutschen mittelalterlichen Sprach- und Literaturdenkmälern. Ein wichtiger Anlass dazu war die Entdeckung (1997) in der Wissenschaftlichen Bibliothek der Lomonossov-Universität Moskau der “Dokumentensammlung Gustav Schmidt” aus der Gymnasial-Bibliothek Halberstadt, die als Kriegsverlust galt¹. Von den 102 Signaturen der ursprünglich aus Halberstadt stammenden Sammlung gehören 89 Handschriften- und Druckfragmente in die Zeit zwischen dem 9. und 16. Jh. Seit 1998 wurde in der Moskauer Universität Erforschung unternommen, die neugefundenen Materialien zu identifizieren und zu beschreiben. Die interessantesten Ergebnisse dieser Arbeit und die Neufunde wurden 2000—2008 in deutsch- und russischsprachigen Veröffentlichungen in Rußland, Deutschland und Österreich publiziert. Wertvolles und neues Quellenmaterial erregt die Aufmerksamkeit von Bibliothekaren und Forschern².

¹ Näher darüber: *Catherine Squires und Natalija Ganina (Hg.). Deutsche mittelalterliche Handschriften- und Druckfragmente in der “Dokumentensammlung Gustav Schmidt” der Wissenschaftlichen Bibliothek der Lomonossov-Universität Moskau. Katalog. Materialien und Beiträge. Moskau, 2008 (russischsprachige Ausgabe).*

² Dieses Thema wurde in mehreren Publikationen behandelt; vgl. z.B.: Catherine Squires: Handschriften in deutscher Sprache bis 1500 aus Moskauer Sammlungen, in: *Manuscripta Germanica. Deutschsprachige Handschriften*

Die Zusammenarbeit zwischen den deutschen und russischen Philologen verlief im Format der Tagungen, der Arbeitsgespräche, des regelmäßigen Austausches, der gemeinsamen Publikationen³. Im Mittelpunkt der Problematik des 'Zweiten deutsch-russischen Arbeitsgesprächs zur Buchgeschichte', die 2011 in Moskau stattgefunden hat, standen die Forschungen der Philologen aus Marburg, Moskau, Berlin, Heidelberg, Oxford, St. Petersburg zu den deutschsprachigen und lateinischen Handschriften und Inkunabeln vorwiegend aus der Wissenschaftlichen Bibliothek der Lomonossov-Universität Moskau. Es kamen in Betracht historische und kunsthistorische Aspekte der Erforschung von mittelalterlichen Handschriften, Probleme ihrer Erhaltung und Konservierung, Aufgaben der Katalogisierung und Digitalisierung der deutschen Handschriften.

Der wissenschaftliche Teil des zweiten Sammelbandes eröffnet sich einleitend mit dem Aufsatz von Alexander Lifschits (Moskau) über die Rolle des Lomonossov-Kreises in der Rezeption der europäischen Kultur in Rußland des 18. Jahrhunderts ("Concerning the Ways of Perceiving European Culture in Mid-18th Centure Russia: The Lomonossov Circle"). Der Verfasser betont, dass um 1740 nach einer zu Anfang ziemlich geringen Bekanntmachung durch Ausgaben von westlichen Büchern und durch handschriftliche Kopierung eine neue Generation kam: Michail Lomonossov, seine Freunde und andere junge Akademiker, die nach dem Studium im Westen dazu geneigt waren, das russische Publikum mit der europäischen Kultur bekannt zu machen durch die Übersetzungen und Verfassung von Zeitschriften und Europa-Jahrbüchern. Die Gründung der Universität in Moskau 1755 förderte die Übersetzung von russischen wissenschaftlichen Werken ins Deutsche. Die Übersetzertätigkeit von Lomonossov selbst haben bald die beruflichen Polyglotten übernommen. Im Beitrag finden sich mehrere wenig bekannte Fakten aus der Geschichte der Bücher und ihrer Übersetzer; darunter wird Vassilij Lebedev als besonders hervorragende Person genannt, der Angestellte der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, der zahlreiche Werke in der Physik, Geographie, Grammatik usw. übersetzte.

Daria Barow-Vassilevitsch (Berlin — Moskau) hat sich in ihrem Beitrag "Deutsche mittelalterliche Handschriften in der Russischen Staatsbibliothek und ihre Vorbesitzer: Versuch einer Typologie" macht zum Schwerpunkt ihrer Forschung die Überlieferungsgeschichte der deut-

des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas / Hg. v. Astrid Breith, Christine Gläßner, Klaus Klein, Martin Schubert u. Jürgen Wolf. Stuttgart, 2012 (Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur / Hg. v. Wolf Jürgen. Beiheft 15). S. 73—92.

³ Der erste Sammelband eröffnete die von der Erfurter Akademie gemeinnütziger Wissenschaften eingerichtete Reihe 'Deutsch-russische Forschungen zur Buchgeschichte': Deutsch-russische Arbeitsgespräche zu mittelalterlichen Handschriften und Drucken aus Halberstadt in russischen Bibliotheken. Hrsg. von Rudolf Bentzinger, Astrid Breith, Catherine Squires und Irina Velikodnaja (Sonderschriften der Erfurter Akademie gemeinnütziger Wissenschaften 43. Deutsch-russische Forschungen zur Buchgeschichte 1). Stuttgart, 2012.

schen mittelalterlichen Handschriften in der Russischen Staatsbibliothek, die bereits im 18. oder 19. Jahrhundert nach Russland gelangten und von den Vertretern der adeligen oder bürgerlichen Bildungselite erworben waren. Als Musterbeispiel für die adelige Bildungselite wird im Beitrag Graf Nikolaj Rumjancev besprochen, weiter Zacharias Konrad von Uffenbach, der russische Bildungsminister Avraam Norov und Graf Viktor Panin. Dabei skizziert D. Barow-Wassilevitsch interessante Schicksale der abendländischen handschriftlichen Bücher aus der Bibliothek des Generalstabs in St. Petersburg, die 1929 in die RSB (damals die Lenin-Bibliothek) eingegangen waren. Die Besprechung der Nachkriegserwerbungen der Bibliothek nach 1945 bildet den zweiten logischen Teil des Beitrags, und es ist verständlich, dass eben hier die an manchem noch nicht geklärte Sujets vorkommen, die D. Barow-Vassilevitsch als Ergebnisse ihrer Erschließung an den Tag bringt. Vor allem handelt es sich hier um die Klemm-Sammlung und um die Handschriften Lübecker und Hamburger Provenienz. Abschließend fasst D. Barow-Vassilevitsch die vorgestellten Interessenlagen beim Handschriftenerwerb zusammen, was ihr allgemein theoretische Aspekte der Problematik entwerfen lässt.

Der größte Teil der Beiträge ist den Handschriften aus der *Dokumentsammlung Gustav Schmidt* und anderen Handschriften aus Halberstadt gewidmet. Den theoretischen Rahmen und die kulturhistorische Perspektive auf diesem ausgegliederten Forschungsgebiet gibt Jürgen Wolf (Marburg) in seinem Aufsatz "Halberstadt und die deutsche Literatur im Mittelalter" an. Er relativiert in einigen Teilen die drei Fragestellungen und seine eigenen Überlegungen, die auf der Berliner Tagung des Jahres 2010 im Zentrum der Diskussion zu den Moskauer und St. Petersburger Beständen Halberstädter Provenienz standen: "Sind alle in Halberstadt nachweisbaren deutschsprachigen Handschriften des Mittelalters auch dort entstanden? Gibt es weitere deutschsprachige Handschriften, die heute außer Halberstadts aufbewahrt werden, und weitere deutsche Werke, die genuin nach Halberstadt gehören? Wie ist Halberstadt in näheren und weiteren im kulturellen, sozialen, politischen und literarischen Umfeld zu situieren, d.h. vor allem: Gibt es einen Literaturraum Halberstadt?" (S. 31). Nun sucht der Verfasser die Spuren der Schriftlichkeit einer Bischofsstadt wie Halberstadt im gesamten lateinisch-deutschen Schrifttum und entwirft auf diesem Weg ein Bild von Schriftdiskursen des Mittelalters, indem deutsche und lateinische, literarische und praktisch-geschäftliche Texte miteinbezogen werden. Eine chronologische Übersicht der 'literarischen' Geschichte Halberstadts (von der für den Ort nachweisbaren Mittelfränkischen Reimbibel und den "Makka-bäern" über die Halberstädter Marienklage, den "Willehalm" und das Mechthild-Fragment hinaus zu den naturwissenschaftlichen Texten des 15. Jh.) vertiefen mehrere Verweise auf die historischen und kulturhistorischen Fakten (Personennamen, Orte, Heiligenkonstellationen, die seit dem 9. Jahrhundert sehr intensiven Beziehungen zu Essen-Werden, den

Aufschwung des Bürgertums und das damit kommenden volkssprachlichen geschäftlichen Schrifttum). Durch die Verknüpfung des Philologisch-literarischen mit dem Kulturhistorischen entsteht ein Bild, ein Profil eines Kulturzentrums Halberstadt, das einen erneuten Rückblick auf weitere Hypothesen rechtfertigt: die der Halberstädter Herkunft des Sachsenspiegels, zur Person Albrechts von Halberstadt und anderen. Im Aufsatz erscheint Halberstadt an der Schwelle zur Frühen Neuzeit als ein um den Bischofshof und die Ministerialität herangewachsenes Zentrum von Schriftproduktion und Schriftinteresse, das von der stadtbürgerlichen Schicht mit ihren kulturellen Bedürfnissen und ihrer pragmatisch-volkssprachlichen Orientierung umkreist war.

Weitere Zeugnisse zu einer historisch-literarischen Rekonstruktion bietet Maria Nenarokova (Moskau) in ihrem Aufsatz "The Sacred Space of Halberstadt and its Inhabitants", einer Studie zur regionalen und überregionalen Vernetzung Halberstadts und seiner kulturellen Ausstrahlung, die sie durch eine Darstellung seiner kirchlich-kulturellen Umwelt verdeutlicht.

Im Mittelpunkt einer Reihe von Beiträgen steht das von Natalija Ganina und Catherine Squires in der *Dokumentensammlung Gustav Schmidt* entdeckte Moskauer Fragment Mechthilds von Magdeburg, das als das älteste Textzeugnis des 'Fließenden Lichts der Gottheit' gilt. Es enthält neben Auszügen aus verschiedenen Büchern des 'Fließenden Lichts' auch unidentifizierte Textstellen.

Catherine Squires (Moskau) unternimmt in ihrem Aufsatz "Das Moskauer Mechthild-Fragment: Neues zur Lesung und zur Zusammenstellung des Kodexes" die Zusammenstellung der Exzerpten-Sammlung aus Teilen des Mechthild-Textes und Passagen unbekannter Herkunft, die Hinweise zur inhaltlichen Struktur des gesamten Kodex und der Stellung von Mechthilds Text in der kleinformatigen Gebrauchshandschrift, letztlich Fragen der Rezeption von religiös-mystischen Werken zur Lebzeiten Mechthilds. Durch die Beschreibung der Moskauer Handschrift, die als ein Makulatur-Text beschädigt, unvollständig und unlesbar vorkommt, versucht die Verfasserin "Aussagen über den Inhalt und die Form der Handschrift aus einer Untersuchung des materiellen Zustandes der Pergamentblätter, an erster Stelle ihrer Beschädigungen, zu bekommen" (S. 59). Das alles ermöglicht sich aufgrund von neuen Erkenntnissen zur physikalischen Einrichtung der Handschrift und neuem Textbefund. Diese neuen Befunde werden von der Wissenschaftlerin den Text-Abklatschen und anderen Spuren und Beschädigungen der Pergamentblätter entnommen. Ein im Abklatsch erhaltener Textabschnitt belegt die ursprüngliche Existenz von anderen, nicht erhaltenen Blättern der Handschrift und erlaubt eine Rekonstruktion des Textumfangs der gesamten Lage sowie bietet wichtige Hinweise zugunsten der neuen Blattfolge, die durch codex-typologische Überlegungen und inhaltlich-stilistische Analyse von Nigel F. Palmer und N. Ganina bekräftigt werden. In ihrem Beitrag löst C. Squires auch einige Lesungsprobleme, verbes-

sert die 2010 veröffentlichte Transkription des Textes und bietet, zusammen mit einem Schema der rekonstruierten Lage, einen überarbeiteten Abdruck des Mechthild-Fragments.

Eine verbesserte Transkription von drei unidentifizierten Abschnitten des Mechthilds-Fragments bieten Natalija Ganina (Moskau) und Nigel F. Palmer (Oxford) im gemeinsamen Beitrag "Unikal überlieferte mystische Prosa im Moskauer Mechthild-Fragment. Untersuchungen zu den unidentifizierten Textabschnitten mit einem neuen Textabdruck von Bl. 4r—5r der Handschrift". Die Verfasser skizzieren die Forschungsgeschichte des Moskauer Mechthild-Fragments, bieten eine neue Interpretation der Reihenfolge der Blätter und eine Neuedition der unidentifizierten Textabschnitte.

Nicht weniger spannend und aufschlußreich sind die Untersuchungen, die die nicht als Mechthilds Text nachweisbaren, unbekanntenen Teile der Handschrift behandeln. Der Band enthält vier Aufsätze, die auf die Probleme ihrer Identifizierung und Attribuierung eingehen.

Nigel F. Palmer (Oxford) stellt in seinem umfangreichen Beitrag "Ein Zeugnis deutscher Kunstprosa aus dem späten 13. Jahrhundert: Zu den sonst nicht nachgewiesenen Textabschnitten der Moskauer Mechthilds-Überlieferung" einleitend eine Reihe grundsätzlicher Fragen, die für die Literaturgeschichte des 13. Jahrhunderts von Bedeutung sind, nämlich die zur Variabilität und Sprachgestalt des 'Fließenden Lichts' und zum Verhältnis der unidentifizierten Textstellen mit dem ganzen Œuvre Mechthilds.

Der Beitrag von Natalija Ganina (Moskau) " 'Das Sprechen Gottes'. Eine vergleichende Stilanalyse der bisher nicht nachgewiesenen Textstellen des Moskauer Fragments mit dem *Fließenden Licht der Gottheit*" hat viele Verknüpfungen zu dem von N. F. Palmer: hier geht es um den Versuch, die unidentifizierten Textstellen im Moskauer Mechthild-Fragment in die literarische Tradition des 13. Jahrhunderts einzuordnen. Einleitend erörtert N. Ganina die Probleme der Mechthild-Überlieferung und die Rezeption vom Werk Mechthilds als 'Sprechen Gottes'. Für die unidentifizierten Textstellen im Moskauer Fragment bietet N. Ganina die Teilung des Texts in drei Abschnitte, aber die darüber hinausgehende Analyse wird auf der Ebene des Sprachstils unternommen. Auf Grund der möglichst ausführlichen Behandlung der lexikalischen Merkmale und formelhaften Wendungen und des durchgehenden Vergleichs zum Wortschatz und Wortgebrauch vom 'Fließenden Licht der Gottheit' einerseits und von deutschen Denkmälern des Mittelalters andererseits, kommt N. Ganina zum Schluss, dass das Verhältnis der drei unidentifizierten Textabschnitte zum Stil des 'Fließenden Lichts der Gottheit' unterschiedlich bestimmt werden soll, nämlich negativ für die Abschnitte I und II und positiv für den Abschnitt III (keine Berührungspunkte mit dem Stil Mechthilds).

Catherine Squires (Moskau) setzt sich in ihrem Beitrag "Die Sprache der nicht nachgewiesenen Textabschnitte aus der Moskauer Mecht-

hild-Quelle im Aspekt der Zusammenstellung von religiös-mystischen Gebrauchsbüchern im 13. Jahrhundert” wie ihre Kollegen mit der Sprachanalyse der unidentifizierten Textstellen im Moskauer Mechthild-Fragment auseinander. Das Thema ist nicht neu für die Verfasserin: bereits 2010 hat sie in einer Studie zur schreibsprachlichen Lokalisierung des gesamten Moskauer Fragments auf die sprachlich-mundartliche Heterogenität des unbekanntes Texts hingewiesen und die Möglichkeit einer Kompilierung aus drei Teilen unterschiedlicher Herkunft besprochen⁴. Ihre neue sprachliche Untersuchung stellt eine Fortsetzung und Vertiefung dieser Thesen dar, indem versucht wird, die Besonderheiten der einzelnen nicht nachgewiesenen Textabschnitte I—II—III ‘herauszupräparieren’, um parallel zu den Ergebnissen von N. F. Palmer die Aussagen aus dem Bereich des Sprachlichen zu finden. C. Squires behandelt die mundartliche Gliederung und die überlieferungstechnische Schichtung in den drei Abschnitten, während sie die sprachlichen Kriterien in Gruppen ausgliedert: gemeinsames Gut, Unterschiede zwischen den Teilen I, II, III und einzelne Belege ohne entscheidende Aussagekraft. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass alle drei nicht bei Mechthild nachgewiesenen Textabschnitte sowohl untereinander als auch von Mechthild selbst wesentlich abweichen. Besonders wichtig ist für die erwähnten Fragestellungen, dass der Abschnitt III in keinem Punkt den Mechthild-Teilen sprachlich-mundartlich nahesteht, was den Ergebnissen der stilistischen Analyse von N. Ganina widerspricht. Im abschließenden Teil des Beitrags bietet C. Squires ihre Erwägungen zum sprachlichen Vorbild des (Ab)Schreibers. Im Fazit kommt die Verfasserin zum Schluss, dass die sprachlichen Besonderheiten ihre Vermutung stärken, dass den Bl. 4r—5r im Moskauer Mechthild-Fragment in der vorigen Entstehungsstufe der Sammelhandschrift drei unterschiedliche Vorlagen zu Grunde gelegen haben, wobei die Grenzen zwischen diesen Vorlagen deutlich sichtbar geblieben sind.

Das Thema von spätmittelalterlichen deutschen Handschriften Halberstädter Provenienz, die in der Russischen Nationalbibliothek zu St. Petersburg aufbewahrt werden, wird im Beitrag von Nikolai Bondarko (Sankt Petersburg) auf Grund einer bedeutenden Sammelhandschrift dargelegt. Es handelt sich um eine reiche Textsammlung, die für die Geschichte des Birgittenordens in Deutschland von Belang ist. Zur Fortsetzung seiner früheren Publikationen zur Handschrift skizziert N. Bondarko einleitend den Forschungsstand und präzisiert die Angaben zum Inhalt und die Textfolge, wobei er auch die orthographischen Merkmale erörtert. Den Hauptteil des Beitrags bildet die Edition der ostmitteldeutschen Übertragung der Kanonisationsbulle *Ab origine mundi* (Rom,

⁴ Siehe: *Catherine Squires, Mechthild von Magdeburg*. Ein handschriftlicher Neufund aus dem elbostfälischen Sprachraum, in: *Niederdeutsches Jahrbuch* 133 (2010). S. 9—44.

7.10.1391) von Papst Bonifatius IX (2. Teil), in der die bedeutende Mystikerin Brigitta von Schweden heiliggesprochen wird.

Die kunstgeschichtlich-konservatorische Aspekte der Erschließung und Aufbewahrung der mittelalterlichen deutschen Handschriften in Moskau werden im Beitrag von Inna Mokretsova behandelt. Die Verfasserin fasst die Ergebnisse und Erfahrungen ihrer konservatorischen Tätigkeit zusammen. Bereits in 1970er Jahren begann I. Mokretsova mit den Restaurierungsarbeiten in diesem Bereich, wobei sie sich mit dem Evangelium aus dem 12. Jahrhundert (Provenienz Hamersleben, später Sammlung Matthaei) beschäftigte. Weiterhin ist 1980—1983 von ihr das zur Zeit in Riga befindliche Rigaer Schuldenbuch restauriert worden. Die bei der Restaurierung der gotischen Einbände entstandenen und gelösten Probleme beschreibt I. Mokretsova am Beispiel von zwei Handschriften aus der Abtei Elten (bereits im 19. Jh. in die Moskauer Archive eingegangen). Zum Schluss beschreibt I. Mokretsova die Forschungs- und Restaurierungsproblematik eines süddeutschen Psalters aus dem 13. Jh. und einiger Fragmente der Pergamenthandschriften mit religiösem Inhalt.

Die Entdeckung der *Dokumentensammlung Gustav Schmidt* in der Wissenschaftlichen Bibliothek der Lomonossov-Universität ist aus einem glücklichen Zufall zum großangelegten internationalen Forschungsansatz geworden, der die Entwicklung der “philologischen Archäologie” als ein Zweig der historischen Germanistik eröffnet — mit ihren komplexen Methoden, Modellierungsverfahren und Beweisführungen, die in diesem Sammelband vorbildhaft ausprobt sind.

С. И. ДУБИНИН

(Самарский национальный исследовательский университет)

Сквайрс Е. Р. Ремесленная терминология в древнегерманских языках. М.: МГУ, МАКС-Пресс, 2015. — 145 с.

В редакторской аннотации издания отмечается, что в книге собран материал исследований разных лет известного германиста *Екатерины Ричардовны Сквайрс*, посвященных истории слов, обозначающих реалии и процессы текстильного, гончарного и кузнечного ремесел у древних германцев. Основное внимание автором уделено древневерхненемецкой ремесленной лексике, представленной в сравнении с древнеанглийским и древнескандинавским материалом. Через этимологический, морфологический и семасиологический анализ слов показана история развития архаичных ремесел у древних германцев, выявлены древнейшие языковые и культурные связи между германскими, славянскими и кельтскими языками и этносам. Изложение сопровождается иллюстрациями археологических находок, научных реконструкций, лингво-географическими картами и наглядными схемами. Книга Е. Р. Сквайрс адресована специалистам в области древней истории Европы, палеолингвистики и истории германских, кельтских и славянских языков. Она рекомендуется также для использования в преподавании германистических и смежных дисциплин в качестве учебного и научно-методического материала.

За данной публикацией профессора кафедры германской и кельтской филологии МГУ Е. Р. Сквайрс стоит опыт многолетних изысканий, намеченных еще в ее кандидатской диссертации «Ремесленная терминология в древней Германии» (1977), выполненной под руководством одного из зачинателей отечественной германистики профессора Николая Сергеевича Чемоданова (1903—1986) и отмеченной влиянием его плодотворных идей. В частности, это положение о том, что перекрещивающееся влияние древних европейских диалектов создавало общие черты, характерные для балтийских, славянских, германских, кельтских и италийских языков, выделив их как некое единство, отличавшееся комплексом признаков по сравнению с юго-восточным ареалом индоевропейских языков¹.

¹ См. раздел «Место германских языков среди других индоевропейских языков» // Сравнительная грамматика германских языков. Т. I. М., 1962.

Центральное место в данном исследовании отводится помимо внушительного материала массива словарей и справочно-энциклопедической литературы корпусу древневерхненемецких глосс VIII—XI вв.², которые впервые именно в публикациях Е. Р. Сквайрс вошли в арсенал отечественной исторической германистики.

Рубрикация монографии трехчастна и отражает комплексный эвристический замысел ее автора. Во Введении охарактеризованы письменные источники, методология исследования и разграничены базовые понятия «термин / терминология». Часть 1 посвящена анализу ремесленных терминов текстильного, гончарного, кузнечного ремесел. Здесь дана объемная сравнительная характеристика состава соответствующих терминосистем, а также лингвогеографии и семантической мотивации терминов. Во 2-й части детально рассмотрена структура ремесленных терминологий в аспектах морфологии (особенно словообразования), хронологической стратификации и заимствований из кельтских языков. Часть 3 содержит приложения, среди которых особенно отметим сводный алфавитный регистр древневерхненемецких терминов на основе корпуса глосс.

Библиографический аппарат монографии Е. Р. Сквайрс содержит ценные указания на отечественные исследования по истории славянской и германской ремесленной терминологии (с. 6—15, 142—145).

На фоне всестороннего анализа инвентаря древних ремесленных терминов и смежных с ними реалий очевиден устойчивый интерес автора к древней контактологии, к обнаружению разной степени проницаемости терминосистем в отношении иноязычных влияний. Исследовательский аппарат Е. Р. Сквайрс, в частности методология лингвогеографии (гипостазирование изоглосс), сравнительно-исторический и системный подходы, позволяет ей не только убедительно реконструировать архаичные концептосферы рассматриваемых ремесел, но и восстановить лакуны, а также отдельные звенья конкретных терминосистем, представляемых как терминологические гнезда. Этимологический и морфологический анализ в 1-й части завершается важными констатациями о неизбежных различиях ремесленных терминологий у древних германцев, о географии стоящих за ними культурных процессов и о семантических закономерностях, механизмах терминообразования в сфере трех рассмотренных базовых ремесел (с. 94—96).

Во 2-й части монографии, посвященной сравнительному анализу древнегерманских терминологий ткачества, кузнечного и гончарного ремесел, отметим успешное применение метода моделирования и наглядные таблицы морфологических типов терминов (с. 102, 103, 106). Е. Р. Сквайрс удачно графически схематизирует также реконструируемые системные отношения внутри терминосистем и груп-

² *Steinmeyer E. von, Sievers E. Die althochdeutschen Glossen. Berlin, 1879—1922. Bd. 1—5.*

пировок «предтерминов» («клинья», ядерные структуры, иррадиация, дериваты и др.) (см., например, табл. 4 на с. 113). Убедительно выглядят выводы автора о стадийном развитии лексических подсистем в сфере древних ремесел у германцев от допрофессионального к профессиональному этапу, о наличии центрированных / нецентрированных терминосистем. К последним отнесена лексика гончарного дела, отмеченная отсутствием терминологического ядра, вследствие ее проницаемости латинскими заимствованиями.

Несмотря на различия в масштабе и в объеме исследований, напрашивается очевидное сравнение монографии Е. Р. Сквайрс с известной фундаментальной работой академика Олега Николаевича Трубачёва (1930—2002)³, которая во многом послужила отправной точкой, «фоном» для данной публикации. Не случайно, что данное исследование отмечено интересными экскурсами в сравнение именно со славянским материалом. С тезиса О. Н. Трубачёва начинается и Введение к монографии Е. Р. Сквайрс: «...исследовать древнюю производственную терминологию очень нужно, важно и интересно и при этом — не только для специальных целей и задач, скажем, истории немецкого языка, но и для общего языкознания» (с. 6).

Монография Е. Р. Сквайрс, несомненно, вызовет интерес у широкого круга специалистов и станет заметным явлением в исследовательском поле современной российской германистики, отличаясь особенной «классичностью», а также бережным отношением к отечественной исследовательской историко-германистической традиции.

Широкий интерес к теме генезиса ремесленной терминологии сохраняется и в отечественном языкознании в целом, о чем свидетельствует появление новых изысканий⁴.

³ Трубачёв О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках: этимология и опыт групповой реконструкции. М.: Наука, 1966. 416 с.

⁴ См., в частности, кандидатскую диссертацию: Бальжинимаев Б. Д. Традиционная ремесленная терминология в монгольских языках северо-восточного ареала Центральной Азии. Улан-Удэ, 2006.

Т. В. ТОПОРОВА

Мехтильда Магдебургская. Струющийся свет Божества. Перевод и исследования / Автор-сост. Н. А. Ганина; пер. со ср.-верх.-нем.; коммент. Н. А. Ганиной; статьи Н. А. Ганиной, Найджела Ф. Палмера. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. 2014. — 424 с., ил. (Сер. «Славяно-германские исследования». Т. VII).

Рецензируемая работа несомненно представляет собой весьма заметное явление как в отечественной, так и в зарубежной германистике; она привлекает пристальное внимание широкого круга специалистов по целому ряду причин. Во-первых, в научное обращение попадает **новый** дословный **перевод** труда Мехтильды Магдебургской, «выполненный с языка оригинала с учетом всей рукописной традиции и обобщающий как основной текст памятника, так и новонайденные фрагменты» (с. 4), целиком и полностью отвечающий современному уровню обработки материала. Во-вторых, особую ценность имеет и филологический и предметный комментарий Н. А. Ганиной, позволяющий, с одной стороны, осмыслить детали и интересные факты, а с другой — поместить этот памятник в рамки мистической традиции средневековой Германии и оценить его роль для других произведений соответствующего направления. В-третьих, необычен и сам жанр: наряду с переводом и комментарием репрезентирован автономный анализ различных категорий, актуальных в концепции Мехтильды Магдебургской. В-четвертых, работа отличается междисциплинарным характером: она объединяет филологию в ее различных аспектах с углубленными теологическими разысканиями. В-пятых, нельзя не обратить внимания на эту работу как на блестящий образец международного сотрудничества германистов России (Н. А. Ганиной) и Великобритании (Найджела Ф. Палмера). Можно было бы привести еще многочисленные аргументы в пользу неординарности рецензируемой работы (ср., в частности, исключительность как личности Мехтильды Магдебургской, так и ее труда, считавшегося пророческой книгой, к тому же одного из первых произведений на народном языке, а также эрудицию, всеобъемлющий кругозор и ювелирно точный анализ текста соавторами). Не было бы преувеличением сказать о том, что неорди-

нарный немецкий мистик и поэт XIII в. была удостоена выдающихся исследователей, способных донести «Струящийся свет Божества» до благодарных читателей.

Композиция работы вполне логична. Ее условно можно разделить на два блока. Первый включает предваряемый предисловием перевод «Струящегося света Божества» Мехтильды Магдебургской и комментарии Н. А. Ганиной и анализ текста Найджела Ф. Палмера, а второй, осуществленный Н. А. Ганиной, посвящен изучению ключевых категорий — пространства и времени — в мистической модели мира Мехтильды, и завершается выводами, полученными в результате исследования. Справочный аппарат, объединяющий литературу, указатель сокращений упоминаемых рукописей, указатель имен и географических названий и резюме на немецком языке — делают работу удобной для использования.

Краткое, но динамичное *предисловие* вводит нас в курс проблематики начиная с обоснования актуальности творчества Мехтильды Магдебургской для германистической медиевистики, изложения кратких биографических сведений об авторе, анализа источников — основных рукописей труда Мехтильды Магдебургской, в том числе и обнаруженных в 2008 г. Н. А. Ганиной и Е. Р. Сквайрс в Научной библиотеке МГУ им. Ломоносова («Коллекция документов Густава Шмидта», ф. 40, опись 1, № 47, 1290-е гг.), общей характеристики текста — его содержания, системы образов, языковых особенностей и достоинств и недостатков существующих переводов.

Главная часть работы — *перевод* «Струящегося света Божества» Мехтильды Магдебургской (книги I—VII, включая фрагменты, не вошедшие в состав Эйнзидельнской рукописи, а также московский фрагмент) в исполнении Н. А. Ганиной. Этот перевод не может не вызывать восхищения; он выполнен безукоризненно как с точки зрения содержания, так и формы и является сам по себе великолепным примером перевода теологического текста, демонстрирующим глубочайшее постижение Н. А. Ганиной всех нюансов оригинала, полное погружение в мир идей и вещей абсолютно далекой от современности эпохи — а именно XIII в. — с ее парадоксами и спецификой. Создается впечатление, что Н. А. Ганиной удастся передать темперамент, внутреннее напряжение и энергетику знаменитой немецкой провидицы и тем самым воссоздать хотя бы в общих чертах ее уникальную личность! Несомненное достоинство перевода состоит в предельно бережном отношении к тексту, стремлении максимально точно передать его смысл, буквально следовать за оригиналом. Принцип дословного воспроизведения смысла помогает понять внутреннюю логику текста и, таким образом, воссоздать ход мысли его автора. На редкость полезными оказываются многочисленные сноски, в которых приводятся средненемецкие лексемы и дается их интерпретация. Сноски можно рассматривать в данном случае как метатекст, ничуть не уступающий основному тексту по со-

держательности, поскольку они в высшей степени информативны, сконцентрированы на спорных интерпретациях значений тех или иных понятий, релевантных для мировоззрения автора, привлекают читателей к обсуждению сложных проблем, которыми так насыщен труд Мехтильды Магдебургской.

Что касается формы, то она заслуживает особого внимания. Так как Н. А. Ганина исходит из того, что «текст Мехтильды существует в двух измерениях: как религиозный труд и как поэтическое произведение» (с. 11), предпринимаются особые усилия, чтобы передать элементы поэтической организации и в русском переводе, прежде всего рифму и в меньшей степени ритм. С нежностью и трепетом переведены стихи Мехтильды. Постоянное фокусирование на формальной стороне не может не свидетельствовать помимо прочего о еще одном даровании Н. А. Ганиной — ее поэтических наклонностях.

Статья Н. А. Ганиной «Струющийся свет Божества» Мехтильды Магдебургской в духовном и региональном контексте эпохи» представляет собой комплексное исследование, реализующееся в нескольких направлениях: 1) Мехтильда и западноевропейская мистика XIII в.; 2) почитание святых у Мехтильды; 3) духовное окружение у Мехтильды; 4) местная монастырская традиция. Экстралингвистические данные, а именно скудные биографические данные Мехтильды Магдебургской (ее происхождение из знатной благочестивой семьи, присоединение к общине бегинок, “mulieres religiosae”, посвятивших себя богу, но не удалившихся в монастырь» (с. 274)), необходимы для определения роли Мехтильды в современной ей мистической традиции; они служат отправным пунктом в осмыслении ее духовного пути. Следующим этапом вполне закономерно становится поиск различных влияний, которым подвергалась Мехтильда в течение своей духовно-религиозной жизни. Одним из источников, оказавших существенное воздействие на конституирование религиозного сознания и образно-символического языка Мехтильды, Н. А. Ганина полагает, например, деятельность нидерландской бегинки Хадевих. Этот тезис подкрепляется вескими аргументами — демонстрацией ряда основных терминов обоих мистических поэтов. Обнаружены и другие источники, в том числе и за пределами окружения бегинки, в частности поэма францисканца Лампрехта Регенсбургского (ок. 1215 — после 1250) «Дочь Сиона». Важный вывод заключается в том, что «труд Мехтильды в своей основе — не индивидуальная новация, но обобщение уже существующей и общепризнанной традиции» (с. 279), он диктует и постановку цели — определить, «что было общим для всех, а что является специфичным для Мехтильды» (с. 280). Формирование мистики Мехтильды в русле более трезвой доминиканской, а не францисканской традиции сделало ее труд своего рода образцом, центральным произведением немецкой мистической литературы XIII в. Детальный анализ святых, упоминаемых в «Струющемся свете Божества» и почитаемых Мех-

тильдой Магдебургской, а также лиц, ей духовно близких (Генриха Галленского, Вихмана Арнштейнского и брата Бальдвига), приводит к заключению о том, что «учителя и духовные друзья Мехтильды — доминиканцы. Не будет преувеличением сказать, что они были ее героями. В определенном смысле “Струящийся свет Божества” — голос саксонских доминиканцев XIII в., воплощение их чаяний, тревог и эсхатологических ожиданий» (с. 298). Парадоксальное суждение о том, что именно поэтому эта книга «и выделяется из общего потока тогдашней женской мистики, что во многом она <...> вообще не женская» (с. 298), а относится к жанру доминиканской визионерской мистики, дает исчерпывающий ответ на вопрос о соотношении общего и частного в произведении Мехтильды и обосновывает его значение на аксиологической шкале немецкой мистической традиции XIII в. Последний раздел статьи Н. А. Ганиной «О местной монастырской традиции» можно считать новаторским, поскольку на основании Московского фрагмента «Струящегося света Божества» доказываемая связь ранней традиции Мехтильды с Гальберштадтом через сложную сеть женских монастырей. Новая информация расширяет географический горизонт бытования «Струящегося света Божества».

Статья Найджела Ф. Палмера «Книга как носитель значения у Мехтильды Магдебургской», с одной стороны, затрагивает еще один достаточно релевантный аспект исследования — латинский перевод труда Мехтильды “Revelationes” (датируется примерно 1282 г., до 1298 г.), а с другой — возвращается к анализу немецкого текста. В прологе “Revelationes” утверждается, что автором является не Мехтильда, а Святая Троица, а провидица воспринимается «лишь как носительница и посредница откровений» (с. 305). В латинском переводе акцентируется роль писца, отсутствующая в немецком оригинале, — доминиканца, «записавшего» видения Мехтильды. После тщательного анализа фактов автор статьи отказывается в отношении «Струящегося света Божества» «от представления о писце как ученом помощнике» и объясняет «это прибавление “Revelationes” как контаминацию с другой моделью откровения» (с. 312). Трактовка провидицы как орудия Бога ставит откровения Мехтильды Магдебургской в один ряд с Хильдегардой Бингенской и Елизаветой Шёнауской. Фундаментальным выводом можно считать то, что уменьшение роли Мехтильды в создании книги (вплоть до ее полного отрицания) способствует трактовке самого труда как инструмента божественной апелляции и воплощения божественного Автора (с. 316). Представление о книге Мехтильды как о небесной вести позволяет установить параллель с Апокалипсисом и имплицировать эсхатологический аспект.

Последняя часть рецензируемой работы является семантическим анализом концептов *пространство* и *время* у Мехтильды Магдебургской, выполненным блистательно и виртуозно Н. А. Ганиной. Выбор

именно этих категорий закономерен, так как локально-темпоральные координаты образуют «каркас» бытия и всеобъемлюще характеризуют любую модель мира. Труд Мехтильды как средневековый христианский памятник описывается в рамках Священного Писания и «Символа веры»: в сфере пространства реализуется антитеза «видимого» (земного) — «невидимого» (небесного), а времени — начала (сотворения мира) и конца (эсхатологии), поэтому в принятой Н. А. Ганиной классификации фигурируют рай, ад, чистилище и Страшный суд, Предвечный Совет Св. Троицы. Наряду с метафизическими сущностями анализу подвергается обычный «мир вещей» (ср. земные реалии в жизни Мехтильды, физические реалии: море, иные страны и т. д., время в жизни Мехтильды). Цель Н. А. Ганиной заключается в том, «чтобы выявить константы и специфику ее (Мехтильды) понимания этих феноменов вне сопоставления с теми или иными теориями» (с. 329). Следует иметь в виду, что описание категорий пространства и времени, жестко детерминированных в русле христианской традиции, приобретает особый интерес, если рассматривать их с точки зрения претворения уникального мистического опыта провидицы; именно под этим углом зрения и можно обнаружить нестандартность и оригинальность данных понятий. Н. А. Ганина наглядно иллюстрирует главную характеристику духовного пространства — его качество, определяемое различными импульсами (от Бога, от дьявола). Она констатирует, что «пространство задается не расположением и соотношением объектов, но духовным вектором или разными векторами. Там, где налицо действия и точки приложения духовных сил, и происходит генерация и разворачивание пространства» (с. 334). В этической системе Мехтильды действует дихотомия «внутреннее» (положительное, небесное, истинное) — «внешнее» (отрицательное, земное, ложное) (с. 367). Кроме того, для адекватного описания используется дихотомия «устроенный (организованный, имеющий структуру)» — «неустроенный (неорганизованный, не имеющий структуры)», ср. рай — ад, начало (сотворение мира) — конец (эсхатология). Специфика «благого» пространства состоит в том, что оно изображается как «путь души» (снизу вверх) или наоборот (сверху вниз, от Бога), в то время как ад показан снизу вверх, из-за того, что он перевернут. Таким образом, «благие» локусы должны обладать «устройством», иерархичностью и концентрацией высшей степени качества — высотой, широтой, простором. Божественное благоустройство актуально не только в области пространства, но и времени (ср. богослужебный устав, определяющий временной порядок). В труде Мехтильды Магдебургской используется противопоставление «этого мира» и «иного мира», и внимание провидицы в большей мере сосредоточено на последнем концепте.

Трудно переоценить уникальность рецензируемой работы: ее плодами непременно воспользуются медиевисты, и она несомненно стимулирует новые интересные исследования, связанные как с са-

ним трудом Мехтильды Магдебургской, так и с широким культурным контекстом, в который его можно поместить. Читая эту работу, испытываешь безграничное чувство благодарности за знакомство со столь значительной фигурой в немецкой мистической традиции, за глубокий анализ духовного мира величайшего мистика и ее окружения, за введение в научный оборот блистательно выполненного перевода, который по праву может считаться художественным произведением, за вдохновенное лексико-семантическое исследование ключевых концептов. Несмотря на столь очевидные и выдающиеся достоинства этой неординарной работы, остаются некоторые пожелания, возможно и невыполнимые. Очень хотелось бы иметь в своём распоряжении не просто перевод «Струящегося света Божества», но и параллельно текст немецкого оригинала, с тем чтобы иметь возможность сравнивать их вплоть до отдельных лексем. Разумеется, тогда объем существенно увеличился бы, но и выгода для германистов была бы, без сомнения, весьма значительной. Кроме того можно было бы последнюю главу о пространстве и времени дополнить анализом языковых данных, кодирующих концепт сакрального у Мехтильды Магдебургской, что было бы вполне естественно, учитывая тот факт, что мы имеем дело с религиозным текстом. Несколько не хватает привлечения древнегерманских коннотаций в связи с рассматриваемыми понятиями, что было бы уместно, так как Н. А. Ганина абсолютно справедливо замечает, что «картина мира Мехтильды <...> сближается с картиной мира ее предков» (с. 375) и «ряд пассажей сознательно оформлен ею [Мехтильдой] с ориентацией на поэзию <...> эпоса» (с. 12). Подводя итоги, можно поздравить медиевистов с появлением такой работы!

В. В. КОТЕЛЕВСКАЯ

ОТ РИТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
К ЗАКАТУ ПОСТМОДЕРНА:
РАЗОМКНУТАЯ ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

История немецкой литературы: Новое и Новейшее время /
Под ред. Е. Е. Дмитриевой, А. В. Маркина, Н. С. Павловой.
М.: РГГУ, 2014. — 808 с.

Объемистый 800-страничный том, выпущенный издательством Российского государственного гуманитарного университета, вмещает историю немецкоязычной литературы от заката «риторической эпохи» до творчества нобелевских лауреатов последних лет — Э. Елинек, Г. Мюллер. Книга, как уведомляют редакторы, предназначена «для студентов-германистов» и «студентов-филологов» (соответственно, немецкие цитаты даются с переводом и комментариями, а библиография охватывает источники как на русском, так и на европейских языках). Однако можно с уверенностью сказать, что этот коллективный труд отечественных литературоведов трех поколений, а также зарубежных коллег (Г. Арнольда, Ж. Эспань, В. Фоскампа и др.) окажется полезным для всех изучающих искусство, литературу, философию модерна и постмодерна.

Новое время представлено в основном авторами Германии, однако в материал XIX—XX вв. включены персоналии, без которых невозможно представить не только национальные литературы Австрии и Швейцарии, но и становление современного немецкого языка и картину немецкой культуры глазами «чужих» культур — Штифтер, Рильке, Музиль, Кафка, Гессе, Елинек и др. Не поддаются «узконациональному» прочтению и такие феномены, как *fin de siècle* (с. 567—578), экспрессионизм (с. 577—581), «группа 47» (с. 715—719); творят на стыке культур Пауль Целан (с. 733—745), Герта Мюллер (с. 804—808). Следует отметить, что в изображении послевоенной литературной сцены авторы учебника никак не касаются ни исторического перелома — разделения Германии, ни самого явления — литературы ГДР. Обойдено стороной и воссоединение страны вместе с последовавшими за ним трансформациями художественно-политического ландшафта. Возможно, оттого, что литература ГДР и со-

путствовавшая ее осмыслению вульгарно-социологическая методология десятилетиями заполняла страницы русских учебников по немецкой литературе современного периода (пришла усталость от сверхидеологизированного материала), а может быть, потому, что нового системного видения этого пласта немецкой словесности пока нет — слишком коротка историческая дистанция — и авторы книги отказались от скороспешных сценариев.

Неизбежные лакуны в историко-литературных проектах такого масштаба понятны, кроме того, они корректно обоснованы авторским коллективом: перед читателем именно «монографические очерки» (с. 9). Этот жанр позволил авторскому коллективу добиться важного качества, редко отличающего учебные пособия, — присутствия множества исследовательских перспектив, развертывания субъективно-авторских версий той или иной страницы немецкой литературной истории. Полновесность такому стереоскопическому взгляду дает присутствие под одной обложкой не только филологов из вузов Москвы (РГГУ, ИМЛИ РАН), Санкт-Петербурга (СПбГУ, ППУ им. А. Герцена), Махачкалы (ДГУ), не только представителей различных западных гуманитарных школ, но и переводчиков (А. В. Маркин, Т. А. Баскакова), музыковедов (М. И. Катунян, Д. Триппетт, А. Рединг). Впрочем, для многих авторов книги переводческая, издательская и исследовательская деятельность составляют единое целое (Г. Арнольд, Ж. Эспань, А. В. Белобратов и др.). Очевидным обретением для читателя можно считать главы о композиторах и философах, а также писателях, ранее не рассматривавшихся в учебниках монографически, а здесь еще и логично вписанных в историю идей и форм, — например, о Рихарде Вагнере, Вальтере Беньямине, Хансе Хенни Янне, Арно Шмидте, Винфриде Георге Зебальде. Таким образом, перед нами в меньшей мере «учебник», если иметь в виду унификацию метода, ранжирование материала, справочно-хронологический подход. Скорее, это именно «книга», в которой пять крупных культурно-исторических этапов показаны сквозь уникальные исследовательские оптики — от «пристального прочтения» текстов до жанрово-теоретической аналитики и масштабных культурно-философских штудий.

Первый раздел — «Семнадцатый век. Эпоха барокко» — открывается основательным исследованием истории понятия «барокко», его переменчивой судьбы в философско-эстетическом дискурсе XVII—XX вв. Е. Е. Дмитриева подготавливает в своей главе фундамент для понимания того, как «барокко» перекочевало из пластических искусств в теорию и практику словесности, как стало своего рода кодом всего дионисического в XX в. и — во многом через социально-философские размышления Беньямина — обрело точки схождения со всеми гротесковыми формами, начиная с экспрессионизма. Далее Е. Е. Дмитриевой, А. В. Маркину удастся показать всю степень напряженного балансирования барокко между норма-

тивностью и аффектацией, риторизацией отношений «я» с миром и поисками исторической и биографической правды. Блестящий пример такого балансирования содержит заключительная глава о Гриммельсгаузене, написанная с подлинно монографическим проникновением в предмет и не уступающая по филологической глубине известной статье А. А. Морозова в 5-томной «Истории немецкой литературы» (М.: Изд-во Академии наук, 1962—1976), исследователя и пока единственного переводчика «Симплициссимуса» в России. Философско-эстетический облик барокко многопланово очерчивается за счет введения глав о музыке («Музыкальный хронотоп эпохи барокко», М. И. Катунян) и религиозной философии («Якоб Бёме, мистик и философ», Е. Е. Дмитриева; «Наследие Якоба Бёме в России», Г. А. Тиме). Наиболее развернуто представлена поэзия, определяющая жанровый портрет эпохи (блестящие главы, написанные А. В. Маркиным): читателю предлагается анализ ее «риторических основ», сочетающий теоретическую оснащенность (обзор нормативных поэтик, демонстрация риторических структур барочной поэтической системы) и прикладную наглядность (подробные разборы стихов Грифиуса, Флеминга и др.). Можно заключить, что раздел о барокко дает целостный образ эпохи в ее мировоззренческой, политической и собственно стилевой специфике.

Подобной целостностью отличается и композиция второго раздела — «Восемнадцатый век. От пиетизма к Просвещению и Веймарскому классицизму». Вводная глава «Раннее Просвещение» (А. И. Жеребин, с. 191—203) посвящена выявлению как общеевропейских интеллектуальных истоков эпохи в «духе критики, духе утопии» (с. 191), так и своеобразия немецкого культурно-политического ландшафта, давшего в итоге миру философию Канта и Лейбница, идею *Bildung*, жанр воспитательного романа. Прекрасным, хотя и кратким дополнением к освещению светской культуры является главка «Пиетизм и немецкая литература XVIII в.» (Г. Тейле). Следует сказать, что данный пласт немецкой культуры — по-прежнему наименее изученный и переведенный в России, между тем трудно представить развитие романного жанра, литературной исповеди и художественного психологизма XVIII—XX вв. без разработки частного, интимного «я» в недрах пиетизма, с его стремительным «обмирщением религиозного чувства» (с. 205), интимизацией сакрального, с его влиянием на ключевые для развития исповедально-дневниковой прозы фигуры (Юнг-Штиллинг, Мориц, Лафатер, Цинцендорф) (с. 206). Расколдование риторического образа мира — в том числе под влиянием пиетизма — происходит в лирике, движущейся от поэтики топосов к *Erlebnislirik*, к формированию стилистически разветвленного *Seelensprache* (с. 207). Логичное продолжение этой проблематики предлагается в идущей следом главе о сентиментальной литературе 1740—1750-х гг. (А. И. Жеребин), в которой одной из интересных линий предстает тенденция к «этизации рококо»

(с. 212) в идиллических жанрах Германии и Швейцарии. Обстоятельные очерки посвящены ключевым фигурам немецкого Просвещения — Клопштоку, Виланду, Шиллеру, Гёте, а также философам, определившим умонастроения эпохи, — Винкельману, Гердеру. Обзорные статьи дают емкое представление о крупнейших немецких течениях — «Буре и натиске» (И. Н. Лагутина), «Веймарской классике» (В. Фосскамп). Завершают раздел главы о наиболее неординарных фигурах эпохи, обретших новую жизнь в XX в., — Жан-Поле (Ж. Эспань) и Гёльдерлине (В. В. Максаков).

Раздел «Эпоха романтизма» построен с учетом специфики эстетики и поэтики данной эпохи, давшей мировой культуре идеи «романтической иронии» и циклизации, новое — впоследствии сверхактуальное для XX—XXI вв. — понимание «романа», открывшей жанр «фрагмента» и идею эмансипации автора, в том числе автора-женщины. Обоснование автономного искусства с наибольшей последовательностью состоялось именно в Германии: в творчестве Августа и Вильгельма Шлегелей, Тика, Новалиса оно воплотилось как «философия искусства», обнаружив тем самым всю мощь и, одновременно, пластическую, формальную открытость, принципиальную незавершенность. Характерная для романтиков неразрывность теории и художественной практики, гибридность этих форм мышления реализована в рецензируемой книге на структурном уровне: главы по философии и эстетике, германской филологии, литературному быту романтиков находятся примерно в равном соотношении с монографическими разборами «жизни и творчества» крупнейших фигур и отдельных литературных произведений (Новалис, Тик, Brentano, Гофман).

Абсолютно обоснованной для данного раздела и блестяще исполненной можно считать работу А. Е. Махова по воссозданию музыкальной эстетики и философии исследуемого направления (с. 380—392). Пожалуй, впервые в русских изданиях по истории немецкой литературы музыка пристально рассматривается как медиальная доминанта романтизма («Слуховой опыт и воображение», с. 380—382). Известно, что именно в немецкой романтической эстетике, в частности у Шопенгауэра, создана ценностная иерархия форм восприятия, где зрению отводится роль более низкая, чем слуху. Выдвижение акустических феноменов на первый план, конструирование «собственной воображаемой», «умозрительной музыки» (с. 381—382), осуществление «метафорического переноса (сочинение музыки — мышление)» (с. 383) составляет особенность творчества Вакенродера, Новалиса, Гофмана. Особенно важно то, что показана связь романтической концепции музыки с формами искусства будущего («симфонизированной драмой Р. Вагнера» и «музыкальным формализмом» модернистов, с. 385), с тяготением литературы XX столетия к «абсолютной музыке», абстрактным формам.

Четвертый раздел книги «Девятнадцатый век. От бидермейера к натурализму и символизму» — наименее объемистый, что объективно объясняется некоторым затишьем в литературно-общественной жизни Германии и, вероятно, специализацией авторского коллектива. Уникальность данного периода хорошо отображена в вынесении «бидермейера и Реставрации» в отдельную главу как явлений, наложивших наиболее отчетливый отпечаток на немецкую культуру 1815—1848 гг. (А. А. Стрельникова, с. 493—509). «Частные истории немецких персонажей», «резиньяция» художника перед миром (с. 496), «полнота чувственно-конкретной реальности» (с. 498), а вовсе не позитивистский пафос и социальная типизация, столь характерные для литератур Франции и Англии, интересуют теперь писателей Германии, Швейцарии, Австрии.

Очерк о Генрихе Гейне написан Мишелем Эспанем, исследователем культурного трансфера и издателем рукописей немецкого поэта. Новый взгляд — сквозь призму европейских традиций — на автора, достаточно идеологизированного советским литературоведением, — одна из серьезных удач рецензируемого издания. Французскому филологу удалось поистине оживить застывшую икону, настолько гибок (даже в переводе) его стиль и настолько органично сопряжены плотная историко-литературная фактура и нарративизация материала. Вдумчивый, бережный, точный взгляд на материал, свойственный всем работам Н. С. Павловой, отличает главу о Штифтере, позволяющую вникнуть в существо «кроткого закона» австрийского идиаллика (с. 550—554). Заключительной кульминацией раздела является, конечно, глава о Вагнере — музыканте и мыслителе, без которого немыслима ни немецкая, ни европейская культура Новейшего времени и которая должна быть корректно, с опорой на анализ текстов, демифологизирована в сознании юного читателя (А. Реддинг, Д. Триппетт, О. Попова). С этой задачей авторы отлично справляются, не только выявляя тонкие грани «эстетики и политики» байрейтской легенды, но и показывая проникновение вагнерианского музыкального мышления в нарративные структуры XX в. (с. 563).

Если в предыдущих разделах сохранялся определенный баланс между эпохальными обобщениями (панорамно-обзорные, «теоретические» главы) и персоналиями, то в замыкающей части «Литература двадцатого века и современность» перевес явно на стороне индивидуальных поэтик. Это и понятно: такого богатства субъективных художественных миров не знает ни одна предшествующая эпоха, XX столетие не породило «большого стиля». О смене целостной картины мира на мозаично-фрагментарную, о новой философии (Ницше, Маутнер), заглянувшей в «пропасть языка» (с. 576), пишет в начальной главе раздела Н. С. Павлова, показывая незримую связь между Моргенштерном и — спустя полвека — Яндлем (с. 567—576). Далее следует глава, кратко излагающая историю и поэтику экспрессионизма, фокусирующей фигурой при этом выбран Георг Гейм,

писавший «о больших городах, павших на колени» (Н. С. Павлова, с. 577—593). Обобщающая жанровая характеристика дана в главе «Интеллектуальный роман» (Н. С. Павлова, с. 612—616), остальной материал выстроен по персоналиям.

Пожалуй, именно в последнем разделе собрано наибольшее число «авторских» очерков, демонстрирующих и глубокую историко-литературную эрудицию, и взгляд изнутри, герменевтическое вживание в «объект исследования». Поэтому «живыми» и уникальными предстают как признанные классики — Элиас Канетти (К. Мейер, с. 687—695), Арно Шмидт и Пауль Целан (Т. А. Баскакова), — так и новые персонажи литературного процесса, например Патрик Зюскинд (А. Салахова, с. 773—782) или Роланд Шиммельпфенниг (с. 799—803). Системно и детально, в поэтапном становлении, представлены эссеистика и художественная проза Эльфриды Елинек, Нобелевского лауреата 2011 г. (А. В. Белобратов, с. 790—798). Острота и точность перспективы обеспечена здесь тем, что А. В. Белобратов — не только исследователь, но и переводчик, а также интервьюер австрийской писательницы. Творчество Герты Мюллер проанализировано в тесной связи стилистических и поэтологических аспектов, при этом автор главы Л. Н. Полубояринова дает пронизательную характеристику поэтики писательницы, связывая ее отнюдь не с постмодернистским «письмом-чтением», а с «производством присутствия» Х. У. Гумбрехта (с. 808).

Книга обрывается без всякого резюмирующего высказывания, как бы демонстрируя открытость развернутого литературного ландшафта. Его новейшая «история» только пишется. И читается — теми, кто желает понять связь времен и стилей, национального и общеевропейского, уникального и всечеловеческого начал в феномене под названием «немецкая литература».

Г. И. ДАНИЛИНА

**ПРОСТРАНСТВО НЕМЕЦКОЙ ЭМИГРАЦИИ
В СТРУКТУРЕ РОМАННОГО ЖАНРА**

Поршнева А. С. Мир эмиграции в немецком эмигрантском романе 1930—1970-х годов (Э. М. Ремарк, Л. Фейхтвангер, К. Манн). Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2014. — 306 с.

«Феномен эмиграции связан не только с исторической ситуацией в ряде стран мира. Эмиграция становится своего рода ментальным состоянием человека» (с. 292), — подчеркивает автор рецензируемой монографии. При этом в литературоведении специфика эмигрантского романа все еще в должной мере не прояснена, и обращение к истокам жанра в литературной традиции XX в., без сомнения, актуально.

В книге А. С. Поршневой немецкий эмигрантский роман рассматривается как историко-литературный и жанровый феномен. Монография имеет четкое и ясное построение: каждая из трех глав отражает определенный этап в развертывании общей концепции исследования. Сначала изучается структура пространства эмиграции на уровне инверсии мифологических характеристик (глава I). Затем анализируется категория события в немецком эмигрантском романе, с акцентом на сюжетно-пространственный комплекс «переход границы» (глава II). В завершающей части рассмотрена структура пространства как фактор сюжетообразования.

Исследование выполняется на широком и репрезентативном материале. Главным образом оно сосредоточено вокруг нескольких произведений, представляющих классические образцы жанра: «Изгнание» Л. Фейхтвангера, «Бегство на Север» и «Вулкан» К. Манна, «Возлюби ближнего своего», «Триумфальная арка», «Ночь в Лиссабоне» и «Тени в раю» Э. М. Ремарка. Как видим, А. С. Поршневу занимает прежде всего немецкая литература 1930—1940-х гг., но в контекст включается и ряд произведений более поздних, и в целом изучаемый жанр развернут широко и по существу.

В центр внимания выведена поэтология эмигрантского романа. Важно сказать, что типологической основой исследования стала сме-

лая и очень интересная «пространственная» гипотеза, согласно которой сюжетные особенности и структуру персонажа задает образ художественного пространства — а не наоборот, как принято думать, если, например, руководствоваться авторитетнейшей концепцией М. М. Бахтина (см. «Роман воспитания и его значение в истории реализма»).

Читая эту книгу, узнаешь, почему именно эмигрантский роман, с его принципиальной, смысловой пространственностью, требует иного, «не бахтинского», подхода и видения. В монографии пространство из фоновой характеристики художественного мира превращается в субъект действия, в его актанта и доминирующий эстетический момент. В ходе проводимого А. С. Поршневой исследования проявляется сложная и многоступенчатая взаимосвязь пространства—сюжета—героя как жанровая сущность эмигрантского романа.

Не менее значимо, что в книге показаны и ключевые метафорические модели, фиксирующие «эмигрантский» тип художественного мышления. В итоге обнаружился своего рода инвариант жанровой структуры, что отчетливо говорит о перспективности дальнейшей разработки темы применительно к другим авторам, и конечно, не только немецким.

Отметим также, что в работе эффективно представлена своеобразная система понятий и терминов. В первой главе опора на понятия *зона*, *периферия 1* и *периферия 2*, «*кольца*» *пространства* позволяет автору книги увидеть в инверсии мифологических характеристик системный пространственный принцип. Во второй главе «категория события» и комплекс «перехода границы» становятся замечательным средством выявления жанровых особенностей сюжетостроения. В третьей главе точность в разработке и применении термина «катарсис» помогает автору обозначить новый, ранее не выделявшийся, «катарсический» тип сюжета.

В наше время литературные произведения, создаваемые писателями-эмигрантами, занимают все большее место в западноевропейском художественном мире и во многом определяют его новые черты — такие, как полилингвизм, масштабный мультикультуральный компонент, принцип двойственной поэтики (“*Zwischenraum*”). Жаль, что в книге А. С. Поршневой не намечены, хотя бы в самом общем виде, связи раннего периода становления эмигрантской прозы (1930—1940-е гг.) с теми новыми процессами в жанровом мышлении, что происходили позднее и происходят сейчас.

Вместе с тем монография отражает значимый вклад автора в исследование поэтики романного жанра. Без сомнения, книга будет интересна ученым-литературоведам, а также полезна аспирантам и студентам в развитии навыков типологического анализа.

Г. И. ДАНИЛИНА

«ФАУСТ» И МОРФОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Васильева Г. М. «Фауст» Гёте и семантический комплекс европейской культуры. Монография. Ч. 1. Новосибирский гос. ун-т экономики и управления. Новосибирск: НГУЭУ, 2012. — 604 с.; Васильева Г. М. Семантический комплекс культуры и «Фауст» Гёте. Идеи и образы. Ч. 2. Saarbrücken: LAP Lambert, 2016. — 346 с.

Монография Галины Михайловны Васильевой посвящена изучению русской рецепции «Фауста» в XIX—XX вв. Автор обращается главным образом к текстам, которые еще не рассматривались по существу или пока не замечались. Но нов в книге не только материал — нов подход к его осмыслению. Г. М. Васильеву в первую очередь интересуют писатели, знакомые с трагедией Гёте не столько по первоисточнику, сколько опосредованно — по «чужим» и топическим цитированиям, то есть скорее из культурного контекста, чем из личного опыта чтения.

Забегая вперед, сразу скажу, что такой подход дал очень интересные результаты. И едва ли не главный из них тот, что, оказывается, подобные произведения, отделенные от «Фауста» многослойными культурными опосредованиями, далеко отстоящие от Гёте и хронологически, и содержательно, и интонационно, инспирированы тем не менее именно гётевским текстом и раскрывают его все еще не познанные богатейшие смыслы.

Этот выразительный вывод — своего рода итог объемного, многостороннего и основательно фундированного исследования. Согласно концепции Г. М. Васильевой, сложная, «комплементарная» поэтика «Фауста» подчинена морфологическим представлениям Гёте о живом единстве человека и мира, науки и культуры. Морфологические идеи Гёте продумываются глубоко и внимательно в ряде глав и 1-й и 2-й части: «Морфология языка и идея символической парадигматики», «Образ текста-тканья как семантическая категория», «Смысл как объект онтологической этимологии», «Когнитивная модель мышления» (с подразделом «Морфологическая поэтика: Линней, Гёте, Пропп»), «Палеонтология языка». Таким образом,

подготовлена творческая интерпретация текста трагедии как амбивалентного целого, с изначально заложенной Гёте идеей потенциального разрастания смыслов «Фауста», их содержательных и эстетических метаморфоз. «Слово вырастает как пучок ветвей, — сказано в книге. — Трагедия являет собою полиморфно-изменчивую стихию разветвленного “вечнозеленого дерева”» (ч. 1, с. 57).

В последующих разделах книги рассматриваются морфологически связанные с «Фаустом» произведения В. К. Кюхельбекера, И. А. Гончарова, А. П. Чехова, И. А. Бунина, Е. И. Замятина, В. В. Набокова, Э. Л. Миндлина, А. Николева, А. Н. Егунова, нескольких современных поэтов и некоторые другие; впервые введены в научный оборот «гётевские» тексты журнала «Будильник» (см. раздел ч. 1 «“Великий Гете” и “великий Аверкиев”: “Фауст”, прочитанный в журнале “Будильник”»), а также неизвестный ранее перевод «Фауста», найденный автором монографии в архиве одной из университетских библиотек (ч. 2, с. 28—55). Как видим, набор имен довольно пестрый, но отнюдь не случайный — писателей объединяет интерес «к таким семантическим сочетаниям, которые не относились к неповторимым особенностям текста («Фауста». — Г. Д.), но являли собой традиционный корпус цитат, общие места культуры». Они «странствовали от одного народа к другому, пересекали этнические, конфессиональные границы. И образовали фонд, находившийся в совместном пользовании адептов различных традиций и вер» (ч. 1, с. 8).

В процессе складывания «гётевского» семантического фонда «Фауста» начинают вычитывать из всего наличного корпуса культуры. По важной мысли Г. М. Васильевой, русские писатели, «продолжая традицию Гёте, воспринимают <...> не тексты Гёте в отдельности, но всю соответствующую каждому из микросюжетов парадигму» (ч. 1, с. 22). В монографии отчетливо показаны новые и разнообразные виды рецепции, возникающие на подобной основе: отклики писателей на уровне модальности собственных произведений или реконструкции восприятия метафизических вещей, паремиологическое прочтение («Фауст» как трагическая басня), инволюция логической мысли, ритмико-синтаксическое цитирование, когда значение реализуется акустически или аудиофонически; а также дается пример того, как русский писатель может мыслить «всем творчеством Гёте в целом».

В процессе исследования широкого и репрезентативного материала Гёте предстает в игре идеализаций и демонизаций, присвоений и клишированного использования. В книге тщательно проанализирован и опыт «сниженного» восприятия Гёте в пародиях и фарсах, когда «Фауст» превратился в «коллективный ковчег», «“перевозящий” утраченную молодость, мечту о Рае, опыт Апокалипсиса и все, что только получится на него нагрузить» (ч. 1, с. 465).

Обращаясь к творчеству русских писателей, автор монографии ориентировался на «идею Гёте как тот предел бесконечно возрастающего становления, к которому данное явление стремится», и изучал роль трагедии в широком контексте — духовном, культурно-историческом, биолого-антропологическом (ч. 1, с. 2). Так в русской германистике состоялась новая встреча с наследием Гёте: «Фауст» как объемный семантический комплекс европейской и русской культуры раскрывается в ярком текстопорождающем значении.

А. Е. ЛОБКОВ

(Нижегородский государственный
лингвистический университет)

**КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА
СЕВЕРНОЙ ГЕРМАНИИ XV—XVI ВВ.**

Багровников Н. А. Диалог традиций и новаторства в ксилографиях Любекской Библии: монография. Н. Новгород: НГУ, 1999. — 247 с.; Багровников Н. А. Памятники книжной культуры Нижней Германии эпохи Возрождения и Реформации: монография. Н. Новгород: НГЛУ, 2013. — 116 с.; Багровников Н. А. Ганс Луффт и его время: монография. Н. Новгород: Гладкова О. А., 2015. — 209 с.

Профессор Николай Адрианович Багровников на протяжении многих лет занимается книжной культурой Северной Германии конца XV — первой половины XVI в. Исследование книги как факта материальной и духовной деятельности человека ведется нижегородским ученым с позиций системного подхода. Изучение системы «книга» затрагивает разнообразные аспекты: от искусства печати и художественного оформления до культуры редактирования и организации книжной торговли. Книжные шедевры в море печатной продукции возникают в результате творческого содружества автора, издателя, печатника, художника, резчика, наборщика, корректора, переплетчика и других участников книгоиздания.

В своих книгах Н. А. Багровников большое внимание уделяет печатнику — владельцу типографии, который одновременно мог выступать в роли издателя и книготорговца, а также не чурался иной предпринимательской деятельности (например, торговлей вином, сукном, недвижимостью) и даже мог занимать высокие властные посты. Печатникам был присущ активно-деятельностный дух, жажда самоутверждения и возрожденческий индивидуализм, о противоречивости которого когда-то писал А. Ф. Лосев. Автор пытается воссоздать типологический образ, обобщенный социальный портрет немецкого печатника эпохи Возрождения. С этой целью он анализи-

рует биографии и деятельность таких выдающихся мастеров книжного дела, как Стеффен и Ганс Арндесы (Steffen и Hans Arndes; к сожалению, автор во всех работах допускает неточность и пишет имя отца и сына как Андерс), Людвиг Дитц (Ludwig Dietz), Ганс Луффт (Hans Lufft) и др., раскрывает роль печатника в жизни города, связь с университетами, с научными и творческими кругами, отношения с заказчиками, художниками и покровителями.

Автора особенно интересует вопрос о специфике взаимодействия художественных традиций и новаторства в ренессансной культуре предреформационного и реформационного времени. Предметом исследования являются книги, представляющие историко-культурный *«срез» своего времени и отражающие* философско-мировоззренческие и социально-психологические аспекты немецкой культуры конца XV — первой половины XVI в. К выдающимся памятникам книгопечатания Северной Германии Н. А. Багровников относит нижненемецкие медицинские календари, в частности «Сад здоровья» (Garde der suntheyt, 1492 г.), «Новый календарь» (Eyn nyge kalender, 1519 г.) и «Руководящий календарь» (Der schapherders Kalender, 1523 г.), Любекскую Библию 1494 г., Любекскую Библию 1534 г., «Рейнеке-лиса» (Reynke Vosz de olde, 1539 г.), первую Полную лютеровскую Библию 1534 г. и Полную лютеровскую Библию 1541 г.

В своей докторской диссертации и связанной с ней монографии, посвященных комплексному исследованию Любекской Библии 1534 г., автор раскрывает различные аспекты взаимодействия ростокского печатника Л. Дитца, шверинского художника Эрхарда Альтдорфера (младшего брата главы дунайской школы Альбрехта Альтдорфера) и реформатора Иоганна Бугенхагена (Johannes Bugenhagen), переложившего лютеровский перевод Библии на нижненемецкий язык. Результатом этого сотрудничества стала уникальная композиция книги, где слово, шрифт, расположение текста и иллюстраций оказывали максимальный эстетический эффект на читателя, где образность выдвигалась на первый план и производила сильнейшее влияние на эмоциональное восприятие божественного слова, на его начальное восприятие «сердцем» и лишь затем «умом». В художественном языке иллюстраций Э. Альтдорфера автор акцентирует особенности прочтения и интерпретации лютеровского перевода Библии, взаимодействие готических традиций и ренессансных новаций, оригинальное и заимствованное из ранних изданий Библии, специфику картины мира и образа человека реформационного периода.

Результаты сотрудничества Дитца и Э. Альтдорфера анализируются Н. А. Багровниковым и в других памятниках нижегерманского типографического искусства — в «Руководящем календаре» и «Рейнеке-лисе», где также сквозь традицию отчетливо проступают черты нового, ренессансного взгляда на человека и окружающий мир. Естественно, все книги автора содержат множество иллюстра-

ций, что позволяет читателю самостоятельно разобраться в нюансах рассматриваемых проблем и сопоставить свое понимание с заключениями исследователя.

Последняя по времени монография Н. А. Багровникова посвящена жизни и деятельности Г. Луффта, книгопечатника и бургомистра из города Виттенберга. В типографии Луффта были напечатаны основные труды Мартина Лютера и его полные переводы Библии 1534, 1541 и 1545 гг. Биография Луффта вписана в городской контекст, в котором существенную роль играет Виттенбергский университет, основанный в 1502 г. С ним связано появление первых типографий в городе. Новый импульс для развития книгопечатания дала реформаторская и переводческая деятельность Лютера, который был очень требователен к печатникам своих произведений. Качество и стиль шрифта имели для реформатора смысловое значение. Высокие требования он предъявлял к правильности печатного текста и к качеству иллюстраций. Автор отмечает, что образность лютеровского текста нашла подкрепление в высоких художественных достоинствах библий, отпечатанных Луффтом. Это сказывается и в продуманной архитектонике книг, и в тщательной работе корректоров, и в швабахском шрифте («шрифте Реформации»), и в использованных группах инициалов и иллюстрациях, выполненных в сотрудничестве художником М. Шварценбергом и резчиком П. Зальцбургером из мастерской Лукаса Кранаха Старшего. Н. А. Багровников справедливо отмечает, что немецкие печатники оказались причастны к религиозной и социально-политической борьбе реформационного времени, что без их печатных станков написанные пером труды гуманистов и реформаторов вряд ли стали бы действенным словом.

Автором проделана большая и трудоемкая работа по исследованию старопечатных книг. Большинство из представленных материалов впервые вводятся в научный оборот в отечественном книговедении. Ряд документов и текстов дается в собственном переводе автора.

Конечно, многие вопросы, возникшие в ходе обобщения нижегерманской книжной культуры, требуют дальнейшего изучения. В частности, Н. А. Багровников указывает, что важным фактором, повлиявшим на специфику нижнегерманской культуры, является особый ландшафт. Следует развить эту мысль о связи природно-географической и историко-культурной среды, то, что Л. Н. Гумилев называл термином «месторазвитие», в отношении книжной культуры.

Другая мысль, проходящая красной нитью сквозь все книги Н. А. Багровникова и требующая более детальной проработки, — это противоречивый характер Реформации. С одной стороны, наметилась тенденция к языковой и культурной унификации, с другой — общее усредняло особенное, стирало региональные различия, формировало массовое восприятие. Автор, находящийся под влиянием идей Шпенглера и Бердяева, видит в XVI веке исток трагиче-

ского противостояния культуры и цивилизации, что, по его мнению, сближает современную эпоху с эпохой Реформации. В это время Слово как носитель глубинного смысла, над которым так упорно бился Лютер, теряет свою конкретность и бытийность. Здесь исток языкового скепсиса, ярко проявившегося у двух известных литературных героев-виттенбержцев — шекспировского Гамлета (“Words, words, words”) и гётевского Фауста (“Im Anfang war...”).

К сожалению, книги автора не свободны от ошибок и неточностей, что несколько портит то приятное впечатление, которое они производят. Имеются серьезные искажения в написании имен — *Anderc* вместо Арндес (Arndes), *Баркгуссен* вместо Баркгузен (*Barckhusen*), (*Себастьян*) *Брандт* вместо Брант (Brant), *Фридландар* вместо Фридлендер (*Friedländer*), *Изегрин* вместо Изенгрим (*Isengrim*) и целый ряд др., а также названий городов и книг — *Gaerde der suntheit* вместо *Garde der suntheyt*, *Der schapherdes Kalender* вместо *Der schapherders Kalender*, (у Рейнеке-лиса) *gewisz* вместо *gewiß* и *erluchtet unde* вместо *erluchtet uñ* и др.

Можно ли рассматривать кустоды (первое слово — или два слова — следующей страницы, помещавшиеся в правом углу нижнего поля предыдущей страницы под последней строкой и используемое в раннем печатном деле для контроля за следованием страниц) как характерную особенность Любекской Библии, обусловленную, по словам автора, заботой печатника «о визуально-смысловом восприятии текста»?

Другой вопрос связан с терминологическими рядами. С античных времен перед тем, как начать спор, было принято договариваться о терминах. Автор постоянно пишет об «эпохе Возрождения и Реформации». Напомним о серии сборников, издающихся Комиссией по культуре Возрождения. Один из них носил название «Культура эпохи Возрождения и Реформация» (Л.: Наука, 1981) и рассматривал вопрос о соотношении Возрождения и Реформации, решаемый в трех основных планах: как «конкретно-исторические процессы во всей сложности своих проявлений и взаимоотношений», как «особые эпохи со своим фондом исторических традиций» и как «разные историко-культурные системы». Указание на сборник есть в библиографии рецензируемых книг, но не всегда название отображается точно, более того — происходит своего рода интерференция этих понятий — Возрождение и Реформация становятся одной эпохой.

Отмеченные неточности не должны заслонить собой многочисленные достоинства рецензируемых книги, написанных живым языком и явно увлеченным своим делом ученым. Сам автор также выделяет в первопечатных книгах «явные и лежащие “*na виду*” огрехи», но с пониманием относится к ним, помятуя о тех трудностях, которые приходилось преодолевать «первопроходцам»-печатникам.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что всесторонний подход к немецким первопечатным книгам с учетом широкого кон-

текста (в том числе — исторического, страноведческого, лингвистического, биографического, религиозного, художественного и т. д.) делает исследования Н. А. Багровникова ценным ключом к пониманию культурной специфики Северной Германии эпохи Ренессанса и периода Реформации и представляет интерес как для историков книжного дела и искусствоведов, так и для историков литературы и преподавателей немецкой истории и культуры.

А. В. БЕЛОБРАТОВ

(Санкт-Петербургский государственный университет)

**И ЭТО ВСЕ О НЕМ:
ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ**

Андреюшкина Т. Н., Елисеева А. В., Ишимбаева Г. Г., Кучумова Г. В., Майснер Ф., Москалюк А. В., Тихонова О. В., Цветков Ю. Л. Проза Кристиана Крахта: коды постмодернизма. Монография. Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. — 243 с.

В обильной научной продукции русской литературоведческой германистики (за последние 15 лет в России выпущено в свет около 250 авторских монографий и сборников статей, посвященных изучению немецкоязычной литературы от средних веков до наших дней) жанр *коллективной монографии* — весьма редкое явление. Сборники статей, объединенных общей темой¹ или посвященных одному писателю², публикуются регулярно, а вот коллективное издание, собирающее нескольких исследователей для совместной работы над общей проблемой, координирующее их научные усилия и создающее

¹ In 60 Sprachen. Erich Maria Remarque: Übersetzungsgeschichte und Probleme = На 60 языках. Переводы произведений Э. М. Ремарка: История и основные проблемы / Ред. Т. Ф. Шнайдер, Р. Р. Чайковский. Osnabrück: Universitätsverlag Rasch, 2002; Э. М. Ремарк и лагерная литература / Ред. Р. Р. Чайковский. Магадан: Кордис, 2003; Гёте в русской культуре XX века / Ред. Г. В. Якушева. М.: Наука, 2004; Гёте: личность и культура / Ред. И. Н. Лагутина. М.: Индрик, 2004; Концепты языка и культуры в творчестве Ф. Кафки / Ред. Б. Гецелев, В. Зусман, З. Кирнозе и др. Нижний Новгород: Деком, 2005; Поэтика Ницше / Ред. А. Э. Назиров. СПб.: СПбГУСЭ, 2010; Слово, стиль, образ (К 100-летию со дня рождения гражданина, писателя, патриота Юры Зойфера) / Ред. Р. Сакиева. Армавир: АГПА, 2012.

² Мне известны лишь публикации научного семинара, проводившегося Самарской гуманитарной академией совместно с Рурским университетом (Rahmen und Grenzen. Grenzen und Grenzerfahrungen in den Sprachen der Kunst. Bd 3. Самара: Самарская гуманитарная академия, 2006), а также опыт коллективной монографии, осуществленный в Ивановском государственном университете: Художественное слово в пространстве культуры: проблемы игрового начала. Коллективная монография / Ред. Ю. Л. Цветков, И. С. Киселева. Иваново: ИвГУ, 2013.

напряженное поле взаимодействия и взаимостолкновения разных уровней изучаемого материала и разных методологических подходов, — явление весьма редкое³. Появление такой работы, да еще и сконцентрированной вокруг творчества современного автора, факт весьма примечательный и привлекающий внимание.

Кристиан Крахт (р. 1966 г.) — весьма заметное имя в немецкоязычной литературе. Известен он и русскому читателю: из десятка его произведений, как самостоятельных, так и созданных им в соавторстве, переведены уже шесть книг, вызвавших широкий интерес на самых разных уровнях рецепционного пространства. Коллективная монография, подготовленная литературоведами из Воронежа, Иванова, Самары, Санкт-Петербурга, Тольятти и Уфы и изданная Тольяттинским государственным университетом, в центр своего внимания помещает «поп-литератора» Крахта, романы и эссеистика которого рассматриваются как «уникальные инновационные проекты», осуществляемые на «испытательном полигоне литературного постмодернизма» (с. 5). Восемь разделов (глав) коллективного литературоведческого исследования составлены из отдельных подглавок числом от двух до семи, имеющих своих конкретных авторов и охватывающих весь спектр литературной, журналистской, литературно-критической и кинематографической деятельности швейцарско-немецкого оллраундера. Наиболее многосторонне при этом представлен «забойный» роман Крахта «Фазерланд» (1995), его литературный первенец и несомненная удача, которую, как можно предположить по валу литературно-критических и литературоведческих работ, ему посвященных, писателю не удалось превзойти — хотя его романы «1979» (2001) и «Империя» (2012) вовсе не обойдены вниманием читателей.

Глава первая монографии («Многоликий» “Faserland” в немецком постмодернизме) обращена к массмедийному коду и коду путешествий в этой книге, к проблеме романа — культурного каталога и к произведению Крахта как к «роману протеста» (эти подглавки написаны Г. В. Кучумовой). Обращая внимание на «особенности ситуации последних десятилетий XX века», состоящие в том, что «литературное пространство активно поглощается массмедийным пространством» (с. 8), исследовательница лаконично вводит читателя в сферу «немецкоязычной поп-литературы» и пытается определить ее место и особенности в сопоставлении с «постмодернистской

³ Мне известны лишь публикации научного семинара, проводившегося Самарской гуманитарной академией совместно с Рурским университетом (*Rahmen und Grenzen. Grenzen und Grenzerfahrungen in den Sprachen der Kunst. Bd 3.* Самара: Самарская гуманитарная академия, 2006), а также опыт коллективной монографии, осуществленный в Ивановском государственном университете: Художественное слово в пространстве культуры: проблемы игрового начала. Коллективная монография / Ред. Ю. Л. Цветков, И. С. Киселева. Иваново: ИвГУ, 2013.

эстетикой», которая ориентирована на «эклектизм и игровое начало, интертекстуальность и экспериментальность» (с. 13), и в связи с преодолением этой эстетики. Правда, в последующем изложении «популярная литература» Крахта и его роман «Фазерланд» постоянно оказываются «частью постмодернистского дискурса» (с. 19), а в подглавке 1.3 (Роман “Faserland” как роман протеста) осуществляется даже некоторое движение вспять, в контекст то ли литературы модерна, то ли социально ангажированной литературы, поскольку в романе Крахта обнаруживается отчетливое выражение «протеста против бездуховности и безнравственности общества тотального потребления» (с. 27), то есть некоторая утопическая или положительно-идеологическая (социально-критическая) программа, которую (по мысли исследовательницы) «в сегодняшней ситуации» способен реализовать лишь «денди» («аристократическим интеллектуалом — современным денди» именуется в исследовании герой Крахта): «именно дендизм, как субститутивная форма аристократизма, выступает как единственно возможный вариант сопротивления господствующей идеологии» (с. 26). Правда, в следующей подглавке книга Крахта вновь возвращается в пространство постмодерна: ведь «Фазерланд» — «яркое свидетельство того, что в рамках литературной парадигмы постмодернизма может быть продолжена великая реалистическая традиция литературы путешествий» (с. 27).

Весьма убедительно этой «интерпретационной неуверенности» противостоит А. В. Елисеева в подглавках, обращенных к проблеме «обновления традиций романа-путешествия» и соотношения исторической памяти и «бренда» в анализируемом романе: «текст сопротивляется старой инерции прочтения книг — интерпретации как моралистического сочинения» (с. 40). Речь в произведении Крахта прежде всего идет о «ментальных странствиях героя-рассказчика по руинам былых смысловых парадигм» (с. 31), в нем разрушается «всякая дискурсивная укорененность» (с. 40). В частности, «обличительный тон нарратора» (с. 44), обращенный к теме немецкого «непреодоленного прошлого», у Крахта связан с нарушением и пародированием «дискурсивной практики» таких авторов, как Генрих Белль, Зигфрид Ленц и др., с «гротескным антифашизмом нарратора» (с. 37).

Шестая (наиболее объемная) глава охватывает всю прозаическую продукцию Крахта из компаративистской перспективы. В ней рисуется довольно разнообразная и многосоставная картина включенности его текстов в исторический и современный контекст немецкой и мировой литературы: Фридерика Майснер (публикующая — на немецком языке — фрагменты своей магистерской работы, защищенной в Лейпциге) сопоставляет «постмодернистский авантюрный» роман «Империя» Кристиана Крахта с опубликованным в 1741 году романом Иоганна Готфрида Шнабеля «Остров Фельзенбург». Г. В. Кучумова сопрягает «коды поколений» в «Фазерланде»

Крахта и «Трех товарищах» Ремарка. Ю. Л. Цветков сравнивает наделенное «интеллектуальной глубиной постмодернистское произведение» швейцарского писателя («Фазерланд») с книгой «Dухless» Сергея Минаева, «далекой» от подобной глубины, «однако» делаящей «бездуховность героя и его потребительские интересы <...> объектами саморефлексии героя» (с. 148). Исследователь размышляет также (в отдельной подглавке) об «образе России» у Крахта (в его романе-антиутопии «Я буду здесь, на солнце и в тени») и Даниэля Кельмана (в романе «Измеряя мир»). Сопоставление двух весьма отличающихся друг от друга текстов — «альтернативно-исторического» (с. 80), по определению Г. Г. Ишимбаевой, романа Крахта и «как бы» жизнеописательного романа Кельмана — из перспективы *tertium comparationis*, сравнительного изучения образа России, каковой у Крахта отсутствует напрочь («Государства Россия в антиутопии Крахта не существует», с. 153), а у Кельмана представлен в весьма эскизно-облегченном и клишированном виде (необъятные просторы Сибири), — возможно, не самый удачный выбор в этой компаративистской главе. И более чем непостижимой представляется «кода» данного сопоставления, вряд ли уместная в литературоведческой работе и, разумеется, никакого отношения ни к австрийскому, ни к швейцарскому писателю и их романам не имеющая: «Россия остается в современных сложных условиях противостояния остальному миру мощной природной и общественно сплоченной державой» (с. 156).

В компаративистское рассмотрение творчества Крахта включаются и две подглавки, написанные О. В. Тихоновой, в которых «Фазерланд» Крахта сопоставляется с английским романом-антиутопией Роберта Харриса «Фатерланд» (1992), а книга очерков Крахта «Карта мира» (1996—2002) — с документальными путевыми заметками «Берлин — Москва» (2003) немца Вольфганга Бюшера. Наибольшее внимание в этом разделе привлекает подглавка «Музыкальный код в поп-литературе» (Г. В. Кучумова) и желание исследовательницы разглядеть в звучащей в романах К. Крахта и Б. фон Штукрад-Барре музыке «модель идеальной коммуникации» (с. 157).

Полиперспективное рассмотрение творчества Крахта существенно дополняется и анализом жанровой модификации его романов (наблюдения Г. Г. Ишимбаевой над жанровой природой романа «1979» сопровождаются размышлениями Г. В. Кучумовой о традиции литературной антиутопии в этом же произведении и анализом Ю. Л. Цветкова, выявляющего в этой книге «основные идеи творчества писателя: неприятие общества потребления и пагубное влияние тоталитарной идеологии на сознание человека» (с. 65).

В качестве «Заключения» редактор коллективной монографии Т. Н. Андреюшкина представила на ознакомление пространный «Forschungsbericht» — библиографический обзор работ о Крахте, выполненных зарубежными исследователями.

Несомненно, жанр коллективной монографии требует более плотной «коллективной научной работы»⁴, связанной с необходимостью не «рядоположенной» публикации разных текстов разных исследователей, объединенных одним массивом изучаемого материала, а разворачивания этой работы на долговременной дискуссионной площадке, с взаимопрочитыванием и взаимосотнесением наблюдений и интерпретационно-аналитических выводов участвующих в ней ученых. Отсутствие такой работы в книге о Крахте ощущается, к примеру, в весьма обильно представленных повторах (порой даже в текстах одного и того же исследователя, напр. на с. 35 и 45), когда читателю несколько раз в разных местах сообщается, например, о том, кто такой Кристиан Крахт, откуда он родом и что он написал. Ряд подглавок явно обнаруживает свое не «коллективно-монографическое» происхождение и выглядит скорее как где-то по другому случаю прочитанный доклад или статья из обычного сборника.

Особенно ощущаются «дискурсивные разломы» в суждениях авторов, связанных с проблемно-тематическим анализом произведений швейцарского писателя и с весьма противоречивыми (и лишенными аналитического подхода) суждениями о месте книг Крахта в эстетических контекстах западной литературы конца XX — начала XXI в. Однако, как верно сказано: «дорогу осилит идущий». Поэтому нет сомнений в том, что рецензируемая коллективная монография выполняет свою главную задачу, сформулированную в «Заключении», — служит «стимулом для дальнейшего изучения творчества Кристиана Крахта» (218). И является важным побудительным импульсом к новой коллективной работе.

⁴ Именно в «практике коллективной научной работы» А. И. Жеребин видит залог выхода отечественного литературоведения из глубоко кризисной ситуации. См.: *Жеребин А. И. Cultural turn и литературное образование // Университетский научный журнал. 2012. № 3.*

Н. БАКШИ, А. ЖЕРЕБИН

Jürgen Lehmann. Russische Literatur in Deutschland- Ihre Rezeption durch deutschsprachige Schriftsteller und Kritiker vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart [Русская литература в Германии. Ее рецепция в творчестве немецкоязычных писателей и критиков XVIII—XX веков]. Stuttgart: Verlag J. B. Metzler, 2015.

Труд Юргена Лемана, одного из старейших исследователей русской литературы на Западе, представляет собой явление не только значительное, но и знаковое, поскольку свидетельствует о том, что история русско-немецких литературных отношений, которая складывалась на протяжении XX в. усилиями русских и немецких ученых, достигла известной концентрации знаний, позволяющей создать широкую обобщающую картину.

Созданная одним автором, книга Лемана несет на себе несомненную печать его творческой личности, демонстрирует — при всем разнообразии тем и подходов — единство индивидуальной точки зрения на описываемые феномены и обладает той высокой степенью аутентичности, которая едва ли была бы возможной в столь востребованном сегодня жанре коллективного научного исследования.

Широта обзора — в книгу включены важнейшие факты рецепции русской культуры в Германии с начала XVIII в. до настоящего времени — сочетается в исследовании Лемана с остротой взгляда, с точностью и инновативностью анализа избранных, наиболее выразительных сюжетов, связанных с именами Райнера Марии Рильке, Томаса Манна, Бертольда Брехта, Анны Зегерс, Кристи Вольф, Пауля Целана, Генриха Белля, Томаса Бернхарда, Хайнера Мюллера.

Смелость и определенность суждений автора нигде не вступает в противоречие с академической объективностью анализа, убедительностью аргументации и благородной сдержанностью научного стиля речи, индивидуального, узнаваемого, но абсолютно свободного как от терминологического балласта, так и от дешевых красотостей. К числу несомненных достоинств книги относится подчеркнутое внимание ее автора не только к громким именам и значительным произведениям, но и к менее заметным, иногда полузабытым героям культурного трансфера и агентам литературного поля — пере-

водчикам, критикам, издателям, общественным деятелям, университетским профессорам. Образ России, отраженный в зеркале ее литературы, создавался ими пристрастно и ангажированно, не только на встречах, но и на враждебных течениях, с любовью или ненавистью, но всегда на фоне и в интересах своей культуры, как бы различно она не понималась разные периоды истории.

Не ставя вопрос о культурных различиях между немецкими, австрийскими и швейцарскими реципиентами, Леман, тем не менее, учитывает эти различия в анализе конкретных эпизодов. Так, у Томаса Бернхарда русская тема поддерживает, согласно Леману, характерную именно для австрийцев критику языка и персональной идентичности, а в позднем романе «Уничтожение» (*“Auslöschung”*, 1986) Бернхард открыто противопоставляет радикализм русского отрицания действительности тенденции к примирению с ней в немецкой идеалистической культуре (с. 323—324).

Юрген Леман подчеркнуто аскетичен в том, что касается теоретического дискурса. Читатель его книги не найдет в ней ссылок на теорию сравнительного литературоведения как набор аксиом, претендующих на универсальность. Опора на теорию присутствует в книге имплицитно, определяя расположение исторического материала, его описание и интерпретацию. За ними со всей отчетливостью прочитывается убеждение автора в том, что, начиная с XVIII в., на протяжении трех столетий формируется русский текст немецкой литературы, в котором все его элементы, все частные феномены рецепции, творческой и критической, вступают в структурные отношения, образуя сложно устроенное и все же единое смысловое пространство. Когда Криста Вольф или Иоганнес Бобровски обращаются во второй половине XX в. к русской теме, они помнят и реактуализируют многое из того, что было написано в Германии о русской культуре, трансформируют и наращивают русский текст и русский дискурс как один из ключевых смыслообразующих, конструктивных факторов национальной литературы.

Анализируя многочисленные факты адаптирующей переработки внешнего во внутреннее, Леман последовательно утверждает своей книгой мысль о том, что само понятие «история немецкой литературы», сама логика ее развития не поддается осмыслению как логика имманентная, продиктованная последовательной сменой литературных эпох и направлений. Лишь когда мы осознаем, что это кажущееся имманентным развитие представляет собой партию в международном диалоге культур, выясняется, что так называемые периоды затишья, спада являются вместе с тем периодами интенсивного усвоения внешней информации, подготавливающей преодоление кризиса. Особенно выразительным примером подобного взаимодействия является, по мысли Лемана, рецепция Достоевского: «Вопреки сложившейся в XIX веке традиции рассматривать историю литературы как форму последовательного утверждения нацио-

нальной идентичности, история рецепции взрывает мнимую гомогенность национального социокультурного развития, выдвигая в центр внимания трагические разрывы и переломные моменты, когда особенно интенсивное освоение иностранного опыта призвано компенсировать состояние духовной, идеологической и эстетической дезориентации. Так, страстный интерес, с которым воспринимается на рубеже XX века русская литература, жадное внимание, которое не только литераторы, но и философы, теологи, психологи, социологи проявляют в эти годы к творчеству Достоевского, дает представление о масштабах идейной опустошенности и интеллектуального застоя, характеризующих духовную ситуацию Германии в эпоху Вильгельма II <...> Стремление найти в чужом свое, обращение к русской литературе в поисках нового мировоззрения дает знать о себе в самых различных социальных и идеологических контекстах. В “конце века”, а затем после проигранной Первой мировой войны оно играет значительную роль в формировании тех крайне консервативных позиций, с которых ведут свою критику современной цивилизации Артур Меллер ван дер Брук, Освальд Шпенглер, Томас Манн. После Второй мировой войны оно окрашивает собой попытки философского и идеологического самоопределения в культуре ГДР и некоторых областях философской мысли Западной Германии (напр., книга о Достоевском Рейнхольда Лаута). То же относится и к современному естествознанию, например, к психоанализу Фрейда, сложившемуся не в последнюю очередь благодаря интенсивной критической рецепции Достоевского» (с. 4).

Думается, что книга Юргена Лемана надолго предопределит все новые опыты в области русско-немецких литературных связей. Четкая систематизация обширного материала, который она в себя вместила, как и способы концептуализации этого материала отнюдь не отменяют принципиальную открытость ее структуры. Напротив, каждый вновь обнаруженный факт, каждая новая интерпретация найдут в ней свое еще незаполненное, но уже предусмотренное для него структурное место, и, заняв его, должны будут вступить в разнообразные связи с соседними элементами. Именно в этом заключается, на наш взгляд, едва ли не главное достоинство книги Лемана, которая написана так, что позднейшие исследования будут не опровергать, а подтверждать ее концепцию.

Можно надеяться, что масштабный труд Юргена Лемана найдет продолжение в русской компаративистике. Достойным ответом на него должна была бы стать аналогичная обобщающая история немецкого влияния в русской литературе, полная история ее «немецкого текста», которая, при всем обилии исследований более частного характера, до настоящего времени отсутствует. Не исключено, что стимул для ее создания даст публикация книги Лемана в русском переводе, запланированная на 2017 год.